СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ



Их, детей, у отца с матерью
было шестеро —
три сына и три дочери.
Три брата и три сестры.
Это была дружная семья,
и каждый в семье понимал,
что чужого горя не бывает,
и каждый был по-своему
распахнут своей душой
времени.
Эта семья разделяла нормы
и идеалы героев русского
революционного движения,
их стремление
к самосовершенствованию
и совершенствованию
окружающей жизни
во имя любви к человеку труда.
Вот она — благородная верность
революционным традициям
своей страны.



СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

Издание второе

Николай Григорьев
ОТЕЦ

Елена Вечтомова
ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ

Елизавета Драбкина
А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА

Владимир Сутырин
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

Роза Ковнатор
ОЛЬГА УЛЬЯНОВА

Рафаил Хигерович
МЛАДШИЙ БРАТ

Владимир Дягилев
М. И. УЛЬЯНОВА

Егор Яковлев
ОДНАЖДЫ ВЫБРАННЫЙ ПУТЬ

Москва
Издательство
политической
литературы
1985

13.50
С30

Составитель *Н. С. Гудкова*

Семья Ульяновых / Сост. Н. С. Гудкова.—
С30 2-е изд.— М.: Политиздат, 1985.— 512 с., ил.

Эта книга очерков о В. И. Ленине, его отце и матери, братьях и сестрах.

Она рисует высокий нравственный и духовный строй семьи Ульяновых, которая дала человечеству величайшего мыслителя и революционера, основателя первого в мире социалистического государства — В. И. Ленина.

Авторы — писатели и журналисты Москвы и Ленинграда. Книга адресована массовому читателю.

С $\frac{0103020000—212}{079(02)—85}$ 92—84 **13.50**
3К26

© ПОЛИТИЗДАТ, 1982 г.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы открыли книгу об удивительной семье Ульяновых, которая дала миру титана научной мысли и подлинно народного вождя, пламенного революционера, создателя Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. Силой своих убеждений и благородством целей, размахом интеллекта он был Человеком будущего. Коммунистического будущего. Значит, и семья Ульяновых была, на мой взгляд, образцом той ячейки, в которой воспитываются люди высокой морали и нравственности, высоких идейных устремлений.

Мы обращаемся к семье Ульяновых, размышляя над окружающей нас жизнью. В конкретности бытия семьи Ульяновых обретаем ответы на то, что занимает нас сегодня.

В этой семье слово было действием, а действие — мастерством, как будто каждый из ее членов, не произнося вслух, знал, что все в этом мире держится на мастерах, на людях, умеющих в совершенстве делать свое дело.

В семье Ульяновых выше всего ценились знания, и сам Владимир Ильич обладал огромными познаниями в самых разных областях науки и жизни. Об этом так проникновенно и взволнованно написал мой друг балкарский поэт Кайсын Кулиев:

За мир познанья я в него влюблен,
Его идеи ревностный служитель.
А он был прост, сердечен и умен,
Внимателен и мягок, как учитель.

Он был в дерзанье революций смел,
Народы за собою поднимая.
И он умом миры обнять умел,
И был задумчив, как поэт, мечтая.

Построить мост в грядущее сумев,
Он строил планы, чей размах огромен,
И слушал, от восторга онемев,
Как ликовал по клавишам Бетховен.

Я всей душою в Ленина влюблен.
Он для меня всегда орел в полете.

И не зря молодости мира на все времена Владимир Ильич оставил первостепенный завет жизни и победы — учиться!..

Их, детей, у отца с матерью было шестеро — три сына и три дочери. Три брата и три сестры. Это была дружная семья, и каждый в семье понимал, что чужого горя не бывает, и каждый был по-своему распахнут своей душой времени.

Эта семья разделяла нормы и идеалы героев русского революционного движения, их стремление к самосовершенствованию и совершенствованию окружающей жизни во имя любви к человеку труда. Вот она — благородная верность революционным традициям своей страны.

В своей семье с юных лет Владимир Ильич воспринял такой взгляд на жизнь, когда прежде всего духовное богатство признается безграничным, достойным человека. Вот он — уклад жизни, где нет места унижающему человека потребительству.

Глава семьи Илья Николаевич Ульянов — народный учитель в самом высоком звучании этого понятия — трудился во имя просвещения. Его дети, продолжая благородное служение народу, посвятили себя социальной революции.

Первый сын — старший брат погиб на виселице.

И средний сын сказал: «Мы пойдем иным путем». Эти слова были для него паролем перед грядущим, клятвой перед павшим. Они были самой сущностью характера среднего сына и брата.

Когда Ленина не станет, выступая на траурном заседании, Крупская скажет: «Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого он не говорил сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту. Я говорю об этом потому, что это чувство он получил в наследие от русского героического революционного движения. Это чувство заставило его страстно, горячо искать ответ на вопрос: каковы должны быть пути освобождения трудящихся?»

Дети посвятили себя революции. Их родители, Илья Николаевич и Мария Александровна, не были революционерами. Они стремились лишь воспитать своих детей достойными людьми, в духе добра, правды, честности, справедливости. Но эта прочная нравственная основа, заложенная в пору детства, и привела всех братьев и сестер Ульяновых в революцию.

Опыт семьи Ульяновых убеждает: сумейте привить детям самые благородные человеческие качества, научите их работать не для того, чтобы жить, а жить затем, чтобы трудиться, получать образование не ради собственного благополучия, а чтобы приносить пользу людям. И само время, в котором они живут, поможет определить социальную задачу бытия, закалит мужество характера, позовет к действию.

Когда Владимир Ульянов (еще не Ленин) вынужден был отправиться в ссылку, в Сибирь, его мать Мария Александровна, как никто, знавшая душу сына, подарила ему на дорогу томик стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Она-то понимала, что именно подарить сыну на его дальнюю дорогу. Она-то чувствовала своим материнским сердцем, на что он идет. И она благословила его на этот путь.

Я когда-то давным-давно держал этот томик в руках. Мне позволено было подержать его. Робко взял его в руки, полистал страницы. Сколько в нем дорогих, знакомых с детства стихотворений — лирических и гражданственных, полных заботы о будущем России, веры в ее народ, его нравственные силы.

Как хороши вот эти прозрачные строки:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

А вот и мое любимое:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только *верить*.

Я воображаю себе:

Свечи мерцающий огарок.
Морозной ночи кутерьма.
И томик Тютчева — подарок
Любимой матери... Тюрьма.
И крепостей старинных вроде
Снегов завалы и валы.
...А на Путиловском заводе
Еще куются кандалы.

Сибирь. Сибирь... И ветер в двери,
Как вестник бури у крыльца.
В Россию можно только верить.—
Я тоже верю. До конца.

Вера в мою Россию началась, наверное, с колыбельной песни матери, которую она пела над моей младшей сестренкой: «Все в мире перемелется — останется любовь».

Эта вера для каждого поколения, для всех советских людей начинается с первого школьного учителя, прочитавшего строки великого поэта:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Эта вера подкрепляется красным галстуком пионера и комсомольским билетом, проходит испытания трудом и борьбой. А вера моих ровесников прошла испытание в огненной крутоверти мерзлого вереска под Выборгом в 1940-м, в снегах Подмосковья в сорок первом, в несгибаемом Сталинграде и блокадном Ленинграде...

Ленин укоренился в нас, ровесниках революции, и великая победа над фашизмом в 1945-м стала на века этому свидетельством и подтверждением.

Дело Ленина. Дело его жизни необратимо.

Он самый счастливый из всех великих мечтателей и борцов за счастье людей, потому что он был человеком, которому удалось увидеть победу своего дела.

С этой победой можно идти к радости бесконечной мозаики жизни, к совершенству своей души.

Эту победу надо хранить своей победой.

Ленин бессмертен.
Он — в нас.
Он среди нас всегда. Мы сами —
Движение его судьбы —
Глядим на мир его глазами,
Живем судьбой его борьбы.

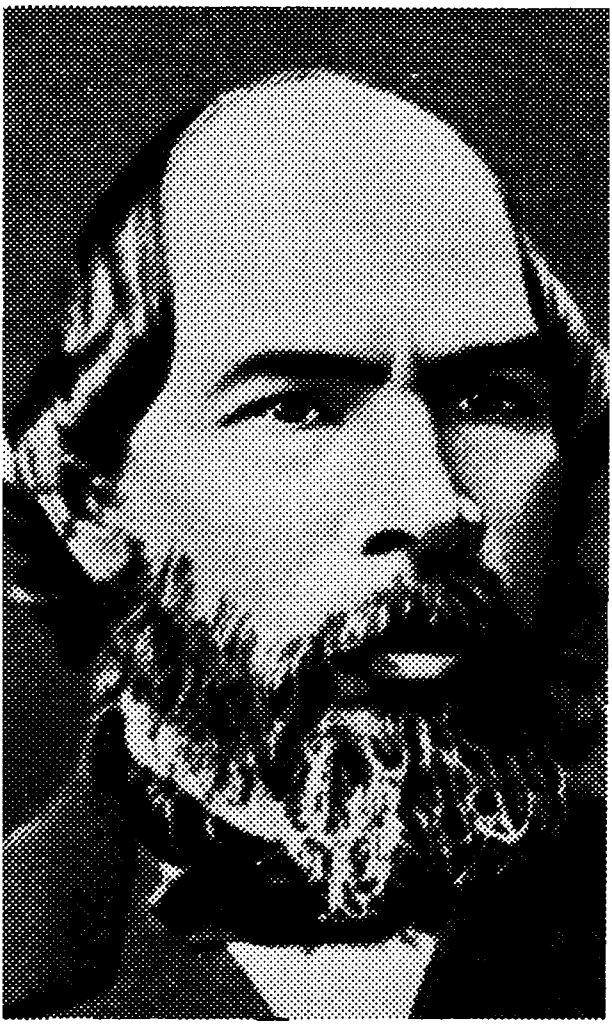
Он среди нас всегда. Он с нами —
Приказ и воля, смысл и страсть —
В том направлении, где Знамя
Сквозь ветер реет, накренясь.

Он среди нас всегда. Он взглядом
Своей души в полете лет.
И мысль, как молния, разрядом
В веках прокладывает след.

Он был прекрасным сыном своей семьи. Он стал великим сыном Человечества. Его Надеждой.

Михаил Дудин

ОТЕЦ



Окончивший Казанский университет, Ульянов Илья Николаевич не был допущен к преподаванию физики в средних учебных заведениях. Кандидат физико-математических наук — и вдруг такой пассаж... Ошеломленный молодой человек — ему не исполнилось еще и двадцати четырех — не сразу понял, что экзамен на учителя не выдержан и что ему предлагают выйти. Спохватившись, он покраснел — мучительно, словно огонь опалил лицо, и на цыпочках, стыдясь самого себя, поспешил из паркетного зала, где за зеленым сукном заседал испытательный при университете комитет.

Каждый, кто, окончив университет, изъявлял намерение посвятить себя педагогической деятельности, приглашался в этот комитет, где был обязан перед лицом профессоров, но как бы в классе школьникам преподать так называемый «пробный урок» по избранной специальности. В результате комитет устанавливал, способен ли искатель быть учителем (с точки зрения правительственных указаний, разумеется).

Провалился!.. В жизни не случалось с ним такого... Будто дикий зазубренный камень, процарапав мозг, скатилось на язык это отвратительное слово — «провалился».

— Физика...— твердил, едва сдерживая слезы, молодой человек.— Физика, предмет любимый, какой же я свинья перед тобой!..

Но пора было и к выходу. И тут новый приступ возмущения — только уже не собой, а комитетом — охватил его.

— Это же двуличие — так поступать! — кипел он, обращаясь к холодным сводам.— Ведь я тот же и комитет тот же, но по математике допускают, а по физике нет...

Медленно, в тягостном раздумье спускался Ульянов по чугунным ступеням, и последняя из них от его шага прогудела, послышалось ему, особенно угрюмо.

Потом он сидел на скамейке в садике. Скамья была в снегу, но он лишь машинально, кое-как смахнул сугроб и сел. Лениво забрезжила мысль: «А не удовольствоваться ли преподаванием математики?.. Спокойно

поеду в Пензу, где открылась вакансия в Дворянском институте. Стоит ли из-за физики с протестом ломиться в комитет?.. Это значит опять проживаться здесь, в Казани, когда-то протест уважат! А может ведь случиться — не уважат вовсе...»

И заколебался Илья Николаевич — усталость от напряженных занятий и нервной встряски брала свое. Подумалось: «А в Пензе, сказывают, тишина да благодать...» Мысленно он пытался уже распрощаться с физикой, но не смог: «Любимица моя, да что же это я делаю... Предать тебя? Нет!» — И как обрубил малодушные соображения: «Нет и нет!»

Решил оставаться в Казани, добиваться своего. Он не мыслил себя учителем иначе, как прочно стоящим на обеих ногах — математика плюс физика.

Жизнь впроголодь уже не страшила его, была бы цель достигнута!

Он вновь и вновь подвергал полному анализу свой пробный урок по физике и приходил к выводу: «Поступили несправедливо. Больше того, жестоко!..» Вспомнилось, чего и не хотелось вспоминать... Некий вельможа экзамен по физике превратил в балаган.

А было так. Ульянов уже заканчивал отвечать пробный урок и был в том приподнятом настроении удовлетворения собой, когда чувствуешь: дело сладилось; двухмесячный напряженный труд подготовки как бы сам сказал все за себя строгим экзаменаторам. И профессора из-за зеленого сукна уже одобрительно кивали ему, поглядывая на чернильницы, чтобы обмакнуть перья. В высокой оценке пробного своего урока Ульянов не сомневался...

И вдруг будто холодным сквозняком пахнуло в зале. Лица экзаменаторов вытянулись, кое-кто из них поморщился, и Ульянов обнаружил, что никто на него уже не смотрит. Взгляды всех устремились поверх его головы — туда, где вход в зал. Затем профессора один за другим — кто ловко и быстро, кто медленно, как бы нехотя — поднялись со своих мест. Ульянов стоял, не смея обернуться; было ясно: появилось какое-то значительное лицо. Делами университета, он слышал, занимается ревизор из Петербурга, сенатор.

Ульянов терпеливо ждал, что его наконец отпустят. Тем временем мимо прошагал пожилой господин в

мундире. Вся грудь расшита золотом. Штаны белые, но и на них золотые дорожки. Илья Николаевич с любопытством глянул на невиданное по блеску одеяние. Он уже догадался, что это тот самый сенатор, о котором столько тревожных разговоров; однако ничего похожего на страх перед ревизором не испытал. Напротив, ему понравилась благовоспитанность вельможи: поздоровался с профессорами, сделал уважительный поклон и пригласил всех сесть. Рядом с председателем комитета образовалось свободное место, на которое был приглашен и сам сенатор.

Тот пошептался с председателем, видимо интересуясь, что происходит в зале, потом кивнул и посмотрел на Ульянова. Илья Николаевич стоял выпрямившись, а под взглядом ревизора вытянулся еще больше, вскинул голову и чуть-чуть улыбнулся, показывая этим, что он ждет вопроса и рад будет отвечать. И не о себе сейчас он подумал: он жаждал в меру своих скромных сил защитить репутацию родного университета, которую, как видно, столичный ревизор взял под сомнение. Ульянов чувствовал, что в нем возгорается душевный подъем, вдохновение, что ответ его на любой вопрос экзаменационной программы будет блестящим, и только одного опасался: как бы сенатор не раздумал его спрашивать.

И вопросы последовали. Ульянов отвечал легко и свободно, однако ревизор не проявил одобрения. Напротив, с желчной гримасой приставил ладонь к уху и выкрикнул:

— Не слышу! Ведь вы в классе... Зычно надо говорить перед учениками, зычно!

У Ульянова был приятный голос, еще в Астрахани он пел в гимназическом хоре — случалось, с одобрения регента и мелодию вел,— но зычностью, какая ценна для капрала, не обладал. Все же попытался напрячь голос... и закашлялся.

Сенатор развел руками, выпил воды из графина, вместо того чтобы протянуть стакан покрасневшему от кашля молодому человеку, и приказал:

— Отойдите от стола.

Ульянов попятился.

— Еще, еще... Есть у вас глазомер, чтобы представить помещение класса?

Ульянов сделал еще несколько шагов назад.

— Хорошо,— язвительно заметил сенатор,— скуповато отмерили, но допустим, что это гимназический класс. Вы на учительской кафедре. Объясняете ученикам предмет физики... А здесь, где мы сидим, допустим, последняя парта... Попрошу!

Ульянов крепился, стараясь выдержать издевательства вельможи, но голос — и без того слабый из-за неразвитой груди — окончательно перестал звучать. И сделалась особенно заметной картавость: Илья Николаевич не выговаривал «р», этот звук пропадал.

Новая придирка со стороны сенатора: мол, дефект речи учителя может передаваться и ученикам. Сказал он это уже не претенденту, а решавшему его судьбу комитету.

— Между прочим, перед комитетом следовало бы явиться не в...— сенатор, господин благовоспитанный, не сказал прямо «в студенческих обносках», а ограничился осуждающим взглядом. И добавил: — Учитель без сюртука — не учитель!

Стыд, негодование и омерзительное состояние беспомощности перед грозным сановником вновь переживал Ульянов. На этот раз бродя по улицам.

И тут же догадался, откуда это противоречие в решении комитета: с одной стороны, кандидат Ульянов удостаивается за пробный урок по физике оценок «удовлетворительно» и «достаточно»; с другой стороны, он же к преподаванию физики не допускается... «Все ясно, туман рассеян,— заключил молодой человек.— Своим грубым давлением сенатор расстроил намерение профессоров, вот и родилось постановление — ублюдок!» Между тем за зеленым сукном сидели ученые, которым он, Ульянов, обязан своим университетским образованием... Да что говорить о нем, скромном кандидате,— в комитете видные деятели российской науки, и что же: склоняют головы перед ревизором... Да это же разволоченный истукан, господа, не больше. Где же ваше достоинство, воспитатели молодежи и творители наук!

Ульянов решился на шаг смелый и вызывающий: вновь предстать перед испытательным комитетом, добиться переэкзаменовки по физике. И он подал в округ прошение.

К попечителю учебного округа не обратился бы: мракобес, самодур. Но у попечителя есть помощник, облеченный почти столь же высокими правами; к тому же, по отзывам, человек доступный и справедливый. Да и не только по отзывам: четыре года назад попечитель Молоствов в издевательских выражениях пробрал директора Астраханской гимназии Аристова за его ходатайство о стипендии для мещанина Ульянова. Помощник попечителя, наперекор своему начальнику, принял участие в молодом студенте: сделал, что мог,— освободил от платы за слушание лекций.

Речь о Николае Ивановиче Лобачевском. Ему и подал прошение Ульянов. Добрым предзнаменованием был случай, известный в университете. Ровно одиннадцать лет назад с разрешения Лобачевского держал экзамен в комитете и провалился студент Лев Николаевич Толстой. Был он тогда всего лишь худеньким, малоприметным юношей из именитой, но провинциальной помещичьей семьи.

Провалился, но не струсил: подал новое прошение; и Лобачевский, обнаружив у просителя серьезный интерес к наукам, наложил резолюцию: «Допустить к дополнительному испытанию. 4 авг. 1844 г.».

К повторному экзамену по физике (прошение было удовлетворено) Илья Николаевич готовился особенно тщательно, и 21 апреля 1855 года кандидат Ульянов вновь на испытании. «В присутствии Комитета (цитируем протокол) читал пробную лекцию «О теориях гальванического тока»... затем написал рассуждение на заданную от Комитета тему о скрытом и удельном теплороде...» В обоих случаях Ульянов получил твердое «хорошо». Восторжествовала справедливость: то ли на комитет произвело впечатление, что проситель явился в сюртуке (взял напрокат) и имел уже вид учителя; то ли профессора почувствовали неловкость за прошедший раз, когда в угоду столичному самодуру лишили молодого человека права преподавать физику; то ли, наконец, замолвил об Ульянове слово Николай Иванович Лобачевский, чуткий к трудолюбивым и талантливым юношам...

Так или иначе, но на этот раз Ульянову выказали особое внимание. Его пригласили сесть за стол комитета. Застеленный зеленым сукном, с расположенными

на нем массивными, напоминающими серию бастионов, которые надо штурмовать, чернильницами, этот стол одним своим видом порождал мурашки у экзаменующихся. И вдруг — садись среди профессоров!

Еще не успел Ульянов, взволнованный, устроиться в кресле, как заговорил профессор физики и метеоролог Александр Степанович Савельев. Ульянов, будучи студентом, помогал профессору на метеорологической станции университета и сейчас приготовился выслушать от Александра Степановича на прощание благодарность за свой бескорыстный труд. Но профессор заговорил о другом.

— Перед нами, господа,— сказал Савельев, указывая коллегам на Ульянова,— молодой, но весьма меня заинтересовавший ученый. Позволю себе вспомнить о научной работе Ульянова, представленной им на соискание степени кандидата. Это — труд исследователя, зрелый вклад в астрономическую науку...— здесь Савельев повернулся к одному из членов комитета — профессору математики и ученику Лобачевского Попову: — Александр Федорович, я не преувеличиваю?

— Ничуть,— отозвался тот.— Мы с вами, Александр Степанович, помнится, были единодушны в оценке достоинств этого сочинения, как, впрочем, и остальные господа профессора, коим было поручено дать о диссертации заключение. Я имею в виду профессоров господ Ковальского, Вагнера, самого декана Котельникова, Гесса...

— Да,— подтвердил Савельев,— редкое в науке совпадение мнений.

— А в чем дело? — заинтересовались члены комитета: — Вы нас интригуете! Нельзя ли, Александр Степанович, хотя бы в нескольких словах о содержании диссертации? — И все повернулись к Ульянову, который краснел и бледнел от столь исключительного к себе внимания.

Профессор Савельев подумал и сказал:

— Чтобы не растекаться мыслию по древу, как выразился летописец, прочту заключение Мариана Альбертовича Ковальского...

Выдающийся астроном М. А. Ковальский не только украшал кафедру Казанского университета — он был известен в ученом мире России, и мнение его значило

немало. Члены комитета в знак уважения к этому мнению склонили головы, и Савельев прочитал:

«Сочинение студента 4-го курса г-на Ульянова представляет полное изложение способа Ольберса для вычисления параболической орбиты кометы Klinkerfues'a 1853 г. с дополнениями Энке и Гаусса. Применение этого способа к вычислению элементов кометы, виденной простым глазом в прошлом году, и согласие результатов г. Ульянова с результатами, публикованными в Astronomischer Nachrichten, показывает, что г-н Ульянов постиг сущность астрономических вычислений, которые, как известно, весьма часто требуют особых соображений и приемов. Это сочинение я считаю вполне соответствующим степени кандидата математических наук.

Проф. астрономии М. Ковальский.
Казань, 14 мая 1854 г.».

Члены комитета снова благосклонно обернулись к Ульянову, похлопали в ладоши, а профессор Попов, присоединивший свою подпись к отзыву Ковальского, особо обратил внимание на высокий класс астрономических вычислений вчерашнего студента:

— Наш воспитанник, с одной стороны, и европейские астрономы — с другой, сошлись в расчетах орбиты небесного тела. Это, господа, делает честь не только господину Ульянову, но, осмеливаюсь сказать, и нашей кафедре!

Хлопки повторились, и все заговорили о комете, которая, прочертив и обагрив небо, вызвала немало тревожных и самых фантастических толков в народе. Ученые развеселились, делясь курьезами, которые и в Казани всколыхнули застойную общественную жизнь.

Профессор Савельев снова попросил внимания и сказал, что он намерен предложить Илье Николаевичу Ульянову пересмотреть свое намерение пойти в учителя.

— Вам, дорогой Илья Николаевич, место в университете для усовершенствования в научной работе!

— Я... я...— забормотал Ульянов и вскочил с места, как застигнутый врасплох ученик.— Я... извините, не понял...

— Не волнуйтесь,— дружески улыбнулся Савельев,— у вас есть время подумать об открывающейся для

вас будущности профессора. Я сейчас, господа члены комитета, обращаюсь к вам в надежде, что вы соблаговолите поддержать ходатайство, которое я на сей предмет намерен возбудить в надлежащих инстанциях.

Расходясь после заседания комитета, каждый из профессоров пожал Ульянову руку, уже как будущему коллеге по работе в университете.

Ульянов плохо спал ночью. Не мог понять: рад он или не рад научной карьере, которая с такой ошеломляющей неожиданностью раскрылась перед ним. Терзался отсутствием в мыслях отчетливого «да» или «нет».

А тянуло его к детям...

И вот на столе у Лобачевского прошение (7 апреля 1855 года). Подпись — кандидат физико-математического факультета Илья Ульянов.

Суть просьбы: желание занять должность учителя.

Как раз открылась подходящая вакансия в Пензе, в Дворянском институте.

Но прежде чем назначить Ульянова в Пензу, помощник попечителя пожелал познакомиться с кандидатом лично. Навстречу Илье Николаевичу встал высокий, отличной выправки господин в черном сюртуке с большой сверкающей звездой какого-то высокого ордена на груди. Ульянов и сам явился в сюртуке (вторично взял напрокат), отчего сразу же почувствовал себя как бы раскованным для разговора с ученым в генеральских чинах.

Говорили: у Лобачевского «в ясных глазах сила», однако глаз не увидел, только темные очки. А сочному голосу позавидовал: «Вот бы такой мне — учителю!»

Сели. Лобачевский нагнулся над папкой с бумагами; покосился туда и Ульянов и узнал свое личное дело.

— Илья Николаевич...— вслух прочитал Лобачевский заголовок и откинулся в кресле: — Расскажите, Илья Николаевич, о себе. Впрочем...— и Лобачевский плавно положил кисть большой белой руки на стол,— впрочем это излишне. Не трудитесь. Все, что надо, я прочитал и в повести вашей жизни узнал свою: то же

сиротское детство, горемычная юность... Однако хорошо, голубчик, что жизнь нас с вами не разнежила, научила трудиться. Ради этого и горести, и тяготы стоило претерпеть!

Лобачевский встал и протянул Ульянову руку:

— Поздравляю вас с назначением, согласно вашему желанию, учителем физики и математики.

Ульянов вскочил, притронулся к протянутой руке... и остался стоять.

Возникла неловкая заминка.

— Вы, господин Ульянов, имеете что-нибудь возразить?

— Нет, нет, ваше превосходительство,— поспешно выговорил молодой человек,— я счастлив назначением и обязуюсь, ваше превосходительство...

— Николай Иванович,— мягко поправил Лобачевский.

— Николай Иванович, извините... осмелюсь, но мне...— борясь с волнением, заспешил молодой учитель,— мне ведь математику преподавать юношеству. А в геометрии... Я уже не чувствую полного доверия к Эвклиду. Как же быть? Ведь нечестно!..

Лобачевский внезапно расхохотался. Подхватил очки, которые начали сползать с его носа, и продолжал весело, от всей души смеяться, вытирая платком выступившие слезы. Успокоился, и очки опять заслонили его глаза.

— Ах, вы вот о чем...— заметил добродушно.— Начитались моих ересей...

Ульянов затаился: от ученого, взбудоражившего умы не только в Казани, но в Петербурге и даже в Европе, он ожидал откровения... Однако откровения не последовало.

— Не тревожьтесь, милый учитель. Преподавая геометрию Эвклида, вы не поступитесь своей совестью. Античный геометр построил систему, которая вполне отвечает нашим повседневным нуждам.— Лобачевский улыбнулся.— По себе сужу. Когда мы строили новый университет, сам, каюсь, все расчеты в проектах делал по Эвклиду... Достаточно вам?

Лобачевский опять привстал, но Ульянов, вопреки свойственной деликатности, и на этот раз уходить не пожелал. Математический ум его, ум исследователя,

жаждал постичь новое, пусть парадоксальное, в учении, наделавшем столько шума.

— Хорошо,— согласился наконец Лобачевский,— отправимся в область чистой теории.

— Случалось ли вам, господин Ульянов, наблюдать, как забиваются сваи? Артель рабочих берется за стропы: «Взя-яли!» — и через блок на верху копра подтягивает многопудовую чугунную бабу. «Ух!» — и баба, падая, ударяет в торец толстого бревна. Это свая. Она сразу на несколько вершков уходит в землю. Дальше — глубже, дальше — глубже... Но наступает момент, когда свая, углубившись в землю, как бы перестает чувствовать удары чугунной болванки. Свая на месте. Забита, как выражаются строители, «до отказа». А вот Эвклид не столь прочно поставил сваи под свою геометрию. И в то же время как бы заявил: «Верьте, что мои сваи не пошатнутся!» Однако наука и вера — вещи разные...

Лобачевский все еще скупился открыть свои мысли. Однако молодой учитель не давал ему умолкнуть и наконец добился того, что гениальный ум казанского геометра распахнулся перед ним...

Илья Николаевич, не мешкая, воспроизвел на листках бумаги заученные им схемы из трудов Лобачевского. Показал, что знает и как, вопреки Эвклиду, следует трактовать параллельность линий, и как построить доказательства того, что сумма углов треугольника может быть меньше двух прямых и даже превратиться в нуль...

— Николай Иванович! — и Ульянов отложил карандаш.— Но вы сами утверждаете, что ваши умозаключения действительны лишь для огромных пространств Вселенной. А эвклидову геометрию, собственно, и не отрицаете: она получает право на жизнь, существует как частный случай вашего всеобъемлющего учения, как геометрия для пространств ограниченных. Но, простите, вы уверены, что просторы мироздания не отвергнут вашу геометрию?

Лобачевский снял очки и стал протирать стекла лоскутком замши. А в глазах и на этот раз — ни проблеска света...

— Дорогой мой Ульянов,— медленно заговорил он,— уже тридцать с лишним лет, как я перестроил

свое математическое мышление. Многие ночи провел под раскрытым куполом здешней обсерватории лицом к лицу со звездным небом. Временами я уже ликовал, чувствуя, что еще немного усилий — и в глубинах Вселенной откроется мне гармония моего учения... Но вот напасть — замутилось зрение! — и он ударил кулаком по столу с такой вспышкой гнева и отчаяния, что от брошенных на стол очков полетели бы осколки, не выхвати Ульянов их из-под удара.

Лобачевский как-то сразу сник, словно и крупное тело его в размерах уменьшилось, на лице набухли жилы, резко обозначились стариковские черты...

Ульянов дрогнул от внезапной перемены в облике человека, который, казалось ему, подобен скале в океане, не сокрушимой ни для каких штормов. Сердце его до боли стеснилось от сочувствия к слепнущему...

Однако Лобачевский уже преодолел приступ слабости, воспрянул. Удивился, не обнаружив на носу очков, а получив их от собеседника, тут же со смехом сослался на рассеянность, которая, мол, еще в университете служила пищей для острословов.

— Вспоминаю анекдот,— сказал он,— Лобачевский, говорилось в нем, настолько разошелся с единственно истинной эвклидовской геометрией, что, нацелившись на луну, пролетел в своих ночных полетах мимо, угодил в преисподнюю, но так как у чертей мозги тоже наизнанку, то — свой своего познаша — из ада Лобачевский вернулся, даже не опалив сюртука.

Николай Иванович смеялся с явным намерением растормошить приунывшего своего собеседника; Ульянов это понял и деланно заулыбался.

— Мы с вами, Илья Николаевич, еще и в обсерватории побываем,— бодро заговорил Лобачевский,— совместно продолжим наблюдения над звездным небом. Дайте срок — выздоровею...

— Обязательно выздоровеете, Николай Иванович! — подхватил Ульянов, страстно желая верить своим словам.— Обязательно! Приеду в Казань на летних каникулах и с вами в обсерваторию. Спасибо, Николай Иванович!

Лобачевский улыбнулся горячности молодого человека и продолжал:

— Врачи требуют, чтобы я на год отправился для лечения за границу. Дело за небольшим...— он замялся и принялся барабанить пальцами по столу. Вдруг поднял голос — и раздраженно: — Видели вы, милый Ульянов, простофилей? Похоже, что самый нелепый из этой породы людей — ваш покорный слуга! Десять лет сижу в этом кресле и ни копейки не спросил за исправление должности помощника попечителя. Молоствов глаза выпучил, когда обнаружилось, что у него в помощниках такой чудак-бессребреник. Это он, наш бравый генерал-майор, и окрестил меня простофилей. Да и поделом мне... Слушайте дальше. Иду в казначейство, а там один ответ: «Что с возу упало, то пропало!» А лечиться-то ведь деньги нужны немалые, тем более за границей. Пришлось обеспокоить министра. Написал вот в Петербург, жду...

Лобачевский спохватился и прервал речь. Заворчал, сердясь на себя:

— Болтлив стал, как баба у деревенского колодца. А вас обременяю только. Извините.

Наконец распрощались. Напутствуя Ульянова, Лобачевский употребил латинское изречение: «Per aspera ad astra» («Через тернии к звездам») — и со значительным видом задержал руку молодого учителя в своей. Это было 7 мая 1855 года.

...Встретиться им больше не пришлось. Денег на лечение Лобачевский не получил. Вскоре ослеп окончательно. А меньше чем через год (12 февраля 1856 года) умер в нищете и забвении от паралича легких.

Но «Per aspera ad astra» осталось звучать в сознании и сердце Ильи Николаевича Ульянова как завещание великого современника.

* * *

Сборы, сборы... В дневнике Ильи Николаевича Ульянова открыта новая страница: «Симбирск, 1869 год, сентябрь». Новые места, новая должность... и соблазнительная неизвестность впереди.

Мария Александровна, озабоченная первой дальней поездкой мужа по губернии, старательно собирала

его в дорогу. То и дело хваталась за голову: «Не забыть бы чего-нибудь».

Отъезжающему были поданы на руки пятилетняя Анечка и трехгодовалый Саша, который, увидев отца в непривычном одеянии, встревожился и принялся плакать.

Прощаясь с детьми, Илья Николаевич замер, потрясенный глубиной охватившего его чувства. А когда разомкнул объятия, у обоих малышей в ручонках оказалось по волоску из его бороды.

— Сувениры! — воскликнул счастливый отец.— Они уже берут сувениры!

Наконец и супруги сделали шаг друг к другу. Мария Александровна положила руки мужу на плечи, затаив волнение, сказала: «Береги себя!» А он бережно снял их и принялся целовать...

Распрощавшись с семьей, Илья Николаевич долго и громогласно прокашливался, стремясь привести в равновесие вышедшие из-под контроля чувства. После этого сразу, с некоторой даже поспешностью, залез в тарантас и скрылся под кожаным верхом.

Тронулись. Илья Николаевич зарылся с ногами в солому и сено, с удовольствием вдохнул крепкий запашок дегтя от свежеподмазанных колес, и мысли его, а следом и чувства понеслись, обгоняя тройку, вперед и вперед на сельские просторы.

Задержались у заставы. В пределах губернского города ямщики были обязаны заглушать колокольца. Но вот пута снята — и дорожный медный жаворонок обретает голосок.

Ямщик похлопал коренника по шелковистой шее, поправил шлейки на пристяжных и сел в тарантас.

Илья Николаевич с интересом разглядывал его. Это был рослый красавец с рыжей бородой. Сам от природы некрупный, Илья Николаевич ценил в людях стать, силу, здоровье. А этот, что называется, кровь с молоком! И как ловко все сидит на нем: и темно-зеленый, форменного сукна азям, подпоясанный красным кушаком, и черный картуз с медным гербом почтового ведомства над лакированным козырьком, и шаровары, и сапоги...

Лошади дружно взяли. Колоколец под дугой завел свой звонкий говорок.

Сразу словно и день посветлел. Перед глазами распахнулись просторы полей, лесов. В этот ранний час еще лежали туманы, и, как островки среди молочного моря, тут и там виднелись вскарабкавшиеся на возвышенности села и деревни.

Завидев катящего на тройке чиновника, на обочине дороги оторопело остановился прохожий. К тощей котомке приторочена пара запасных лаптей, в руке палка: видно, дальняя у него дорога... Лишь на мгновение мужик и чиновник встретились глазами, но Илья Николаевич успел заметить, что в выражении его лица раболепие и страх, ничего больше.

Прохожий стремительно поклонился, словно готов был сбросить с себя не только шапчонку, но и голову вместе с нею. Илья Николаевич в ответ приветливо снял фуражку, чем вызвал крайнее неодобрение ямщика.

— Всякой шушере да кланяться,— заворчал он.— Мало ли их шатается нынче... Себя не соблюдаете, господин.

— Но почему же? — сказал Илья Николаевич и с досадой на себя почувствовал, что краснеет.— Ответить на поклон — долг вежливости...

Ямщик не успокоился. Но в дальнейшие объяснения входить не пожелал. Сказал веско:

— Мы пошта, сударь. В подорожной-то у вас что сказано: «По указу его величества государя императора» едем. Понимать надо... Ннн-о, баловаться! — И ямщик раскрутил над головой кнут, который просвистел не только над лошадьми, но и над седоком.

Илья Николаевич задумался, и горькая усмешка опечалила его лицо. «Два крестьянина,— размышлял он,— два человека из податного, или, как прежде говаривали, подлого, сословия. Оба тянут в жизни подневольную лямку... Казалось бы, возьмитесь за лямку сообща — легче будет! А что на деле? Полный между людьми разлад. Этот, на облучке, набрался презрения к бедняку, да какого злобного презрения! А у того лишь скотский страх, ни малейшего человеческого достоинства... О, как необходимо народу просвещение! — мысленно воскликнул Илья Николаевич.— В этом убеждаешься снова и снова!»

Он усмехнулся наставлению ямщика о подорожной.

Документ этот действительно выдается от имени царствующего монарха и скрепляется подписью губернатора, в канцелярию которого, облачившись в вицмундир, коллежский асессор Ульянов и явился перед отъездом.

Канцелярская процедура оказалась затяжной, но чиновник особых поручений при губернаторе, бойкий и любезный молодой человек, не дал господину инспектору соскучиться. Он говорил, и из его слов, в особенности из изящных манер должно было сделать заключение, что Симбирск — отнюдь не захудалая провинция, какой рисуют его господа писатели, и что господин Ульянов, прибывший из такого крупного города, как Нижний Новгород, найдет и здесь, в Симбирске, пищу для ума и сердца.

Илья Николаевич, слушая болтовню молодого человека, добродушно улыбался, временами вставляя неопределенное: «Да, да, конечно...» Затем, напомнив о деле, высказал намерение поехать в одноконном экипаже.

Чиновник тотчас сделал строгое лицо:

— Нельзя-с. Во-первых, по нашим дорогам, тем более сейчас распутица, одна животина не потянет. Нужна пара. Во-вторых, не осмелюсь вам и пару нарядить. Согласно вашему чину и должности вам полагается тройка.

— Ну зачем же такая формальность...— пробормотал Илья Николаевич и тут же прикинул вслух: — Две с половиной копейки серебром за лошадь с версты. Тройка встанет втрое. За каждые сто верст, выходит, я должен отдать семь рублей с полтиной — не накладно ли?

Чиновник кинул пренебрежительно:

— Но ведь вы же не из своего кармана. Вам ассигнованы суммы...

— Да, конечно,— сказал Илья Николаевич.— Но, по-моему, казначейская копейка тоже любит счет. Впрочем, я вам своего мнения не навязываю, тем более что вы следуете заведенному порядку.

— Именно! — оживился молодой человек.— Именно! А заведенный порядок — он знаете что говорит?

И Ульянов не без интереса узнал, что существует особое правительственное «расписание», согласно кото-

рому почтовые станции обязаны запрягать генерал-фельдмаршалу 20 лошадей; митрополиту, сенатору и полному генералу — 15. Фельдъегерю для гоньбы назначаются курьерские лошади — сколько потребует.

— Майоры и чиновники восьмого класса...— тут молодой человек сделал приятную улыбку и вставил,— а вы, господин Ульянов, имеете быть таковым... разъезжают на четверке либо тройке лошадей. Далее...

Илья Николаевич, дивясь этим «лошадиным» рангам, поискал глазами, куда бы сесть.

Чиновник тотчас предложил ему кресло, а сам выхватил из рук писца приготовленную уже подорожную и исчез в кабинете губернатора.

Ждать не пришлось, чиновник обернулся мгновенно.

— Его сиятельство желает вам, господин Ульянов, счастливого пути, а когда воротитесь, рад будет узнать ваше мнение о состоянии школьного дела в губернии. Извольте получить подорожную...

* * *

Илья Николаевич Ульянов принадлежал к тому слою передового русского общества, в котором отмена крепостного права была воспринята как акт величайшей гуманности монарха. Это были честные, но, увы, наивно верившие в «помазанника божия» люди, совсем не приспособленные к политическому анализу событий.

Так или иначе, реформы в 60-х годах следовали одна за другой. Правительство учредило мировой суд, а для крупных правонарушений — суд присяжных по европейскому образцу.

Возникли земские учреждения. К руководству народным образованием была допущена общественность — с этой целью стали создаваться губернские и уездные училищные советы. Наконец министр народного просвещения «мнением положил», то есть согласился с тем, что постановка школьного дела, и в первую очередь на селе, требует коренного улучшения. Тут же виднейшие педагоги и ученые, деятели просвещения были приглашены разработать проект нового устава массовой народной школы; наиболее радикальные из них, как, например, К. Д. Ушинский, стали мечтать о ликвидации в России неграмотности.

Илья Николаевич Ульянов отнесся к происходившим переменам восторженно. «Где быть теперь учителю, если он считает себя достойным этого высокого призвания? — сказал он себе.— Только в гуще народной!» И осенью 1869 года без колебаний расстался с учительской деятельностью в Нижнем Новгороде, с благоустроенной жизнью в столице поволжских городов.

Притомившиеся за дорогу лошади вдруг побежали весело и резво. Одна из пристяжных порывалась даже удариться вскачь, пока ее не осадил ямщик.

«Ишь припустили, сивки-бурки! — улыбнулся Илья Николаевич, слушая дробный перестук дюжины копыт.— Отдых почуяли, кормушку! Теперь их и понукать не надо!»

Впрочем, он и сам с приближением станции приободрился. Наконец-то можно будет опомниться от дорожной тряски, умыться, сесть за стол и перекусить.

Смеркалось. Видимые горизонты стали сужаться, и на фоне светлого еще неба зачернели телеграфные столбы.

«Телеграфная линия...— мысленно отметил Илья Николаевич.— Эти линии — тоже проводники знаний и света, и хорошо, что начали прочерчивать матушку-Русь в разных направлениях... Ба! — вдруг пришла ему на ум веселая догадка.— Ведь в ближайшем же уездном городе, надо полагать, есть телеграфная станция. Подам-ка я депешу друзьям в Нижний Новгород! Как они там? Мол, привет с дороги. Преодолел лужу наподобие миргородской. Пребываю в отличном расположении духа!»

И шестилетняя жизнь Ульянова в Нижнем Новгороде, еще полная живых отголосков в его душе, воскресла перед ним. Даже ощущение дороги пропало, словно он уже и не в тарантасе.

Двухэтажное, с бельведером, каменное здание Нижегородской мужской гимназии. Уроки на сегодня уже кончились. Он у директора гимназии, но не в вицмундире. Приглашен не в служебный директорский кабинет, а запросто, по-соседски.

— Сядемте, Илья Николаевич...— директор выглядел озабоченным и даже несколько растерянным.— Илья Николаевич! — Садоков заглянул Ульянову в

глаза.— Неужели это правда? Вы намерены покинуть Нижний?

Надо было понять огорчение директора гимназии, теряющего учителя, который составлял гордость его учебного заведения. Трудолюбие Ульянова, глубокое и любовное знание предмета и прежде всего педагогический талант выделяли его из учительской среды даже такого крупного города, как Нижний.

В ту пору были обиходны физические наказания в школе. А Ульянов видел в этом пережитки домостроевщины. Еще в Пензе, где Илья Николаевич начинал свою учительскую деятельность, он случайно оказался свидетелем того, как служитель распаривает березовые прутья. Старичок объяснил молодому учителю, что розга должна быть гибкой, прикладистой, мол, только тогда она сечет хлестко и дает свою настоящую пользу.

Все возмутилось в Ульянове. Сперва это был протест доброго сердца против избиения детей. Но вскоре он с восхищением прочитал у Добролюбова, что дети «несравненно нравственнее взрослых. Они не лгут, пока их не довели до этого страхом, они стыдятся всего дурного... сближаются со сверстником, не спрашивая, богат ли он, равен ли им по происхождению...».

В классе Ильи Николаевича никогда не было розг, а линейка употреблялась только по прямому назначению — для линования бумаги. Никогда не раздавалось здесь и унизительного окрика: «На колени!»

Между тем познания учеников Ульянова как в Пензе, так впоследствии и в Нижнем всегда были твердыми и осмысленными.

Время от времени, как водится, наезжали проверочные комиссии — из округа, из министерства. Инспекторские опросы приводили учеников в трепет и остолбенение, но только не в классах Ульянова. Напротив, ученики Ильи Николаевича, казалось, только и ждали случая, чтобы блеснуть знаниями перед важными и строгими господами.

И блистали. И формуляр Нижегородской гимназии обогащался лестными для учебного заведения отзывами о работе старшего учителя Ульянова.

Нижегородская гимназия при И. Н. Ульянове обзавелась первоклассным физическим кабинетом. Здесь постоянно действовал источник электроэнергии в виде

батареи из элементов Бунзена, которые Илья Николаевич за надежность в работе предпочитал всяким иным. Действующая батарея позволяла учащимся обнаруживать на практике свойства электричества — этой вновь открытой, во многом еще загадочной силы, которой только еще начинал овладевать человек. От батареи звенел в кабинете электрический звонок, крутился моторчик, разлагалась вода на кислород и водород и т. д. Учитель Ульянов проявил себя борцом против схоластики, которая омертвляла гимназическую программу, в особенности по разделу естествознания; трудно было устоять перед его доводами, и директор Садоков, как ни прижимист был, открыл перед учителем физики кассу. Илья Николаевич тотчас же выписал из Петербурга от механика Швабе модель паровоза за 200 рублей... Бухгалтер подал письменный протест. В трудном объяснении с директором Ульянов привел довод, на котором стороны в конце концов примирились.

Илья Николаевич сказал:

— К нам в Нижний проложена от Москвы железная дорога. Началось движение поездов. Но к «чугунке» в народе недоверие. Так разве не наша — деятелей народного просвещения — обязанность предметно показать детям, что нет нечистой силы в «чугунке», а движет ее пар?

Расширяя на уроках физики кругозор учащихся, Илья Николаевич особо старался приохотить ребят к геодезии и к астрономическим наблюдениям. Для этого у него имелись такие приборы, как астролябия, теодолит и даже телескоп. Глядя в него с чердака гимназического здания, конечно, нельзя было проникнуть в глубины Вселенной, однако пробуждалась фантазия, полет которой увлекал ребят в иные миры.

Первой советчицей во всех делах Ильи Николаевича была Мария Александровна. Чуткая, нежная и вместе с тем на редкость в свои годы практичная, она поспевала всюду. Поможет мужу умным советом в его делах, тут же накормит и искупает дочку, простирнет за ней и обед приготовит.

А когда Илья Николаевич торжественно вручал ей свое жалованье, садилась с карандашом в руке, чтобы рассчитать семейный бюджет. «Тебе бы государственным казначеем быть, Маша!» — говаривал Илья Ни-

колаевич, заглядывая к ней в тетрадку. И в самом деле, Мария Александровна умела не только сбалансировать бюджет на бумаге, но — что редко удается даже казначеям государств — и на деле не выходила за установленные рамки расходов.

Еще девочкой она получила серьезную музыкальную подготовку; милый старый «Шредер» и здесь с нею: рояль приносит в новую ее жизнь дух родительского дома, где она по-деревенски бегала босиком, не балованная, с малолетства приученная отцом-врачом трудиться, уважать и ценить труд других.

Бывало, работает Илья Николаевич. В кабинет донеслись звуки рояля. Тут он тихонько раскрывает дверь настежь. Дела уже отложены. Он откидывается в кресле, закрывает глаза, и на лице его появляется выражение блаженства.

Сама квартира с ее новой мебелью и домашними цветами, казалось, была бы рада обрести человеческую душу — единственно для того, чтобы насладиться льющейся из гостиной музыкой...

Так жили Ульяновы.

Казалось бы, жить да поживать! И вдруг человек по собственной воле поступается всем, чего достиг ценой неимоверного труда и что составляет благополучие его семьи, покой, уют, наконец, его же собственный служебный интерес!

А ведь ему уже под сорок. И в такие годы испытывать судьбу, менять Нижний на заурядный губернский город. Не опрометчиво ли?..

— Я позволил себе...— сказал Садоков, все еще надеясь на силу своих доводов,— извлечь из несгораемого шкафа, чтобы освежить в памяти.— Тут он взял со стола папку, это был прошнурованный, с выпущенной наружу сургучной печатью послужной список Ульянова.— Позвольте перелистать?

Вы, Илья Николаевич, службу начали в Пензе. Читаю: «...1858 год, Пензенский дворянский институт». За усердие в преподавании «денежная награда в 150 рублей...». Следующий, 1859 год. Ревизия из Петербурга. В итоге ревизии сенатор Сафонов отметил вас «за отличное ведение своего дела»... В 1862 году институту не повезло. Нагрянул с ревизией Постельс и, как у него водится, от учебной работы заведения

камня на камне не оставил. После него, как после Батыя... Но был там педагог, которого даже Постельс вынужден был похвалить. Не помните такого? — и Садоков поднял лукавый взгляд на Ульянова.— «По математике и физике успехи учеников достаточные: преподаватель Ульянов с усердием занимается своим предметом».

Осталось перечитать поощрения, которыми вы удостоены у нас в гимназии. Или, быть может, они еще свежи в вашей памяти? — закончил директор не без яда.

Потом сказал:

— У нас в гимназии, Илья Николаевич, в непродолжительном времени предвидится вакансия на должность инспектора...— но посмотрел Ульянову в глаза и безнадежно махнул рукой.

* * *

Еще в Нижнем, принимая должность инспектора народных училищ, Ульянов спрашивал себя: «А подготовлен ли я, человек городской, к работе в деревне?» И это стало предметом его немалой озабоченности.

Гимназические учителя подтрунивали над коллегой: «Полноте, Илья Николаевич, мудрствовать, какие еще там деревенские проблемы! Вы — многоопытный педагог, да еще удостоенный ученой степени кандидата. И меняете кафедру гимназии на деревенскую школу грамоты — в чем же тут проблема?»

Илья Николаевич отмалчивался и продолжал собирать сведения о Симбирской губернии. Проведал, что хороши тамошние глины — развито горшечное производство, кирпичное,— и записал себе в тетрадку, в каких именно уездах следует приобретать кирпич при постройке школьных зданий.

В южной части губернии строительный лес плохой; это он тоже заметил себе. Напротив, бревно и тес отличного качества на севере и в северо-западном углу губернии. Здесь сосна мелкослойная, 100—200 лет простоит в срубе; встречается даже мачтовый лес, который берут волжские корабельщики. И Ульянову подумалось, что, быть может, на мачтах симбирской заготовки развевался мятежный флаг и Разина, и Пугачева.

Во всяком случае, Емельян Иванович поусердствовал на симбирских землях, недаром Пушкин, работая над «Капитанской дочкой», приезжал в Симбирск, где интересовался архивами, да в его пору можно было встретить здесь еще и живых свидетелей пугачевских дел.

В летние каникулы 1869 года, последние в Нижнем Новгороде, Илья Николаевич не покидал города. Он проводил время в библиотеках либо за письменным столом дома.

Мария Александровна с детьми отправилась к родным мужа в Астрахань.

С неизъяснимым наслаждением перечитывал он труды Ушинского, Песталоцци, педагогические сочинения Лобачевского, Пирогова, не говоря уже о Добролюбове, Писареве. Он открывал в них богатства, которых не замечал прежде: в одних случаях — из-за вечной в студенческую пору нехватки времени, да и по молодости лет; в других — из-за трудностей нелегального чтения.

Константин Дмитриевич Ушинский. «Отец русской педагогики». Сам учитель, он досконально исследовал школьное дело в России. Затем отправился за границу и там шаг за шагом изучил все талантливое и передовое, чем жили школы Швейцарии, Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов. Благодаря Ушинскому педагогика как наука в России 60-х годов XIX столетия достигла небывалого расцвета.

К. Д. Ушинский составил два учебника для начальной школы — «Родное слово» (первый и второй год обучения) и «Детский мир». Какой это было находкой для Ульянова! Ведь его собственная педагогическая практика до сих пор складывалась только в области физико-математических наук.

Впрочем, он тут же ухватился и за книжку Фарадея «Химическая история свечи».

Обратившись к сочинениям Песталоцци, Ульянов долго вглядывался в портрет «благородного и бескорыстного филантропа-воспитателя», как назвал швейцарца Добролюбов, высоко ценивший педагогическое творчество Песталоцци.

Иоганн Генрих Песталоцци... Портрет 1811 года, следовательно, великому педагогу здесь 64 года. А на

вид и вовсе старик. Испещренное морщинами и морщинками добрейшее лицо, которому особенную теплоту придает мечтательность во взгляде.

Он обивал пороги швейцарских лавочников и ростовщиков, взывая к ним: «Высокоблагородные, высокочтимые господа, благородные друзья человечества и покровители!..» А потом, подавленный глухим равнодушием состоятельных сограждан к своему делу, в письмах к друзьям говорил с отчаянием: «Я хочу попасть к какому-либо министру, который был бы человеком... если таковой на земле существует!»

Он умер в нищете.

«Наследие этого великого педагога,— сказал К. Д. Ушинский,— принесло и приносит человечеству больше пользы, чем открытие Америки!»

* * *

...Поездка на тройке с красавцем ямщиком окончилась: подорожная не предусматривала заездов с тракта в стороны. Пришлось нанимать обывательские подводы, а то и пешком шагать.

В официальных сведениях о школьной сети, которыми он запасся в Симбирске, между прочим, значилось: «Село такое-то. За выбытием учителя и до определения нового с детьми занимается сама владетельница села госпожа фон Гольц».

«Владетельница села... Девятый год, как отменено крепостное право, а они все еще пишут по старинке!». Однако инспектор Ульянов отправился к госпоже фон Гольц с самыми лучшими намерениями. Все-таки с ее стороны любезность — заменять учителя.

Добрался до деревни. Вошел в класс... и от неожиданности замер у порога. Взора не оторвать: перед ним женщина небесной красоты — златокудрая, огромные голубые глаза... Воздушно-грациозна...

Спохватившись, он подчеркнуто официально назвал себя.

Но что это? Из глаз красавицы вдруг хлынули слезы, она воздела руки к небу, потом протянула их навстречу инспектору и бурно заговорила по-французски.

Илья Николаевич в затруднении. Пытается уловить смысл негодующего потока слов. Где-то внутри кольну-

ло укором: «Ведь учила же Маша французскому — так нет, не нашел времени усовершенствоваться!»

Впрочем, достаточно было взглянуть на детей, чтобы почувствовать: произошло что-то из ряда вон выходящее. За партами — ни одного. Дети сбились в кучу, глаза горят.

Илья Николаевич хлопнул в ладоши и спокойно, с улыбкой приблизился к детям, те доверчиво расступились.

— Дети, кто из вас быстрее, кто ловчее? По счету три садитесь за парты, только не перепутайте места. Ну-ка, погляжу!

Дробный топот сапог вперемешку с шарканьем лаптей — и ребятишки расселись. Тотчас замахали кому-то:

— Фенька... Садись... Сказано же!

Откуда ни возьмись — девочка, таилась где-то. Глядит Илья Николаевич: настолько зареванная, что всего и приметного на лице — красный распухший нос.

Госпожа фон Гольц вмиг прервала стенания — и тонкая холеная рука в кольцах ударила девочку по голове.

— Мадам,— прошептал Илья Николаевич, дрожа от возмущения,— это омерзительно! — И тут же повернулся к классу: — Дети, ваша учительница распускает вас по домам. На сегодня уроки окончены. До свидания.

Госпожа фон Гольц поднесла к носу флакончик с нюхательной солью и умирающим голосом попросила:

— Пошлите за мужем, мне плохо...

Илья Николаевич вышел на крыльцо, послал человека за господином фон Гольцем и возвратился в класс.

— Скажите, госпожа фон Гольц, девочка, которую вы едва не оскальпировали, видимо, в чем-то тяжко провинилась?

Ответа не последовало.

Илья Николаевич, помолчав, сказал:

— Ну что ж, пока оставим это в стороне. Обратимся к предмету школьных занятий. Вывешенного расписания уроков я не вижу... Не будете ли вы любезны устно посвятить меня...

Госпожа фон Гольц вдруг взорвалась:

— Нет, это ужас, что происходит... Ужас, ужас! — и кинула перед инспектором на стол скомканную бумажку.

Илья Николаевич прочитал: «Кирюша, я тебя люблю. Давай вместе ходить в школу».

— Девчонке двенадцать лет,— продолжала барынька,— едва каракулями, как можете убедиться, складывает слова — и уже любовь! Становится страшно, какое в народе падение нравов... И все это после злосчастного 19 февраля!

Из сетований помещицы Илья Николаевич наконец узнал, что произошло в классе. Перехватив безобидную детскую записку, барынька позволила себе грубо оскорбить девочку и мальчика, издевалась над ними, требовала нелепых признаний и настолько ранила души детей, что урок в самом деле едва не завершился омерзительной свалкой.

«Эту госпожу и дня нельзя терпеть в школе»,— мысленно решил Илья Николаевич, когда, звякнув шпорами, в избу вошел крупный мужчина в охотничьей куртке и в ботфортах офицерского образца. Он был статен, породист. И тут Илья Николаевич обнаружил, что глаза вошедшего ничего не выражают: словно под белесыми бровями, среди белесых ресниц пришиты оловянные пуговицы.

Госпожа фон Гольц представила мужчин друг другу. Оба ограничились полупоклоном, не подавая руки.

Помещик тем не менее счел уместным сказать несколько слов:

— Моя жена, господин чиновник, весьма успешно занимается с крестьянскими детьми, не правда ли? Мне эти благородные порывы, признаться, не очень по душе, такое опрощение! Но...

Легкий взрыв скрипучего смеха — и господин фон Гольц принялся играть стеком, подбрасывая его перед собой и выделывая довольно ловко разные жонглерские штучки. Жонглировал, не прерывая речи:

— Никаких посторонних учителей мы в нашей школе видеть не желаем. Но требуется формальное утверждение в должности, не правда ли? Скажите, куда я должен обратиться: к предводителю дворянства, к губернатору?

Илья Николаевич мог бы сказать, что учителей назначает он, как инспектор народных училищ. Но не сказал. Что-то удержало его от продолжения разговора с этими людьми.

С тяжелым сердцем уходил он от «владетельницы села».

* * *

Приехал в другую деревню. Здесь по документам значилась школа. А школы нет. Илья Николаевич, смеясь, сказал словами Некрасова:

Кузьминское богатое,
А пуще того — грязное
Торговое село...

И следом:

Дом с надписью: училище,
Пустой, забитый наглухо...

Школа обнаружилась только в соседнем селе, при церкви. Сторож снял висячий замок, толкнул дверь. Илья Николаевич оказался среди сырых каменных стен. Сразу же у порога — ларь с каким-то хламом, тут же — лопаты, метлы. Подальше, в углу,— крест, приготовленный для могилы... И на всем этом — тусклый свет из забранного решеткой окошка под потолком.

Церковная караулка... Но при чем тут школа? Однако в караулке — классная доска, столы для занятий, при них лавки, на потолке висячая керосиновая лампа...

Илья Николаевич долго стоял молча. Потом обернулся к сторожу, сказал хмуро:

— Надо проветривать помещение, здесь собираются дети!

— Ась? — отозвался сторож, не сразу поняв, что от него требует приезжий господин. Потом сказал равнодушно: — С середы не собираются.

Еще того не легче: со среды, а нынче уже пятница! Оказывается, учительствует здесь священник. Но подошли требы — он и уехал по приходу.

— В воскресенье к обедне воротится,— пояснил сторож.— Службу служить.

Илья Николаевич уважал пастырский труд священнослужителей и в требах видел акт гуманности: отпустить грехи умирающему, утешить болящего, укрепить

в вере заблудшего — как же без этого? Но требы требами, а срывать занятия в школе непозволительно!

Волостной старшина, средних лет упитанный мужчина, как видно, был уже оповещен о появившемся из губернии чиновнике. В присутственную комнату вышел при регалии — с цепью на шее.

Илья Николаевич подал руку. В ответ — подобострастное выражение лица и бережное, как к хрупкому сосуду, прикосновение к инспекторской руке толстых, коротких пальцев.

Сели.

Илья Николаевич выразил сожаление, что школа уже несколько дней бездействует.

Глаза старшины загорелись злым огоньком.

— Да что я... Ежели отец Серафим лишку потребляет...— и он принялся сваливать всю вину на священника.

— Я просил бы собрать школьников,— перебил его излияния инспектор,— несколько мальчиков и девочек. Возможно это?

Старшина вскочил:

— Это мы в сей момент. Соцкой!

Отправил сотского за школьниками и сам взялся за шапку.

— А вы, господин старшина, мне не помешаете. Отнюдь. Дело у нас с вами общее.

И Илья Николаевич кратко ознакомил собеседника с правительственными узаконениями, направленными на улучшение школьного дела.

Старшина сидел с покорным видом:

— Это мы тоже можем понять.

— В таком случае... простите, как ваше имя-отчество? Герасим Матвеевич? Очень приятно. А мое — Илья Николаевич... Так вот что, Герасим Матвеевич, надо обзаводиться нам в селе приличной школой. Я, как инспектор, располагаю средствами, чтобы купить для школы дом. Желательна изба-пятистенка, чтобы при школе было и жилье для учителя. Плохого дома не возьму: помещения должны быть чистыми, светлыми, теплыми... Что вы на это скажете? Найдется продавец? Ведь село ваше немаленькое?

Старшина поскреб в затылке, процедил жарко:

— Тестя бы надо прошшупать, дак ведь...

Вскочил, забегал по комнате. Вгорячах даже постороннего перестал стесняться, развивая мысль о том, как он поживится за счет тестя: старика — за порог, а избу его, пятистенку,— на торги!

Он и на чиновника поглядывал уже без всякого уважения. Мол, в тебе и виду-то никакого, никакой солидности. И не такие из губернии налетали, да отскакивали!

Илья Николаевич под этими взглядами только поеживался. «Сожрет,— подтрунивал он над собой,— и не будет на свете инспектора, только фуражка останется, козловые сапоги да башлык... Заодно с тестем сожрет. Бррр... Это же людоед. Людоед на воеводстве!»

Между тем в комнату вошли дети.

Старшина — мигом за дверь. Илья Николаевич только усмехнулся ему вслед: «Ну, теперь этому деятелю не до школьных дел! Побежал тестя обкручивать...»

Усадив детишек на скамью, Илья Николаевич достал камертон и ударил пальцем по его вилочке.

— До-о-о...— поддержал он голосом звучащий металл. Поднес вилочку к уху мальчика, девочки, опять мальчика.— До-о-о, до-о-о,— требовательно повторял он, пока и у детишек губы не раскрылись.

Но лишь один из пятерых не сфальшивил. Илья Николаевич одобрительно кивнул мальчику, тотчас провел его по дорожке звуков: вверх — вниз. Мальчик одолел почти полную октаву.

Илья Николаевич записал фамилию мальчика с пометкой: «Хор. слух». Однако на отца Серафима рассердился. Как же так, чтобы священник, у кого вся служба из песнопений, не удосужился хотя бы слух развить у школьников!

Илья Николаевич любил пение. Мария Александровна заметила, что особенно удаются ему песни задушевные, лирические, это и учла, составляя с мужем домашний дуэт.

Был он поборником певческой культуры. Не без его участия сложился хор воспитанников в Пензенском дворянском институте; приохотил он к пению и многих гимназистов в Нижнем Новгороде.

А в должность инспектора народных училищ вступил уже с целой программой развития школьных хо-

ров. Основы ее взял у корифеев педагогической науки, которую только что заново проштудировал.

Для малышей песенка в классе, как глоток свежего воздуха среди трудного урока. Для более взрослых ребят — это уже и приобщение к искусству; а искусство, со своей стороны, облагораживает характер. Особенно важно, полагал Ульянов, чтобы музыкально грамотной вырастала деревенская детвора: кто же, как не крестьянин — не только слухом, но душой,— воспримет, сохранит и приумножит бесценные сокровища песенного творчества народа?..

Илья Николаевич убрал камертон и дал детям учебник Ушинского «Детский мир».

— Раскройте на сорок третьей странице.

Дети запутались в поисках, пришлось прийти им на помощь.

— А теперь послушаем басню Крылова «Петух и жемчужное зерно».— И Илья Николаевич протянул книжку мальчику, что выделился на пении: — Читай, Федя Сорокин. Читай громко и не торопясь.

И тут... уму непостижимо, что тут началось! Словно камней насовали в рот мальчику, лишив его способности к членораздельной речи:

— На... на... ной... нуй, ный... на-во-во... вай, вей, вой... на-во-за, зой, зуй...

Илья Николаевич, мучаясь вместе с мальчиком, в то же время поспешно копался в памяти: «Откуда эта абракадабра? Что-то знакомое... Неужели Твелькмейер?.. Да, несомненно, зазубрено с таблиц Твелькмейера... Но это же старая рухлядь, кто бы мог подумать, что ею еще пользуются!»

Мальчик покраснел от усилий, ошалел, но так и не смог, хотя бы по складам, прочесть слово из басни:

«Навозну...»

— Довольно, Федя, отдышись. А теперь смотри внимательно в книжку и повторяй за мной:

— «Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно...» Навозну — разве непонятно? — Илья Николаевич встал и подошел к окну.— Да вон же навозна куча! Посмотрите, дети. Навозна. Навозная. Вот на кучу и вскочил петух — разве не бывает?

— Ага, бывает,— согласились дети.— Мы и сами вскакиваем на кучи, как петушки!

В заключение урока дети хором выучили басню наизусть.

Из летучей проверки знаний школьников, по существу, получился урок-беседа, какие и следует ставить в начальной школе.

Но ведь это же дело учителя, а не инспектора?! А где они, учителя?

При мысли о мадам фон Гольц Илья Николаевич с гневом сказал себе: «Отстранить! И я это сделаю сразу по возвращении в Симбирск!» А отец Серафим? И поставил в книжечке знак вопроса.

* * *

И еще в одной школе побывал Ульянов. Учителя он застал дома, за утренним самоваром. Познакомились. Илья Николаевич был приятно удивлен, услышав, что его новый знакомец в недавнем прошлом преподавал словесность.

— Простите, вы кончали в университете? Не в Казанском ли?

— Никак нет. Кончал в учебной команде. Девятого драгунского Елизаветградского ее величества королевы Вюртембергской полка старший унтер-офицер! — И драгун, залпом допив чай, выскочил из-за стола. Встал во фрунт. Подкрутил усы да как пошел отбивать скороговоркой:

— Царствующий дом: божиею милостью его величество государь император Александр Вторый Николаевич, самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая; августейшая супруга его, ее величество государыня императрица Мария Феодоровна; августейший сын их, его императорское высочество наследник цесаревич Александр Александрович; августейшие...

— Минуточку! — прервал Илья Николаевич; в ушах звенело, хотелось передохнуть.— Скажите, значит, это и есть словесность для солдат?

— Так точно. Только еще не вся. Это малый титул. А есть еще полный. Тоже могу.

— Спасибо, не беспокойтесь,— сказал Ульянов.— Я уже понял вас. Но хочу, чтобы и вы меня поняли: то, что здорово солдату, детям не всегда по зубам.

— Верно! — Драгун развел руками.— Как это вы

угадали? Верно. Пробовал. Словесность детишкам не по зубам!

Отправились в классы. «Вот уже третья школа,— меланхолически подумал Ульянов,— и все та же картина беспризорности и запустения... Жутко становится!»

Ничего путного от драгуна он, разумеется, не ожидал. И вдруг приятное открытие... Наблюдая его в классе, Илья Николаевич разглядел в солдате первейшее свойство, которое требуется от школьного учителя: драгун любил и понимал детей.

— Здравия желаем, господин учитель! — дружно вскочив, ответили школьники на приветствие драгуна. Дежурный по классу выкрикнул несколько слов рапорта.

Илья Николаевич тем временем неприметно устроился на задней парте. Начало урока было необычным, но ему понравилось: четкость, организованность:

— Вольна-а-а!..

Выполняя воинскую команду, ребята сели с нарочитым грохотом.

— Первый урок — арихметика! — объявил драгун и кинул на учительский стол солдатскую бескозырку — старенькую, с лиловым околышем,— видимо, элемент формы этого диковинного русско-немецкого полка. В бескозырку насыпал орехов.

— Упражнения в умственном счете... Начи-най!

Ученики смело вскинули руки. Каждому не терпелось выйти первым к столу.

Вызвав ученика, драгун дал задачку на сложение в пределах десятка, потом двух десятков. Мальчик, запуская руки в бескозырку, выкладывал из орехов слагаемые и объявлял сумму.

Со словами: «А дайте мне задачку на три десятка» — полез было опять за орехами, но драгун заслонил бескозырку, а мальчугану погрозил пальцем:

— Этак ты у меня весь боеприпас утащишь!

Ребятишки, сидевшие за партами, рассмеялись, а некоторые из них после этого и ртов не закрывали: как видно, ожидали дальнейшей потехи.

Но мальчик у стола уже решал задачку на вычитание. Соображал бойко, и драгун в поощрение разрешил ему из двадцати вычесть единицу.

Разность из девятнадцати орехов мальчуган ссыпал себе за пазуху.

— Хватит тебе,— отправил его драгун на место.— А то, ишь, на три десятка позарился!

— На двадцать девять,— деловито поправил его мальчик.

Счет на орехи наглядный, ошибиться было трудно, а тут еще придуманное драгуном поощрение... На переменке весь класс щелкал орехи.

Дети принялись угощать и гостя.

— Да я же не решал с вами задачи,— смеялся Илья Николаевич.

— А вы возьмите да решите!

— Хорошо, дети, согласен!

И после перемены, объявив на всякий случай, что премии не отменяются, предложил орехи рисовать мелом на доске.

Ребята охотно подхватили новшество. Сперва выводили на доске кружки-орехи, потом для упрощения стали заменять их точками; из точек Илья Николаевич вытянул вертикальные палочки, дав детям понятие о римских цифрах.

Но среди ребят нашлись и такие, что сумели написать цифры общепринятые.

На первый случай, считал Илья Николаевич, достаточно: возбудил у детей интерес к доске и мелку, а драгуну подсказал, как действовать дальше, раз от раза усложняя урок.

С этим и хотел уехать. Но драгун схватил Илью Николаевича за руки — и ни в какую: мол, не выпущу ни за что, пока не досидите все уроки! А у самого от огорчения губы дрожат...

Пришлось остаться.

После большой перемены вошли в класс, а его и не узнать — полно посторонних! Школа мужская, а тут появились девочки, даже девушки. Выстроились вдоль стен.

Драгун ловко подал инспектору свой учительский табурет, пронеся его над головами, и Илья Николаевич сел, с любопытством ожидая, что будет дальше.

Драгун вышел на середину комнаты. Потеснил от себя собравшихся, расставляя их в ряды, яростно взмахнул рукой — и грянул хор:

Взвейтесь, соколы, орла-ами,
Полно горе горева-ать!

В свободной руке драгуна блеснула кавалерийская труба — и в хор, подкрепляя мелодию, вплелся голос меди.

То ли де-ело под шатра-ами
В поле ла-агерем стоять!

Дирижер подал знак своим мальчишкам. В ответ — рефрен с заливистым посвистом:

В поле ла, в поле ла-агерем стоять!

Лица поющих — и детей, и взрослых, парней и девушек — раскраснелись. Пели самозабвенно, с неожиданными для самих исполнителей вариациями, и это расширяло мелодию, обогащая ее новыми красками.

Илья Николаевич слушал хор все с большим интересом. Сначала раздражала труба, но и ее острый, открытый звук нашел свое место: песня-то солдатская, требует в исполнении молний и громов, многоголосия, лихости!

Только сев в подводу, Илья Николаевич почувствовал, как он устал от драгуна. Но это была добрая усталость. Покорил его солдат — и сердечностью в обращении с детьми, и своим хором; это уже не только школьный хор — под его медного дирижера, как видно, вся молодежь деревни запела!

Очень хотелось Илье Николаевичу сохранить в школе драгуна. Но ведь неуч — какой же это учитель? Честно признался инспектору, что обучать грамоте не может: попробовал, мол, да испугался путаницы, которую занес в головы ребят. Вот незадача... Хоть сам садись за его подготовку!

Раздумывая на обратной дороге о предстоящих делах, Илья Николаевич все явственнее ощущал: в деятельности инспектора народных училищ границ установить невозможно.

* * *

Наутро Ульянов встал рано. День занимался погожий, подсохло. «А не прогуляться ли в какое-нибудь близлежащее сельцо? — пришлось Ульянову на мысль.— Пешочком?»

После всех удручающих впечатлений поездки очень ему захотелось солнышка... Да и с крестьянами-то

ведь он, по существу, еще не встречался. В Симбирской губернии не менее миллиона крестьян. Выйдя из рабского состояния, крестьянин, несомненно, потянулся к знаниям, к свету, входит в понятия новой жизни. Вот для кого он здесь.

В полях после уборки хлебов голо и пустынно. Но вот пригрело солнце — и торчащая повсюду мелким ежиком стерня затуманилась от пара. У Ильи Николаевича сразу хозяйственная мысль: «Химики взялись за дело — сырость и тепло, живо переработают остатки от снятого урожая в удобрение для следующего! Великий круговорот жизни...»

Порой он снимал фуражку, подставляя голову мягкому, струившемуся над землей теплу: «Благодать!»

Вдали на пригорке, среди деревьев, уже терявших листву, показались строения довольно большого поселка. На передний край выступило богатой постройки здание под красной железной крышей. Яркая, как мухомор, крыша, казалось, чванливо главенствовала над россыпью соломенных кровель.

Ульянов остановился. Внезапная догадка неприятно поразила его: «Неужели удельная?»

Знакомясь в Нижнем с различной педагогической литературой, Илья Николаевич читал и о школах, которые принадлежали не министерству просвещения, а ведомству уделов. Уделы — это поместья, составлявшие собственность царской семьи и разбросанные по всей России. Поместья были столь обширны, что для них понадобился не управляющий, а целое ведомство управляющих. Ведомство уделов обзавелось и школами, в них по особой программе готовили для царских угодий обслуживающий персонал.

Держали учеников в школе семь лет (это называлось «пройти курс семи столов»). Но это отнюдь не значило, что крестьянский мальчик, обычно силком загнанный в школу, получал солидное образование.

Рутина и зубрежка. Строго изгонялись всякие книги для чтения. Полагалось читать лишь псалтырь, часовник да «пособие для усовершенствования в нравственности». Наизусть разучивались нелепые схоластические диалоги.

Побои, издевательства. Рассказывалось, к примеру, об учителе, который за провинность ставил маль-

чика на четвереньки и ездил на нем верхом по классу; случалось, переламывал ребенку позвоночник, но цыц, посмей-ка кто-нибудь донести на всевластного учителя!

Пройдя «семь столов» школы, смышленые мальчики (а иных не брали) превращались в лицемеров или в безответных идиотов...

Да, так было! И Ульянов очнулся, как от дурного сна. «Великая реформа 19 февраля,— подумал он торжествующе,— покончила и с этими ужасами...» И он уже по-иному, с чувством доброй хозяйственной заботливости, взглянул на здание под яркой железной крышей: теперь это земская школа под его, инспектора, опекой.

Наконец он в селе. Да, постройка на зависть! Вон даже обшивку пустили по срубу.

«Этакой красоты в новых земских школах, конечно, не достичь,— размышлял Ульянов.— Сметы не позволят. Но зато обойдемся и без тюремных решеток на окнах!»

Захотелось Ульянову посмотреть и на внутреннюю планировку школьных помещений — взять и там поучительное. Глядит, а на месте крыльца полусгнившие ступеньки. Да и дверь заколочена, как перечеркнута досками, крест-накрест.

Илья Николаевич собрал крестьян. Но говорить ему не дали.

Кто-то, таясь за спинами других, истошно выкрикнул:

— Это што ж, знатца, обратно поворачиваешь на уделы? Долой, не желаем!

И, словно по сигналу, толпа угрожающе зашумела.

Илья Николаевич выступил вперед.

— С удельными школами покончено, и, слава богу, безвозвратно! — крикнул он в ответ.— Это ваше собственное здание! Стоит без пользы! А детишек посылаете учиться за несколько верст в соседнее село! Где же здравый смысл? — выкрикивал он, теряя голос от приступов кашля.— Послушайте меня: я помогу вам открыть школу на месте...

Но слова его тонули в реве толпы.

— Не желаем! Нет на то согласия схода! Долой!

Так он и ушел ни с чем.

А несколько позже, уже в Симбирске, ему доложили, что здание бывшей удельной школы в этом селе по невыясненной причине сгорело.

* * *

Установилась зима. Илья Николаевич Ульянов, живя в Симбирске, редко появлялся в городе. Забежит домой, чтобы обнять жену и детей, и уже спешит в свою инспекторскую канцелярию. Он не терпел, когда накапливаются бумаги; даст им ход, сделает распоряжения делопроизводителю — и опять в дорогу...

Прежде чем начать объезд губернии, он основательно поработал над картой, с циркулем и масштабной линейкой в руках. Расчеты сделал строго на санный путь, исключив время осеннего и весеннего бездорожья. Глядит: а зима-то совсем коротенькая! Пожалуй, и не управиться с объездом... Но, с другой стороны, не растягивать же объезд губернии на две зимы, этак и за учебным годом в школах не уследишь!

Не знали еще симбирские деятели столь обширных и смелых предприятий. Казалось им, вновь появившийся в городе чиновник замыслил фантастическое: на территории губернии полозьями своего возка прочертить новые линии географических широт, новые линии меридианов...

А Ульянов и прочерчивал.

Перечень школ, которым руководствовался инспектор Ульянов, был заготовлен в земстве. Но Илья Николаевич в жизни своей не встречал более легкомысленного документа. Приходилось то и дело развинчивать дорожную чернильницу и вычеркивать школы названные, но не существующие.

Дорога, дорога... Бренчит колокольчик, поскрипывает снег под полозьями... Порой, чувствуя, что мороз начинает обжигать то бок, то спину, Ульянов сбрасывал с плеч тулуп и, оставшись в легкой меховушке, выскакивал из возка, бежал рядом, согреваясь.

Однажды в деревенском трактире Илья Николаевич согревался чайком. К прилавку подошел какой-то босяк, спросил чарку водки, выпил, крякнул от удовольствия и пошел к выходу, гремя обледеневшими лаптями.

— Эх, человече, человече...— вздохнул трактир-

щик,— когда за посетителем, брякнув колокольчиком, закрылась дверь.— Сколько же это он верст на своих двоих вымерял? До уезда тридцать пять, да обратно. Да не по одному разу... За своими-то заработанными... А уж и жалованье это учительское — срамота: за все про все в год двадцать пять рубликов! Только с получки и разговляется на чарочку. Ишь, даже закуски не взял, чтоб не разориться, прищелкнул языком — и до свиданьица!..

Илье Николаевичу стало жарко, но только не от выпитого чая: от стыда за министерство просвещения, за свою должность инспектора.

Расплатившись, он кинулся искать учителя. Женщина у колодца сказала: «Видала. Пошел обедать». Но где именно человек сегодня обедает, ответить затруднилась. Еще того не легче: оказывается, учитель на харчах у общества, совершенно так же, как летом пастух,— сегодня его покормят в одной избе, завтра — в другой, послезавтра — в третьей.

«Кажется, этим человеком дорожат на селе,— с некоторым облегчением подумал Ульянов.— Зря бы не кормили!»

Настиг Илья Николаевич лапотника в помещении школы. Назвал себя, попросил предъявить конспекты уроков.

А инспектируемый возьми и сдерзни:

— Не до конспектов было. На собачьих рысях за казначеем гонялся, а то и помрешь — не вспомнят... А учительствую вот по какой методе: «Дитяти лучше быть на конюшне, на кухне, в огороде, чем сидеть над книгой, мучаясь над абстракциями с мокрыми глазами...»

— Голубчик! — воскликнул Илья Николаевич и удивленный, и обрадованный.— Да ведь в этих словах Песталоцци — высшая мудрость нашего живого школьного дела! Вы много его читали?

Учитель улыбнулся, и бородатое его лицо вдруг стало совсем юным, почти мальчишеским. Сказал мечтательно:

— Кажется, я уже наизусть знаю его записки о воспитании сына, но, перечитывая, открываю в них новые и новые сокровища... Какой гениальный педагог! Какой чуткий воспитатель! А этот дух самопожертво-

вания ради счастья не только сына, а каждого ребенка, всех детей в мире, кто брошен на дороге жизни и погибает от жестокостей общества...

Молодой человек умолк, лишь улыбался, смотря куда-то вдаль. Он, конечно, продолжал говорить, но теперь уже только мысленно, для себя. А Илья Николаевич не торопил юношу с разговором, молча им любовался.

Наутро, когда в классе собрались ученики, подтвердилось, что учебный процесс здесь построен с полным знанием дела: грамоте Лука Лукич обучает, следуя передовой звуковой методе, а не буквослагательной, за которую еще цепляются во многих школах; уроки содержательны, интересны; учитель зорко следил, чтобы никто не оставался без дела и весь класс дружно трудился с большой для себя пользой.

Но это было уже на следующий день, утром. А сейчас из-за печки вышел тот же самый Лука Лукич, но уже не лапотником, а в сапогах; на нем была сарпинковая косоворотка, подпоясанная цветным шнуром с кисточками.

Вид уже приличный. Но одежда была из самого дешевого материала, и Илья Николаевич понял, что она сберегается для выхода в класс, к ученикам. Пусти ее в повседневную носку — живо расползется.

Затопили печку, сели к огоньку. Илья Николаевич помешивал кочергой дрова, и жерло печи гудело от доброй тяги, сияло и золотилось.

А Лука Лукич стал читать стихи.

Начал он тихо, проникновенным шепотом:

Спасибо, друг.
Мы встретились случайно;
Но для меня так много сделал ты,
Что превзошло все, что хранил я тайно
В душе, как фантастичные мечты...

— Чье это? — поинтересовался Илья Николаевич.

Тот повел головой — мол, послушайте дальше — и продолжал:

Я не за то тебя благословляю,
Мой добрый, честный, мой отважный друг,
Что если я свободу вновь узнаю,
То, может быть, ценой твоих услуг.
Услуги — вздор! Но ты всю сладость веры
Мне возвратил в успех добра, в людей,

И нет, поверь, да и не будет меры
Любви и благодарности моей!

Илья Николаевич, повернувшись к парню, ждал ответа, и тот, вдруг смело взглянув ему в глаза, даже с вызовом и как бы с готовностью вступить в бой, ответил:

— Вы спрашиваете, чьи стихи? Это один наш товарищ, нечаевец. Из тюрьмы передал на волю... Кто в тюрьме, а кто бежать успел из Москвы, когда кружок наш студенческий громили. А я вот здесь, в тиши приютился. Не прогоните?

Илья Николаевич молча пожал ему руку.

* * *

«Бывало, сидишь в теплой, покойной комнате, тревожно прислушиваясь к яростным воплям зимней метели, уже третьи сутки не выпускавшей мужика из избы, остановившей всякое движение, все работы, и вдруг под самым окном прозвенит колокольчик. Думаешь, кто заехал в такую пору, а сам уже спешишь в прихожую, чтобы встретить гостя. Входная дверь отворяется, и передо мной Ульянов, весь занесенный снегом, с обледеневшими бакенами и посиневшим лицом. Он не в состоянии говорить от холода и только по своему обыкновению добродушно посмеивается, с величайшими усилиями вылезая из своего нагольного тулупа и наполняя всю прихожую снегом. Начинаются заботы о том, чтобы как можно скорее обогреть и успокоить скитальца, но тот как ни в чем не бывало быстро ходит взад и вперед по комнате, расправляя свои окоченевшие члены, а сам уже заводит разговор о школах, о своих наблюдениях, школьных радостях и горестях и продолжает говорить все об одном и том же предмете во время чая, ужина; вас клонит ко сну, а он все продолжает говорить, и первое слово, с которым встретит вас поутру, это все та же школа...» (из воспоминаний симбирского общественного деятеля и литератора Валериана Никаноровича Назарьева).

* * *

Весна. Неслышно раздевшись в передней, Илья Николаевич подошел на цыпочках к двери, что вела в комнаты. Увидел в щелку жену, детей и с трудом удер-

жался, чтобы не броситься к ним. Пересилило чувство предосторожности — ведь с дороги, даже еще не помылся. И дал знать о себе только веселым возгласом через дверь:

— Ау, ау, грачи прилетели! Нет, нет, Маша, не подпускай меня, гони в чистилище! Я же совсем омедвежил за эту сумасшедшую зиму!

Квартиру Ульяновы снимали у домовладелицы Прибыловской, во дворе, во флигеле.

В глубине двора стояла баня — вполне приличный сруб, с выводом дыма через трубу. Илья Николаевич только теперь, возвратясь из поездки, в полной мере оценил, какое это удовольствие — поразмять косточки в хорошо устроенной баньке! Возрождается чувство чистоплотности — одно из самых праздничных человеческих ощущений. А в деревнях... Бани есть, но в каком же они виде! Случалось Илье Николаевичу влезать в парильню, как в берлогу; мыться, задыхаясь в дыму. Да что бани! Жилые избы сплошь да рядом топятся по-черному, особенно в чувашских и мордовских селениях.

«Жилище человека должно быть светлым, радостным, уютным»,— думалось Ульянову в такие минуты. И хотелось воскликнуть: «О Россия! Когда же войдешь ты в светлый дом свой?»

Хозяйский работник помог натаскать воды из колодца, затопить баню. Вместе и мыться пошли.

Потом в блаженной расслабленности Илья Николаевич лежал на полке. Наконец-то он дома, с женой и детьми. «Боже,— подумал он,— есть ли предел человеческому счастью?»

...Илья Николаевич все еще нежился на банной полке, то задремывая, то лениво постегивая себя веником. Вставать не хотелось: только бы смотреть и смотреть картины его счастья с Машей...

А Мария Александровна в это время готовила не только самовар. Она подошла к зеркалу и с большой строгостью принялась исследовать свое лицо. Не выдаст ли усталый взгляд? Не слишком ли бледны щеки? Она пережила тяжелую зиму. Плакала... Порой вечерами даже читать не хотелось. И к роялю охладела. Притронется к клавише пальцем и со вздохом

опустит крышку. Стоит и слушает, как замирает одинокий звук...

А потом — ночь без сна. «Где-то сейчас Илюша? Он ведь такой непрактичный, не умеет и подумать о себе...» И ей мерещилась снежная пустыня, по которой, настигнутый вьюгой, едва пробирается возок... А спасительного огонька жилья все не видать. «Пресвятая богородица, кто же поможет ему? Нет, нет, так невозможно жить...»

Все это Мария Александровна словно прочла на своем лице в зеркале. И встревожилась: ничего этого не должен прочесть Илюша! Никогда она не скажет ему о том, как замучилась в ожидании.

* * *

После бани Илья Николаевич благодушествовал, расположившись в кресле. Пил чай, лакомился домашними булочками.

— А к слову сказать, Маша, и чуваши умеют вкусно поесть. Например, тавара — пальчики оближешь! Это вот что. На столе — горшок, в нем горячее топленое масло. А в масле... Тут надо погрузить ложку до дна — и вытянешь творожный шарик...

Мария Александровна заинтересовалась, спросила:

— Илюша, ты что-то недосмотрел: в масле творог расползается, какие тут шарики?

Илья Николаевич словно только и ждал коварного вопроса. Победно улыбнулся:

— А тут хитрость чувашской стряпухи! Шарики не сразу кладут в масло, а высушивают: на противень — и с вечера в вольную печь, к утру готовы!

— Ну что ж,— сказала Мария Александровна,— ты научишь, а я приготовлю, если тебе так понравилась тавара...

— Очень понравилась. Вообще у меня самые лучшие впечатления от чувашей. И я не перестаю возмущаться мракобесием иных наших профессоров-этнографов.

Илья Николаевич прищурился, что-то припоминая. Тронул себя за бороду:

— Вот послушай, Маша... За правильность фонетики, понятно, не ручаюсь. «Ахал лариттен керек

аркине те пулин павала». По-русски эта поговорка значит: «Чем так стоять, хоть полу накручивай у своей шубы».

— Какая прелесть! — воскликнула Мария Александровна.— Народный юмор, бьющий наповал бездельников!

— По-моему,— вставил Илья Николаевич,— и некоторых господ профессоров. Считают поволжские народности неполноценными людьми. Подумать только!..

* * *

Доклад Ульянова о зимней поездке по губернии вызвал в официальных кругах Симбирска конфуз и растерянность...

Земцы хвалились: радением их и трудами сеть народных школ к 1869 году доведена до 460 единиц.

Приятнейшее это число взял в свой годичный отчет губернатор. Его сиятельство, как обычно, красной строкой с особым удовольствием поставил сведения о сословной мощи губернии: 3115 проживающих по преимуществу в родовых имениях потомственных дворян и 2751 чиновник счастливы, как выразился его сиятельство, верноподданнически считать себя опорою престола.

А число «460» вошло в отчет как знак просвещенного направления мыслей дворянства. При этом его сиятельство учел, разумеется, и собственный интерес. По новому положению, губернатор обязан состоять членом губернского училищного совета. Его сиятельство и состоял; следовательно, успехи в школьном деле вправе был отнести за счет неусыпного попечения о вверенной ему губернии.

Председательствовал в губернском училищном совете архиерей, преосвященный Евгений. Владыка, доносясь по своей церковной линии о положении дел в епархии, тоже использовал выигрышное число «460».

Его преосвященство не был завистлив, но дьявол порой шептал ему: «Сочти воинство губернатора и сочти свое. Там помещики и чиновники вкупе составляют 5866. А у тебя в губернии духовенства — белого и черного — 13 198 лиц, то есть вдвое больше; вдобавок к этому у губернатора греховодники — пьяницы, картеж-

ники и прелюбодеи, а у тебя пастыри со крестом в руках и словом божиим на устах...»

Заслугу в преуспевании школьного дела архипастырь, натурально, отнес к себе...

460 школ для народа! Симбирцев хвалили, симбирцам завидовали. Деятели училищных советов — как губернского, так и уездных — были поощрены новогодними наградами...

Успехи очевидны. Оставалось их подытожить на годичном собрании губернского совета, а это какие-нибудь час-полтора приятного времяпрепровождения; после чего дамы готовили бал.

И вдруг является инспектор народных училищ Ульянов — строгий, сухой, затянутый в мундир — и ставит свой доклад, объявив его чрезвычайным.

Уже было известно, что вновь назначенный в губернию чиновник наделен крупными полномочиями. А в губернский совет входит действительным членом наряду с губернатором и еще двумя господами. Все это так. Но слишком уж бесцеремонно новоприезжий вторгается в разработанную программу вечера...

Встретили Ульянова с холодком.

Илья Николаевич не принадлежал к ораторам громовержцам и ниспровергателям. Эффектного жеста не искал, голос не форсировал. Как всегда, так и на этот раз обходился скромными своими голосовыми средствами. А впечатление от речи было потрясающим.

Оказалось, что никакой школьной сети в губернии нет, можно говорить лишь о жалких обрывках сети.

— 460 школ — это плод ленивого воображения некоторых земских деятелей,— говорил Ульянов с грустной улыбкой,— вредный плод. Такие плоды выбрасывают, а не несут на стол...

В зале — ни звука.

Возразить Ульянову не было возможности. Он называл факты и цифры, факты и цифры...

Инспектор установил, что лишь 19 процентов из 460, то есть только 89 школ, представляют более или менее организованные учебные заведения.

В зале сидели сановитые господа. Сперва свою растерянность перед цифрами и фактами они пытались прикрыть ироническими усмешками, но вскоре лица их стали откровенно злыми. Некоторые повели себя

вызывающе, стали возмущаться вслух, особенно один толстяк в дворянском мундире.

Илья Николаевич обратил взор к председательствующему. Но тот не способен был навести порядок: погрузив нос в апостольскую бороду, он мирно дремал.

Кто-то из публики не выдержал, потребовал, чтобы грубиян замолчал. Услышав фамилию толстяка, Илья Николаевич догадался, что перед ним — председатель Симбирского же, только уездного, училищного совета. Анекдотическая фигура! Как рассказывал Назарьев, этот господин ежегодно ассигнует на школы в уезде (а их числится 55) 100 рублей; пишется соответствующий протокол, после чего председатель запирает деньги на ключ. «У меня двухсотпроцентная экономия»,— похваляется он своей деятельностью.

Но Ульянов, будучи в поездке, вскрыл еще более скандальные его проделки. Об этом и сказал во всеуслышание:

— Мы с вами еще незнакомы, господин уездный председатель... Рад случаю. И кстати, к вам вопрос... Как руководитель уездного совета, вы, разумеется, заглядывали в Мостовую Слободу? До села этого рукой подать — не могли не заглядывать. Школы там нет — почему же таковая значится в документе, вами подписанном? Недалеко отсюда и село Карлинское — и тамошняя школа только на бумаге. И в Панской Слободе, и в Шиловке... В чем дело? Соблаговолите объяснить собранию.

Толстяк молчал, наливаясь кровью, а в зале веселое оживление.

Обезоружив наглеца, Илья Николаевич получил наконец возможность спокойно продолжать доклад. Заговорил о важности женского образования в России.

— Не исключение и деревня,— сказал он.— Грамотная деревенская женщина способна поднять к свету учения всю семью. Кому, как не ей, жене и матери, видны все темные и затаенные от постороннего глаза углы, из коих произрастают невежество, косность и все уродства деревенского бытия? Кто, как не она, извечная труженица-крестьянка, прозрев к свету, еще прежде мужика своего Белинского и Гоголя с базара принесет?

И тут же привел плачевные цифры: в деревенской школе на пятерых мальчиков только одна девочка.

Внезапно оживился толстяк. Он выкарабкался из кресла, встал и, повернувшись к залу, поднял руку, как бы испрашивая себе полномочие для ответа инспектору.

— Человек вы приезжий. Живете у нас какие-нибудь полгода. А уже беретесь читать нравоучения, да не школьникам, а столбовым дворянам!..— Толстяк помолчал, подавляя в себе вспышку гнева, и продолжал: — Наш край знал жестокие времена. Тому нет и ста лет, как Волга-матушка выбросила на наши берега чудовище Емельку Пугачева! Кровь, дым и смрад — вот что оставалось от разоренных дворянских гнезд... Я вам, господин Ульянов, готов показать дворянские семьи, где до сих пор, в четвертом-пятом поколении, не могут избыть скорби по родичам своим, замученным и растерзанным злодеем... Вот что, господин Ульянов, следует раньше всего взять в соображение!

Илья Николаевич терпеливо выслушал помещика.

— Простите, но мы, кажется, говорим о разном.

— Ничуть,— возразил толстяк.

— Я говорил о женском образовании...

— И я о том же! — Толстяк побагровел.— У Емельки жена была грамотейкой. Образованная разбойница! Устинья, звалась Кузнецовой, песнями Емельку, ишь, веселила! И благодарение богу и покойной матушке императрице Екатерине, что изловили и эту дрянь. Небось не до песен, пищать стала, когда заключили ее намертво в Кексгольмскую крепость!..— Толстяк передохнул — и опять: — Вам не нравится, что у нас в школах одна девочка на пятерых мальчиков? А мы, симбирцы, считаем: хватит. Поменьше злодеек будет по деревням да поменьше распутниц!

Илья Николаевич опешил. Под дворянским мундиром тучного господина он вдруг увидел обожравшегося дикаря, который замахивается каменным топором на развитие и будущее самой цивилизации!

— Бедные девочки...— только и смог вымолвить Ульянов. Помолчав, продолжал: — Но теперь я, кажется, понял, почему исчезли прежде существовавшие школы в Мостовой Слободе, Карлинском, да и в других селах. Ведь школы были женскими...

Угадал Илья Николаевич. Бешеный взгляд дворянина был тому подтверждением.

Он заговорил о вдохновляющих переменах в России.

— Россия, господа, на пороге обязательного начального обучения. Это обозначает всенародную грамотность! Лучшие люди и гении нашего отечества всегда мечтали об этом. В правительстве, как, вероятно, всем вам известно, этот вопрос всесторонне изучается. Последуют великие решения, а осуществлять их, господа, нам с вами!..

Сидят помещики, раздумывают по поводу «вдохновляющих перемен», а лица кислые...

Прения по докладу не развернулись — давала себя знать близость готовящегося бала. Дамы-устроительницы все нетерпеливее заглядывали в дверь, строя недовольные гримасы: залы-де существуют для танцев, а не для скучных рассуждений мужчин.

Поднявшись на трибуну для заключительного слова, Илья Николаевич озабоченно посмотрел на часы. А из зала: «Господин Ульянов, не торопитесь... Хотим вас дослушать!» Голос прозвучал не одиноко. В зале воцарилась благожелательная тишина.

Кто же в результате доклада, который он провел как честную битву, взял его сторону? Только не архиерей и не члены губернского совета! Да и уездные деятели огорчили его... Но в зале труженики народного образования — учителя, попечители и попечительницы начальных школ, почетные при школах блюстители — все это люди из местной интеллигенции; даже из уездов приехали на инспекторский доклад.

Илья Николаевич кратко изложил программу своей предстоящей деятельности, отвесил залу низкий поклон и под аплодисменты сошел с трибуны.

Откуда ни возьмись — Назарьев. Сквозь толпу пробился к кафедре.

— Радуюсь вашей победе! А вдвойне тому, что нашего дундука вы обратили в бегство... Смотрите на архиерея! — быстро закончил Назарьев.

Владыка что-то объявлял скорбным голосом.

Ульянов прислушался. Оказывается, председатель Симбирского уездного училищного совета сложил с себя председательские полномочия

Впоследствии В. Н. Назарьев написал об этих днях такие строки:

«Произошло нечто неожиданное... Точно вдруг среди суровой, слишком долго затянувшейся зимы настежь распахнулось наглухо запертое окно и в него полились лучи яркого солнечного дня. Да, это была настоящая весна, это было время всяких неожиданностей и только что не чудес. Да и как же не назвать чудом появление в наших палестинах таких людей, как Илья Николаевич Ульянов, единственный в то время инспектор народных школ на всю губернию, с первого же шага отдавший всю свою душу возложенной на него обязанности».

* * *

— Господин Ульянов, ну зачем же так официально?..

Губернатор даже руками развел. Торопливо встал с кресла и, обойдя свой обширный письменный стол, мелкими проворными шажками двинулся навстречу инспектору. Взял его руку в обе свои, мягко пожурил:

— Я пригласил вас... хотелось запросто побеседовать. А вы в полном параде!

Сели в кресла. Друг перед другом. Губернатор улыбается, и Ульянову в ожидании разговора ничего не остается, как улыбаться.

Старик вздохнул и выразил сожаление, что не сумел присутствовать на докладе господина инспектора народных училищ.

— Впрочем, наслышан, наслышан... В городе только и разговоров...— Губернатор откинулся в кресле, и взгляд его вдруг стал сверлящим.

— Так сколько вы у нас насчитали школ, господин Ульянов?

Илья Николаевич, будто не замечая недобрых огоньков в глазах хозяина, повторил названную в докладе цифру.

Губернатор зло рассмеялся:

— Вот удивительно! А наши земцы насчитывают 460!.. Впрочем...— тут он сложил крестом руки на груди.— Не спорю, не спорю... Вы же, насколько мне известно, ученый-математик!

Илья Николаевич не ответил на колкость. Тут старик перенес свой гнев на земцев: его, своего начальни-

ка губернии, в какое положение поставили перед министром!

Губернатор что-то обдумывал, и выражение его лица не сулило приятностей. Ульянов заговорил, опережая его:

— Господин губернатор, я надеюсь, что наша Симбирская губерния будет иметь 460 школ.

Тот пристально посмотрел на собеседника. Быть может, он уже видел, что инспектор, ощутив всемогущество начальника губернии, идет на попятный: зачеркивает свои пакостные «89» и восстанавливает в правах число «460»?

Но Ульянов закончил фразу так:

— 460 школ на протяжении ближайших нескольких лет.— И продолжал: — В самой школьной сети, как она ни запущена, бьется пульс жизни. В нищете и неустройстве, а как беззаветно трудятся иные сельские учителя... В сегодняшнем номере «Губернских ведомостей» я опубликовал нескольким из них благодарность... Вы уже смотрели, ваше сиятельство, газету?

Губернатор сидел удрученный. Пришлось повторить вопрос, чтобы он очнулся.

Позвонил — и ему подали свежий номер губернской газеты.

Илья Николаевич помог найти публикацию.

Продолжая развивать свои планы, он добился того, что губернатор спросил заинтересованно:

— Вы считаете, господин Ульянов, что и я могу чем-нибудь помочь делу, о котором вы столь увлеченно печетесь?

— Несомненно! — И Ульянов тут же подсказал губернатору ряд полезных для школьного дела мероприятий.— Особенно важно, господин губернатор, чтобы интересами народного образования прониклись чины низшей государственной администрации. К примеру, волостной старшина может оказать нам, просвещенцам, неоценимую помощь; разумеется, если захочет.

— А я ему, такому-сякому, прикажу захотеть! — И губернатор в сознании своего могущества движением руки распушил бакенбарды.— Волостные старшины, дорогой господин Ульянов,— главная моя опора в гуще мужиков. Я бы сказал, мои волостные губернаторы!

И смею заверить, что среди этих верных мне служак вы встретите такое же полное понимание, как и у меня — губернатора губернского.

Он улыбнулся, как бы приглашая собеседника оценить его сиятельное остроумие. В ответ на приглашение улыбнулся и Ульянов.

— Ну, а теперь,— внезапно воскликнул губернатор,— услуга за услугу!

Встретились глазами. Илья Николаевич, настораживаясь, поглубже сел в кресло: «Вот оно, ради чего он меня вызвал!»

Хозяин встал, прошелся, повернул голову — и через плечо:

— А дамы в претензии на вас! «Ожидали,— говорят,— ожидали, когда наконец господин Ульянов кончит доклад, а он и на бал не остался».

— Я не танцую, ваше сиятельство!

Тот с живостью обернулся:

— Не верю! Не допускаю мысли!

Опять сел напротив Ульянова. Помолчал. Грустно склонил голову:

— Мой друг, вы обидели первую в губернии красавицу — нашу пленительную Лизет...

Оказывается, на балу танцевала госпожа фон Гольц.

— Вы с ней знакомы, господин Ульянов. Лизет очарована вашим умом, тактом, ученостью. И скажу по секрету, ищет вашей дружбы... Боже...— тут губернатор восторженно закатил глаза,— пройтись с Лизет в вихре вальса... А голубая мазурка на рассвете... Трамтара-рам-там-там! — Он притопнул ножкой по паркету.— И все это, мой друг, предназначалось вам. Бедняжка отказала множеству кавалеров...

Илья Николаевич уже догадывался, что губернатор не устоял перед красавицей. Сказал что-нибудь вроде: «Ма шер Лизет, считайте, что вы утверждены учительницей. А с инспектором Ульяновым я формальности улажу!»

От одной этой мысли все вскипело в нем. Такого приказа и сам губернатор от него не дождется!

Илья Николаевич набрался духу.

— Ваше сиятельство! — прервал он сладкозвучную речь.— Вы правы. Я не оказался достойным ка-

валером. Но хочу быть рыцарем в отношении госпожи фон Гольц!

Губернатор умолк. С интересом уставился на собеседника.

— Что там учительство! — начал Ульянов, спеша вырвать инициативу.— Возня с крестьянскими ребятишками, трата нервов...— тут Ульянов для выразительности сморщил нос.— Нет, это не для мадам фон Гольц! Большому кораблю, как говорится, большое плавание!

— Ну-те, ну-те...— оживился хозяин, вместе с креслом придвигаясь к Ульянову.

Илья Николаевич напомнил, сколь мизерны средства, ассигнуемые на школьное дело и казной, и земством (при упоминании земства губернатор с презрением махнул рукой), и сказал, что в этих условиях приходится рассчитывать на отзывчивость общества.

— Вообразите, ваше сиятельство, подписной лист в руках госпожи фон Гольц! Уверен: богатейшие люди губернии откроют перед нею кошелек!

Хозяин был застигнут врасплох.

— Вы полагаете?..— промямлил он.— Кто же у нас уж такие богачи?

Ульянов пошел в лоб:

— За вами почин! — Он взял с губернаторского письменного стола лист бумаги, обмакнул перо.

— Сколько?..— буркнул тот, явно сдаваясь.

Ульянов проявил деликатность: не определил суммы взноса. Только сказал:

— Надеюсь, не станете возражать, если я о сделанном вами благородном почине дам публикацию в «Губернских ведомостях»? Это послужило бы убедительным примером для многих...

— Подписываюсь на всю мою наличность! — объявил губернатор, весьма довольный собой.— Здесь 230 рублей 71 копейка. Извольте, господин Ульянов, принять деньги.

— Полагаю, что этот лист с вашей подписью и проставленной вами суммой пожертвования следует переслать...— Илья Николаевич сделал паузу, предоставляя губернатору догадаться.

Тот улыбкой поблагодарил его и позвонил.

— Запечатать,— приказал он вбежавшему курьеру,— и госпоже фон Гольц. Отправить с фельдъегерем! В собственные руки!

* * *

Ульянов покинул дом губернатора очень довольный собой. Сам удивился своей находчивости. Но с волками жить — по-волчьи выть!

Привлечена к делу фон Гольц. Насчет этой барыньки Илья Николаевич не строил иллюзий. Не удивится, если «красавица Лизет» швырнет подписной лист в лицо, да не фельдъегерю, а самому губернатору.

Ульянову казалось, что он видит ее насквозь. Да, он был наблюдателен, как и свойственно хорошему педагогу. Но вместе с тем — кристально честен. А очень честные люди порой не способны разглядеть во всей глубине мерзость человеческой натуры, таящуюся, скажем, под личиной златокудрого ангела. И расплачиваются за это...

Но не будем забегать вперед. Пока что поступили сведения, что госпожа фон Гольц подписной лист приняла.

«Симбирские губернские ведомости» не замедлили оповестить публику о благородном почине господина губернатора (сумма пожертвования была выделена жирным шрифтом).

В уважение к хозяину поднатужились земские деятели: несколько увеличили пособия сельским школам.

А государственная казна? Она верна себе: как и в предыдущие годы, ассигновала на начальное образование в губернии круглый... нуль.

И раскошеливаться пришлось прежде всего мужику. Подать в казну отдай; выкупные за помещичьи земли снеси; вот и земство свое требует — установило земские сборы. В каждом бюджетном рубле — 85 копеек крестьянских...

Крестьянин мыслит практически. Уважает арифметику. «Дважды два да трижды три» — плати, господин заезжий купец, правильную сумму за зерно, что тебе смолочено, за кудель, за овчины!

А к чтению, письму недоверие. Крестьянин негодует: «Мальчишка две, а то и три зимы потерял, а читать не может... Да на кой ляд нам такая школа!»

Илья Николаевич говаривал по этому поводу учителям: «Жертву буквослагательного способа гениально показал Гоголь. Вспомните чичиковского Петрушку».

«...Все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое, иной раз, черт знает, что и значит».

Полный переворот в обучении грамоте нес «звуковой метод», разработанный передовой педагогикой, и Ульянов был страстным его пропагандистом. Изначальный в руках учителя материал здесь не буква, а полное слово. Слово звучит в классе, ученики повторяют его вслед за учителем — слово во всех его красках, со всей музыкальностью, на полную глубину смысла; затем при помощи учителя (незаметной!) дети расчленяют слово на слоги, а там не затрачивая особых усилий, добираются и до букв... Не проходит и года, как ученик, не умевший книгу раскрыть, уже бойко и осмысленно читает!

«Зеленый шум, весенний шум... Идет-гудет...» Звуковой способ, мыслилось Ульянову, принесет в школы дыхание весны. Да и мужик увидит толк в школьном обучении детей.

«Да, он беспортошный,— говорил себе Ульянов,— да, у него пустой от поборов карман. Но... но он, наш мужичок, вместе с тем и несметно богат! Мудростью богат народной, мудростью!..» И заключал: «Вот это богатство свое, которого никто не в силах отнять, мужик и положит полной пястью на школы!»

* * *

Ульянов обернулся и, не без труда оторвавшись от работы, встал навстречу щегольски, уже по-летнему одетым посетителям.

На пороге Назарьев. Улыбается с таким видом, что вот-вот преподнесет сюрприз. Сюрпризом оказался его спутник.

— Привел и представляю вам, Илья Николаевич, нашего нового председателя уездного училищного совета — Николай Александрович Языков.

Короткая церемония знакомства — и приступили к делу. Ульянов разложил на столе материалы своего зимнего объезда губернии; все было проанализировано, приведено в систему.

В заключение беседы Илья Николаевич развернул на столе чертеж школьного здания.

— На ваш суд и усмотрение, господа!

Языков осторожно заглянул в чертеж; мало что понял в нем и спросил:

— Это у нас в земстве изготовили, в строительном отделе?

Ульянов усмехнулся:

— Пробовал туда обращаться. Но земцы школьным строительством гнушаются. Мудрствуют над чем-то более значительным.

— Так откуда же этот проект?

— Мой собственный.

В проекте — сельская школа. Илья Николаевич позаботился о том, чтобы в классе, рассчитанном на определенное число учащихся, было бы достаточно в соответствии с научно-гигиеническими нормами света и воздуха; чтобы зеркало печи излучало тепло соразмерно помещению и потребностям детского организма; чтобы удобен был вход, а на случай пожара и безопасный выход.

Учитывая скудость земской кассы, здание школы запроектировал одноэтажное, деревянное. К проекту были приложены расчеты строительных материалов, рабочей силы и денежная смета.

— Прошу обратить внимание на форточки в окнах. За форточки костьми лягу! Это же бедствие — во всей губернии школы без форточек.

Проект понравился.

— Не сомневаюсь, что мы утвердим его на училищном совете,— сказал Языков.— Да заодно и пристыдим наше земство. Этакие бездельники!

— Я уже голосую! — подхватил Назарьев.

С первых же месяцев своей инспекторской деятельности Илья Николаевич стремился использовать любую возможность для подготовки учителей. В Симбирске, при городском уездном училище, обнаружил учительские курсы и тут же принял участие в их работе.

Расширяя и расширяя подготовку учителей, Улья-

нов пришел к идее учительских съездов. Убедил губернатора поддержать его перед попечителем округа.

В. Н. Назарьев дал с натуры картинку съезда: «Слух о съезде, вскоре задуманном Ульяновым, вызвал неописанное волнение между нашими сельскими педагогами, а в начале сентября, если не ошибаюсь, 1873 года к Симбирску потянулись разнообразные тележки и брички с законоучителями, учителями и учительницами, стремившимися на съезд... На следующий день зало мирового съезда преобразилось до неузнаваемости: в углах размещены деревья всех существующих в нашей местности пород и образцы всевозможных хлебов, а на возвышении... учебные пособия...

Все носило на себе отпечаток небывалого одушевления и лихорадочного напряжения, обсуждение уроков становилось все живее и живее: выяснились главные положения педагогики и лучшие приемы обучения грамоте и счету.

...Последний день съезда приходился на праздник... Еще до обедни толпа учителей со своим инспектором и одним из членов совета направилась к телеграфной станции. Здесь Ульянов познакомил их с законами электричества, а после обедни им же показал физический кабинет военной гимназии. Больше и показывать было нечего в нашем городе...»

Учительские съезды стали ежегодными. Откликаясь на потребности то одного уезда, то другого, Ульянов каждый съезд проводил лично.

Илья Николаевич получил с почтой из Казани подарок. Это была тонюсенькая — в синей обложке — книжечка. Под обложкой, на титульном листе: «И. Яковлев. Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки. Казань. В губернской типографии. 1873». Все 32 странички букваря исполнены от руки, а затем, видимо, отпечатаны с камня. И понятно почему: взяв за основу русский алфавит, Яковлев вынужден был русские буквы, чтобы приспособить их к чувашской фонетике, испещрить различными значками, а в наборной типографской кассе вновь изобретенных литер, разумеется, не нашлось.

Илья Николаевич, перелистывая книжечку, называл вслух чувашские слова, сверяясь с яковлевской их транскрипцией.

«Хорошо и просто!» — заключил он и написал Яковлеву в Казань: «Я получил вчера экземпляр Вашей книжки. Очень рад за Вас, что она окончилась печатанием, постараюсь употребить со своей стороны возможное содействие распространению ее в чувашских школах...»

Кто же такой Яковлев? Чуваш, студент Казанского университета.

По окончании университета Иван Яковлевич Яковлев при содействии Ильи Николаевича был определен инспектором чувашских школ в Симбирской и смежных с ней губерниях. Яковлев восторженно полюбил Илью Николаевича, и они навсегда остались друзьями.

* * *

Сохранились документы, читая которые как бы обозреваешь обширную деятельность Ильи Николаевича Ульянова. Это его ежегодные отчеты. Под титулом «отчета» заключен научно-исследовательский труд — страстный, полемический, опирающийся (разумеется, анонимно) на идеи Чернышевского (например, о роли в воспитании детей наук общественных), Чернышевского и Добролюбова (об обучении детей каждой национальности на родном языке), Чернышевского и Добролюбова, Песталоцци и Ушинского о том, что обучение ребенка и его воспитание — процесс единый; мало того, учитель, какой бы предмет он ни преподавал, должен быть прежде всего умелым воспитателем.

Эту мысль, подтвержденную собственным педагогическим опытом, Ульянов в одном из отчетов выразил так:

«В хорошо организованных училищах и у преданных своему делу учителей не встречается надобности употреблять какие бы то ни было меры взыскания с учащихся, потому что последние любят и уважают своих наставников и не позволяют огорчать их каким-нибудь поступком».

Годовые отчеты Ульянова... Это как бы отпечаток шагов — неторопливых, полных раздумий, порою тревог, но не ведающих усталости; ибо это шаги человека со светильником в руках.

Шли годы...

* * *

— Ваше превосходительство, может быть, все-таки отдохнешь?

Мария Александровна предложила мужу стакан свежезаваренного чая. Илья Николаевич, оторвавшись от работы, принял чай и жадно отпил глоток.

— Илюша, а ты знаешь, что время уже за полночь?

А он беспечно:

— Подумать только, куда мы с тобой, Маша, забрались — в генералы! Даже оторопь берет: пге-восхо-дительство! Пгево... Даже выговорить толком не могу это пышное величание!

— А я горжусь! — и Мария Александровна приосанилась: — Горжусь твоим высоким чином и орденом горжусь. Свое, заслуженное... Но работаешь, Илья, сверх всякой возможности. Я извелась с тобой...

— Машенька! — тут Илья Николаевич лукаво прищурился.— А ведь ты чуточку опоздала отрывать меня от стола. Я уже сам оторвался.— И он возгласил торжественно: — Финис коронат опус!

Мария Александровна, обрадовавшись, всплеснула руками:

— Закончил? Поздравляю. Только мне непонятно, зачем ты спросил крепкого чая, если работа закончена? Чтобы испортить себе сон?

Илья Николаевич повинно опустил голову.

— Прости, что не дал тебе спать. Но мне так недоставало тебя — именно сейчас, в эти полуночные часы. Ведь завершился труд десятилетия — это наш с тобой совместный юбилей!

— Значит, посиделки? — улыбнулась Мария Александровна и принесла рукоделие.

Сели на кушетку, и Илья Николаевич увидел лицо жены вблизи и с полной ясностью. И на нем — печать десятилетия, трудного, полного забот о куске хлеба и о детях. Вот этого самого десятилетия, юбилейного...

Усмехнулся иронии жизни. Но чтобы не выдать поднявшегося в нем чувства горечи, поспешил отвлечь внимание жены на себя.

— Маша, а ведь я старик!.. Полтина лет миновала,— сказал он уже в суровом раздумье.— Это я от

одной старой чувашенки услышал. Взглянула на меня оценивающе — и не ошиблась ведь. Как раз на будущий год мне — полтина...

— Ну что ж, и отпразднуем! — весело сказала Мария Александровна.— Но ведь я осталась послушать отчет, Илюша.

Илья Николаевич потрогал стопку листов на столе.

— Неужели все это читать? — Он сделал кислую мину.

— А ты расскажи самое для тебя важное. Это и мне будет интересно.— В руках Марии Александровны уже бойко поблескивал вязальный крючок.— Я жду цифр.— Она знала пристрастие мужа к математическим расчетам и в поощрение ему улыбнулась.

— Готова поскучать? Хорошо. Но до цифр еще надо добраться! А допреж того ну никак не миновать Ермилу Мельника! Помнишь:

И чудо сотворилося —
На всей базарной площади
У каждого крестьянина,
Как ветром, полу левую
Заворотило вдруг!

Он, посмеиваясь, продолжал:

— И несут, и несут на сиротскую Ермилову мельницу, сиречь на школы, мужички наши столько медных пятаков, целковиков, лобанчиков, прожженной, битой, трепаной крестьянской ассигнации, что счет идет ежегодно уже на сотни тысяч рублей серебром!

Мария Александровна даже вязать перестала. Она любовалась мужем, радовалась за него.

— С подписными листами, кажется, особо преуспевает госпожа фон Гольц? — вставила Мария Александровна.

— Не только. Но и ее в числе других я уже неоднократно поощрял благодарностью в печати.

Особенной гордостью Ильи Николаевича стали новые школы. За десятилетие он построил 151 школьное здание. Учебный процесс в новых школах поставлен образцово; как ему и мечталось, зажегся свет маяков, столь необходимый для школ, что еще блуждают отягощенные грузом схоластических пережитков. Новые школы в огромной степени помогли Илье Николаеви-

чу держать на уровне современных педагогических требований всю школьную сеть губернии.

Общее число школ за 10 лет уменьшилось: было 460, стало 423. Однако разница в том, что цифра «460» была дутой, а теперь каждая из 423 школ и существует, и живет полнокровной жизнью.

В заботах об учителях Илья Николаевич проявлял не только здравый смысл начальника и организатора: «Больше людям дашь — больше с них спросишь». Нет, все, что он делал для сельского учителя, исходило прежде всего из движений его души, прекрасной в своих бескорыстных порывах.

«Вознаграждение учительского труда в среднем числе утроилось»,— скромно отмечает он в отчете за десятилетие. А ведь достижение — масштаба огромного. Мало того, Ульянов добился для учителя человеческого жилья на селе, права на отдых, на больничную помощь от земства. Заключив все это в скупую строчку: «Нельзя не признать, что в течение десятилетия все-таки достаточно сделано для улучшения быта учителей», Илья Николаевич тут же, зная, что отчет будут читать не только в округе, но и в министерстве, выдвигает перед правительством и общественными учреждениями целую серию новых настоятельных просьб.

Симбирский директор обеспокоен тем, что, как он пишет, «положение народного учителя ничем не обеспечено в будущем: не щадя сил, ни здоровья при исполнении своих нелегких обязанностей, он к концу своей нередко 30-летней службы остается без всяких средств». Следует учредить пенсии, и Илья Николаевич подсказывает земству, что обеспечить престарелых учителей можно без дополнительных источников средств: всего лишь путем упорядочения денежного земского хозяйства. Проект кладется под сукно, Симбирская губернская земская управа замышляет для своих служащих эмеритальную кассу; Илья Николаевич уже тут как тут со списком учителей. Эмеритальная касса — это, в сущности, копилка на черный день: средства кассы образуются из отчислений от жалованья ее участников. Умрет человек на службе или вынужден по нездоровью выйти в отставку — касса выручает: накопленные деньги выдает в виде единовременного пособия семейству.

«К сожалению,— замечает Илья Николаевич,— проект этот пока не приведен к исполнению». Сын или дочь из семейства учителя, окончив местную школу, порой стремятся продолжить образование. Но учитель, по наблюдениям Ульянова, «крайне затруднен» в этом.

Снова и снова Илья Николаевич взывает к министрам и земским деятелям...

— Машенька,— вдруг спохватился Илья Николаевич,— ты не устала?

— Кажется, Илюша, лампа устала.

В самом деле, свет в кабинете заметно сник, керосин в лампе выгорел.

— Знаешь, о чем я подумал? — сказал Илья Николаевич, зажигая свечу,— Луке-то Лукичу так и не довелось пожить на настоящем учительском жалованье...

Мария Александровна прервала мужа, сказала строго:

— Но не расстраивайся, пожалуйста. Я знаю, чего тебе стоило пережить эту страшную весть...

Илья Николаевич опустил голову:

— Дело рук фон Гольца... Будучи в Петербурге лейб-гусаром, фон Гольц, как выяснилось, знавался с «голубыми мундирами» (то есть жандармами). Обосновавшись помещиком, он не изменил своим симпатиям и в охотничьем азарте гонялся вместе с жандармами за политическими. Напав на след нечаевца Луки Лукича и обнаружив, что это один из любимых учителей ненавистного Ульянова, лейб-гусар возликовал вдвойне: и как удачливый охотник, и как супруг, делающий жене приятное для нее и оригинальное преподношение. В ее небесной голубизны глазах блеснули огоньки торжества: этот Ульянов будет знать, как соваться не в свое дело!

* * *

Конец лета 1884-го. Семья Ульяновых возвратилась из Кокушкина.

Отдохнувший, в отличном расположении духа Илья Николаевич пришел в свою директорскую канцелярию.

Первое, что он увидел на столе, была бумага, озаглавленная: «Правила о церковноприходских школах»

— Так-с. процедил он с огорчением.— Дожили, значит!

Церковноприходские школы — не новинка. В Симбирске было две да шесть в губернии. Но вот на столе у Ильи Николаевича бумага из Петербурга. Комитет министров, рассмотрев школьные дела, «мнением положил», что «духовно-нравственное развитие народа не может быть достигнуто без предоставления духовенству преобладающего участия в заведовании народными школами».

А вот и «Правила», в коих это мнение претворено.

«Ну что ж,— подумал Илья Николаевич философски,— умы человеческие в мнениях разошлись, но дело ведь решает жизнь — фактор объективный!»

Донесение из Сызрани... Илья Николаевич вспомнил с теплым чувством: там воплотилась его идея об учительских съездах. Нынешний 2-й инспекторский район.

«Нуте-ка, господин Аристовский, чем порадуете старика директора?»

А тот доносил, что приходится задерживать жалование учителям, потому что в земскую кассу запустило руки духовенство из местного церковноприходского училища.

Донесение из 3-го района. Уезды Алатырский и Буинский.

Инспектор Ишерский с возмущением описывает происшествие в селе Кошки. Волостной старшина и местный священник явились к учителю чувашской школы и потребовали, чтобы он освободил половину здания: есть, мол, указание, что в Кошках будет открыта приходская школа, а поместить ее негде. Учитель на это возразил, что в школе только комната-класс да его, учителя, жилье. На него заорали: «Никаких больше чувашских мерзостных языков! Россия православная, и школе тут стоять православной!» Многое из учебных пособий поломано, а половина парт растащена. Перепуганные ребятишки на занятия не ходят. Учитель сидит, запершись...

— Так-с...— гневно процедил Ульянов.— Что дальше? — И он стал выхватывать из почты бумагу за бумагой без всякого порядка.

К концу года число церковноприходских школ в губернии возросло с 8 до 22, частично за счет начальных училищ в системе министерства народного просвещения.

Протесты Ульянова оставались без последствий.

Тот же 1884 год. В один из осенних вечеров, после служебного дня, Илья Николаевич, как обычно, сел почитать газеты. Напоследок взял в руки местную земскую. Издавалась «Симбирская земская газета» раз в неделю, была заполнена ведомственными материалами, и читать тут, в сущности, было нечего; держал ее Илья Николаевич для справок.

В номере за 21 октября в глаза бросилось одиноко объявление: «Продается сходно двухместная карета. Зад на рессорах». Это рассмешило Илью Николаевича. «Зад рессорный,— мысленно пошутил он,— а в голове что?»

Однако в газете оказалась и статья, да пространная, в одном номере не уместилась. Названа: «Церковноприходские школы». Надо читать.

«Наконец сбылось давно ожидаемое всеми, кому дорога Россия, возвращение народной школы к ее первообразу... Церковь создавала и руководила народную школу. Так было сотни лет, так, даст бог, будет и на будущее время...»

Илья Николаевич поинтересовался, кто же это пишет: с большим апломбом, но не слишком грамотно? Авторской подписи не оказалось.

Отпала охота читать дальше. Но в тексте мелькнула фамилия Победоносцева. Держались упорные слухи, что именно он, Победоносцев, в прошлом профессор, а ныне первый в России царедворец, задумал насаждать церковноприходские школы, чтобы вытеснить начальные, народные, подозрительные ему своим светским духом. А мнение Константина Петровича имело в правительстве вес окончательный.

В статье воскуривался Победоносцеву фимиам. А вот приведено и собственное его высказывание.

«Настоящее время,— поучал Победоносцев,— время критики. Вся наука ушла в критику... Критика стала до крайности самонадеянною, считает все постижимым для себя... Ввиду таких-то крайностей критического направления в современной науке следует стара-

тельно оберегать в себе веру, как средоточное начало истины... Сильна народная вера! Поэтому, приступая учить народ, следует заботиться не столько о том, чтобы сообщить ему знания, сколько о том, чтобы возгревать в нем эту веру, а средство к тому — в слове божием...»

Далее «Земская газета» от рассуждений общих перешла к местным симбирским делам:

«Несколько лет тому назад в одном инспекторском отчете было рассказано по поводу инспектирования одной из лучших сельских школ...»

«Эге, это обо мне! — И Илья Николаевич быстро пробежал глазами следующие строки, улыбнулся: — Да, да, припоминаю... О микроскопе речь!» Этот ценный прибор он приобрел как учебное пособие, сам же и демонстрировал его в школах, потому что не только для учеников, но и для самих сельских учителей микроскоп был в диковинку.

Одна из учениц после этого в сочинении написала:

«Когда мы смотрим простыми глазами, в капле воды ничего не видно, а когда посмотрим на нее в особый инструмент, называемый микроскоп, то увидим, что в капле воды есть змеи и гады».

Сочинение девочки-крестьянки было написано грамотно, мысли наивные, но изложены толково и самостоятельно, и Илья Николаевич, порадовавшись тому, что и женские школы в губернии наконец-то пошли в нормальный рост, привел сочинение в ближайшем же своем годовом отчете как образец школьной работы.

Автор-аноним раскопал его и ударился в филиппику. «Скажите на милость, с какой целью было посвящать детей в таинства микроскопического мира? Вообразите положение мужика и бабы, родителей этой ученицы, когда она, с полным авторитетом, поведает, что они, глотая воду, глотают с нею разных гадов и змей! А инспектор доволен,— язвит аноним и заключает: — Весьма понятно при подобных условиях нерасположение нашего народа к новой школе».

— Ложь! — Илья Николаевич едва удержался, чтобы не порвать газету.— Только на плечах мужиков да баб и держится наша новая народная школа! Семьдесят — восемьдесят копеек крестьянских в каждом школьном бюджетном рубле! А на пустое дело мужик

гроша ломаного не даст! — И в новом приливе гнева: — Пачкун, вот пачкун! Пакостник из-за угла! — Илья Николаевич почувствовал слабость. Лег на диван. Ему не хватало воздуха. Расстегнул воротник, закрыл глаза.

Отлежавшись, сел, потянулся, зевнул и, складывая газету, опять увидел объявление о продаже кареты. «У кареты, следственно, зад рессорный, благоустроенный, а в голове — неважно что. Не так ли и у иных господ сочинителей?»

Глаза его смеялись...

Вот и святки. Осталась неделя до нового, 1885 года.

С дружески распахнутыми руками вышел в гостиную, где Мария Александровна уже принимала Валериана Никаноровича и Гертруду Карловну Назарьевых. Отношения между семьями давно уже скреплены чувством искренней дружбы.

Дети, резвясь около елки, втянули гостей в хоровод. Потом с детьми остались Мария Александровна и Гертруда Карловна, а мужчины пошли в кабинет обменяться новостями.

Сели, улыбнулись друг другу... Но тут же и помрачнели: в мыслях у обоих — гонения, обрушившиеся на народные школы. Назарьев видел, как тяжко переживает эту напасть Илья Николаевич, и страдал за него, бессильный помочь.

— Илья Николаевич,— сказал он,— отдохнуть бы вам! Не смею в крещенские морозы утащить вас в Назарьевку, я там сейчас, как медведь в снежной берлоге. Но дайте слово, что летом, даже еще весной, с первой песней соловья...

Ульянов, кажется, не слушал. От крыльев носа к кончикам губ бороздами пролегли морщины.

— Илья Николаевич! Ну послушайте же, что я скажу! — И Назарьев продолжал: — Отдых отдыхом, но этого мало. Вам надо серьезно поправлять здоровье. Хорошо бы вам за границу. В Швейцарские Альпы. Вот мы с Гертрудой Карловной недавно совершили чудесный вояж. Богатырем вернетесь, Илья Николаевич, послушайтесь меня!

— Да, надо бы...— отозвался Ульянов.— Богатырского во мне маловато нынче.

Илья Николаевич улыбнулся, казалось бы, совсем

не к месту. Но просияли и глаза. С душевным подъемом он заговорил на любимую свою тему — об учительских съездах. Сейчас, в пору безвременья, съезды, по мысли Ульянова, должны были сыграть дополнительно новую, неоценимой важности роль. Надо сохранить кадры учителей народной школы, на выращивание которых положено полтора десятилетия; принять меры к сплочению учительства, чтобы оно выстояло, не дрогнуло перед испытаниями, не рассеялось кто куда; чтобы, когда жизнь отбросит в сторону победоносцевых — не вечны же они! — уже на другой день в народных школах начались бы нормальные уроки...

— Все это,— говорил Илья Николаевич,— мы можем прекрасно осуществлять через съезды. В наших руках гибкий общественный аппарат, к нему и начальство уже пригляделось, да и мы ничем себя не скомпрометировали. Так что действовать и действовать!

— Да, да, конечно...— пробормотал Назарьев, чувствуя, что разговор приближается к критической точке. Но обратного хода уже не было.

— Кстати, Валериан Никанорович, вы не забыли, что в вашем Симбирском уезде учительский съезд пойдет первым в этом году? Вы, так сказать, открываете сезон, рекомендую исподволь уже готовиться.

Вот она, критическая точка. Именно о съезде Назарьев боялся заговорить. Но деваться некуда, надо отвечать.

— Илья Николаевич! — Он умоляюще поднял глаза.— Только вы не расстраивайтесь, прошу вас. Учительский съезд наш... Видимо, разрабатывается новое положение...

Ульянов потемнел и резким вопросом как бы вырвал у него внятный ответ.

— Запрещен?

— Да. Губернатор имеет указание.

* * *

В глубокой и непрестанной тревоге за здоровье мужа находилась Мария Александровна.

— Илюша,— говорила она,— скрепя сердце, но я примирилась с тем, что, прослужив двадцать пять лет, ты не пожелал выйти на пенсию, а только с еще большей горячностью устремился в свои школьные дела.

Но через несколько месяцев, в ноябре, исполняется твоей службе уже тридцать лет! Что у тебя в мыслях? Неужели и дальше намерен служить, отклоняя пенсию? Но ведь это при твоем пошатнувшемся здоровье самоистязание какое-то... Нет, я этого не вынесу!

А Илья Николаевич отвечал ей мысленно: «Друг мой, я не только потерял бы здоровье, но тут же захирел бы и погиб, облачись я в домашний халат...»

Друзья не допустили, чтобы Илья Николаевич остался одиноким в своих несчастьях.

Счастливый тем, что происходит в его доме, Илья Николаевич приговаривал:

— Вот это дружина! Силушка по жилушкам переливается... Только спросу на нас не стало!

Друзья вспоминали о первых шагах симбирского инспектора. В передаче добрых уст эти шаги порой неумеренно превозносились. Илья Николаевич тотчас требовал пардону и, посмеиваясь, цитировал Салтыкова-Щедрина: «Был он пескарь просвещенный, умеренно-либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то что мутовку облизать!»

— Сказка какая-то...— вдруг с горькой усмешкой сказал Илья Николаевич.— Открывали, какие хотели, школы, ставили, кого хотели, учителями... Просто воображения не хватает, чтобы представить те благословенные времена!

Он встал, прошелся в волнении, но тотчас был замечен из кружка дам. Блеснуло пенсне — это Прушакевич сделала движение. Склонив по привычке чуть-чуть набок свою красивую голову, Вера Павловна несколько мгновений наблюдала за своим старым другом и наставником. Ульянов сделался учителем, потому что не мог им не быть; она также. Для него в этом — смысл жизни; для нее — тоже.

Вместе с нею гимназию кончила Вера Васильевна Кашкадамова, но только через пять лет подруги встретились на педагогическом поприще: Кашкадамову заинтересовали Высшие женские курсы в Казани, где она завершила образование.

Обе стали выдающимися педагогами-ульяновцами.

Между тем Вера Павловна, наблюдая в гостиной за Ильей Николаевичем, обнаружила, что он оконча-

тельно замкнулся в себе: среди людей даже вступает в разговоры, а сам в душевном одиночестве. Обратила на это внимание сидевшей рядом Кашкадамовой, и подруги тут же решили взяться за хозяина, да с двух сторон сразу.

— Илья Николаевич, нам без вас скучно!

Подошел:

— Охотно присоединяюсь к компании. Только, увы...— он поклонился и с извиняющейся улыбкой,— даже две Веры не в силах поднять мою поколебавшуюся веру в человеческую добродетель.

— А это мы еще посмотрим! — сказала Кашкадамова.

— Это мы еще увидим! — в тон ей объявила Прушакевич, закуривая папиросу.

— Сажусь в цветник,— покорно согласился Илья Николаевич.— На исправление.

Прушакевич негромко, с чувством произнесла нараспев:

— «Жизни вольным впечатлениям душу вольную отдай...»

Это была строка из «Песни Еремушке» Некрасова — любимого Ильи Николаевича стихотворения.

Кашкадамова тотчас подхватила:

— «Человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай...»

Что-то дрогнуло в лице Ильи Николаевича. Эти женщины своим чутким прикосновением к его душевным струнам едва не заставили его расплакаться: вот был бы конфуз... Однако вызов сделан, и, как в народных играх, надо без задержки отвечать. Илья Николаевич и откликнулся:

— «С ними ты рожден природою — возлелей их, сохрани! Братством, Равенством, Свободою называются они».

Он вдруг, легко вскочив, со словами «Простите, я сейчас» быстро вышел из гостиной и так же быстро вернулся. В руках у него была тетрадь в твердых корочках с медными, для прочности, уголками. Он предъявил тетрадь дамам.

— Я знаю ваш почерк,— сказала Прушакевич,— он четок, красив, но здесь в каллиграфии вы превзошли себя.

— Вдохновило содержание,— застенчиво отозвался Илья Николаевич. Им была переписана «Песня Еремушке».

— А это что за автографы под «Песней»,— заинтересовалась Кашкадамова.— «Саша. 1877». «Аня. 1875». «Володя. 1881». «Оля. 1883». «Митя. 1885».

Илья Николаевич улыбнулся:

— Мой кучер Дунин как-то сказал об одиннадцатилетнем Саше: «Парень в разум взошел». Вот тут я и открыл мальчику высокий нравственный идеал «Песни Еремушке». А он впервые в жизни с удовольствием расписался. В разное время и другие мои дети «входили в разум». Отсюда и все эти автографы.

* * *

Директор
народных училищ
Симбирской губернии
30 октября 1885 г.
№ 796

Его превосходительству
господину Управляющему
Казанским Учебным округом

11 ноября сего года окончится срок первого пятилетия, на который я был оставлен на службе по выслуге мною 25 лет... Имею честь покорнейше просить Вашего ходатайства об оставлении меня вновь на службе на второе пятилетие.

Директор народных училищ
И. Ульянов

На ходатайстве — резолюция, бездушная и циничная: «Представить к оставлению до 1 июля 1887 г.». Попечитель согласился потерпеть Ульянова на службе лишь еще полтора года...

Анна Ильинична вспоминает:

«В декабре 1885 года, будучи на третьем курсе, я приехала опять на рождественские каникулы домой, в Симбирск. В Сызрани я съехалась с отцом, возвращавшимся из очередной поездки по губернии. Помню, что отец произвел на меня сразу впечатление сильно постаревшего, заметно более слабого, чем осенью... Помню также, что и настроение его было какое-то подавленное, и он с горем рассказывал мне, что у правительства теперь тенденция строить церковноприходские школы, заменять ими земские. Это означало сведение насмарку дела всей его жизни. Я только позже поняла, как тягостно переживалось это отцом, как ускорило для него роковую развязку».

Скончался Илья Николаевич Ульянов 12 января 1886 года, работая над составлением годового отчета. Приехавший врач определил кровоизлияние в мозг. Было Илье Николаевичу от роду неполных 55 лет.

«...Живо запомнилась мне Мария Александровна, бледная, спокойная, без слез, без жалоб стоящая у гроба» (В. В. Кашкадамова).

К новому, 1886 году Илья Николаевич был пожалован одной из высших наград империи — орденом Станислава 1-й степени. Знак ордена — крупная сияющая звезда на левой стороне груди и широкая муаровая лента через плечо...

Несколько строк из обширного некролога, опубликованного попечителем в циркуляре по Казанскому учебному округу:

«...Все сослуживцы покойного, учащие и учащиеся в городских народных училищах, г. вице-губернатор, директор и многие учителя гимназии, кадетского корпуса и духовной семинарии и все чтители памяти покойного (а кто в Симбирске не знал и не уважал его), и огромное число народа наполнили дом и улицу около квартиры покойного. Высшие лица симбирского духовенства... совершили краткую литию. Гроб с останками покойного был принят на руки его вторым сыном, ближайшими сотрудниками и друзьями...»

В журнале «Новь» (уже независимо от попечителя округа) было сказано: «Он очень много потрудился на пользу народного образования, поставив его как в Симбирске, так и в губернии едва ли не лучше, чем оно поставлено в других местностях России».

Дом Ульяновых опустел: никого не видно, никого не слышно... Володя, мучаясь тоской, бесцельно бродил по комнатам. На рояле среди нот что-то блеснуло. Протянул руку — тетрадь отца с медными уголками на твердых корках. «Как она здесь оказалась?» И вспомнил: отец принес тетрадь в гостиную и показал Вере Павловне и Вере Васильевне.

Володя раскрыл тетрадь и увидел последнюю в ней запись: «Per aspera ad astra». «Через тернии к звездам»,— перевел Володя с латинского.

ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ



МАШЕНЬКА БЛАНК

Танта Екатерина (так называли тетку дети Бланк) была, а более того, хотела казаться педанткою. Ничего не поделаешь: профессия гувернантки, которой она гордилась, наложила отпечаток на ее характер. В ней при отличных манерах никогда не было жеманства, столь ненавистного доктору Бланку. Согласившись поселиться у овдовевшего зятя, она думала все в доме Александра Дмитриевича переделать по-своему. Бедная сестра Анна умерла молодой, оставив шестерых детей и самую младшую Соню — двухлетней. Сейчас старший мальчик, Митя, готовился в гимназию, к нему ходили учителя.

Железный характер танты Екатерины (его знали все) требовал порядка (а какой порядок, если главы дома никогда не видишь?!), подчинения установленным правилам. «Так надо»,— любила говорить она. Энергичные, изработавшиеся ее руки лежали на коленях небрежно — так было надо, чтобы никогда не чувствовалось, что они устали, что болят суставы. И садилась она всегда как бы на минутку — левое плечо чуть выше правого, готовая тут же вспорхнуть. В пышном темном платье из тяжелой прочной материи с воздушными рукавами она казалась Маше издали огромным бантом, приколотым к креслу.

Екатерина Ивановна восхищалась красивым, благородным лицом зятя с печальными и насмешливыми глазами в чуть припухших веках, его статной фигурой, улыбкой, прячущейся в темных с проседью усах, но считала, что и его надо переделать, сделать мягче. Не тут-то было! Доктор Бланк, то разъезжавший по земству, то пропадавший в больницах города, тем не менее незримо присутствовал в доме.

Талантливый, пытливый, не успокаивающийся на том, что всем привычно, он вынужден был переменить не одно место службы и в Петербурге, и в провинции. Но даже строптивость его не могла помешать начальству видеть и оценить талант, самоотверженность, мастерство лекаря.

Теперь ринулся он в это захолустье, в Пермь, где даже нет театра, нет музыкальных кружков или худо-

жественных выставок. Работает врачом в уездном училище и в мужской гимназии. Да еще — врачебным инспектором...

Когда заходили к Бланкам коллеги или молодые учителя, рассуждали о Турьинских минеральных водах. Это был конек Александра Дмитриевича — лечение водой.

— Чем живешь, тем и лечись,— говаривал он. И старался даже своих домашних реже лечить лекарствами.— Врачи действуют втемную. Окажем временное облегчение, а как то или другое повлияет на различные органы потом?

Не любил в доме лекарств. Зато приказывал покупать жесткие, пахнущие лыком мочалки, которыми каждое утро холодной водой растирались все дети и взрослые.

Любил подшутить над детьми. Заглянул как-то в зал, где Маша и Аня играли в четыре руки на рояле.

— А я думал, у нас капусту рубят,— сказал он. Стоял на пороге с небольшим саквояжем в руках — значит, собрался к больным — и усмехался в усы.

Он подошел к роялю и мимоходом потрепал Машу по шее. От руки пахло иодоформом. У нее сжалось сердце от радости, от любви и какой-то жалости к отцу, непонятной ей самой.

Иногда его не видели дома по нескольку дней, а то и недель. Это называлось: «Папа инспектирует». Но вот ночью неожиданно, сквозь сон в детскую проникал больничный запах йода, серы — это отец заглядывал к ним. Он был сдержан в проявлении чувств. И все же бог весть какими путями они поняли раз и навсегда, что вся жизнь отца отдана любимому делу и им, его детям. В них сосредоточены его заботы и радости.

В самые ранние годы складывается душа человека. Дети понимают все. Они живут не только жизнью старших, но еще и строят свою, наполненную светлыми, яркими, уже недоступными взрослым радостями. Часто недомолвка, ужимка ранят больнее, чем прямо сказанная тяжелая правда. Мы на всю жизнь запоминаем спутников детства, дурны они или хороши. У них мы учимся отношению к жизни. Отец был строг. Требователен. И все же они знали: усталый, промокший,

он должен был заглянуть в детскую, убедиться, что они не простудились, здоровы, спят спокойно, не съели ничего неудобоваримого, что они здесь.

Дети росли не то чтобы безбожниками. Они учили «священное писание», как полагалось, говели, ходили на исповедь, относясь к этому как к неизбежному ритуалу. Любили есть свежие просвирки, слушать рассказы кухарки о великомучениках, но еще больше о том, как живут в деревне. А какой праздник был, когда лепили пельмени! Потом морозили в сенях, так что они гремели в мешках, словно галька. А как рубили капусту для засолки!

На масленой позволяли кататься в разукрашенных санях. Богатые тройки запрягались цугом или по-особому, по-местному — одна лошадь впереди, две — в ряд за нею. Бланки нанимали скромные розвальни, втискивались в них все вместе, тепло укутывались кошмой. Сколько было визгу и смеху! Как весело гремели бубенчики!

Дети росли самостоятельными, простыми, веселыми. Пожалуй, зять переделал Екатерину Ивановну. Она поняла, что, в сущности, они одинаково думают о воспитании детей. Она требовала от них чистоплотности, хороших, естественных манер, умения все делать по хозяйству; он — физической выносливости, способности ограничивать себя, быть стойкими, сдержанными, честными и внимательными к чужим нуждам. И оба — умения стоять за справедливость.

Трудновато было сводить концы с концами. Хорошо еще, что квартира казенная.

ГОРЕ НАРОДНОЕ

14 сентября 1842 года на воздвиженье день был солнечный, светлый. Собрались пойти гулять в городской сад, а позже — в лесок, пособирать веток сосновых и опавших листьев для букетов. Весело перезванивались колокола. Одеваясь, младшие девочки шалили. Митя и старшие урезонивали их. Никто не заметил, как затихли колокола. Вдруг наступившую тишину раскололо набат. «Бум! Бум!» — редко, зловеще бухал колокол, и точно туча набежала на бледно-голубое высокое осеннее небо. Бросились к окнам, но все заслоняло

близстоящее здание, дальше — лес. Митя сбежал по сводчатой каменной лестнице и тут же вернулся:

— Пожар! — крикнул он.

Быстро сбросил аккуратную гимназическую шинель и кинулся обратно — гимназия горит!

Город горел с двух концов. Крепкие, украшенные нарядными резными наличниками дома, палисады. По Екатерининской к речке Ягошихе пламя подвигалось несмотря на усилия пожарных и населения. Стон стоял над городом.

Часа в четыре ночи пожар стал как будто затихать. Темнело. Потом вдруг снова полыхнуло золотисто-кровавое пламя, страшные тени заметались по полу. Детей едва уложили спать. Старшие девочки помогали разместить в зале погорельцев, раскладывали матрацы на полу, умывали ребятишек, поили теплым молоком.

Едва задремали, вернулся отец. С ним Митя, еще кто-то. Словно забыв о том, что глубокая ночь, они громко разговаривали в столовой.

Вдруг стало тихо. Кто-то застонал. Сдвинулось кресло. Потом в столовой забегали. Машенька спрыгнула с кровати и выскочила из детской. Тетка не проснулась. В столовой отец лежал на двух креслах. Аня наливала из самовара в круглую резиновую грелку горячую воду. Люба откупоривала керамическую бутылку минеральной воды.

— Не волнуйтесь. Просто устал. Немного. Обычные колики. Пройдет. Подогрей воду, Люба.

У отца были больные почки.

...Выпал первый снег, понемногу скрыл обгорелые бревна, остовы домов, скрученные огнем палисадники. Но бродили по дворам исхудалые погорельцы с укутанными в тряпье младенцами. Просили христа ради.

Увидев стоящую под окном женщину, Маша бросилась во двор, схватив со стола хлеб, кусок пирога, сахар, пряник, грош. Расспрашивать ни о чем не нужно... Она смотрела, смотрела, запоминала горе человеческое с содроганием, сама проникаясь им.

...Шли годы. Молодым учителям — друзьям своим Залежскому и Веретенникову рассказывает отец о том, как трудно оказать людям самую простую лечебную помощь. Предупреждать болезни надобно, а не только гоняться за ними, когда уже поздно.

Часто говорят о неграмотности, которая мешает и делу отца. Маша знает, как кипит его сердце, а лицо спокойно. Она вырастет и будет, как он. Будет делать добро. Лечить? Учить? Но сначала учиться, знать столько, сколько знает он.

Крепкая, никогда не хворавшая, ловкая, гибкая, небольшого роста, но казавшаяся высокой, потому что была стройной, как мальчик, с нежным румянцем, она все еще носила ситцевые платья, только немного подлиннее. Очень скромна выросла, добра, однако тверда характером. Сестры Бланк были на редкость музыкальны, но никто из них не играл на рояле с таким пониманием музыки, так вдохновенно, как Маша, девочка тринадцати лет.

А отцу становилось все хуже. Приступы участились. Екатерина Ивановна не могла дождаться, когда будет подано прошение об отставке.

Не хотел он сдаваться и, хоть по малости откладывал на черный день, мечтал приобрести свой угол, где могли бы все чада и домочадцы в черный день найти пристанище, да и понимал, как врач, что самому ему и детям жить в деревне полезнее, дешевле, спокойнее.

Исподволь Екатерина Ивановна укладывала сундуки, усаживала девочек за починку и шитье.

Маша зачитывалась сочинениями А. И. Герцена, невзирая на то, что тетка считала ее малолеткою. Чтение в семье в общем было свободное. Особенно трогало сердце Маши сказанное о Сибирском тракте:

Через меня идут в город скорби,
Через меня идут на вечную муку.

За что сослали? За то, что хотел жизнь народа изменить? В ее представлении это означало: не будет холеры (она думала как дочь врача), не будет обездоленных пожарами погорельцев, голодающих, нищих, много будет грамотных даже в деревнях (все-таки жила она среди учителей), не будут крепостных сечь помещики. Бог весть откуда знала она о том, как в Смоленской губернии еще молодым лекарем отец осматривал крепостную — беременную женщину, избитую плетью...

Лучшего, честнейшего человека, чем отец, Машенька представить себе не могла. Во всем с ним соглашалась, даже когда обидит.

В хлопотный день пришло известие, что заболел Митя, уже учившийся в Казанском университете. Отец выехал к нему, но в живых сына не застал.

ПЕРЕД ВОСХОДОМ

После ухода Александра Дмитриевича в отставку вся семья перебралась в Кокушкино. Деньги на покупку этого именьица удалось раздобыть с большим трудом. Здесь их встретил совсем другой мир. Уж на что нешумный город Пермь, а тишина над речкой Ушней оказалась ни с чем не сравнимой.

Совсем рядом две деревни: русская и татарская, да и само Кокушкино крестьяне часто называли по-татарски — Янасала.

Дети скоро перезнакомились с ровесниками в обоих поселках. Отец деятельно устраивался на новом месте. Нужно было вскопать и засеять большой огород, развести цветники. У Маши с Соней были свои грядки и клумбы, за которые они и отвечали.

Тишина. Тишина. Первое время Соня просыпалась по ночам и плакала. Маша ее утешала, а у самой глаза слипались. Она так уставала за день, что ни шум, ни тишина не могли ее разбудить. Никогда не было такого простора, такой свободы ее занятиям, как здесь. Если б не танта, Маша поначалу и музыку могла бы забросить — свою любимую. Но танту было невозможно вывести из раз и навсегда установленных ею правил.

По утрам Александр Дмитриевич принимал больных крестьян. Маша ему помогала. Когда отец уезжал, она понемногу заменяла его. Подруг у нее в деревнях нашлось много. Она учила их грамоте, собирала на святках ребятишек, играла им на рояле, пела с ними, запоминая местные песни. Читала зимними вечерами.

Маша далеко перегнала сверстниц, учившихся в гимназиях и институтах, глубиной знания языков, музыки, русской и иностранной литературы — спасибо Екатерине Ивановне! Не хватало навыков в точных науках, но зато были знания в естественных — и в мужских-то гимназиях преподававшихся слабо. Спасибо отцу! Важнее же всего было ясное видение жизни, мира, его подчас и грубых явлений. Маша мечтала добиться

диплома учительницы. Она знала, что можно сдать экзамены экстерном.

Незаметно шли годы. Жизнь была полна. Труд осмыслен. Маша радовалась, когда летом приезжали сестры, потому что ближе видела их семейную жизнь, радовалась их счастью, детям, но не завидовала. Нет, она замуж не выйдет. Жизнь ее будет посвящена народу.

Март 1861 года. По всей России звонили колокола. В церквах, в благородных собраниях, на крестьянских сходах читали манифест Александра II, восшедшего на престол. Называли нового монарха «освободителем». Он «даровал» отмену крепостного права, а перемен с февраля, с момента «дарования», не последовало.

Летом сестры приехали возбужденные, передавали Маше слова царя, о которых толковали все в городе: «Надо торопиться дать свободу сверху, пока народ не возьмет ее снизу».

— Вся беда в темноте! — твердила Маша сестре Анне.

Стать учительницей! Делиться с народом богатством, единственным, какое у нее было,— знаниями. Это и манило ее с новой силой в город, где надеялась она наконец сдать экзамен на учительницу начальных школ.

ПЕНЗА

И вот уже надо собираться в дорогу. Послана телеграмма в Пензу. На новоселье ждала Анна. Несколько месяцев назад ее муж Иван Дмитриевич Веретенников переведен был по службе туда из Самары. Преподавал в мужском дворянском институте и заведовал библиотекой. Страстный книжник, он радовался этому любимому делу, имея возможность заниматься им по должности.

Когда Маша, сбросив капор и тальму, серую от дорожной пыли, перешагнула порог светлой прихожей, ее сразу охватили привычные, родные домашние шумы, запахи, голоса, свет. Захлопали двери где-то в глубине квартиры. Затопотали ребячьи ноги. Послышались легкие, летучие шаги Ани. Зашуршало ее длинное широкое платье. Вся семья окружила Машу. В откры-

шуюся дверь столовой был виден под большой яркой висячей лампой стол, накрытый накрахмаленной скатертью. Пыхтит самовар. Розовеет пирог. «С вязигой! С вязигой!» — кричат племянники, помогая Маше раздеваться. «Горячий! Как раз приехала! И никого чужих!» — добавила Анна, знавшая, что первые минуты встречи хочется побыть в тесном (хотя и очень обширном) семейном кругу, рассказать новости, интересные только им, расспросить обо всем.

Анна не любила ничего крикливого, резкого, подчеркнутого, громких фраз и стриженых нигилисток. У нее самой толстые темные бланковские косы тяжело обвивались вокруг головы. Но она, такая «русская боярыня» с виду, была в курсе всего, чем жило общество передовых людей.

На следующий день, когда Маша занималась с племянницей Любой французским чтением, начали собираться гости.

— Раньше обычного,— констатировала насмешливо Анна и лукаво покосилась на сестру. Сегодня она причесала Машу по-новому: два тугих длинных локона сбегали из строгой прически на плечи.

Первым пришел Владимир Александрович Ауновский, прозванный «соловушкой» за мягкий, несильный, но приятный голос. Ауновский шутил, что, когда ему аккомпанирует Мария Александровна, у него голоса прибавляется.

В этой семье лукавить не требовалось. Да, молодые учителя знали: должна приехать Машенька, и у каждого нашлось неотложное дело до хозяев дома.

Когда Маша и Ауновский пели дуэтом, в гостиную вошел молодой человек с широкоскулым лицом. Несмотря на учительский сюртук, у него был вид студента. Пожалуй, он единственный не знал о приезде молодой родственницы инспектора. А если бы и знал, что ему до нее?! Еще в передней он передал Ивану Дмитриевичу какие-то книги и расспрашивал о новых номерах журнала «Современник» со статьей Чернышевского.

Русская музыка была его любовью. Но сегодня что-то необычное послышалось в игре незнакомой барышни. Ее спокойный голос, в котором чувствовалась сдерживаемая сила, разом встревожил его, смутил и обрадовал. Илья Николаевич Ульянов одернул сюртук и

стряхнул с рукава несуществующие следы мела. Не отрываясь, смотрел на небольшую, очень прямую, стройную фигуру девушки. Осторожно, боясь помешать, он подвинулся так, чтобы увидеть ее лицо. Разлет бровей, вздрагивающие ноздри прямого короткого носа, чуть выдающиеся вперед губы. Больше он уже ничего и никого не видел.

То, что он не сказал ни слова о ее пении, только глаза его, слегка раскосые, говорили яснее слов о произведенном впечатлении, тронуло Машу. Она подняла голову и почему-то (сама потом не могла понять почему) подумала упрямо: «А экзамены нынче сдам!»

И сдала. Ни за что не хотела держать их в Пензе — все знали ее как свояченицу инспектора, а она не желала никаких поблажек, снисхождения, да и смущало бы ее внимание знакомых экзаменаторов. Написала прошение в Самарскую мужскую гимназию.

Учительский кружок — сослуживцы Веретенникова, их близкие друзья с тревогой ожидали Марию Александровну из Самары. Особенно волновался физик Ульянов, которому она начала помогать практиковаться в разговоре на английском языке. С первой встречи оба потянулись друг к другу. Услышав, как увлеченно говорит молодой физик о своем предмете, увидев, как вдохновенно светится его лицо, она не могла сказать себе, красивое оно или нет, одно знала сразу — родное.

Его рассказы об устроенной им в Пензе метеорологической станции напоминали разговоры отца о водолечебнице. Между тем жили они совсем разно, в разных условиях воспитывались.

«Как все естественно в вас»,— сказал ей Илья Николаевич и ничего другого сказать не смог. Да и не нужно было. Это было главное. Она поняла. Смутилась. Не ответила. Но уже иначе ни думать, ни чувствовать не могла: «Я дома!» Вот оно и пришло.

Способный, со свежим непосредственным восприятием знаний, с жадным интересом к жизни, к физическому миру, Ульянов ожесточенно, упорно учился и стал широкообразованным человеком, в подлинном смысле слова учителем юношества. И он сознавал свою силу. Он увлекал детей тем, что любил сам. Но вот встретил барышню-музыкантшу, певицу и почувство-

вал себя учеником. Его поражало, как легко она владела знаниями.

Маша вернулась из Самары с блестящими глазами, со свойственной только ей улыбкой в уголках губ. Положила на стол бумагу. Последние строки, скрепленные большими печатями, были: «А потому ей, Бланк, и дано право на преподавание вышеупомянутых предметов...»

Илье Николаевичу его старый друг и учитель Смирнов предлагал ехать в Нижний Новгород на должность старшего учителя физики и математики. Нижний был большим, богатым городом, просвещенным и интересным. Там возможность деятельности будет шире.

Словесник Захаров, также собиравшийся в Нижний, получил через родных, живших в столице, главы романа «Что делать?». Главы ходили по рукам. Илья Николаевич любил и умел читать вслух, когда женщины были заняты работой, рукоделием. Подходило рождество, и Маша не шила, не вязала, а с детьми мастерила елочные игрушки. Она внимательно, как откровение слушала Чернышевского. Илья Николаевич, не знавший в детстве ни елки, ни таких приготовлений, чувствовал, как екает сердце при виде ловких маленьких рук, перепачканных клеем, занятых милой непривычно забавной для него работой.

В оценке чувства долга оба сходились. А в чем не сходились? Как будто и не было такого.

Им не терпелось все высказать друг другу, отбросить все незнакомое, чтобы скорее войти в общий, наполненный одинаковыми стремлениями мир.

Шли месяцы. Машу все сильнее тянуло в Пензу. В одну из встреч с Ильей Николаевичем они заговорились допоздна. Уже, извинившись, ушла Анна, сначала по хозяйству, а потом скрипнула дверь в ее спальне, и все затихло. Опомнились, когда стенные часы пробили полночь. Ульянов взглянул на свои черные карманные, купленные из первого заработка (других ему и после купить не привелось). Еще столько не сказано! А важно допытаться, согласиться во всем. Но смутился, заторопился, прощаясь, неловко поцеловал Машину руку. Она проводила его до прихожей. Прислуга давно спала. Маша заперла двери. Потушила лампу.

Постояла минуту в темноте, переполненная тем, что вошло в ее жизнь. Мелькнул за кисейной занавеской столовой зигзаг молнии. Ударил гром — и хлынул ливень. Никогда гроза не пугала ее. Отец приучил их не бояться грозы, метели, бури, а тут впервые сердце тревожно сжалось страшной тоской, словно вот-вот случится несчастье. Представила: Илья идет без шляпы, под дождем. Промочил ноги. Обязательно с ним произойдет что-то дурное. Он не так здоров, как они. Простудится. И уже до конца поняла, что роднее, ближе, чем он, человека в ее жизни не будет. Поняла, что отвечает за этого человека.

Свадьбу играли в Кокушкине. Кокушкино стало гнездом, в которое сестры стремились с радостью и с горем — всегда.

ДЕЛО ЖИЗНИ

Трудно приходилось молодым в Нижнем. Казалось бы, все ладно. Есть понимание, единомыслие. Шутили: «Мы с тобой заговорщики...» С полуслова, с полувзгляда в самом большом обществе понимали друг друга и, оставшись вдвоем, чувствовали себя лучше всего. Но они не были затворниками.

В Нижнем Новгороде — богатом, с частыми ярмарками, городе культурном, театральном и музыкальном, с большими научными силами — у них образовался свой дружеский кружок.

Илья Николаевич преподавал в гимназии, на курсах лесных таксаторов, набирал уроки. Нужно было строить семью, дом, помогать сестре. Хотел сделать, чтобы полегче было жене справляться с хозяйством. Она с детства привыкла хозяйничать, умела извернуться с малыми возможностями, экономить, «освежать» платья. Его трогало, когда она раскладывала деньги на кучки и строго соблюдала правильность расходов. Она умела рассчитывать и не унывать.

Все чаще отлучался из дому. И вот снова в жизнь ее вошло ожидание. Она поняла, что одно дело — ждать отца, другое — мужа.

Смотрела в зеркало и видела, не могла не видеть, что похорошела. Вспоминала, смущалась, что в его любви — оттенок восхищения и благодарности. Быть

одной становилось все труднее. Плакала. Вспоминала нетерпеливую Соню, не умевшую найти занятие для себя в Кокушкине. Делалось стыдно. А все равно тосковала, хотя весь день был занят. Преподавать не удалось — ждала ребенка.

...Девочку назвали Аней. Она родилась в августе, через год после свадьбы. Илье Николаевичу казалось, что девочка — вылитый портрет жены. Ей — что Аня похожа на отца. Материнские заботы были непривычны. Впервые почувствовала себя неумелой, может, потому оказалась строгой, даже слишком строгой матерью. Аню никогда не качали на руках, не трясли ее кроватки. Кормили в определенные часы, по книге. Приходилось сознаваться: оба они с Ильей Николаевичем намучились в новой роли родителей.

Наступила зима. Приближались рождественские каникулы. Илья Николаевич, совсем было собравшийся уходить на работу, как всегда, заглянул к жене. Маша деловито перепеленывала Анюту. Он погладил темноволосую голову Марии Александровны. Простился. И все не уходил.

— Помнишь, у Веретенниковых сочельник? — наконец тихо спросил он.

Маша подняла на мужа блестящие коричневые глаза:

— Устроим Ане елку?

— Сделаем. Конечно, сделаем...

И начались хлопоты.

— Выдумщица ты,— удивлялся он, видя, как из-под пальцев жены выходят обезьянки в ярких шлафроках, Деды-Морозы с мешками, полными крохотных сундучков, фонариков, книжек, домики со светящимися окошками, старики-лесовики, сделанные из еловых шишек...

25 декабря нужно было идти на официальный праздник в гимназию, потом к директору. Накануне они остались одни со своей елкой. Прислуга Настя отпросилась в гости. Это был их вечер. Полный тишины и музыки. Только их троих. Аня спала, посапывая, и ничего не понимала. А взрослые так глубоко чувствовали прочность своей любви, семьи! Очень уставал Илья, и чего бы ни отдала Маша, чтобы чаще видеть вот это выражение умиротворенности на его лице! По

любимой своей привычке он ходил из угла в угол. Все для него было ново. И то, что жена сделала праздник в день его рождения, о котором он до сих пор всегда забывал. Вышила туфельку для часов...

Семья росла. Через полтора года после появления Ани родился мальчик. Саша — в честь деда. Но радость омрачилась волнениями. Студент Каракозов (Ильюшин ученик! Господи!) стрелял в царя. Упоминали имя Страндена (тоже ученик по Пензе). И почему-то не было симпатии к спасшему Александра II мужику Комиссарову.

Прошел год — и родилась Оленька, но не успели порадоваться, не успели привыкнуть к новой дочке, как она заболела и умерла. Горе еще больше сблизило Машу и Илью. Он старался выкроить свободные вечера, оставался дома и, оторвавшись от бумаг, читал ей вслух. Все трудней было уходить в гости, понемногу друзья привыкли собираться у них. Они любили принимать у себя.

Почти все время Марии Александровны было занято детьми. Она похудела. Лицо стало у́же, суше, тоньше, строже. Легкая неправильность чуть выдававшихся вперед зубов делала лицо как бы затаившим лукавую улыбку.

Незаметно прожили в Нижнем Новгороде пять лет. Пришло назначение Илье Николаевичу в Симбирск — инспектором народных училищ.

Они решили, что вперед поедет Илья Николаевич один. Квартиру им Ауновские нашли. Недорогую. На первое время. Устроиться «начерно». А она съездит в Астрахань к его родным.

Приехав в Симбирск, Мария Александровна не подала виду, насколько испугало ее соседство с тюрьмой и непрезентабельность флигелька. У нее был талант устраивать дом. Баулы, погребцы с посудой, пестери с нотами и книгами, портпледы распаковывались и превращали флигель в как бы давно обжитой дом. Вещи находили свои места. Запахло свежевыглаженным и подкрахмаленным бельем, цветами, лавандой. Из кухни потянуло чем-то печеным, и в помощь Насте появилась неторопливая няня Варвара Григорьевна Сарбатова — старая солдатка из Пензенской губернии, из села Лутовни. Не справиться было с хозяйством,

когда вот-вот должен был родиться еще один член ульяновской семьи.

Володя появился на свет ранней весной 1870 года, когда родители вполне обосновались в Симбирске. Это был лобастый мальчишка, косивший молочно-синими, как у всех новорожденных, глазами. Его рождение повело к большой дружбе Марии Александровны с акушеркой Анной Дмитриевной Ильиной. У обеих нашлось о чем поговорить и перед родами, и после. На многие вещи Ильина смотрела так же, как доктор Бланк, и это особенно расположило к ней молодую мать. Да, она была молодой, но вполне уже зрелой женщиной, и если с Аней она иногда была беспомощной, а на Саше уже не пробовались, а применялись найденные педагогические приемы, то к Володе мать относилась спокойно, не теряясь в ненужных поисках, без замешательства и заглядывания в книгу. Глубоко, полно отдавалась она материнству.

Анечка, несмотря на научные методы воспитания, росла слабенькой, нервной, Саша, здоровый, крепкий, был задумчив и тих. Зато Володя заполнил собой всю квартиру. Он постоянно двигался, сбрасывал одеяльца, пыхтел, упирался смуглыми кулачками в плоскую подушку, мотал большой головенкой. Без Варвары Григорьевны было бы с ним не справиться.

Они переезжали еще несколько раз. Семья увеличивалась. Уже была в ней еще одна девочка, названная Олей, под стать Володе — озорная, беспокойная.

Мария Александровна была в своей семье не командиром, нет, скорее она дирижер. Не раздражаясь, без окрика, тихо и неторопливо управляла хозяйством и детьми, в то же время находясь в непрерывной работе. Руки ее никогда не оставались свободными. Не было натуги, тяжести в ее работе. Ее радовало все — раннее утро, когда все еще тихо в доме и даже Илья Николаевич спит (если он дома). Отдернув занавески, она поливала цветы, шла на кухню и вместе с Варварой Григорьевной затемно готовила завтрак. Уже трещали дрова в русской печке, когда в кабинете Ильи Николаевича слышался шорох. Мария Александровна садилась за рояль и тихо наигрывала Шопена. Дети привыкли просыпаться под ее музыку. Они появлялись на пороге столовой, розовые со сна, полуодетые,

и отправлялись в переднюю мыться под рукомойником и обтираться холодной водой. Помогали друг другу. Слышался смех, тихое взвизгивание. Еще более розовые бежали они в детскую одеваться, и вскоре вся семья сидела за большим обеденным столом, на котором пыхтел самовар. Малыш Коля — грудной — куксился на руках Марии Александровны.

Жизнь шла в заботах, радостях и горестях. Коля недолго прожил — горе. А вот и радость — уже старших нужно готовить в гимназию. Все будем делать, чтобы они получили образование! Для того чтобы учиться — все! Это было основой жизни Ульяновых.

Кому доверить подготовку Ани и Саши?

Наверное, лучшему из тех, кому Илья Николаевич передал свои принципы, знания и навыки. Решили пригласить выпускника Василия Андреевича Калашникова — преподавателя приходского училища, совсем молодого, но основательного, похожего на былинного богатыря, о чем он сам по скромности и не подозревал.

В холод, в дождь, в мороз и жару колесил инспектор народных училищ Ульянов в казенной бричке по деревням. И ждала его неустающий, деятельный друг — жена. С ним ей было все легко. А он не мог существовать без ее заботы.

В конце дня, обойдя со свечой кроватки детей, каждого поцеловав, с каждым поговорив, садилась она за рояль. Или читала. Но музыку перед сном дети непременно слышали.

Жили экономно. Понемногу откладывали на покупку дома. И в 1878 году купили одноэтажный дом. Чистый двор зарос травой, ромашкой. Сад был довольно обширный, но совсем молодой, в серебристых тополях, с толстыми вязами, с желтой акацией и сиренью вдоль забора.

Все так же летом съезжались сестры с семьями в Кокушкино. Все так же, как в детстве, хлюпали по воде доски древней купальни. Кокушкино навсегда, как мечтал отец, стало гнездом, из которого улетают птицы. Улетают и возвращаются, чтобы почувствовать себя сильными, взрослыми, готовыми к новому полету. Но доктора Бланка уже не было. Не было и Екатерины Ивановны.

РАСТУТ ДЕТИ

Калашников пришел в дом инспектора народных училищ и своего любимого учителя, невольно подражая его походке, совсем не похожий на Илью Николаевича: крепыш, молодой, внутренне упрямый, опасающийся выдать то, как смущен оказанным доверием.

Стараясь не обидеть любопытством хозяев, он все же наблюдал, замечал все.

В квартире стояла тишина, а ведь он знал, что детей в семье много, и удивился.

Мария Александровна, которую он прежде видел только мельком, на каком-то торжественном акте, вышла ему навстречу в переднюю — стройная, красивая, в темном платье с белым воротничком. На ходу она положила на комод в своей комнате книгу. Поздоровалась.

Калашников слышал о том, что жена инспектора — образованная женщина, музыкантша, отличная воспитательница.

«Он добрый,— подумала она,— и все понимает. И строгий по-доброму. Детям с ним будет хорошо».

Они будто поняли друг друга без слов.

Дети у Ульяновых все были разные. Каждый на свой лад. Младшие — Володя и Оленька — с озорными глазами, верткие, живые, казалось, минуты не посидят спокойно. Шумные — возраст такой! Но и они шумели где-то в саду, подчиняясь распорядку, заведенному в доме, понимая, что работе мешать нельзя.

Он слышал, входя во двор, как самозабвенно кричали они, носясь в фантастических самодельных индейских костюмах. Потрясали луками, стрелами. «Дети должны кричать!» — как бы объясняя, сказала, неслышно подойдя, Мария Александровна. И тут им был полный простор. Гигантские шаги, крокет. В редкие дни, когда Илья Николаевич бывал дома, Калашников и его заставал на крокетной площадке.

Кому-кому, как не Калашникову, были известны маршруты Ильи Николаевича, его кочевья. Часто и на праздники он не попадал домой. Но никогда не замечал он раздражения на лице или в голосе Марии Александровны. «Как тут уважают работу!» — думал он.

Дети учились ровно. Чувствовалось, что они много

читают. Саша и Аня увлекались «Ивангоэ» (так в тогдашнем переводе называли «Айвенго») Вальтера Скотта. Отец выписывал все детские журналы.

Калашников знал гимназический уклад и тревожился, как эти свободно-вежливые, никем не стесняемые дети примирятся с муштрой, грубостью, часто несправедливостью в гимназии.

Он никогда не видел, чтобы дети плакали, хотя замечал, когда они ушибались, были обижены. Но однажды застал Сашу в слезах. Все в доме было необычно: необычно громко говорила на кухне Варвара Григорьевна с Настей. В столовой валялось на стуле что-то белое, видимо брошенное второпях. Около закрытой двери в комнату Марии Александровны стоял Саша и плакал: мама заболела.

Несколько дней все в доме ходили как потерянные. Но Мария Александровна справилась с болезнью. Когда она вышла в первый раз из своей комнаты в столовую, еще слабая, но старающаяся держаться как обычно, Калашников вздрогнул от неожиданности. Он понимал, что это неприлично, но не мог отвести глаз от ее ставших совершенно седыми волос. А Мария Александровна, немного нахмурясь, пригладила прическу обеими руками — от пробора к тяжелому узлу на затылке. Руки чуть-чуть дрожали...

— А вот и неправда! Калоши могут летать! — пятилетний Володя захохотал и ловко сбросил со своей ноги калошу так, что она полетела в гостиную.

— Моя дальше! — всполошилась Оля, отправляя туда же свою.

— Мама и папа придут — достанется вам. Варвара Григорьевна только что пол вымыла,— пытался утихомирить малышей Саша.

Но удержать их было уже невозможно. В столовую летели калоши, боты, валенки, задевая недавно обитый яркой материей диван, пачкая медово блестящий пол. Ребята не заметили, как вошла мать.

Мария Александровна подняла брови. Как бы между прочим, сняв шубку и повесив ее в прихожей, негромко, не сердясь, сказала:

— Пустяки какие делаете. Приберите скорее. Это ненужное...— и чуть поморщилась. Восторг нелепой игры пропал. Потушен. Остался стыд.

Володя не столько играл в свои игрушки, сколько ломал их, стараясь заглянуть внутрь: что там? Любил делать игрушки сам. Они получались корявыми и тяжеловесными, но родители никогда не выбрасывали их. По чертежам «Детского чтения» он смастерил ходули и расхаживал на них по двору. Учился орудовать топором, пилой, вырезал для самых младших лодочки, кубики. Но и они быстро ему надоедали. Все надоедало, кроме солдатиков. Их он вырезал из плотной бумаги и раскрашивал. Каждый полк был своего цвета. В солдатики играли все — и старшие, и младшие. Сашиными предводительствовал Гарибальди, Володиными — Авраам Линкольн, Гранд и Шерман. У Ани и Оли испанские стрелки воевали против Бонапарта. Это были очень разные дети, а Мария Александровна не подгоняла их души под один средний ранжир, отдавала им только свое главное — любовь к работе, к учению. Не выносила, когда кто-нибудь болтался без дела...

Вера Васильевна Кашкадамова была назначена преподавательницей женского начального училища. Она старалась держаться солидно. Часто краснела. И от этого еще ярче блестели ее круглые глаза. Без необходимости теребила черные часики на шнурке, то и дело вынимая их из-за широкого пояса с пряжкой.

Нужно было идти к Илье Николаевичу посоветоваться, обсудить планы учебного года. Ей говорили о Марии Александровне, поджимая губы, досужие мещанки:

— Расчетлива!

И о всей семье Ульяновых:

— Моду завели: перед детьми извиняются, если что... как перед взрослыми.

Глубоко уважая Илью Николаевича, Вера Васильевна не могла видеть дурное ни в чем, касающемся его и его близких. И сейчас, остановившись перед совершенно седой женщиной, она вгляделась и поняла, что Мария Александровна молода.

А сколько было в ее глазах доброжелательства!

Как женщина, Кашкадамова замечала все житейские мелочи в доме своего учителя и то, что Мария Александровна все время занята уроками с детьми, по хозяйству, в саду (и тогда дети торопились помочь ей).

Она заметила, что у няни Варвары Григорьевны комната с отдельным входом, а Мария Александровна живет в проходной. «Как страж — всегда начеку, всегда готова вскочить с постели, открыть дверь, помочь, отозваться»,— думала Вера. «При входе (передняя), при хлебе (столовая), при муже (близко кабинет), возле детей». Железная койка под накидкой с оборками. На комоде — зеркало, свеча в подсвечнике, шкатулка красного дерева и книги, книги, книги... Маленькие томики Гейне, Гете, Доде, Шиллера — все в подлинниках. Тургенев. Новинка — «Война и мир» Толстого! Журналы... У родителей и детей — книги! Вся семья абонировалась в городской Карамзинской библиотеке. Все были равны в этой семье, в которой действительно уважали не только младшие старших, но и старшие младших. Уважали их занятия, их игры, их интересы.

В одну из суббот Вера Васильевна услышала, как Саша и Аня стыдили маленькую Олю:

— Обещала и не выполнила! Эх ты! Не написала! Обезьянка!

Малышка покраснела и живо-живо, даже чуть сутулясь, стала взбираться в детскую, помещавшуюся на антресолях, где жили все молодые Ульяновы.

Все, казалось, забыли о маленьком инциденте, когда по лестнице почти скатилась Оля, потрясая листком бумаги. Сегодня, как всегда по субботам, за вечерним чаем должны были читать журнал «Субботник». Редактор его и художник Саша уже приготовил папку с красиво нарисованным названием.

Саша взял листок из рук сияющей сестренки, ничем не выказывая поощрения, только во взгляде его Вера Васильевна заметила промелькнувшую искорку. Быстро пробежав глазами написанное, он положил Олино произведение в папку. Сидевшая рядом Вера Васильевна прочла выведенную кривыми печатными буквами подпись: «Абезянков».

Началось чтение: стихи, рассказ. Саша показывал карикатуры. Под изображением плачущей девочки стояло: «Оля, посылаемая спать».

«Первый день Володи в гимназии» изображал маленького гимназиста, огорченно смотрящего на пустой пакет и на удирающих товарищей, державших в руках пирожки.

Когда Саша начал читать ядовитую критическую статью на рассказ Кубышкина, Володя насторожился. Он впервые слышал разбор произведения, да еще своего. Он перестал жевать булку с маслом, подпер голову рукой и огорченно вслушивался в каждое слово.

Мария Александровна настороженно следила за тем, как менялось выражение лица Володи.

Володя сначала потупился, потом встряхнул вьющимися волосами. Аня молча улыбалась, стараясь скрыть смущение.

Кашкадамова незаметно стала совсем своей в этой семье...

ОНА НЕ ОДНА

Дом и сад, наполненные дыханием и жизнью детей, все, созданное и украшенное, выращенное руками его Машеньки, давало Илье Николаевичу силы работать.

Но дети заботили Илью Николаевича. Отчего Саша постоянно задумчив? Будущий ученый... Потрошит лягушек. Пишет... Аня?.. Слишком нервна...

Оля во всем подражает Володе, и, кажется, будь ее воля, сама бы стала мальчиком. Митя тих, послушен, но, когда волнуется, начинает даже заикаться от торопливости. Маняша: медвежонок еще... А Володя все схватывает на лету. Уроки учит быстро, а потом слетает вниз в столовую и ходит колесом, мешает заниматься старшим. Сломал Анину линейку. Пришлось наказать его, а ведь они с Машей взяли за правило влиять на детей нравственно, не окриком, не наказанием. Сколько азарта в их играх! Когда идет сражение бумажных солдатиков, летят горошины. Крик, споры.

Сочельник по-прежнему оставался любимым праздником семьи. Дети не подозревали, чем он был для родителей в дни молодости. Их радовало, что в сочельник все за столом. Все приготовили друг другу сюрпризы — непременно свои, самодельные. Тушатся лампы, зажигается елка. На минуту умолкают все. И у детей мелькает мысль о счастье быть вместе, о неразрывности их круга. Задумались и родители. Мария Александровна рядом с мужем чувствовала себя защищенной. Рядом с ним ничто не было страшно. Просто по-

молчать. Прижаться к плечу. Но вот так, все вместе — и няня, и Настя — они собирались редко. Дети не замечали затаенной улыбки в глазах родителей. Эгоистически они любили их для себя и в то же время на все были готовы для них. Это была семья. И семья была сегодня в сборе.

На следующий день принимали гостей.

Елку зажигали в гостиной. Водили вокруг нее хоровод в масках, в костюмах, которые придумали в строгом секрете друг от друга. Танцевали. Пели. Играли в почту, в слова, шарады.

Это был очень веселый и шумный праздник, но разве мог он сравниться с сочельником, когда так раскрывалась душа и все можно было говорить, как думать, вслух, когда семья была вместе!

«Может быть, не сдерживать себя? Может быть, нужно быть с ними ласковее? — думала Мария Александровна.— Но они так веселы, так свободны... Не свяжет ли их чувствительность матери? Они все понимают сами».

Дети учатся все. Хорошо, что за мальчиков, как за сыновей директора народных училищ, не приходится платить в гимназию. На девочек эта привилегия не распространяется.

Мария Александровна думает: муж прав, скептически относясь к классической гимназии с ее древними языками. Конечно, реальное было бы лучше, ближе к жизни. Но в университет готовили только в гимназии. Приходилось мириться.

Дети уже сейчас знали больше, чем мать, когда она сдавала учительский экзамен. И в этом была ее победа. Их победа с мужем.

Илья Николаевич был уже штатским генералом, имел ордена. Мария Александровна усмехалась, наблюдая за тем, как он, картавя и хохоча, захлебываясь, играет с детьми в саду — вечный студент.

В 1882-м отец решил их порадовать поездкой на Всероссийскую промышленную выставку. Аня отказалась. Она была отзывчива, самоотверженна, хорошенькая, но скромна до аскетизма. Отказалась от платьев, которые хотела ей шить мать. Одевалась только на свои деньги, зарабатывала уроками. Поступила помощницей учительницы.

Мать видела: Саше очень хочется на выставку. Но он, конечно, поддержал сестру. Мария Александровна попыталась убедить: «Папа же сам предлагает».

У них складывались убеждения, ничего не поделаешь.

На выставку отец один не поехал. Это было печально. Дети еще не умели соразмерять силу удара. Не подумали, что лишили удовольствия отца.

Блестяще окончив гимназии, старшие уехали учиться в Петербург.

А с Марией Александровной чудеса происходили. Прежде ей давали лет больше, чем было. Сейчас, когда она видела плоды своих трудов, что-то появилось в ее облике легкое, светлое. Лицо стало тоньше, моложе. Она же, вглядываясь в зеркало, строгая к себе, думала: волосы поредели, уши какими-то большими кажутся. И стала носить кружевную наколку. Наколка еще больше молодила ее...

Илья Николаевич очень продрог по дороге домой. И дома в теплых комнатах все не мог согреться.

Святки прошли весело. 6 января собрались немногие сослуживцы. Илья Николаевич даже танцевал польку с Аней. Внезапная тревога вдруг сжала сердце жены.

«Все ли хорошо?» — спросили ее глаза.

«Не тревожься, родная»,— ответил взгляд мужа.

Через несколько дней Илье Николаевичу стало плохо. Они вспоминали с ним о проклятых церковноприходских школах, и он разволновался. Но потом порадовался за Сашу. Долго говорили о детях.

Одиннадцатого вечером он слег. Аня читала ему бумаги и вдруг заметила, что отец бредит. Вызвали врача.

Кто-то сказал: когда дом достроен, смерть входит в дом. Неправда! Дом согрет дыханием семьи. Полон звуков, запахов, движений, свойственных только ей, но смерть входит. Невозможно с ней примириться. Вот только что говорил, дышал, присел к столу, но сказал, что побаливает желудок, обедать не будет, посмотрел на всех, ушел, прилег, еще раз заглянул, ничего не сказал, прилег снова, затих. Задремал. Но и во сне его бил озноб. А это была уже агония.

Как же она одна? Да не одна — дети. Но без него! Возможно ли это? Значит, возможно. Судьба и не то готовила ей. Надо выпрямиться, думать о жизни. А слезы бегут, бегут по впалым щекам.

Аня, видя состояние матери, обняла ее и тихо сказала:

— Не поеду я. Останусь.

Мать, не понимая, подняла глаза. Понемногу в них проявилось чувство, удивление:

— Поедешь. Надо, Анечка.

Сашу решили не вызывать. Не нужно мешать его работе. Написали Веретенниковым: «Подготовьте его...»

Замкнулась. Ушла от общества, от знакомых. Не хотела быть в тягость. Не хотела показных сочувствий. Ей предложили получить последнюю звезду мужа. За орден полагалось внести деньги. Лишних денег не было. Она отказалась. Что орден! Пришлось сдать жильцам половину дома. Поселились теснее: мать — с дочерьми, Володя — с Митей. Продали часть мебели. Но с роялем не расстались. Оказалось много хлопот по наследству. Бумаги, бумаги, они наводнили их дом...

«Прошение в Окружной суд

...особого же заявления о составе и ценности наследства не предлагаю, потому что все оставшееся после мужа имущество заключается в домашней движимости и капитале в две тысячи рублей, находящемся в Симбирском городском общественном банке по билету оного за № 12465, причем на долю каждого из наследников приходится менее тысячи рублей».

Назначено было ей на воспитание детей пособие — 150 рублей, а до этого: «...не пожелает ли она получить вышеупомянутые орденские знаки со внесением причитающихся за них ста пятидесяти рублей».

Как в насмешку!

С детства знала она цену наградам и званиям. С Ильей Николаевичем они думали одинаково. К чему были эти знаки теперь! А департамент народного просвещения требовал: «...взыскать с вдовы... из пенсии 120 руб., числящихся в недоимке на покойном муже ее по Всемилостивейше пожалованному ему ордену св. Станислава 1-й степени. Август 1886 г.».

Вспомнила, как за партией шахмат отец говорил ей о своем дворянстве. Илья Николаевич также получил

дворянство как награду за долголетнюю и безупречную службу. Снова бумаги...

Это полученное в детстве и утраченное с замужеством дворянство, снова приобретенное тяжелым трудом Ильи Николаевича, не нужно ни ей, ни ему. Только ради детей...

«.. Всемилостивейше пожалован орденом св. Владимира 3-й степени, каковым приобрел потомственное дворянство... означенное не распространять на дочь... Анну по не заявлению ее, как совершеннолетней, личного ходатайства».

Нет, не подала прошения Анна. Не подала!

НАДЕЖДА НА САШУ

Отвратительны для матери были все эти хождения и хлопоты по наследству, унылы и подчас оскорбительны, но поддерживало общее уважительное сочувствие. Оно было искренним, даже со стороны чиновников, недолюбливавших Илью Николаевича, терзавших его бюрократизмом, раздражением против «инородческой» деятельности его. Новые школы, молодые передовые учителя — это было главным наследством непредставительного по внешности штатского генерала в потертом учительском мундире, с таким наивно-открытым всему доброму лицом, не защищенным ни напыщенностью, ни спасительным высокомерием. Сам чистый, честный, он ждал такого же отношения к столь очевидно благородному делу от других, и, когда наталкивался на равнодушие, удивление мелькало в его глазах, а уж потом возмущение, упорство, напор, с каким он бросался в бой... Все это знала жена. И невольно отношение мужа глубоко усвоила, приняла, сделала своим.

Саша — вот теперь ее надежда, опора. Талантливый ученый, внимательный сын, немногословный, беспристрастный до жесткости друг. На него можно положиться, что бы ни случилось. Какое это счастье для матери!

Как мудра и замечательна жизнь! Их — родителей — не будет, а самое лучшее от них останется в детях. И то, что у них было в самом зачатке, в молодых, разрастется, разовьется больше, лучше, талантливей.

Вот ей всегда хотелось писать, хотя бы так, как сестра Анна. А дочка Аня пишет лучше, серьезнее. И разве Оля играет, поет не лучше нее? Видно, таков закон жизни. Надо спросить Сашу, как объясняют это естественные науки.

Малыши... Что ж, у малышей еще все впереди. И старшие помогут им стать достойными будущего. Особенно Саша.

...Резкий звонок в передней.

Так и есть — Володя!

Он входит, как-то искусственно бодрясь. Бледен. Долго снимает калоши. Она наблюдает за ним. Стычка с Керенским? Не надо бы. Директор при всей сухости ценит Володю.

Особенно тщательно носком ботинка Володя загоняет калоши в угол. Тряхнув головой, сын проходит в комнату:

— Мама, ты пока не волнуйся (пока?), Вера Васильевна получила письмо от Кати Песковской. Саша и Аня арестованы.

Вот оно!

Она не спросила ничего, только торопливо прошла в переднюю. Володя подал ей пальто, шапочку. Ни слова не вымолвив, она ушла.

Вера Васильевна открыла дверь, испуганная, готовая говорить, говорить, говорить, успокаивать, но говорить ничего не пришлось. Мария Александровна поздоровалась наклоном головы. С трудом разжала побелевшие губы:

— Где письмо?

Учительница бросилась к комоду, протянула листок. Молча, не садясь, Мария Александровна прочла. Вернула.

— Я сегодня уеду. Навещайте, пожалуйста, без меня детей.

— Голубушка!

Но ее уже не было в комнате.

Лучше не думать о том, что было потом. Володя не нашел попутчиков (с попутчиками на лошадях было дешевле и спокойнее). Она поняла почему. Уже разнеслось! По решительному, непривычно суровому лицу Володи все было ясно.

— Это серьезно?

Володя понял ее:

— Боюсь, что да.

Настало время ей самой становиться скалой, защитой. Надо вспомнить, кто может помочь. Марк! Марк Елизаров — Саша и Аня много рассказывали о нем. Ей даже показалось, что Аня говорила не совсем равнодушно. Вот с ним посоветоваться, опереться душой.

— Ты, Володя, останешься за старшего. Вера Васильевна будет заходить. Занятий ты не забросишь, знаю. Буду писать. Может быть, понадобится твоя помощь.

Марк Тимофеевич Елизаров встретил ее на вокзале в Питере и рассказал подробности покушения на царя.

Екатерина Ивановна Песковская, стараясь хоть немного отвлечь тетку от тяжелых дум, рассказывала о том, как Саша бывал у них.

— Любил петь.

Мария Александровна удивилась:

— Да у него ни слуха, ни голоса.

— Что ты, Маша, как-то устроили вечеринку, и он со всеми пел «Полосыньку», «Пришла пора, защебетали птицы». Господи! — она перебила себя, вспомнив слова песни.

— «А он, бедняк, сидит в стенах темницы»,— без выражения подсказала Мария Александровна.— Так и есть. Он знал.

— «Замучен тяжелой неволей» просил петь,— упавшим голосом подтвердила Екатерина.— Матвей тогда возразил, что это похоронное... Да что я такое говорю...

— Если дадут пожизненную каторгу, я тогда уеду с ним,— неожиданно вырвалось у Марии Александровны,— старшие дети уже большие, а младших возьму с собой...

Володя занимался целыми днями. Он сразу стал серьезным, даже мрачным. Но, выходя к меньшим, шутил, помогал мастерить игрушки. Приносил ребусы и шарады, решал вместе с детьми. Играл с ними в лото.

В Петербурге Марк Тимофеевич всюду сопровождал Марию Александровну, дожидался на улице, пока

она ходила в приемные директора департамента полиции Дурново, министра внутренних дел, прокурора...

Она ничего не добилась. Последняя надежда была — написать царю.

Мать понимала, что Сашино дело серьезно. Но не так же серьезно, как об этом ей говорили жандармы?! Покушение ведь не состоялось. И Саша не мог, не мог стрелять в царя. Серьезный, дни и ночи просиживавший в своей лаборатории, честный, слишком искренний, не признающий компромисса. Не она ли все сделала, чтобы воспитать его таким! Она напишет государю. Он спасен. Он жив и должен быть снисходителен.

Да. Так. Она написала то, что думала и чувствовала. Человек с душой не может не понять этого, не поверить. Но Александр III не был человеком с душой. Он прочел ее письмо. «Это даже любопытно — такое красноречие»,— подумал монарх.

Никогда не узнала мать, что около строчки «я вновь воскрешу в душе его те лучшие человеческие чувства» самодержец всероссийский размашисто начертал довольно простым слогом: «А что же до сих пор она смотрела!»

И наложил резолюцию: «Мне кажется желательным дать ей свидание с сыном, чтобы она убедилась, что это за личность — ее милейший сынок, и показать ей показания ее сына, чтобы она видела, каких он убеждений».

Вежливостью он не страдал, стилистом тоже не был.

На ее письме Дурново сделал пометку: «Привести ко мне г-жу Ульянову к 12 часам».

И был любезен.

Сердце как будто сжал раскаленный обруч и не отпускал. Она не замечала ничего по сторонам, когда шла на свидание в среду 1 апреля. Ее провели сырым, полутемным коридором Петропавловской крепости в камеру. Сколько камня и железа! Как тут можно согреться?

Саша вошел. Нет, его ввели к ней. На нем был серый нечистый халат. Исхудалое лицо, пробившаяся бородка, да разве это ее Саша? Он! Служитель с грохотом отпер какой-то замок и опустил койку. Мать

села. Саша бросился к ней: «Мама, прости меня!» — обхватил руками ее колени.

— Наверное, это неправда, Сашенька, то, в чем тебя обвиняют. Мы возьмем адвоката, и он все сумеет доказать,— говорила и уже не верила себе, нутром чувствовала, что все это лишнее, что Саша сделал то.

— Не нужно адвоката. Я буду говорить сам. Кто лучше меня знает все обстоятельства? Я принимал участие в покушении. Только тебя, мама, жаль. Прости меня...— он целовал ее руки, прижимался лицом к ее рукам,— и за Аню прости, но она ничего не знает. Так я виноват перед нею! Но иначе поступить не мог. Кроме долга перед всеми вами у меня долг перед родиной.

— Но эти средства так ужасны.

— Что же делать, если нет других...

— Может быть, возможно раскаяние, прошение?

— Это было бы неискренне. Я не могу лгать, ты сама меня таким воспитала, мама.

СУД

Неверная петербургская весна все сильнее дышала морской свежестью, но прокуренный воздух присутствий душил Марию Александровну. Там она узнала, что на одном заседании суда можно быть родственникам.

Войдя в переполненный зал, она увидела всех подсудимых разом и разглядела Сашу. Он заметил ее. Приподнялся и поклонился. Она не смогла пробиться в первые ряды, села подальше, чтобы все время видеть его. Она не сразу стала понимать и слышать все — до того колотилось сердце, толчками крови оглушая ее и туманя глаза. Вполне удалось ей сосредоточиться, когда донеслось: «Подсудимый Ульянов!» И отчетливый глуховатый голос Саши:

— Относительно своей защиты я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона установлена вполне верно и не отрицается мною. Поэтому право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы преступления, то есть рассказать о том умственном процессе, ко-

торый привел меня к необходимости совершить это преступление.

(«Вот это он и имел в виду, отказываясь от адвоката! — пронеслóсь в ее мыслях.— Он объяснит, все объяснит и, может быть...»)

Председатель Дейер перебил Сашу. Что он отвечает? Не слышно. Зашумели. Опять говорит Саша. Не то его перебивает, не то спрашивает председатель. Прокурор Неклюдов. Невозможно узнать в этом обрюзгшем лице черт прежнего воспитанника Пензенского дворянского института. Ученик! Какие разные ученики! Каракозов, стрелявший в царя, и Неклюдов, который добивается смерти сына своего учителя.

Шумно. Плохо слышно.

Больше она не могла слушать. Нужно уйти. Не показать своей слабости. Ему будет хуже без нее? А если она упадет при нем без сознания? Она добьется свидания. Пойдет к Таганцеву. Это ведь не Неклюдов!

Она поднялась и, с трудом пробравшись сквозь толпу, вышла на улицу.

Она не слышала приговора.

— Речь Саши сравнивают с речью Желябова,— сказал ей Марк.

Разве это было сейчас важно? Она узнала адрес Таганцева и отправилась на Кирочную, 3. Лакей сказал, что Таганцев недавно приехал из заседания суда.

— Доложи́те.

Ее полная достоинства прямая фигура, осанка, темное платье и темная маленькая шляпка на седых волосах не допускали сомнений в том, что эта дама — «своего круга». Лакей отправился доложить. Он быстро вернулся.

— Просят.

Она вошла в кабинет. Таганцев поднялся из-за стола ей навстречу, не узнавая и на всякий случай делая любезное лицо. Он устал. Это было заметно.

— Николай Степанович, вы меня не узнаете? Да ведь я — Ульянова, в Пензе вы у нас бывали.

Что-то похожее на сочувствие зажглось в его глазах.

— Как же... как же...— пробормотал он смущенно, пододвигая кресло Марии Александровне.

Она не сразу смогла говорить.

— Да ведь сегодня судили моего сына за покушение на жизнь государя!

Сенатор опустил глаза.

— Такой симпатичный молодой человек,— сокрушенно выговорил он,— предан идеям...

— Ради бога, помогите! Мне сказали, что вы это можете. Я хочу увидеть моего несчастного сына...— и приложила платок к покрасневшим от слез глазам.

«Еще не знает»,— пронеслось в мыслях Таганцева. Он пытался отговорить ее, но скоро понял, что убедить не удастся. Он написал записку прокурору судебной палаты Эдуарду Яковлевичу Фуксу, от которого зависело разрешение свиданий.

Ее пропустили в дом предварительного заключения. Теперь она уже знала приговор.

Лицо сына изменилось за одну ночь. Смертельно бледное, и глаза ушли вглубь. Будто он был с нею и уже не с нею.

Молодой товарищ прокурора Князев, распахнув дверь в камеру, не вошел, а деликатно остался в коридоре.

— Саша, ты должен, должен подать прошение о помиловании. Подумай о нас.

— После всего, что я признал на суде? Не могу я этого сделать. Пойми. Это было бы неискренне,— он осторожно взял в ладони ее залитое слезами лицо.— Нет, мама. У нас так мало времени. Давай о другом. Пока это возможно,— он усмехнулся бескровными губами.

— Может быть, тебе что-нибудь нужно, скажи,— спросила она, почти не сознавая происходящего.

— А! Да! Гейне! Очень хотел бы...— Саша провел рукой, откидывая волосы назад (жест милый, знакомый с детства).

— Конечно, конечно,— повторяла она.

О помиловании Александра хлопотал профессор государственного права А. Д. Градовский, прося отдать ему Александра Ильича на поруки, ручаясь сделать его серьезным ученым, отвлечь от революции.

Пытался помочь профессор, академик П. П. Семенов (Тян-Шанский). Иван Яковлевич Яковлев написал письмо профессору Ильминскому. Письмо отвез в

Казань Володя. Ильминский, прекрасно знавший Ульяновых, сочувственно встретил Володю, тут же вступился за осужденного, но и это ни к чему не привело.

А людям так хотелось верить в лучшее! В народе все увереннее говорили, что казни не будет.

Песковский хлопотал об освобождении Ани. 6 мая Мария Александровна написала министру юстиции прошение о том же.

Восьмого она конкой поехала на свидание к дочери. Сидевший рядом студент прочел какой-то небольшой листок, афишку, и, скомкав, пробормотал: «Убийцы!» Такие листки мальчишки-газетчики совали в руки всем, сунули и ей. Она взглянула на свой.

«Приговор особого присутствия правительствующего сената о смертной казни через повешение над осужденными Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевыревым и Ульяновым приведен в исполнение».

Как она вошла в тюрьму? Как нашла в себе силы сказать почтительно расступившимся надзирательницам «Не говорите ей»? Как вымолвила:

— Береги себя, Аня, береги себя. Все ли у тебя есть? Скоро тебя отвоюем!

— А Саша?

— Молись за него,— и заторопилась уходить.

НАДО ЖИТЬ

Она не знала, как пришла домой, как легла на кровать, не раздеваясь. Жить было невозможно. Все. Сил нет. Пусто в голове. Пусто в сердце. Только смертный озноб и желание, чтобы все поскорее кончилось. Умереть. Бескровное лицо Саши. Веревка на его еще мальчишеской шее. Движение палача. «Остановите!» — безмолвно кричало все в ней. Поздно. Ничего не чувствовать! Не жить, если такое на свете возможно... Она забыла обо всем, обо всех, о детях.

Сколько прошло времени, она не знала. Все остановилось. Перестало существовать. Конец.

И вдруг перед мысленным взором возникло курносое, с круглыми глазами личико восьмилетней Мани. От боли в сердце мать пришла в себя.

Как же я могу? Надо жить и защитить их.

Аню освободили. Ее выслали в Кокушкино на поруки тетке Любови Александровне Ардашевой, во втором браке Пономаревой.

Ранняя, то туманная, то ветреная весна в Симбирске. Набухали почки на кустах сирени. Мария Александровна вошла в дом с черного крыльца, не стучась. Дети сидели с няней за столом. Бросились к ней. Не было сказано ни слова. Только няня Варвара Григорьевна тихо охнула.

Мать долго не могла говорить о казненном сыне. Он стоял перед нею, как там, в Питере. Навсегда.

В начале июня в Симбирск приехал Чеботарев, с которым Саша жил в одной квартире. Незадолго до ареста Саша съехал на другую.

Володя подолгу сидел с ним на откосе Старого Венца над Волгой. Он расспрашивал гостя о жизни с братом, о суде. Слова его речи «интеллигенция слишком слаба» он не мог забыть. Один на один бороться с царизмом невозможно! Шестнадцатилетний мальчик, Володя подготовлен был к университетской работе, но ему еще многое нужно было понять для общественной деятельности, без которой он не представлял жизни.

«Нельзя бороться в одиночку. Нужны какие-то другие пути»,— твердо решил юноша.

Володя и Оля окончили гимназию с золотыми медалями. О столичном университете нечего было и думать брату казненного. Значит, Казань. Сначала поехали в Кокушкино к Ане, потом поселились в городе на Поповой горе, в доме Ростовой. Через месяц перебрались на Ново-Комиссариатскую.

Гибель брата теснее сплотила семью, заставила глубже задуматься над тем, как жить.

ВОЛОДЯ

И в Казанский университет поступить Володе оказалось не так-то просто. Писали прошения. Ожидали ответов. Ответов не было. Никто в семье не знал, как в эти «безмолвные» дни хлопотливо работала почта, перенося запросы университетского начальства в Симбирск и ответы начальства гимназического.

Университет дался нелегко. Но все-таки Володя —

студент! С чувством заслуженной победы он вбегает в светлое, с колоннами здание. Каблуки уверенно стучат по чугунным плитам. Наконец он учится в университете!

Но первые же рассказы сына огорчили Марию Александровну: и тут, как в гимназиях, шпионят за студентами; либеральных профессоров удаляют с кафедр; запретили даже искони существовавшие землячества. Нет, не могло быть благополучно в этом мире, пока торжествует несправедливость! По всем университетам России катилась волна студенческих беспорядков. Дошла она и до Казани.

4 декабря, во время стачки, Владимир вместе со всеми, не задумываясь, бросил свой с таким трудом полученный студенческий билет и вышел из университета. Он не мог поступить иначе. Такими были люди в семье Ульяновых.

Мать и сын в этот вечер, разговаривая обо всем случившемся, не заметили, как наступила ночь. Раздался грубый стук в двери. Ввалились жандармы. Владимира арестовали.

Еще пахло в комнатах кожей промокших сапог и махоркой, а Мария Александровна уже обдумывала, к кому обратиться, куда написать, ведь ее дело — помогать детям, вызволять их из беды. Это — ее пост.

Володю выслали в Кокушкино, где отбывала ссылку Аня. Это лучшее из всего, что могло с ним случиться.

Потянулась одинокая деревенская вьюжная зима. Никаких соседей поблизости. В холодном доме печи всегда топились плохо. Нынче они дымили напропалую. В коридорах было сыро. Дуло из щелей. Войлочные борта старого бильярда вконец съедены молью и осыпались, стоило их задеть. Володю и Аню поддерживало то, что в кабинете покойного дяди Пономарева было много весьма замечательных книг.

Все здесь напоминало детство, только как будто все остановилось, замерло под сугробами. Затихла речка Ушня. Темнеет вдали унылый лес. Но вдруг забренчат бубенцы. Раскатятся по залитой водовозом обледеневшей дороге сани, и к покосившемуся крыльцу подъедет барабус, привезший обшарпанный пестерь с книгами из библиотеки.

Теперь уже не серьезная девочка Маша Бланк и смешливая ее сестра Катя торопятся распаковать его, отряхнуть от снега тугую крышку, а задумчивая Аня и коренастый подвижный юноша в студенческой тужурке. Другое время. Другое поколение. Другая юность. И счастливое, веселое когда-то гнездо Кокушкино — место ссылки.

Осенью 1888 года Мария Александровна добилась того, что Владимиру разрешили жить в Казани. Нужно было продолжать образование, а в Казанский университет дорога закрыта.

Симбирский дом продали. Близился конец Аниной ссылки. Где-то следовало «осесть». Через Марка Тимофеевича мать начала хлопотать о покупке хутора, втайне надеясь, что сельское хозяйство займет детей. В мае переехали в Самару. Хутор и лошадь Буланку купили в пятидесяти верстах от города у разорившегося золотопромышленника Сибирякова.

Сельским хозяйством дети не занялись, но как дача Алакаевка оказалась замечательной. Степной воздух. Тишина. Старый запущенный сад уступами спускался к большому ручью. Сразу появились любимые уголки, почти как в Симбирске: Олин клен, Анина березовая аллея и «зеленый кабинет» Володи в самом отдаленном углу, где он устроил и гимнастику — рэк. В десяти минутах ходу от дома — пруд с купальней, как в Кокушкине. Невдалеке — Муравельный лес, подальше — Гремячий. В скромном, маленьком доме без веранды, на крытом крылечке поставили обеденный стол. Вечерами у зажженной лампы занимались. В комнатах свет не зажигали, чтобы не налетела мошкара. На столе появлялось молоко и серый пшеничный хлеб — ужин семьи.

Мать добилась Митиного перевода в Самарскую гимназию. Он был тихий мальчик, немного вялый, мечтательный, исполнительный, аккуратный. Красивый. Очень походил на деда Бланка.

Скромно отпраздновали свадьбу Ани и Марка. У них образовался кружок осевших под Самарой «неблагонадежных», среди которых Володя сразу нашел друзей.

Шумный, любивший спор, сын поражал даже Марию Александровну своей организованностью — с

утра до вечера он занимался в своем «зеленом кабинете», заодно читал и переводил с Маняшей с французского. И тут он все делал по-своему: никогда не заставлял девочку выписывать слова, но постоянно к ним возвращался. Вечерами дети часто пели на крылечке под аккомпанемент Оли.

Доживавшая свой век на покое няня Варвара Григорьевна ворчала: «И чего кричат?»

Зимой переехали в Самару и поселились в районе, облюбованном «неблагонадежными». Так уж получилось.

Оля поступила на физико-математическое отделение петербургских Бестужевских курсов. Маня и Митя учились в гимназии, Володя много писал. Его рефераты о книге Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство», о сочинениях Южакова, Михайловского — полемичные, острые — вызывали бурные споры в самарских кружках. Но его тянуло в Петербург, к рабочим-марксистам, работать, учиться.

Мать знала, что сын надеется сдать экстерном за юридический факультет. Знала, как это трудно даже с его незаурядными способностями, которые когда-то тревожили ее с Ильей Николаевичем.

Наконец Владимиру разрешили сдавать экзамены в Петербургском университете. И он сдал их блестяще. Это была решительная победа, но наград судьба не дает. Вместо радостной пришла от него страшная телеграмма о тяжелой болезни Ольги. Мать поняла: если Володя дал такую, значит дело плохо.

Мария Александровна научилась за свою тревожную жизнь собираться мгновенно. Собралась и сейчас.

Оли не стало.

Был ветреный майский день, сырой и промозглый, с едва заметным дождем-изморосью. Бестужевки — подруги Оли — шли за гробом. Володя и одна из сестер Невзоровых поддерживали Марию Александровну...

Ради матери Владимир вернулся в Самару и стал работать помощником присяжного поверенного Хардина — своего давнего шахматного партнера, с которым когда-то его познакомил Марк и с которым он играл заочно, по переписке, еще живя в Казани.

Почти каждый день к Володе собирались друзья. Невольно улыбнулась она, заметив, как торопливо проскальзывают в его комнату Беляков и Скляренко — большой приятель Ани, за ними Яснева-Голубева. Мать понимала, что их, пренебрежительно относящихся к житейским благам, отпугивает белоснежная скатерть, аккуратно накрытый стол с чайными, вышитыми ею салфетками.

Мать не умела и не хотела приспосабливаться, фальшивить. И когда они, неловкие, взъерошенные, собирались все-таки за столом, она вглядывалась в каждого, видела, что Скляренко держит себя свободно («незаконный» сын интеллигентного человека, он привык к белым скатертям); как смущается и оттого неловок Беляков; как подчеркнуто небрежно заливает чаем скатерть Голубева, капает вареньем и крошит бублики. А зря! Это наигрыш, дорогая... Разве в этом дело! Ей хотелось сказать им: да не волнуйтесь вы, чудаки, все это мелочи, отдохните просто, говорите свободно... Володя чувствовал (они давно понимали друг друга без слов) все, что она думает, и, чтобы она была уверена в его согласии с нею, желая доставить ей хоть маленькую радость (у обоих не исчезала из мыслей Сашина гибель, смерть Оли), он взял ее маленькую, столько работавшую руку, подержал ее в своих твердых ладонях, точно птенца, и поцеловал. И никому из молодежи, презиравшей «салонные фокусы», это не показалось диким.

Когда началась эпидемия холеры, Владимир возмущался благотворительной деятельностью местного купечества и либералов. Сначала мать удивило это. Как же не помогать? Тем более если люди богаты?

— Нужно менять порядок вещей,— отвечал он,— а не выступать заодно с виновниками «всероссийского разорения» — губернаторами и полицией!

Вот и дети стали ей объяснять жизнь, как когда-то объясняла им она.

Она верила, что он найдет способ убедить людей. Но как ему будет трудно жить... И как ему тесно здесь. Он охладел даже к шахматам.

Желая развлечь ее, он показывал фотографии в волшебном фонаре, приносил ей новые книги. Но мать

видела, что четвертая зима в Самаре для Владимира мучительна.

У каждого из детей была своя мечта: Аня хотела стать писательницей, Маня — учительницей, Митя — врачом. Мать угадывала в стремлении Владимира в Питер не только тягу к широкому полю деятельности и большой практике, туда, где много заводов и фабрик, но и боязнь за семью, за то, что его работа может стать для них опасной. Как будто мать оставит его в беде!

5 октября 1893 года Владимир Ильич писал уже из Питера в Москву:

«Вчера получил, дорогая мамочка, письмо твое от 2/X. Комнату я себе нашел наконец-таки хорошую, как кажется; других жильцов нет, семья небольшая у хозяйки, и дверь из моей комнаты в их залу заклеена, так что слышно глухо. Комната чистая и светлая. Ход хороший. Так как при этом очень недалеко от центра (например, всего 15 минут ходьбы до библиотеки), то я совершенно доволен... На Волковом кладбище был вскоре после приезда: там все в сохранности — и крест и венок. Любящий тебя В. Ульянов».

Устроившись в Москве, мать с Аней поехали в Питер. Владимир Ильич во всем походил на отца: так же безразлично ему было, в каком состоянии его одежда, что пальто износилось. Кто подумает об этом, кроме матери?

Пальто купили.

В Москве поселились недалеко от Кремля. Однажды Мария Александровна зашла в Иверскую часовню, как заходила и в кирху. Любила старину, историю. Но все настроение было испорчено. Вернулась и рассказала Мите о монахах:

— Какие они жадные, толстые, наглые, как они нахально выпрашивают деньги. Один их вид может побудить людей перестать верить.

Семья стремилась съехаться хотя бы раз в год на даче. Так было и летом 1894 года. Владимир Ильич приехал в Кузьминки (около станции Люблино под Москвой). Много гулял с младшими. Много писал. Подготавливал для опубликования тетрадки «Что такое

«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Товарищи взялись напечатать их на мимеографе.

Аня, все серьезнее входившая в дела брата, не успела прочесть всех тетрадок до его отъезда и очень досадовала, что не прочитала ту, что направлена против выступлений Михайловского, враждебного социал-демократам:

— Мама, подумай, вышло несколько возражений Михайловскому. А которое Володино? Мне рассказали, что есть еще одно, более основательное, только выражения очень уж недопустимые.

— Ну, наверное, Володюшкино...

— И я так подумала. Спрашиваю: «Какие же выражения?» — «Ну, например, «Михайловский сел в лужу».— «Вот это, пожалуйста, мне и достаньте!» Конечно, Володино!

— А ведь, наверное, его так лучше понимают рабочие? Он очень просто пишет, выразительно...

Не берегся сын. Простудился. Случилось воспаление легких. Мать снова поехала в Питер. Выходила его. Он был очень молод. Но так самостоятелен! Занят своей работой настолько, что положительно все подчинил ей. Еще не оправившись от болезни, он говорил со своими товарищами о поездке за границу. Мария Александровна обрадовалась: «Ты должен там хорошо отдохнуть, полечиться». Он ласково провел рукой по ее руке: «Да, это отличный повод. А там познакомлюсь с Плехановым». И все стало ясно. Никакого лечения не будет.

Уехал. Присылал шутливые подробные письма.

Она как бы путешествовала с ним сама, так он умел писать.

Вернулся сын с большим красивым чемоданом. Чемодан быстро распотрошили. В двойном дне он привез уйму нелегальной литературы. Но то, что таможенники ничего не обнаружили, еще не говорило об удаче. Это могло быть уловкой, чтобы проследить связи.

За Владимиром Ильичем серьезно следили. Он замечал это. И, смеясь, рассказывал:

— Никак не мог отвязаться от одного шпика. Кажется, ускользнул от него — нет, вижу, он в подворотне. Я быстро вбежал в подъезд и через стекло двери смотрю, куда он ринется. Уселся в кресло швейцара. Мне все видно, а ему меня — нет. А какой-то человек спускается с лестницы и с удивлением смотрит на «швейцара», покатывающегося со смеху.

Все-таки сын был арестован.

В Москву приехала и позвонила в двери квартиры Елизаровых худенькая девушка с тяжелой светлой косой. Что-то в ее лице, в тонких руках показалось не то знакомым, не то родственным. Может быть, складка чуть припухших губ. Что-то было в ее глазах, когда она заговорила с ними о Владимире, отличавшее от остальных его друзей-женщин. Мать взглянула на молоденькую учительницу пристальнее.

— Владимир Ильич передал мне шифрованное письмо. Он сказал на допросе, что чемодан, привезенный из-за границы, оставил дома.

«Пусть купят похожий, скажут, что мой».

Гостья — Надежда Константиновна Крупская и Анна отправились в магазины искать похожий чемодан. Нашли. Швыряли его по комнате, заталкивали под кровать, садились на него, чтобы он приобрел «бывалый» вид. Надя преподавала в воскресной школе за Невской заставой, а Владимир там руководил кружками. Они познакомились в позапрошлом году.

Аня поехала разузнать о деле брата в Питер, захватив злополучный чемодан и набив его всякой чепухой.

Мария Александровна, провожая ее, сказала:

— А эта девушка очень подходит Володе. Правда?

Аня кивнула в ответ.

Потом они узнали, что Надя Крупская из «очень хорошей семьи». У них это выражение имело особое значение.

Отец Надежды Константиновны — офицер — при усмирении польского восстания со своей батареей отказался стрелять в повстанцев.

Надежды на быстрое освобождение Владимира Ильича не было.

— Нам надо обеим ехать в Питер! — решила Ма-

рия Александровна, и снова они отправились в столицу.

— А ведь и Наденька Крупская арестована,— сказала матери возвратившаяся со свидания с братом Анна. Мать близко к сердцу принимала судьбу этой девушки. Но что можно было сделать?

Прошение матери об освобождении Владимира из тюрьмы на поруки ввиду болезни легких оставили без последствий.

Когда в феврале 1897 года был оглашен приговор — три года ссылки в Восточную Сибирь,— дома вздохнули с облегчением.

— Я поеду с ним,— твердо заявила Мария Александровна и принялась собираться. Родственники подали прошение разрешить ссыльным до отправки пробыть три дня дома.

Сын снова в Москве! И поедет за свой счет, а не этапом. Старые «политические» рассказывали об ужасах этапа: «Ссылку могли бы повторить, этап — никогда».

Ожившая, помолодевшая мать смотрела на Владимира улыбаясь. Ни о чем не спрашивала. Он был очень бледен, худ. У него болел желудок. В первый же день отправился к товарищам, а вернувшись, объявил:

— Еду со всеми. Этапом. Заарестуюсь, и кончено. Теперь этап легче. К чему мне льготы?

Неподвижная улыбка застыла на лице матери. Ничего не ответила сыну. Случайность помогла ей. Три льготных дня кончались. Заарестованные в Питере «декабристы» еще не прибыли в Москву. Охранка вызвала Владимира Ильича и объявила: либо получение проходного свидетельства на завтра, либо немедленное заарестование без свидания с родными. Владимир Ильич выбрал первое. Не мог не проститься с матерью.

Узнали, что получившая ссылку в Уфу Надя Крупская настаивает, чтобы ее выслали в Шушу.

— Значит, там я не нужна,— без горечи сказала Мария Александровна.— Передам его с рук на руки Крупским. И буду совершенно спокойна.

Не кончился еще и год Володиной ссылки, как арестовали Митю. Он участвовал в делах московского «Рабочего союза».

Да. Все получалось правильно. Неизбежно. Но от сознания этого не становилось легче. Скорее бы кончилось. Перевернулось бы все, и наступила справедливая жизнь для всего народа. И с новым усердием мать передавала книги, зашивала в холст суровыми нитками толстой иглой посылки. Смачивала их и химическим карандашом выводила адреса. Читала газеты. Научилась видеть между строк. Времени на тоску, на раздумья не оставалось. Покупала иллюстрированные журналы не только читать, а потому что картинки пригодятся в Сибири ребятишкам Володиного и Надиного друга — польского рабочего Проминского.

Некоторых товарищей своих детей она знает, о других слышала, третьи остаются неизвестными, но она вместе с посылками в Шушу готовит им передачи, белье, упаковывает принесенные Аней книги, покупает «долготерпеливую» еду — то, что не портится. Доктор Гааз — чудак в длинных чулках — был один. Он растратил свое состояние, помогая ссыльным. Сейчас безымянные Гаазы всюду — в семьях ссыльных, заключенных, в тюрьмах, среди знакомых и незнакомых. У них нет состояния, но они объединяются, порой не зная друг друга, и помогают детям, братьям, отцам.

Мария Александровна иногда успевает прочесть или перелистать отправляемые книги. Она видит, как Анна сидит над переводами для редакций, над корректурой Володиных работ и помогает ей. Это такая радость! Пишет Маняше: «26 дек. После твоего отъезда засели мы с Аней за переводы английских рассказов, так как Горбунов торопил их, и давно уже все покончили и отправили; теперь перевожу рассказик с немецкого. Занялась бы этим с удовольствием, если бы был интересный материал».

Ей исполнилось 63 года. Она работала, зарабатывала, помогала работе детей. Стремилась к Володе.

Володя в ссылке освоился, даже щенка Пегаса завел. Ездил в Минусинск, охотился, готовил со всей своей «компанийкой» (выражение Нади) изменение судеб России. При этом Мария Александровна так и видела его блещущие лукавством и умом коричневые глаза, его поразительное внешнее сходство с отцом и в то же время такое все его, еще небывалое.

А летом, поддерживая раз и навсегда заведенный порядок, Ульяновы собрались на дачу в Подольск — крохотный городок,— можно в нем остаться и на зиму. Приехала лечившаяся в Крыму Анна, приехала Маня. Ждали из тюрьмы Митю. В саду по традиции сохраняли к его возвращению куст орехов, как когда-то вишни для Ильи Николаевича. Митя вернулся в августе.

В письмах Володи и Нади (часто они писали вместе) все выглядело идиллически. Все это не так, конечно. Молодое счастье помогает терпеть ссылку. То, что Владимир Ильич за три года напишет больше тридцати работ, которые войдут в историю революции в России, подготовят самый крутой перелом мира, даже мать не могла представить.

Жила всегда настороже, всегда в ожидании, в напряжении. Не раз собиралась в Шушенское, но нужна была тем, кто здесь. Сын писал о группе сосланных в Якутию. Мать разыскала их родных, передала адреса.

Знала она его бои с ревизионистами, с «экономистами», Прокоповичем и Кусковой — она возмущалась их «кредо». Она не была революционеркой, просто была матерью. Болела об их «работишке», как говорила Надя, о квартире, питании, здоровье, бедах Ванеева, о детишках Проминского. Сын просил помочь Анатолию Ванееву,— значит, надо помочь. Но Анатолий все-таки умер. И это было ее горем.

Обыски оскорбляли ее. Аресты заставляли предполагать более страшное, чем было на самом деле. Боялась — вынесут ли физически? Столько потерь! Поехала в Петербург в департамент полиции просить о переводе Владимира Ильича из Енисейской губернии хотя бы в Псков.

Владимир говорил, что «мыкаться по присутственным местам — дело зачастую сугубо неприятное, более неприятное, чем сидеть». Так оно и было.

Дмитрия выслали в Тулу, Марию — в Нижний. Нужно было разрываться между Тулой и Нижним.

Только бы хватило сил!

ВО ФРАНЦИЮ!

Детей никогда не оторвать от материнского сердца. Закроет Мария Александровна глаза — и физически ощутит их присутствие, дыхание, голоса, привычные движения. «Не горбись, Володя, у тебя одно плечо выше другого», «Маняша, не хмурься».

Последние годы жизнь становилась все труднее. Жили в Москве, на окраине. Ждали с Аней Володю. Его должны были освободить в январе 1900 года. Наконец: «Выеду... если не надбавят срока». А если надбавят? Прибирать, чинить, кипятить, ходить в лавочку, быть как всегда, улыбаться, сесть за рояль, а мысли там...

Все, все вспоминается теперь, когда она едет во Францию, в чужом заграничном вагоне, когда нечем занять себя, и руки, не привыкшие к праздности, лежат на узеньком столике.

Мысли возвращались назад, в прошедшее, домой. Дом был там, где собиралась вместе семья, и уже давно не было дома в обычном смысле. Потому они научились ценить минуты встреч. Сейчас она едет, чтобы увидеть Володю во Франции, в Нормандии...

Вспомнился скромный, почти дачный дом в Подольске. Сюда к Владимиру Ильичу приезжали Лепешинский, Шестернин с женой. Кто мог знать, какие ожесточенные споры велись за закрытыми ставнями, когда Софья Павловна Шестернина выходила за калитку, закинув руки за голову, потягивалась, а потом, обняв Маняшу, кокетливо говорила:

— Благодать-то какая!

Спорили из-за позиций заграничной группы «Рабочее дело», договаривались о шифре, о том, как собирать и переправлять корреспонденцию, как перебрасывать газету в Россию.

Владимир подошел к матери и осторожно провел ладонью по ее плечу, как будто стряхивая соринку, пряча ласку.

— Очень хотелось бы съездить к Надюше в Уфу,— сказал он.

И не нужно было добавлять, что ждали его уфимские кружки, что дело, дело, ради которого теперь жила вся семья, звало его туда.

— Наконец-то вместе, на пароходе! — говорит она.— И Аня? Да?

В Петербурге снова она ходила по прокуренным, проплеванным канцеляриям, скромно, изящно одетая, чуть брезгливым жестом поправляя платье, чтобы не задеть пол, скамьи. Говорила негромко, твердо. Удивленно поднимала брови, по-молодому вразлет над глазами, не хотевшими стареть, как бы не допуская мысли об отказе.

Разрешили эту семейную поездку!

В Уфе они погостили несколько дней. Надя выглядела неважно. Похудела. Но, как всегда, была увлечена уроками, просто влюблена в «своих» детей. Показала всех Марии Александровне, Ане. У всех находила какие-нибудь таланты.

Владимир Ильич в Уфе задержался, а вернувшись в Подольск, быстро собрался и уехал за границу. Вскоре уехала и Анна.

...По вагону проходит проводник, объявляя остановку. Мария Александровна вздохнула. Так задумалась! Посмотрела в окно.

На станции нарядные дамы в накидках, опушенных мехом, несмотря на июнь. Собачки на шелковых шнурках с шерстью, выстриженной шахматным узором.

Мария Александровна рассеянно берет пачку рекламных листков. Читает. Откидывается на спинку бархатного пыльного кресла, подложив под голову носовой платок.

Маня и Марк Тимофеевич в тюрьме. Митя, слава богу, кончает Юрьевский университет. Трудно поверить, что еще несколько часов — и она увидит Володю здесь, во Франции. Изморось. Туман. Тусклый рассвет.

Все знакомо по книгам, по рассказам. Париж, словно опаленный огнем революции,— бело-черный.

Наконец-то Мария Александровна в Нормандии. Хорошо у моря. Теперь она будет знать, представлять, как они живут здесь. Володя, видимо, занят большим делом, очень озабочен, очень рвется в Россию. Иногда исчезает надолго. Юрист, философ, экономист — он погружен в работу.

Далеко в море видны острые камни и буруны се-

рых волн вокруг них. Приезжих мало. Рыбаки заглядывают редко.

Володя целыми днями если не уезжает, то пишет. Иногда ей кажется, что это не Франция, а Россия. Счастье в обыкновенности, простоте общения с сыном, в самых будничных его заботах, в его научной работе.

Тот, кто для матери был ее мальчиком, становился вождем.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Маню выслали в Самару. Мать, конечно, поехала с ней. Мария Александровна уже знала, что и самая младшая много помогает брату в его трудных партийных и издательских делах, а для матери она — девочка, большая, серьезная, но все-таки девочка. И когда задерживалась где-нибудь, матери не сиделось дома. Она прохаживалась в темноте по кварталу или затихала на скамейке у крыльца.

— Это ты, Маня? — первое, что слышала Мария Ильинична, приближаясь к дому.— Я беспокоилась, почему тебя долго нет,— тон чуть извиняющийся.— Проводил тебя кто-нибудь?

«Мама на посту, значит, на засаду не нарвешься, значит, все спокойно»,— мелькало в мыслях Марии, а мать, вздохнув, говорила:

— Как хорошо будет, когда не будет ни тюрем, ни решеток и люди будут свободны.

Она давно перешла в новое поколение, оставив далеко позади ровесников. Ей важно было чувствовать только то, что она нужна молодым. С радостью она держала корректуру их статей, переписывала Манины служебные бумаги.

Наблюдая даже издали, как дружны Владимир и Надя, как схожи их интересы, широк горизонт, читая их письма из-за границы «от бродяг», от «партии прогулистов», видя, как счастливы Аня с Марком, зная, что они не только лучшие друзья, но товарищи, единомышленники, Мария Александровна меньше тревожилась за них. Митя женился на милой девушке Тоне, живет в Малороссии.

Мария Александровна понимала самые сложные жизненные ситуации: Аня и Марк то и дело в разлу-

ке. Надя часто болеет. И все же, что бы ни случилось, есть у них душевная опора, а с нею ничего не страшно, все перенесут. Это она знала по себе. Мечтала о замужестве Мани.

Под новый, 1904 год все решили съехаться в Киеве. Дети на свободе, все как будто спокойно.

Нарядный, сверкающий инеем и рождественской иллюминацией город. Декабрь, а воздух мягок, снег кажется теплым. Невольно улыбаясь, она проходила мимо витрин, полных краснощеких дедов-морозов, снегурочек, гномов, смешных ватных черевиков и елок, обвешанных переливающимися всеми красками стеклянными шарами, и думала: «Кажется, мне выпало нынче быть мальчиком у Христа на елке».

Дети, зная, как Мария Александровна любит елку, привезли большое свежее дерево, и квартира наполнилась, как в детстве, смолистым запахом.

В гости ждали Кржижановских — Глеба Максимилиановича с Зинаидой Павловной. Они должны были привезти письмо Владимира Ильича. Аня проверила шахматный (специально заказанный у верного человека) чудо-столик с тайником для нелегальной литературы.

Мария Александровна впервые за долгие годы напряжения спокойно прошлась по Крещатику, надышалась свежим морозцем, купила золоченых орехов, краснобоких яблок, конфет в блестящих обертках и позвонила у парадного квартиры Елизаровых, на Лабораторной.

Все было готово! Дети торопились окончить приготовления до ее прихода, чтобы она не устала перед ужином. Но она, обрадованная и растроганная, все ловила себя на неосознанной тревоге. Отвыкла быть спокойной. Мысленно подшучивала над собой. Все было, как надо, только червячок, точивший сердце, не хотел затихнуть. Собрались вовремя. И Кржижановские привезли не только письмо Володи, но и статью Старика «Почему я вышел из редакции «Искры»?».

Перепечатать, размножить присланную статью и разослать ее в организации поручили Мане. Она, гордая, спрятала документ в тайник шахматного столика.

Никто не помешал встрече Нового года.

Жандармы ворвались, когда гости разошлись. И вот там, где пахло нагретой хвоей, потянуло шинельным мокрым сукном, сапогами. По намытому, натертому полу отпечатались грязные следы. Мария Александровна сидела в кресле у шахматного столика. Перед нею — упавшие фигуры неоконченной партии. Гордая голова матери, как всегда, была поднята. Мария Александровна подперла подбородок рукой и с презрением смотрела на жандармов, переворачивающих вверх дном мебель. Обеих дочерей увели. Хорошо, что Митя с Тоней ушли домой.

— Мамаша сомлевши,— сердобольно сказал один жандарм.— С праздничком!

Она не ответила. Они хозяйничали до вечера. Но как только незваные гости удалились, встала и быстро-быстро, накинув тальму, заторопилась предупредить Митю.

Но Митя и Тоня были арестованы.

Вот и кончился святочный рассказ про мальчика у Христа на елке.

На этот раз Мария Александровна оказалась совершенно одна в чужом городе. Скорее написать Володе и Наде в Швейцарию, посоветоваться, подать прошение. Пойти узнать, где сидят дети, в чем их обвинили. Сделать передачи!

Квартира выглядела разбитой, разграбленной. Нужно было прибрать, разобрать. Внимательно встряхивала она и развешивала одежду в шкафах, расставляла книги, сметала мусор вместе с осыпавшейся хвоей к печкам. И думала, мучительно думала, как снова добиться свободы для детей. Шахматный столик стоял нетронутым. Материалы, присланные Володей, в сохранности. Знала: за ними должны прийти друзья. Большевики! Непривычное слово!

От Володи и Нади пришло первое письмо. Оно было полно внимания, нежности, забот о литературных делах.

Володя понимал все лучше, чем она здесь. В жандармском управлении старались представить дело серьезнее, чем было в действительности. Вот и Володя (ему виднее), пишет, что, может быть, забрали их «за компанию», а жандармы наговаривали таких ужасов, что Мария Александровна возвращалась каждый день на

Лабораторную измученная, с одышкой. Четыре тюрьмы! Четыре узелка с передачами. С утра до вечера — покупки, стряпня котлет, пирожков, всего, что нужно было распределить между соседями по камерам, а число их то и дело менялось. Сама есть забывала.

Что должна была подумать мать, когда однажды, придя с передачей, она увидела усатую ухмыляющуюся рожу и услышала, что «детки не желают передачи и от свидания отказались»? Она не могла найти объяснения, предполагала самое худшее. Нагруженная пакетами уехала обратно. И в положенный день явилась снова. И снова услышала то же самое. Приезжала, бродила возле ворот тюрьмы: вдруг увидит? Сколько времени прошло, пока она узнала, что арестованные в знак протеста против безобразного обращения с ними объявили бойкот скоту жандарму и не принимали через него передачи, не выходили на свидание по его вызову, а он умышленно дежурил вне очереди.

Много, много позже, когда Марии Александровны уже не будет на свете, дочери вспомнят об этом; о том, как горячая, бескомпромиссная молодость в запальчивости не подумала о самых дорогих людях, о том, каково было старшим терзаться неизвестностью и выслушивать оскорбительные заявления жандармов.

Мать узнала обо всем, когда возобновились свидания с дочерьми. Она с грустной улыбкой только покачала головой. Их жизнь была ее жизнью, и не было более надежного товарища, чем она.

Свиданий с Митей не разрешали, но письма от него изредка передавали. Однажды, получив перечитанный, перемятый жандармами листок, Мария Александровна заметила неоконченные как бы в спешке слова. Она научилась вглядываться, вдумываться в каждый знак. Выписывая недостающие буквы, она прочла просьбу Мити передать Марку, чтобы он признал своими 500 рублей одной купюрой, которые были у Мити при аресте. Откуда же у молодого врача — еще без определенной практики — могла оказаться такая крупная сумма? Матери не нужно было объяснять, что деньги принадлежали партии. И когда Елизарова как свидетеля вызвали на допрос, он подтвердил, что дал деньги взаймы «на обзаведение» начинающему врачу. Обвинение в хранении партийных средств отпало.

Полгода тянулась жизнь в Киеве. Радовали только письма из Швейцарии. Но вот освободили Аню и Маняшу. Скорее сообщить Володе и Наде.

Надежда Константиновна писала: «Крепко вас обнимаю, мои дорогие. Только вот нехорошо, что у обеих вас здоровье плохо. Отдохнуть вам непременно надо — главное, отдышаться на свежем воздухе. Киев все же город...»

«Дорогая мамочка! Приписываю наскоро пару слов. Большущий привет Маняше и поздравление с свободой. Тебе надо непременно отдохнуть летом. Пожалуйста, переберитесь куда-нибудь на лоно природы... Твой В. Ульянов».

На то, чтобы радоваться, тоже нужны силы. Вот все на свободе: дочери, Митя, Тоня. Митя и Тоня едут в Симбирск, где он получил место санитарного врача. Елизаровы съезжаются в Саблино, под Петербургом, на даче, и Маняша увозит Марию Александровну к ним. Нужно опомниться, отдохнуть...

1905 год принес с собой революцию. Правда, первый революционный натиск был отбит самодержавием.

Дни взлета сменяются годами реакции. Но партия не сдается. Владимир Ильич в эмиграции. Скляренко, избранный делегатом на V (Лондонский) съезд партии, повидался с ним. Вернувшись в Петербург, он пришел к Елизаровым. Без конца рассказывал о съезде.

— Стосковался по музыке, Мария Александровна! И она играет для него. Подолгу. Если отрывают хозяйственные дела, он просит играть Анну. Разнежившись, говорит:

— Спойте, пожалуйста, «Я видел березку»...

Анна рассмеялась:

— Ну и вкус!

Но Скляренко серьезно ответил:

— Люблю или боевую песню, или уж сентиментальную. Вслушайтесь. Ведь что-то есть такое...— закашлялся, махнул рукой.

Здесь он был дома.

Обосновавшись в любой необжитой комнате, Мария Александровна, как волшебная царевна, выпускавшая птиц из рукава, создавала домашний мир, уют, покой, и измученный человек, забежав сюда, обретал уверенность. Вздохнув, с новыми силами шел дальше.

Так было и со Скляренко. Он был у них, сам не зная того, последний раз. О тюрьме, об этапе успел рассказать в своих очерках «За решеткой», «Приемный покой». Анна и Мария Александровна читали их в «Вестнике Европы», едва сдерживая слезы. Подписывался он — Марусин.

Письма в Москву приходили почти ежедневно, но Мария Александровна не знала, что за границей у Мани, поехавшей к брату, обострился аппендицит. Владимир и Дмитрий решили согласиться на операцию сестры и, только когда Маня стала поправляться, сообщили матери.

«Вот начали скрывать, беречь,— значит, пришла старость»,— подумала Мария Александровна.

Анна уговорила ее поехать к Мите в Крым, а Владимир и Надя все звали к себе. Встреча с ними восстановила бы ее силы.

ЕСТЬ ЛИ БОЛЬШЕЕ СЧАСТЬЕ?

Сентябрь в Стокгольме. Еще тепло. Много цветов. Рыночные площади уставлены жестяными кувшинами, похожими на урны, и в них — такая яркость, такая нежность красок, аромата, свежести!

Она написала Ане в Териоки: «Дорогая Анечка! Сегодня утром отправили тебе телеграмму, а сейчас опишу тебе наше путешествие. Доехали мы прекрасно... Качки совсем не было... Пароход опоздал и подошел к Стокгольму в начале 10-го.

Мы стояли с Маней у самого барьера и вскоре увидели Володю. Я не узнала бы его, если бы Маруся не указала. Она прямо взвизгнула от радости, когда увидела его... Я нашла его очень похудевшим и изменившимся, но он уверяет, что чувствует себя очень хорошо. Сняли 2 комнаты: одна побольше, для меня и Мани, другая — для него, очень хорошенькие и уютные, невысоко подниматься, и мне понравился здешний стол: можно получить и овощи, и каши, и самых свежих яиц, и молоко.

Маня целует тебя.

Не было ли писем от Мити и Тони? Напиши, если что узнаешь о них. Что пишет Марк? Хочу написать ему отсюда».

Володя, как всегда, внимателен, предупредителен в каждой мелочи.

— Мама, ты хочешь пойти с нами на собрание рабочих-эмигрантов? — спросил он ее утром.

— Ты будешь выступать? — она заволновалась.— Где?

— Буду. Ты столько помогала нам, а ни разу не была на наших официальных сборищах...

Конечно, она хотела. Заранее собралась. Посмотрела в зеркало. Кажется, все в порядке...

Они с Маней пришли в народный дом. Общество называлось «Досуг и польза». Небольшой зал был снят на этот вечер. Сели поближе, чтобы слышать получше. Когда сын вышел к столику, заменяющему трибуну, у нее екнуло сердце. Первый раз она услышит выступление Володи. Он заговорил оживленно, весело. Конечно, ей вспомнился другой зал и другая речь. Но там был суд. Здесь народ собрался отдохнуть, узнать, как поправить свою жизнь. Владимир говорил живо. Ирония и добрая шутка, устремленность, весомые слова, раскрывающие двери, срывающие завесу за завесой,— путь вперед.

«Как он напрягается! Так его ненадолго хватит!» За всегдашней ее сдержанностью не видно волнения, но сердце колотится так, что от шума в ушах она не все слышит, как тогда.

Она давно и навсегда поверила в дело своих детей. По-прежнему приходилось следить за каждым своим словом, быть осмотрительной. Взойдя на пароход, принадлежавший русской компании, уже невозможно было еще раз обнять сына, потому что на русской палубе его могли арестовать.

Тоска вдали от сына, в особенности после поездки к нему, становилась все острее. Очень, очень тяжело без него дома.

...А 1910 год оказался счастливым. Все дети были на свободе. Володя и Надя переехали в Париж, в Лонжюмо.

ПУТЬ ВСЕГДА В ГОРУ

Веселы отнюдь не беспечные люди. Те, кто многое перенес, знают цену радости, умеют ценить минуты без горя и опасений.

Марк получил работу в Саратове в страховом обществе, и все переехали туда. В это время в их семью вошел Гора Лозгачев, пятилетний сынишка дворника. Елизаровы решили взять его к себе.

С появлением Горы в семью снова, в третий раз, вернулось детство. Больше других занималась с мальчиком Мария Александровна. Передавала ему то, что знала сама. А время несло небывалые вести! Б. Я. Розинг провел первую в мире телепередачу. Руаль Амундсен достиг Южного полюса...

Подошла весна.

Россию потряс расстрел на Ленских приисках. Семья жила настороже. И в ночь на 8 мая пришли жандармы, увели Марию и Анну. Марк Тимофеевич вот-вот должен был вернуться из командировки. Мария Александровна осталась одна. Она рано утром отправилась на пристань. Когда пароход причаливал и к сходням подошел Марк, мать сделала понятный ему знак, и Елизаров не спустился на берег. Прямо с пристани она поехала в жандармское управление узнать о судьбе дочерей. «Может быть, и ненадолго взяли»,— равнодушно сообщил ей жандарм. Нервы не выдержали, и Мария Александровна потеряла сознание. Такое с нею случилось впервые.

Если бы не Гора, было бы очень плохо. Мальчик прибежал к ней, как всегда, веселый.

— А где все? — удивленно спросил он, оглядываясь.

— Уехали по делам,— лгать ей было неприятно. Сказать ребенку правду — невозможно.

Мария Александровна заканчивала письмо Павлу Тимофеевичу Елизарову в Сызрань, прося его задержать Марка. Арест был связан с работой Саратовской социал-демократической организации.

Анну вскоре освободили.

— А Мария Ильинична? Когда она приедет? — приставал Гора.

— Ее еще задерживают дела. Она просила тебя писать ей почаще.

И мальчик писал. И получал ответы. И не догадывался, что они, полные юмора, написаны в тюрьме.

В июне Владимир Ильич переехал в Краков. От Анны мать знала, что это вызвано необходимостью

быть ближе к редакции газеты «Правда», начавшей выходить в Петербурге.

Поехали с Анютой по Волге, по Каме в Пермь. Гора остался с родителями. Знакомые берега плыли за окнами парохода. Тянуло кизячным дымом, рогожами, воблой, скошенной травой, речной свежестью. По ночам горели костры. Как тогда, как всегда... Все было щемяще-знакомо и напоминало молодость. Был цел дом, где прошло раннее детство. И все сохраняла память.

Когда стало поспокойнее в Саратове, вернулся Марк; он перешел на другую службу, на должность главного инспектора Российского транспортного страхового общества. Звучало солидно и служило хорошим легальным прикрытием для подпольной работы.

Мария Александровна чуть ли не каждый день относила передачи Маняше. Писала ей: «Теперь шестой час, и я представляю себе, что ты гуляешь теперь, голубушка моя, переношусь мыслью к тебе... очень рада была узнать, что ты бодра и чувствуешь себя хорошо, дай бог, чтобы так было и дальше. Надеюсь, что скоро будешь свободна, а может быть, мы отправимся вместе, куда судьба велит...»

Понемногу Мария Александровна готовилась к отъезду. Куда? Этого еще никто не знал. Укладывала неизменный погребец, шкатулку с нитками, иголками.

— Куда ты, мама, столько ерунды набираешь? — спросила Анна.

— А вдруг в дороге кому-нибудь понадобится...

Такая она была, мама.

Съездив к Мите в Крым, Мария Александровна и Анна с Горой поселились в Вологде, возле Мани. Жизнь осложнялась не только опасностями работы, закрытием «Правды». Болела Надежда Константиновна. Владимир Ильич делился с матерью: «Дорогая мамочка! В среду наконец после 2-недельной «подготовки» в клинике Надю оперировали. Операция, видимо, сошла удачно, ибо вчера уже вид был у Нади здоровый довольно, начала пить с охотой. Операция была, по-видимому, довольно трудная, помучили Надю около трех часов — без наркоза, но она перенесла мужественно.

...Закрытие газеты, в которой я писал, ставит меня

в очень критическое положение». (Суббота, 26/VII, 1913 г. Берн.)

В одну из тихих ночей полиция нагрянула к ним на дачу и устроила обыск. Потребовали паспорт у Марии Александровны.

— Мария Ульянова вы?

— Я.

— Отдайте все нелегальное, что у вас есть!

Мария Александровна молчала, радуясь в душе, что ошибка может отвести беду от Маняши. Ее обыскали.

Тут возмутилась Анна:

— Да вы что издеваетесь? Не видите, с кем разговариваете?

— Обязан все сделать по форме,— твердил пристав. И сделал. Забрал паспорт Марии Александровны, испещренный прописками, ее легальные книги, потрепанный томик «Анны Карениной».

Когда жандармы ушли, мать уговорила Анну уехать.

— А то влетишь! — она усвоила язык детей и их товарищей.

Марию вытребовали со стражниками в Вологду для обыска квартиры. Она уехала спокойная, а мать не могла усидеть на месте. Не выдержала и поздно вечером пошла на станцию.

Ночным пустым поездом, в дребезжащем, пропахшем пылью вагоне, Мария возвращалась на дачу. Не стала дожидаться утра. Едва теплился сальный огарок в фонаре над дверью, плясал бледный лучик света по рыжим грязноватым полкам. Клевал носом подвыпивший проводник.

Поезд не успел остановиться, как Мария на ходу спрыгнула на крутую насыпь и... увидела одинокую фигуру.

— Мамочка, ну что ты, право?! Темень. Ни души. Поздно-то как.

— А ты? Я скорее хотела узнать, что с тобой,— немного смущенно и радостно мать взглянула на дочку.— Марусенечка моя!

Что-то сжало горло Марии. Она обняла мать за плечи и заметила, что та стала меньше ростом за последний год.

Медленно, в молчании дошли они до деревни. Где-то лаяла спросонок собака. Шуршали на насестах куры. Дойдя до дома, мать и дочь сели на крыльцо. Пахло сиренью. Мария Александровна сказала крепче сжав руку Маняши:

— Не хочется так жить без дела, поехала бы я куда-нибудь часовсем в деревню, учить ребятишек грамоте...

Осенью в Вологде то и дело забегали к Марии ссыльные друзья: Воровский, Любимов, Станислав Крыжановский. Возобновились музыкальные вечера.

А в мире было неспокойно. Объявление войны с Германией перевернуло жизнь каждого.

Дождавшись весны, отправились к Марку Тимофеевичу на Урал. А затем вся семья, кроме Марии Ильиничны, ушедшей на фронт, переехала в Петроград. С нежностью писала мать в Севастополь Мите, за границу Владимиру. Ждала их.

НАКАНУНЕ

Никто никогда не видел ее слабой. По-прежнему двигались худощавые руки, чиня, вышивая, переписывая, штопая, расставляя посуду. Никто не сидел без дела в этом доме.

Она не позволяла себе шаркать по полу мягкими туфлями. Ступала четко. Но сердце покалывала невидимая игла. Ей казалось, что нити, идущие от сердца, существовали всегда, растягивались на тысячи верст, связывая ее с теми, кто близок, но отсутствует. И тот, кто далеко, знает, что мать ждет. Сегодня она вспомнила Скляренко, его дочку, Станислава — верного друга Маняши, которого Маня разыскала в Галиции тяжело раненного. Вот зашел недавно Шелгунов — рабочий, знавший Володю еще с 900-х годов. Слепой.

Ныли натруженные ноги. Они столько ходили и неужели уже не поспевают за молодыми? Теперь у нее был постоянный собеседник — Гора. Первоклашка коммерческого училища так гордился новенькой формой, купленной «на рост», фуражкой с кокардой, что Анна Ильинична повела его в фотографию и снялась при всем параде.

...Если бы можно было проснуться через несколько десятков лет и посмотреть, что будет тогда на земле, как будут тогда жить люди! Увидит ли она, как победит дело ее детей?!

Сверстникам не могла она открыть богатства, которым наполнили ее жизнь дети. Шла в ногу с молодыми. Но все чаще останавливалась, оставалась одна. А она привыкла всем делиться с ними. Почти каждый день писала письма. Чаще всего младшей, Маняше.

Она вспомнила, как в Лыкошине на рассвете будил их пастуший рожок. Встала, чуть сморщившись от боли, перешла в столовую, напоминающую пароходный салон, сужавшуюся к маленькому балкону, открыла крышку пианино и осторожно взяла первые аккорды. Зазвучала увертюра «Евгения Онегина». Пастуший рожок... Рассвет... Ветер тронул листья деревьев и рябью пробежал по воде. Первый луч солнца...

— Мамочка наша!— как всегда оживленная, Анна окликнула Марию Александровну из передней. Подняла руки к шляпе, но остановилась, глядя на маленькую, стройную несмотря ни на что, только чуть поникшую в плечах фигуру матери у фортепьяно.

— А не махнуть ли нам с тобой на острова?

После обеда все поехали кататься, а когда вернулись, на столе лежало письмо от Владимира Ильича из Цюриха. И — фотография: без бороды, помолодевшее, оживленное лицо. Значит, все хорошо? Значит, все ближе его возвращение? Она размечталась о встрече, о поездке на пароходе.

Кутаясь в платок, Мария Александровна, как ни было ей трудно подолгу двигаться, работала, хлопотала по дому. День ее был заполнен хозяйственными заботами, книгами, музыкой, Гориными уроками. Но день кончался. Если Анна была в Питере, до ее возвращения не гас свет в материнском окне, выходившем на Газовую улицу. Зеленый от абажура огонек, словно маяк, горел и горел, и виден был четкий силуэт на занавеске. Дом напоминал корабль, а то и паровой утюг, в котором окна горели, как угли. Потом гасли, и оставалось одно.

Сегодня Марии Александровне стало особенно тревожно. В газетах смутно говорилось о военных

операциях, о братании. От Маняши давно не получали писем. Только под утро мать задремала. Проснулась, ясно услышав звонок. Заторопилась. Накинула теплый халат. Отперла парадную дверь. Никого. Но заснуть уже не могла. Занимался рассвет. Не в силах ждать, она позвонила по телефону Бонч-Бруевичу. Он не сразу услышал звонок. Мария Александровна обеими руками держала трубку, боясь выронить, так они дрожали.

— Слушаю,— наконец прозвучал его голос.

Горло у Марии Александровны перехватило:

— Вы не можете ко мне прийти?

— Что? Что? — он не сразу расслышал ее вдруг ослабевший голос.— Кто это? Мария Александровна? Конечно, сейчас, сию минуту.

— Приходите поскорее, пожалуйста, поскорее. Маня пропала.

Владимир Дмитриевич откашлялся:

— Да что вы? Нет, она жива, живехонька. Я только что вчера получил письмо от Веры Михайловны, она ее встретила на фронте.

— Не может быть!— голос окреп, в нем послышалась обычная улыбка.— Вы верно говорите?

— Верно!

— Не обманываете?— опять упал голос.

— Да нет же, Мария Александровна, как можно! Я письмо принесу. Хотите?

— Буду ждать.

— Ну-ну, бегу!

Девятнадцать арестов детей пережила мать, боролась, гордо подняв голову, входила в «присутствия», в холодные приемные чинуш и сановников. Сжимая в руках узелки с едой, письма, между строк которых молоком были вписаны важные, нужные слова, ждала в бесконечных очередях возле тюрем. Усталая, сидела на лавочке, ожидая позднего возвращения самых близких. Сейчас ко всему прибавился страх случайной смерти, ранения, плена. Она не сомневалась, что вместе со Станиславом ведет Мария опасную работу среди солдат. Ни дня, ни часа покоя. Когда-то сможет вернуться Володя?

Звонок еще не затих, как Мария Александровна отперла двери.

Она смущенно улыбнулась:

— Потревожила я вас. Такая рань.

Владимир Дмитриевич протянул ей письмо жены:

— Может быть, мне прочесть его?

— Да, да, прошу вас.

Они прошли в комнату матери. Бонч-Бруевич раз и другой медленно, внятно прочитал о том, как жена встретила Маню, какая деятельная и неутомимая Мария Ильинична.

— Правда? Письмо в самом деле вчера получили?

Владимир Дмитриевич показал штемпель на конверте. Надев очки, Мария Александровна вгляделась в неясные цифры. Кажется, успокоилась. Улыбнулась совсем по-обычному.

...Волнение не прошло даром.

(19 апреля) «...Я чувствую себя все плохо,— читала Мария Ильинична,— хотя принимаю все, что прописал мне врач наш: одышка мучает меня, не могу дышать свободно, это мучительная вещь. На воздухе чувствую себя лучше, но ходить много не могу. Не дождусь, когда поедем по Волге...»

Мать мечтала увидеть новое молодое счастье в своей жизни. Жизнь должна быть полной, душа не должна сжиматься. Как много может сделать человек, когда его понимают дома!

(15 января) «Дорогая моя Марусенька! Получила нынче открытку твою от 13-го, большое mercі за нее, родная моя! Станислава ты, вероятно, видела уже? Если ему дали отпуск, он мог бы приехать сюда ненадолго, вот рады были бы мы! Предлогом послужит посоветоваться с хорошим врачом».

Уходили силы, а мысли были с детьми далеко-далеко. Она почти не поднималась с кровати. Это тяготило ее — деятельную, энергичную.

Вдруг резкий звонок. Стук в двери. Громкие голоса. Кто-то засмеялся. И на пороге комнаты — Маня! Похудевшая, загоревшая, в белой косынке с красным крестом, оттеняющей горячие, «разбойничьи», как шутила она, глаза.

— Марусенька!

Сразу дело пошло на поправку. Сняли домик в Больших Юкках, недалеко от финской границы. С палисадником. Вот только рояля там не было. За окна-

ми качались ветки яблонь, на ровных грядках правильными рядами поднимались первые цветы. Поздно цвели черемуха и сирень. Уже и в саду возиться стало Марии Александровне трудно. Она слегла. На ночной столик просила поставить карточку Владимира, присланную из Цюриха. Она поворачивала ее в течение дня так, чтобы все время видеть усмехающиеся Володины глаза, чтобы стекло не отсвечивало.

Анна Ильинична старалась не оставлять мать одну.

— Дай мне что-нибудь, Аня,— едва слышно проговорила Мария Александровна.

Анна обернулась к ней. Лицо матери было спокойно, как всегда. «Валериану с ландышем? Камфару? Как вернуть силы? Ох, если бы приехал Володя! Но это невозможно».

— Облатку какую-нибудь...

Мать никогда не просила о помощи. Всю долгую жизнь всегда помогала сама. «Ты знаешь, что я еще хочу пожить с вами...»— успокаивающе улыбнулась. Приняв лекарство, она устала даже от этого движения, сказала:

— Что бог даст...

Медленно тянулись дни. Иногда она ловила себя на том, что пролежала час-два в каком-то забытьи. Ее тяготила невозможность самой ухаживать за собой. Дети так заняты! Иногда казалось, что она в Симбирске.

Медленно, слишком медленно шло лето. Никогда не ощущала она этого. Ей всегда не хватало времени. Она рассматривала свои руки — худые пальцы стали узловатыми. Всегда веселая выдумщица Маня затихла. Сегодня она читала ей вслух новый роман. Вспоминала, как мать переводила с английского, как смутило ее появление в газете первого ее перевода.

Анна вошла из сада, улыбнулась матери и поставила в стакан едва развернувшийся тюльпан необыкновенного цвета — огненный, с темными искрами.

— Как это красиво! — оживилась мать.— Какой хороший цветок! — Глаза ее заблестели. Она взяла дочерей за руки. Чувство будущего. Оно держало ее в жизни. Взгляд остановился на встревоженном лице Анны:

— Я ухожу... ухожу... ухожу от вас...— ей представился длинный, длинный коридор,— в могилу,— неожиданно для себя выговорила она. Но это нужно было выговорить. Успеть. Взглянула на Маню:

— А ты живи счастливо... в этой семье... я ее так люблю,— сказала она, вспомнив о Марке, но не назвала его. Как будто долг свой передала Анне. Старшей. И закрыла глаза. Заснула.

Неподвижно сидели дочери... Было пасмурно. Мария легко сжала запястье материнской руки. Пульс был слаб и неровен. Налетевший ветерок разметал легкие занавески на окне. Кусты, качнувшись, заглянули в комнату, зашуршали листвой по подоконнику. Что напомнили они? Сколько прошло времени? Она дышала глубоко, ровно, спокойно. Дочери сторожили ее сон. Вдруг она вздрогнула, вздохнула. Мария бросилась к шприцу, лежавшему в металлической коробке на ночном столике. Впрыснула камфару. Но лицо матери потемнело...

Как обычно аккуратная, красивая, спала Мария Александровна, положив руку поверх белого пикейного одеяла. Оборка кофточки тепло оттеняла лицо.

— Умерла наша мамочка,— сказала Анна. Мария Александровна Ульянова скончалась 12 июля 1916 года на 82-м году жизни.

Разговоры о похоронах. Казенные слова бумаг: «Справка Спасо-Парголовской церкви. Иерей...»— все это не доходило до сознания. Мать еще была с ними. Брали разрешение перевезти ее по железной дороге в Питер, похоронить на Волковом, рядом с Олей.

Легкий гроб несли Бонч-Бруевич и Марк, холм цветов вырос на кладбище.

Не исчерпать было душевного богатства, созданного, рассеянного матерью в мире.

Анна отвечала на письма Дмитрия:

«Мне не тяжело. Мне приятно писать и слышать о ней... Обнимаю тебя горячо... Ты так походишь на нее. Будь здоров, хороший мой... Будь покоен за меня». Она заклеила конверт. Надписала адрес.

Семья, больше чем семья, Ульяновых продолжала жить. Трудилась. Готовилась к решительным битвам.

Мать не дождалась сына.

Россия ждала Ленина.

А.И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА



Анна Ильинична Ульянова, по мужу Елизарова, была старшей из детей в семье Марии Александровны и Ильи Николаевича Ульяновых. Она родилась в 1864 году и умерла в 1935-м, прожив более долгую жизнь, чем все ее братья и сестры. На ее глазах они росли, становились подростками, молодыми людьми, зрелыми борцами-революционерами. Она видела, как формировались их характеры, убеждения. Ближе, чем кто-либо другой, была она брату Александру. Перед ней прошла вся жизнь Владимира Ильича. В ее семье прожила много лет и умерла мать, Мария Александровна.

Жизнь Анны Ильиничны представляла собой как бы неразрывное единство двух начал:

первое из них — *сама эта жизнь*, наполненная богатым содержанием; жизнь, озаренная светом титанических личностей Александра Ильича Ульянова и Владимира Ильича Ленина, насыщенная эпохальными взрывами трех российских революций;

второе — запечатленная Анной Ильиничной *история семьи Ульяновых*, ибо она была летописцем этой истории. Крупицу за крупицей собирала она все относящееся к брату Александру и его трагической гибели. Ей принадлежат воспоминания о Владимире Ильиче — одни из первых, появившихся на свет, ярко запечатлевшие его облик, особенно в годы детства и юношества. Ее рассказы об отце, о матери, о жизни семьи Ульяновых в Нижнем Новгороде и в Симбирске представляют собой ценнейший, а порой и единственный источник, по которому мы можем воссоздать образ этих людей.

Наряду со способностями серьезного исследователя, Анна Ильинична владела еще и тем, что в старину называли «легким пером». Каждый ее рассказ — это увлекающе-страстное изображение прошлого, которое доступно только современнику, обладающему к тому же талантом тонкой наблюдательности и литературным даром.

Если собрать воедино все, что ею написано, мы увидим как бы повесть о семье Ульяновых — повесть, полностью удовлетворяющую тем высоким требованиям, которые предъявляла сама Анна Ильинична к произ-

ведениям очевидцев и участников событий минувшего времени: в них, писала она, люди, принадлежавшие к славной плеяде тогдашних революционеров, должны вставать «так выпукло, как будто мы всех их знали, так жизненно, как будто бы они только что оставили нашу комнату, а душа наша была только что в самом дружеском общении с ними. Это — идеал биографа». Из далекой глубины десятилетий перед нашим мысленным взором возникают запомнившиеся девочке Ане длинный-длинный гимназический коридор, квартира из идущих в ряд комнат, площадь перед зданием гимназии, бассейн посреди площади и окружающие его бочки водовозов, мелькающие в их руках черпаки с деревянными ручками. Аллеи, спускающиеся по крутому склону к Волге. Тонкая фигура матери. Крохотный брат Саша. Случай, едва не кончившийся трагически: Саша, заигравшись, сорвался с откоса и маленьким комочком покатился вниз, а мать от страха закрыла глаза рукой.

Первые уроки грамоты, которые давала мать. Наклеив на картон нарезанные из бумаги буквы, она учила Аню складывать их в слова. Саша играл рядом. И вдруг оказалось, что он тоже знает буквы, собирает из них слова, читает не хуже Ани.

На дошедшей до нас старинной фотографии мы видим девочку в сапожках. Рядом с ней — кудрявый темноглазый мальчик, одетый в просторную белую рубашку. Ане около десяти лет, Саше — восемь. Она сидит, он стоит, положив руку на ее плечо. В той доверчивости, с какой лежит эта детская рука, чувствуется неразлучная дружба, соединявшая брата и сестру. Лица детей не по годам сосредоточенны и серьезны. И, что всего примечательнее, Аня держит раскрытую книгу. Надо знать Россию того времени, чтоб понять, насколько характеризует облик семьи книга в руках ребенка, а тем более девочки.

Впрочем, для того, кто знаком с этой семьей по воспоминаниям современников, и в частности Анны Ильиничны, тут нет ничего неожиданного.

Раздвигая завесу прошлого и оглядывая прожитую жизнь, Анна Ильинична не случайно уделила много внимания годам детства и отрочества своих сестер и братьев: она вообще придавала этой поре важнейшую роль в формировании человеческой личности.

«Я считаю,— писала она полвека спустя,— что пора детства имеет огромное, решающее значение для всей последующей жизни. А затем, в детских поступках и проявлениях, когда человек не научился еще подчинять свои действия влияниям ума и рассудка, когда он непосредствен, чужд всякой приспособляемости, натура его видна, как в зеркале. И поэтому отражение некоторых ребяческих поступков детского периода может иногда дать для познания взрослого человека больше, чем иные сознательные и обдуманные поступки его,— во всяком случае может многое дополнить. Недаром так дороги эти проявления для чуткой матери, воспитательницы; недаром жены познают иногда, к своему удивлению, в детях те или иные, не вполне для них ясные свойства ума и характера своих мужей...»

* * *

Словно бы тихо и ровно идет жизнь семьи Ульяновых. Словно бы не происходит в ней никаких особых событий. Но ничто не может оградить ее от «впечатлений бытия»: тут и рассказы отца о всяких несправедливостях, и бледные лица арестантов, глядящих сквозь решетки тюрьмы, которая находится совсем рядом с их домом.

И книги. Книги, которые читают сперва старшие, потом средние и младшие. Благородный Айвенго. Столь любимый Сашей Пушкин. И разумеется, Некрасов — «Выдь на Волгу...».

Да, выдь на Волгу!

С высокого обрыва, прозванного «Венцом», видны заволжские дали — тонкая голубоватая тень бесконечных лесов, подернутые туманом прибрежные пески, золотые на солнце поля. Проплывают пароходы, буксиры тащат баржи, тянутся вереницей плоты, баркасы, шхуны, лодки. Сквозь певучую тишину доносится протяжная песня, из-за речного поворота возникает длинная серо-коричневая человеческая цепь: это бурлаки тянут бечеву.

Воспоминания Анны Ильиничны высвечивают то одного, то другого из ее близких — отца, мать, братьев, сестер. Скупее всего говорит она о себе, да и то по большей части мимоходом, рассказывая о ком-нибудь другом.

Она рисует себя болезненным, капризным ребенком, застенчивым и робким. Тут есть, вероятно, доля правды, но еще больше щепетильной скромности и стремления показывать не себя, а дорогих ей людей. То немногое, что мы знаем об Анне Ильиничне, свидетельствует о характере вдумчивом, мечтательном, склонном к самопожертвованию и безоглядной преданности делу.

Достигнув отрочества, она (одна во всей семье) начинает писать стихи — трогательные в своем стремлении выразить благородное чувство любви к народу, владеющее автором.

Старшая среди детей, она первой оканчивает гимназию. Впереди — Петербург, Бестужевские Высшие женские курсы. Но она решает подождать Сашу и поехать в Петербург вместе с ним.

А пока читает, учится, чтоб восполнить пробелы в образовании, которые оставляла после себя тогдашняя средняя школа вообще, а женская в особенности.

Последняя длинная осень, последняя долгая зима. И последнее лето в любимом всей семьей Кокушкине, навсегда оставившем в душе Анны Ильиничны воспоминания о самой милой и мечтательной поре ее жизни.

«Это было то поэтическое время «детства с двумятремя годами юности», о котором Герцен говорит, что это — «самая настоящая, самая изящная, самая *наша* часть жизни»»,— писала впоследствии Анна Ильинична.

К сожалению, мы располагаем преимущественно рассказами о немудрящих радостях деревенского приволья. Та духовная жизнь, которая расцветала в летние месяцы, не стесненные гимназическими шорами, в дошедших до нас мемуарах почти не показана. Почему так получилось? Прежде всего потому, что авторами этих воспоминаний в большинстве своем были «люди без общественной жилки», как говорила о них Анна Ильинична. К тому же свои воспоминания они писали десятки лет спустя, когда многое забылось. Да и книги их в основном были предназначены для детей, что несомненно сказалось на их стиле и характере.

Что же касается Анны Ильиничны, то она, работая над своими воспоминаниями, была целиком захвачена сложной задачей, которая перед ней стояла: восстановить облик членов своей семьи, и в особенности стар-

ших двух братьев. Сделать это было нелегко: подготовленные ею биографии Александра Ильича и Владимира Ильича были первыми по-настоящему написанными книгами такого рода.

Ко всему этому надо добавить и то, что, стремясь в своей работе к чеканной сжатости и лаконизму, Анна Ильинична нередко опускала подробности, которые ослабляли рельефное выражение ее мыслей. А споры, разгоравшиеся порой в Кокушкине, представлялись ей в свете трагических событий будущего простым брожением юношеских умов.

Но это было не так, далеко не так. Интеллектуальное формирование молодого поколения Ульяновых происходило в эпоху, когда над миром проносились революционные грозы: освободительная борьба в Италии, война Севера и Юга в Соединенных Штатах, Парижская коммуна, народные движения в Центральной и Южной Америке, отзвуки которых гремели в годы отрочества и юности Анны, Александра, Владимира, Ольги Ульяновых. И на фоне всего этого — небывалый общественный подъем и революционное брожение в самой России.

А вместе с переложенными на музыку стихами поэтов декабристов и петрашевцев, которые дети слышали чуть ли не с колыбели, с Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым, а потом с Белинским, Герценом, Писаревым, Добролюбовым и Чернышевским в их жизнь входили освободительные идеи, которые владели умами передовой части русского общества.

«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». В истории русской передовой общественной мысли бывали периоды, когда литература, литературные пристрастия и мнения являлись главным или даже единственным ее выразителем.

Такой была литература шестидесятых и семидесятых годов прошлого века.

Новая книга Салтыкова-Щедрина, новая поэма Некрасова, новый роман Тургенева были общественным событием. Двадцатого числа каждого месяца — дня выхода «Отечественных записок» — ждала вся мыслящая Россия.

Поэтому для познания внутреннего мира Анны Ильиничны в высшей степени важны ее литературные

увлечения. В своих симпатиях и антипатиях к литературным героям она тверда, порой вступает в спор даже с непререкаемым для нее авторитетом Саши. Так, прочитав в тринадцать лет «Войну и мир», она попадает под обаяние Андрея Болконского, к которому Саша относился пренебрежительно и защищал Долохова. Ей нравился Нежданов из тургеневской «Нови», Саша относился к нему отрицательно. Но в главном, в основном литературные мнения всей семьи совпадают.

Годы идут быстро. Рядом с чисто художественными произведениями возникает и растет интерес к литературной критике и публицистике. Как и все их поколение, Анна и Александр переживают пору страстного увлечения Писаревым с его неумолимым рационализмом, под которым скрывался возвышенный и бескорыстный идеал служения правде, народу, человечеству.

Идеи, убеждения у старших детей Ульяновых складывались сразу, на едином дыхании, без переходов, без постепенности, как буря, как вихрь. Оставаясь незыблемыми в своей основе, они обогащались впечатлениями от новой книги или живой жизни с ее разлитой по всей России нищетой и горем, от одного вида завязанной в тугой узел копейки, этой, по замечательному выражению А. Ф. Кони, «медной слезы» русского народа.

Как ни медлителен с точки зрения сегодняшнего дня исторический процесс того времени, но на общем фоне многовековой истории России XIX век предстает исполненным бурного движения: Отечественная война, поход в Европу, декабристы, свинцовая ночь николаевского царствования, крестьянские бунты, народничество и народовольчество,— чуть ли не каждое десятилетие приносит что-то новое, неожиданное, небывалое.

Огромного нарастания события достигают во второй половине семидесятых и начале восьмидесятых годов — именно тогда, когда молодое поколение Ульяновых вступило в пору юности и жадно вглядывалось в раскрывающуюся перед ним жизнь.

Вести о казнях и судебных процессах, о беззаветной смелости участников «Народной воли» доходили до Симбирска и Кокушкина и вызывали живейший отклик в семье Ульяновых. Правда, Анна Ильинична вспоминает лишь один разговор, происходивший с глазу на глаз между Ильей Николаевичем и Александром

Ильичем после убийства Александра II. Но совершенно очевидно, что разговоры о цареубийстве, при всей их опасности, не могли не происходить в такой семье.

Не будем пытаться восстановить эти разговоры: мы их не знаем. Но последующая история младшего поколения Ульяновых достаточно выразительна, чтоб мы могли составить мнение о том, на чьей стороне были они в борьбе, волновавшей всю передовую Россию.

* * *

Александр, а следом за ним Анна Ульяновы приехали в Петербург в то время, когда город был глубоко взбудоражен: только что в Париже умер Иван Сергеевич Тургенев. Согласно его последней воле, он должен был быть похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища, рядом с Белинским. 26 сентября 1883 года гроб прибыл в Петербург.

Никогда Россия не видала таких похорон, такой открытой скорби о скончавшемся писателе. С самого утра 27 сентября громадные толпы стояли вдоль улиц, по которым должен был проследовать траурный кортеж, растянувшийся на две с половиной версты.

Как ни велика была похоронная процессия, она была с обеих сторон сжата кольцом казаков: ведь хоронили неодобряемого правительством, неугодного ему писателя. Полицейские наводняли и улицы, и кладбище, куда пропустили очень немногих.

Среди тех, кто заполнял в этот день петербургские улицы, были Анна и Александр Ульяновы. Они пытались прорваться на кладбище, но полицейские их оттеснили. Потом они слышали со слов тех, кому удалось присутствовать при погребении, какое тягостное настроение там было.

Когда сейчас вчитываешься в воспоминания Анны Ильиничны, то чувствуешь, как неумолимо сгущаются те впечатления бытия, которые не могли не толкнуть Александра на неравный бой. И понимаешь, что брат и сестра, попав впервые в жизни на художественную выставку, сильнее всего были взволнованы картинами Верещагина, выражавшими на великом языке искусства страстный протест против войны: «На Шипке все спокойно», с фигурой часового, заметаемого снегом, и другой — панихидой над полем, усеянным трупами пав-

ших. И понимаешь также, что из всех осмотров достопримечательностей Петербурга наибольшее впечатление осталось у них от осмотра Петропавловской крепости.

Тупоголовое начальство каждое воскресенье открывало ворота крепости, полагая, по недостатку сообразительности, что главным желанием посетителей было поклонение могилам русских императоров. Но брат и сестра Ульяновы стремились к иному. Для них Петропавловская крепость была русской Бастилией, в которой томились и закончили свой земной путь борцы за великое дело свободы.

Пройдя через мостик, Александр и Анна оказались в крепости, погруженной в зловещее молчание, нарушаемое только бряцанием оружия и окликами караула.

«Это было первое для нас дуновение тюрьмы»,— писала впоследствии Анна Ильинична.

Они вышли из крепостных ворот и оглянулись. Было часа четыре дня, над Невой нависли низкие тучи, моросил дождь, подхлестываемый резкими порывами ветра. Подавленные, шли они вдоль решетки Летнего сада. Грудь словно сдавило камнем. Взглядывая на Сашу, Анна шагала рядом с ним, чувствуя, как глубоко переживает он все только что увиденное.

У Анны Ильиничны процесс приспособления к петербургской жизни протекал нелегко. Больше всего ей мешала природная застенчивость. Очень способная, успевшая изучить ко времени своего поступления на курсы французский, немецкий и английский, овладевшая уже началами итальянского и болгарского, она обладала обширными для своего возраста знаниями. Память у нее была исключительная: свои любимые поэтические произведения — «Железную дорогу», «Мцыри», «Евгения Онегина», «Орлеанскую деву» — она знала наизусть. Знала наизусть и целые страницы Белинского, Писарева, Добролюбова.

Бестужевские Высшие женские курсы, говоря словами одной из их слушательниц — народоволки Ивановской, были основаны на строго демократических началах. На этих курсах создавались кружки, участники которых нередко потом шли в революцию.

Неудивительно, что над курсами нависла угроза: правительство намеревалось их закрыть. Такая же угроза нависла и над любимейшим журналом передовых

людей того времени — над «Отечественными записками».

Правда, Бестужевские курсы удалось отстоять.

Прогрессивная часть русского общества, особенно молодежь, с острой болью восприняла запрещение «Отечественных записок»; Салтыков-Щедрин потерял трибуну, с которой выступал с грозными обличениями власть и деньги имущих.

«Мы ощущали очень горестно, что наш любимый писатель вынужденно умолк, что орган его закрыт, но чем могли мы в то время выразить ему сочувствие? — вспоминала потом Анна Ильинична.— Все формы общественного проявления были тогда закрыты; единственно признанным было принесение приветствия в традиционный день именин».

В канун 7 ноября 1885 года к Анне Ильиничне пришел товарищ Саши, студент Военно-медицинской академии, с предложением организовать на Бестужевских курсах депутацию к Щедрину, который болен и чувствует себя одиноким и всеми забытым. Такие же депутации должны были прийти к Щедрину и от других высших учебных заведений.

Застенчивость Анны Ильиничны как рукой сняло. Она тотчас набросала проект адреса, на следующий же день собрала курсисток. Проект был принят.

Вместе с делегацией курсов она отправилась на квартиру к Щедрину. Увидеть его девушкам не пришлось, они лишь услышали стоны из его комнаты. А на следующий день директриса курсов Н. В. Стасова вызвала к себе Анну Ильиничну и рассказала, что она видела Щедрина и он выразил благодарность курсисткам за их адрес, который показался ему самым прочувствованным из всех, им полученных.

Когда Анна Ильинична рассказала Саше о посещении Щедрина и разговоре со Стасовой, он спросил:

— Это ты написала адрес?

Да, его написала она.

И в следующем, 1886 году Анна Ильинична была вновь избрана в состав делегации, посетившей Щедрина в день его именин. На этот раз в делегацию был избран также и Александр Ильич.

Первые три года учебы брат и сестра Ульяновы жили обычно неподалеку друг от друга и старались

быть вместе каждую свободную минуту. По старой симбирской привычке они усаживались с книгами у зажженной керосиновой лампы и проводили целые вечера, лишь изредка обмениваясь небольшими замечаниями. Но стоило Александру Ильичу чуть шевельнуться или поднять голову, он видел устремленный на него пристальный, полный нежности взгляд старшей сестры.

Они полюбили Петербург, показавшийся им вначале столь чужим и неприветливым, его снежную тишину, широкие улицы, робкую зелень, белые ночи, когда так хочется бродить вдоль набережных Невы.

Летом они уезжали в Кокушкино. Как это всегда бывает, поражались тому, насколько выросли младшие дети.

* * *

В начале 1886 года семья Ульяновых пережила тяжелое горе: скоропостижно скончался Илья Николаевич. Это произошло как раз тогда, когда Анна Ильинична приехала в Симбирск на рождественские каникулы.

Хоронил его весь город, вся губерния: весть о его смерти прокатилась по всей учительской России.

После смерти отца Анна Ильинична хотела остаться с матерью. Но Мария Александровна настояла, чтоб она уехала в Петербург и продолжала образование.

Она поехала. Всю весну тосковала и болела. Как ни принуждала себя, не могла по-настоящему работать: слишком терзало горе. Не смогла собрать силы, чтобы сдать два последних экзамена. Мучилась бессонницей. Болела изнуряющей лихорадкой, приступы повторялись через две-три недели.

Лето 1886 года было последним летом, в которое Александр Ильич приезжал домой. Анна Ильинична в каком-то предчувствии рокового будущего дорожила каждой минутой, которую она могла провести со старшим братом.

Поверхностному наблюдателю жизнь брата и сестры Ульяновых по их приезде в Петербург осенью 1886 года показалась бы мало отличающейся от той, которой они жили в предыдущие годы.

Однако даже на поверхности их жизни проглядыва-

вало и нечто новое. Они реже встречались. Были не так откровенны между собой, как прежде. У Александра Ильича появился новый круг друзей и интересов, в который он не допускал сестру. Она не столько знала об этом, сколько чувствовала своей любящей душой.

Для Анны Ильиничны эти месяцы прошли в непрерывных терзаниях: не могла понять, почему Саша от нее отдалился, новые друзья его нередко внушали ей чувство недоверия и тревоги.

Только однажды почувствовала она прежнюю близость со столь дорогим ей братом: это было во время знаменитой демонстрации, посвященной памяти Добролюбова, в которой Анна Ильинична принимала участие,— первой в ее жизни демонстрации.

После демонстрации Анна Ильинична стала чаще бывать на квартире брата. Сидя вместе с несколькими товарищами в большой комнате за круглым столом, она надписывала адреса на конвертах, в которых рассылалось обращение к обществу по поводу расправы с демонстрацией. Потом разносила эти письма и бросала в почтовые ящики. И чувствовала все время, что рядом с ней происходит нечто таинственное и непонятное, к чему она не имеет доступа. То в квартире Саши появлялся новый, незнакомый Анне Ильиничне человек, и они, уединившись, тихонько беседовали о чем-то. То Саша поспешно уносил со своей квартиры какой-то тщательно завернутый в бумагу предмет, по форме напоминающий ружье. В ответ на свои вопросы она слышала односложные и уклончивые объяснения. Когда она входила в комнату, то разговор там тотчас же прекращался.

Все это наполняло Анну Ильиничну смутным беспокойством. Но она была, по ее собственному признанию, так далека от мысли, что готовится террористический акт, да и сам Саша проявлял такое спокойствие, что неясная тревога потонула в других впечатлениях.

В феврале то, что Анна Ильинична называет в своих воспоминаниях «нервной беготней», прекратилось. Казалось, что Александр Ильич полностью ушел в науку. Правда, он предупредил как-то Анну Ильиничну, что она получит предназначенную для него телеграмму. Телеграмма эта пришла ночью. Странная телеграмма, отправленная из Вильно, с незнакомой

подписью «Петров» и загадочным текстом: «Сестра опасно больна». Утром Анна Ильинична побежала к брату.

Текст телеграммы означал, что из Вильно в Петербург выехал человек, который везет азотную кислоту и стрихнин для готовившегося покушения на царя.

Словно спугнутый разговором с сестрой, спросившей, что же означает эта телеграмма, Александр Ильич ушел в себя и на лице его выступило что-то отчужденное, неуловимое, отделявшее их в последнее время друг от друга. И еще раз, подойдя вплотную к разгадке, она ничего не разгадала.

Неизвестность ее мучила. Особенно пугали неожиданные, незнакомые прежде поступки брата: однажды он не ночевал у себя; как проговорился один из новых его друзей, Саша что-то гектографирует или печатает.

Она боялась расспрашивать о чем-либо брата, но все же изредка, не выдержав, задавала ему вопросы. И всегда, словно на скалу, наталкивалась на его твердое молчание.

Чувствуя, что брату грозит неведомая ей беда, она металась, пробовала разговаривать о нем с близкими друзьями, не спала ночей.

Сидеть над книгами у нее не хватало сил. В пятницу, 27 февраля, она поехала в деревню Волково, чтоб послушать там урок учителя народной школы. Но слушала невнимательно и быстро ушла. Проходя мимо Волкова кладбища, заглянула туда,— в то время она и думать не могла, что здесь суждено покоиться ее сестре, матери, мужу и ей самой. Вся в слезах долго бродила среди могил. На обратном пути заблудилась. С трудом найдя дорогу, вышла на Петербургскую сторону. И вдруг увидела Сашу.

— Откуда ты? — спросил он.

Узнав, что с кладбища, удивился, что-то пробормотал и пошел своим путем.

Это была их последняя встреча.

В воскресенье, 1 марта, Анна Ильинична хотела зайти к нему с утра — накануне не застала его дома,— но узнала, что он уже ушел. Весь день бродила по городу. Погода стояла весенняя, солнечная, но тревога за брата не покидала.

Вечером она снова побежала к нему, уверенная, что

на этот раз непременно его застанет. Подходя к дому, увидела, что окна его квартиры ярко освещены. Очень обрадовалась этому: значит, дома и она сейчас его увидит. Поднялась по лестнице. Позвонила. Дверь резко распахнулась. Два дюжих полицейских схватили ее под руки и втащили внутрь.

В комнате все было вверх дном. Шел обыск — первый из многочисленных обысков, которые она видела на своем веку. Спросила, что случилось, но ей не ответили.

Ничего не зная, ни о чем не догадываясь, она не понимала всей серьезности происходящего. И уж никак не допускала мысли, что и сама будет арестована. Но полицейские повели ее на квартиру, где она жила. Там снова обыск. Больше всего поразили Анну Ильиничну те предосторожности, с которыми была забрана хранившаяся в ящике комода инфузорная земля, привезенная Сашей из Кокушкина.

Дальше ее ждал обычный в таких случаях путь: охранное отделение на Гороховой улице, а сутки спустя — «предварилка», как именовали тогда дом предварительного заключения.

И тут для Анны Ильиничны потянулись дни и ночи, ночи и дни, заполненные только одним: что же произошло? Почему арестован Саша? Что его ждет?

Пристав, который вез ее на извозчике из охранки в «предварилку», ругал студентов, что они, мол, снова бунтуют, и назвал имя Генералова, который, по его, пристава, словам, бросил бомбу в царя, но был схвачен, а теперь-де сажают всех его знакомых. Навсегда запомнился ей страх, который она испытала, услышав имя Генералова: ведь это был знакомый Саши, она не раз видала его на Сашиной квартире!

Анна Ильинична даже не заметила, как извозчик подъехал к «предварилке», как скрипя на ржавых петлях, растворились ворота тюрьмы и длинным коридором, где так гулко звенят шпоры, ее провели в одиночную камеру. «...Напряженно разматывая в своем мозгу клубок минувших событий, встреч, разговоров, всего неясного для меня в поведении Саши, я стала понимать с ужасом, леденившим мне душу, что тут дело не в одном знакомстве, а в активном участии. Первый же допрос утвердил меня в этом мнении...»

Вскоре приехала в Петербург Мария Александровна, которая добилась разрешения на свидание с арестованной дочерью, а потом и с сыном. Грустная, но владевшая собой, она несколько успокоила всем своим видом Аню. Во время одного из свиданий на вопрос об Александре Ильиче она лишь сказала: «Молись о нем». Но Аня не поняла тогда смысла этих слов...

Анна Ильинична была освобождена из тюрьмы 11 мая, на третий день после казни брата. Она подлежала высылке в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на пять лет, о чем уже был поставлен в известность иркутский губернатор, и по прибытии в Иркутск отправлена «в определенные пункты с учреждением там гласного полицейского надзора». Местом ссылки был определен город Киренск Иркутской губернии.

У ворот тюрьмы Анну Ильиничну поджидал дальний родственник семьи, Песковский. Он рассказал всю правду о судьбе брата. Волна отчаяния пронизала ее. Песковский просил ее совладать с собой ради матери. Она старалась, но, по воспоминаниям ее, скорее мать была ей поддержкой, чем она поддержкой матери.

Несколько дней спустя в департаменте полиции Анне Ильиничне вручили последнее, полученное ею, письмо брата. Он просил у нее прощения за горе, которое причинил ей и матери.

«Будь здорова и спокойнее, насколько это только возможно,— писал он,— от всей души желаю тебе всякого счастия. Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя».

Только тот, кто пережил гибель близкого человека, поймет невыразимую боль, которую испытала Анна Ильинична, когда получила это письмо.

Мария Александровна словно окаменела. Без стона, без звука несла свое горе. Заботилась об Ане. Хлопотала, чтоб Восточную Сибирь ей заменили ссылкой в «места не столь отдаленные». Добилась этого: министерство внутренних дел вынесло решение о «смягчении наказания» и высылке Анны Ильиничны под гласный надзор полиции в деревню Кокушкино Лаишевского уезда Казанской губернии.

Приехав вместе с матерью в Симбирск, Анна Ильинична оставалась там недолго: ее торопило жандармское предписание, по которому она «определялась на

жительство» в Кокушкине. Следом за ней, в конце июня, в Кокушкино приехали, распродав почти все, Мария Александровна, Владимир и другие члены семьи. Ближе к осени они уехали в Казань.

Анна Ильинична осталась в Кокушкине.

Как непохоже было для нее теперешнее Кокушкино, понурившееся в октябрьском тумане, на Кокушкино времен ее детства и юности! Холодные ветры сдули с деревьев последнюю листву, по небу неслись серые дождевые тучи. Только шорох дождя и дальние переклики улетающих птичьих стай нарушали безмолвие.

Единственная надежда ее теперь — литературная работа. Еще при жизни Саши она писала стихи и небольшие рассказы, которые он хвалил. В тюрьме ее потянуло к стихотворчеству. В Кокушкине она написала несколько сказок и стихотворений, которые послала в детский журнал.

Наступил декабрь. Лед сковал реки, на землю лег снег, в тиши зимнего леса лишь попискивали синицы, перелетая с ветки на ветку, да деловито постукивал по коре деревьев дятел. И вдруг эту однообразную музыку прервал все приближавшийся звук колокольчика.

Анна Ильинична, накинув платок, выбежала на крыльцо. Подкатила санная кибитка и из нее выпрыгнул одетый в овчинный полушубочек Володя. А следом за ним — младшие брат и сестра и Мария Александровна.

Дело в том, что Владимира Ильича, поступившего осенью в Казанский университет, арестовали за участие в студенческих беспорядках и отправили в ссылку в Кокушкино.

Владимир Ильич поселился во флигеле, где стоял книжный шкаф его дяди, человека начитанного и образованного. В старых журналах было много статей по общественным вопросам, которые Владимир Ильич жадно читал. Он много бродил по лесам, охотился, думал.

Анна Ильинична была все время с братом. С огромным интересом наблюдала за его умственным и духовным ростом. Поражалась тому, как быстро он мужал. Невольно сравнивала его со старшим братом, столь непохожим и в то же время схожим. Отыскива-

ла общие для них обоих черты и старалась определить их различие.

Будущее представлялось пока туманно. Ясно было одно: ее ждет работа. К ней надо готовить все свои силы.

* * *

Примерно за год до ареста и гибели Саши в жизнь Анны Ильиничны вошел новый человек: Марк Тимофеевич Елизаров. Знакомство с ним произошло как бы «по цепочке»: сперва его узнал Саша, встретившись в студенческом землячестве, потом Саша познакомил с ним сестру.

Скрытная, как всегда там, где это касается ее самой, Анна Ильинична почти не рассказывает о Марке Тимофеевиче. Впервые она упоминает о нем лишь в связи с добролюбовской демонстрацией и даже в переписке с подругой Надей его имя называет не раньше чем через год по приезде в Кокушкино.

Уже к моменту ареста Анны Ильиничны родные и друзья смотрели на Марка Тимофеевича и на нее как на жениха и невесту.

Марк Тимофеевич Елизаров не случайно вошел дорогим и полноправным другом в семью Ульяновых: был он личностью весьма и весьма незаурядной.

Сын крепостного крестьянина, только что получившего «волю», он родился в 1863 году в деревне Бестужевке Самарской губернии, с детства проявил выдающиеся способности, кончил деревенскую школу, затем гимназию и в 1882 году, девятнадцати лет, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Благодаря успехам был освобожден от платы за учение, иначе не смог бы довести свои университетские занятия до конца.

Наряду с математическими, он обладал исключительными способностями к игре в шахматы. Будучи лишь любителем, выиграл во время сеансов одновременной игры партии у самых сильных, прославленных шахматистов его времени — Михаила Чигорина и Эммануила Ласкера.

Арестованный по делу 1 марта 1887 года, к которому не имел никакого отношения, он не отрекся от своей любви, открыто признал Анну Ильиничну своей

невестой и отныне разделял все нелегкие испытания, которые выпали на долю семьи Ульяновых.

Осенью 1888 года власти предержащие разрешили Анне Ильиничне провести четыре месяца в Казани: болела и нуждалась в лечении. Как писала она все той же подруге Наденьке, там она «ожила и оценила культурную жизнь, уют». Беспокоило ее душевное состояние Владимира. «Брат тоскует... его и за границу не пустили и вообще косятся очень... Не знаю, что будет». Несколько времени спустя Владимиру Ильичу дано было разрешение переехать в Казань, однако в восстановлении в университете отказано.

Анна Ильинична продолжала жить в Кокушкине. Но к весне Мария Александровна добилась для нее разрешения переехать вместе со всей семьей на хутор Алакаевку Самарской губернии. Туда же приехал и Марк Тимофеевич.

Тотчас, после того как Марк Тимофеевич помог Марии Александровне купить у Сибирякова небольшой хутор и участок земли, самарский губернатор послал об этом секретное донесение в департамент полиции. Такое же секретное донесение было направлено начальником самарского губернского жандармского управления, сообщавшего 23 июня 1889 года, что «4 минувшего мая прибыла состоящая под гласным надзором полиции... Анна *Ульянова* на хутор при дер. Алакаево... Вместе с ней прибыли ее мать, сестры Ольга и Марья, брат *Владимир*, состоящий под негласным надзором полиции, и бывший студент, сын крестьянина Марк Тимофеевич *Елизаров*, человек сомнительной политической благонадежности».

С этим «человеком сомнительной политической благонадежности» Анна Ильинична Ульянова отныне связала свою жизнь.

Чтоб обвенчаться, она, как состоящая под гласным надзором полиции, должна была подать прошение и, говоря словами рапорта уездного исправника, заявить о желании «выйти в замужество» за Марка Тимофеевича Елизарова. Ходатайство было удовлетворено. В конце июля состоялась свадьба.

Несколько дней семья Ульяновых провела в давно не испытанном ею простодушном веселье. Потом «мо-

лодые» решили съездить к родителям Марка Тимофеевича, жившим совсем неподалеку, причем Анна Ильинична поехала «самоволкой». Но не тут-то было: уездный исправник тотчас спохватился и отдал предписание «об розыске ее и водворении к матери в деревню Алакаевку».

На зиму вся семья переехала в Самару. Анне Ильиничне потребовалась для этого санкция министерства внутренних дел.

В Самаре семья Ульяновых-Елизаровых продолжала оставаться под неусыпным надзором — гласным, а больше негласным, причем в надзоре этом участвовали все органы полицейского государства. Переезд Анны Ильиничны и всей семьи Ульяновых в Москву внешне выглядел, как чисто семейное дело: срок ссылки Анны Ильиничны кончился, Марк Тимофеевич получил хорошее место в Управлении Московско-Курской железной дороги, младшие дети нуждались в продолжении образования.

Истинная причина переезда была иной.

Как ни беден биографический материал, которым мы располагаем для изучения жизни Анны Ильиничны вообще и московского периода в частности, мы можем с полной уверенностью утверждать, что она к моменту переезда в Москву была политически и теоретически подготовленной марксисткой, столь же последовательной и непреклонной в своих убеждениях, как и ее братья. Естественно поэтому, что в Москве она быстро установила связи с марксистским революционным подпольем и приняла участие в его работе.

Сначала Анна Ильинична занималась по преимуществу переводами массовой литературы. Перевела драму Гауптмана «Ткачи», изданную на гектографе. Сделала популярное изложение книги Дементьева «Фабрика, что̀ она дает населению и что она у него берет». Книга эта представляла собой итог статистического обследования фабрик и заводов Московской губернии. В ней были отображены условия труда, заработка и быта московских рабочих. На богатом фактическом материале она показывала, что — вопреки тому, что утверждали на сей счет народники,— в России существует рабочий класс, состоящий из наемных рабочих, живущих целиком на заработную плату, при-

чем многие работают на фабриках уже во втором и третьем поколении. Книга Дементьева давала пропагандистам огромный материал. Анна Ильинична сделала из нее небольшую, насыщенную фактами брошюру, которая распространялась в рукописи.

Большое место в работе Анны Ильиничны занимала переписка и личные встречи с Владимиром Ильичем. Под видом семейных отношений осуществлялась связь петербургской марксистской организации с московской.

Владимир Ильич не раз приезжал в Москву. Лето 1894 года он прожил у Елизаровых в Кузьминках, которые были тогда дачным поселком. Там он закончил книгу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», передал ее для печатания на гектографе А. А. Ганшину.

Квартира Елизаровых сделалась центром притяжения московского революционного подполья, благодаря чему она попала в поле зрения московской охранки, ибо — как остроумно отмечал старый народоволец П. В. Анненков — в России «избежать его (полицейского надзора.— *Е. Д.*) мыслящему человеку было так же трудно, как младенцу самовольным образом избежать крещения».

Получив в 1899 году от начальника Московского жандармского управления Шрамма запрос о семье Ульяновых, начальник московской охранки Зубатов писал, подводя итоги того, что было известно охранке: семья эта имеет «революционные традиции», все члены ее «отличаются крайне вредным направлением. Так, братья ее: Александр — казнен в 1887 г. за участие в террористическом заговоре, Владимир — сослан в Сибирь за государственное преступление и Дмитрий — недавно подчинен гласному надзору полиции за пропаганду социал-демократических идей, а сестра Анна, состоящая, как и муж ее Марк Тимофеевич Елизаров, под негласным надзором полиции, ведет постоянные сношения с заграничными деятелями».

Характерно письмо, написанное иносказательным языком — словами «пожары», «духота», «эпидемия» в нем означены аресты. Автор его М. Т. Елизаров, адресат — А. П. Скляренко, дата — 21 октября 1896 года.

«...У нас в Москве лето было довольно грустное,— пишет Елизаров,— были пожары, но только на окраинах... Удивительнее всего то, что люди умирали, умирали, а их все столько же, если не больше... Во время сильной эпидемии летом одному старцу сказали (закаленному врагу друзей народа), что вся рыба в реке вымерла, а он хотя бы глазом моргнул: даже улыбнулся и говорит: «Ну что же, рыба умерла — икра осталась: так вот и с людьми...»»

В этом «старце», «закаленном враге друзей народа» мы без труда узнаем В. И. Ленина.

В другом своем письме, на имя И. Х. Лалаянца, М. Т. Елизаров пишет о Владимире Ильиче, которого называет брудер — брат (в то время Владимир Ильич сидел в доме предварительного заключения в ожидании приговора и работал над книгой «Развитие капитализма в России»): «Были громадные эпидемии, такие, что и вымолвить трудно... Наши живут в Питере. Ждут финала... Надеются, что ноябрем все кончится... Брудер чувствует себя отлично. Работает над капитальной статьей: о внутренних рынках... До последнего времени все собирал материалы, но теперь засел писать. Боится, что не кончит к окончанию предварилки».

«Наши живут в Питере»— это Мария Александровна и Анна Ильинична.

На протяжении девяностых годов Анна Ильинична не раз отлучалась из Москвы: после ареста Владимира Ильича она несколько месяцев прожила в Петербурге, хлопотала по его делу, пыталась взять его на поруки, носила передачи, снабжала книгами, вела с ним переписку. Это та самая переписка «химией», а попросту молоком, которое Владимир Ильич наливал в «чернильницы» из хлебного мякиша и по поводу которых шутил, что он съел за день шесть своих «чернильниц».

Много лет спустя, вспоминая эту полосу своей жизни, Анна Ильинична рассказывала, с каким нетерпением ждала она свиданий с братом. Как-то один из надзирателей даже подшутил над ней: «Я-то думал, что ты к милому бежишь, так летишь во весь дух, а ты-то к брату».

«Мы говорили намеками,— писала Анна Ильинична в своей книге о Ленине,— впутывая иностранные

названия для таких неудобных слов, как «стачка», «листовка». Наберешь, бывало, новостей и изощряешься, как передать их. А брат изощрялся, как передать свое, расспросить. И как весело смеялись мы оба, когда удавалось сообщить или понять что-либо такое запутанное. Вообще наши свидания носили вид беспечной оживленной болтовни, а в действительности мысль была все время напряжена: надо было суметь передать, суметь понять, не забыть всех поручений».

Но для того, чтоб все это сделать, чтоб «набрать новостей», «выполнить поручения», чтоб рассказать о таких «неудобных» вещах, как стачка и листовка, для этого надо было встречаться с подпольщиками, быть в курсе революционных событий столицы.

Так оно и было. До нас дошло одно из писем Анны Ильиничны к Марку Тимофеевичу, отправленное из Петербурга в октябре 1896 года, когда Владимир Ильич сидел в тюрьме: «...здесь концертов никаких еще не было, и вообще труппа довольно малочисленная и не сформированная, все еще после лета... Вероятно, этот год будет менее музыкален, чем прошлый. Все пока скрипки настраиваются». Подставив на место тайнописи то истинное значение, которое за ней скрыто, мы прочтем примерно такой текст: «...здесь крупных открытых выступлений никаких еще не было, и вообще организация довольно малочисленная и не сформированная после летних арестов... Вероятно, этот год будет менее успешным для нашего дела, чем прошлый. Работа только начинает развертываться».

Для подобного рода обобщений и выводов нужно было быть в курсе жизни петербургской подпольной организации, знать людей, знать их работу.

Все это свидетельствует о том, что в период пребывания в Петербурге, когда ее главным (и притом именно *партийным*) делом была помощь Владимиру Ильичу в его работе и тюремной жизни, Анна Ильинична поддерживала самую тесную связь с деятелями ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», принимала участие в работе этого «Союза борьбы».

Но есть тут и другая сторона — личная, психологическая. Мы помним ту девушку — Анну Ульянову,

которая всего за девять лет до того переступила впервые порог дома предварительного заключения. Девушку, которая еще не имела революционного опыта, была потрясена арестом брата, Александра, и находилась во власти тревоги и горя. И вот прошло не так уж много времени — и перед нами революционер, умеющий анализировать работу крупнейшей подпольной организации того времени, оценивать людей, понимать их масштабы, видеть работу организации во всей ее реальности.

В годы, когда Владимир Ильич находился в сибирской ссылке, Анна Ильинична вела с ним систематическую переписку. В нашем распоряжении по преимуществу письма, относящиеся к присылке книг и устройству литературных дел. Если бы не внимательнейшая помощь и забота Анны Ильиничны, ссылка оказалась бы для Владимира Ильича много тяжелее в материальном, а главное — в моральном отношении.

Но кроме этих, легальных писем, были и иные. Вспоминая о них, Анна Ильинична рассказывала: «Все более интересное, не только партийное или нелегальное, я, ездившая время от времени в Петербург, видавшая людей, приезжавших оттуда, из других городов,— из-за границы, описывала Ильичу на наших «Weiss auf weiss» («Белым на белом», т. е. молоком или «химией» на бумаге), на листах каталогов, ненужных книг, последних страничках журналов, иногда даже неразрезанных, чтобы еще больше отдалить подозрение в возможности каких-либо шифрованных сообщений. Ни разу за все три года ссылки Ильича ни одно из таких писем не пропало, не обратило на себя внимания. Никто, кроме самых близких людей, не знал, каким образом идет переписка. Все имена, кроме того, шифровались. Помню, что я описывала стачки Московской и близлежащих губерний. Рабочие поднимались тогда по провинциям еще туго — каждая стачка была событием. Многие залегли в памяти. Так, на одной небольшой текстильной фабрике рабочие возмутились плутнями хозяина, тем, что он пускал в ход при перемерке сдельной работы аршин в 17 вершков, и торжественно обрезали его. Большой подъем вызвала у меня стачка и в Гусе-Хрустальном. Помню, что я писала по поводу нее: «Шевелится вся

мужицкая Русь» — и что Ильич с особенным удовольствием откликнулся на это письмо».

Было среди этих писем одно, связанное с документом, который Анна Ильинична называет «самым крупным, пожалуй, политическим фактом 1899 года». В один из ее приездов в Петербург близкая к петербургским марксистским кругам А. М. Калмыкова передала ей нечто вроде манифеста, в котором излагались идеи небольшой группы лиц, призывавших к пересмотру учения Маркса. Анна Ильинична переписала его химическими чернилами и переслала в Шушенское Владимиру Ильичу, озаглавив его «Кредо» («Символ веры»). Под таким названием этот документ и вошел в историю.

Это было первое программное выступление русских ревизионистов, подхвативших идеи Эдуарда Бернштейна. То, что Анна Ильинична сразу и совершенно самостоятельно поняла истинное значение этого документа и тотчас сделала все, чтобы Владимир Ильич как можно скорее узнал об этом «Кредо», а также то, что она так точно его «окрестила»,— все это свидетельствует о зрелости ее марксистской мысли и остроте политического чутья. «Моя совершенно отрицательная оценка этого писания, как измышления досужих литераторов, отголоски которого я в жизни не видала не только вокруг себя, в Москве, но даже в питерской «Рабочей мысли», вероятно, несколько еще возросла в процессе той кропотливой и неблагодарной работы, которую представляло собой химическое переписывание»,— иронизировала Анна Ильинична впоследствии.

Зиму 1897/98 года она прожила в Москве, а затем уехала вместе с матерью за границу.

* * *

Это была не первая ее заграничная поездка. По поручению Ленина она уже побывала за рубежом летом 1897 года, познакомилась с членами группы «Освобождение труда», привезла им привет от Владимира Ильича. Ей запомнилось, с каким интересом они о нем расспрашивали, просили передать ему, что никто в России не пишет так хорошо для рабочих, как он. Об этой встрече Анна Ильинична написала Владими-

ру Ильичу — разумеется, «химией», как и все подобные письма. Он ответил тем же способом, что одобрительный отзыв «стариков», то есть Плеханова и Аксельрода, для него ценнее всего, что он мог бы себе представить.

Все письма Владимира Ильича того времени проникнуты глубоким уважением, которое питал он к основателям группы «Освобождение труда». Еще в 1895 году, вернувшись из-за границы, Владимир Ильич много рассказывал о них Анне Ильиничне и советовал съездить за границу, познакомиться с ними.

Анна Ильинична уезжала от «стариков» в самом радужном настроении. Тем неожиданнее был для нее конфликт, который произошел почти на ее глазах между Плехановым и Лениным три года спустя. Для нее, как и для Владимира Ильича, это был первый такой конфликт в их политической жизни, и он оставил после себя глубокую, долго не заживавшую душевную рану.

Мы знаем об этом драматическом столкновении по письму В. И. Ленина «Как чуть не потухла «Искра»?».

Прошло почти полвека — и события далекого прошлого опять воскресли перед Анной Ильиничной. Она рассказала о них в обширной статье, посвященной письму Ленина: «Это — его запись по свежей памяти, через неделю после происшедшего первого раскола с Плехановым, первого резкого разочарования в нем, пережитого очень глубоко Владимиром Ильичем. Это разочарование не только в корне изменило отношение Владимира Ильича к признанному вождю и учителю, но явилось переломным в жизни Владимира Ильича. Много бурь было в жизни Владимира Ильича. Эта первая буря разногласий между близкими сторонниками и соратниками была одной из наиболее глубоких, на поверхности она не отразилась, на ней царил «мертвый штиль». Никому, кроме самых близких лиц, решено было не говорить об этой встряске, но, как в море, при кажущемся затишье качка бывает особенно сильной, так же сильна была эта встряска в душе Владимира Ильича».

Как некогда это было с братом Александром, Анна Ильинична любящим взором наблюдает за каж-

дым душевным движением Владимира Ильича, старается проникнуть в глубины его внутреннего мира.

Примерно тогда же, когда в руки Анны Ильиничны попало письмо Ленина, она познакомилась и с впервые опубликованными материалами дискуссии о программе партии, происходившей накануне Второго съезда.

В то время (в 1903 году) Анна Ильинична жила в России. Искровская группа, ревностно охранявшая перед всеми иными группировками и течениями партии видимость своего единства, тщательно скрывала внутренние разногласия. Только через четверть века, когда почти никого из участников полемики уже не было в живых, удалось проникнуть в ту атмосферу, в которой приготовлялся проект программы. Стала известна та большая и нервная борьба, которую выдержал Владимир Ильич, отстаивая перед Плехановым свои взгляды и уступая ему в интересах единства, когда не было иного выхода.

Как вспоминала Анна Ильинична, Владимир Ильич видел, что к массам — а это для него главное — идти с таким проектом нельзя, ибо «им надо говорить понятным, боевым, чеканным языком, особенно от лица боевой политической партии».

С характерной для нее широтой ума и талантом, Анна Ильинична, тщательно проанализировав частные расхождения, поднимается до обобщения образа Владимира Ильича. Нарисованный ее рукой, он и поныне остается одним из самых проникновенных в нашей Ленинниане.

«Если взять для сравнения музыкальные инструменты,— писала она,— то Плеханов стремился все время переложить аккорды программы русской с.-д. партии на более утонченный струнный инструмент, а Ленин, как барабанщик, идущий во главе боевого отряда, страстно протестовал против этих попыток. Пусть более грубые звуки, но зато более яркие, боевые и понятные широким массам. Ему указывают на диссонансы, удивляются его упорству в нежелании исправить их, а он досадливо отмахивается и как бы хочет сказать: «Ах, пустяки какие! Да неужели вы не видите, что так за нами гораздо бóльшие массы идут»».

Анна Ильинична приехала за границу вскоре вслед за Владимиром Ильичем. Как хорошо, что так случилось: в те трудные для него месяцы ему было так необходимо чувствовать рядом с собой близкого, понимающего друга. А разделявшая с ним всю его жизнь Надежда Константиновна томилась тогда в далекой уфимской ссылке.

За границей Анна Ильинична провела два года — с середины 1900 до середины 1902 года. На ее глазах рождалась «Искра». Она принимала участие в подготовке ее первых номеров. Делала любую, пусть самую, казалось, скучную работу.

Было очень важно сплотить вокруг «Искры» российских социал-демократов, находившихся за границей, в революционной эмиграции. С этой целью в Лейпциге, Берлине, Лондоне, Париже, Женеве и в других больших городах были созданы группы содействия «Искре». Анна Ильинична сначала работала в парижской группе, затем в берлинской.

Тайная агентура русской политической охранки за границей, работавшая в тесном контакте с немецкой полицией, взяла ее под неусыпное наблюдение. В полицейских архивах сохранились систематически повторяющиеся донесения агентов внутреннего и наружного наблюдения: «С 24 сентября по 12 октября проживала в Берлине, откуда выехала в Прагу»; «2 мая возвратилась в Берлин»; «29 июня выехала на остров Рюген». В декабре квартирная хозяйка, у которой Анна Ильинична снимала комнату, «отказала Елизаровой в квартире и сделала заявление полиции, что А. И. Елизарова вела подозрительный образ жизни, принимала разных лиц до поздней ночи».

Легко представить себе, что́ за птица была эта самая квартирная хозяйка! Дело дошло до того, что она пускала агентов полиции в комнату Анны Ильиничны, когда той не было дома, и они рылись в ее вещах. «Под конец пребывания за границей,— писала потом Анна Ильинична,— я подвергалась сильной слежке немецких и русских шпионов и должна была уехать из Берлина в деревню под Дрезденом».

В таких условиях Анна Ильинична жила, работала, писала статьи и корреспонденции в «Искру» и «Зарю», занималась в библиотеках и в то же время

старалась взять как можно больше от заграничной жизни — набраться впечатлений, отшлифовать столь необходимое для нее, переводчицы, знание иностранных языков.

Часть времени она прожила в Швейцарии, часть — в Мюнхене, затем в Париже. Много путешествовала. Пользовалась при этом по преимуществу поездами местного назначения — так было дешевле, да и давало возможность больше увидеть и познакомиться со спутниками по купе, поговорить об их жизни.

* * *

По возвращении в Россию Анна Ильинична работала в Москве, была агентом «Искры». Несмотря на полицейскую слежку и постоянные обыски, благополучно «продержалась» около полутора лет. В этом ей помогли уже выработавшиеся за годы подполья конспиративные навыки, а также знаменитый столик, стоявший в ее квартире. Столик этот, как рассказывает Анна Ильинична, был изготовлен в 1900 году. Первоначальная идея его принадлежала Владимиру Ильичу. Еще осенью 1893 года, в самом начале нелегальной работы, Владимир Ильич пришел к выводу, что каждый подпольщик должен иметь у себя тайник для нелегальной литературы. «Например,— говорил он,— круглый стол с выдолбленной ножкой».

Позже такой столик Владимир Ильич заказал через рабочих, состоявших в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Его единственная толстая ножка была полой. Она заканчивалась отверстием, в которое была ввинчена точеная пуговица. Отвернув пуговицу, можно было засунуть в ножку довольно большой сверток.

Первый свой экзамен столик выдержал в ночь ареста Владимира Ильича 9 декабря 1895 года. Полиция не проникла в его тайну и ничего нелегального у Владимира Ильича поэтому взято не было. После того как Владимира Ильича увезли в тюрьму, Надежда Константиновна забрала столик к себе. Во время ее ареста столик снова оправдал себя. Потом мать Надежды Константиновны перевезла его к Анне Ильиничне и там, отвинтив пуговицу, извлекла объяснение к Программе социал-демократической партии, которое Вла-

димир Ильич прислал из тюрьмы, переписав его молоком между книжных строк.

Надежда Константиновна к моменту своего ареста не успела расшифровать и переписать до конца это объяснение. Работу продолжала Анна Ильинична. Каждой ночью она укладывала в ножку стола результаты своей работы. Так поступила Анна Ильинична и с последним свертком переписанного. Но тут ей сообщили о начавшихся в Петербурге арестах. Она успела все передать по адресу, и они с Марией Александровной уехали в Москву, бросив столик. Правда, он уже дал трещину от частого пользования, но утрата его переживалась как утрата старого друга.

Надо было делать новый. И Марк Тимофеевич Елизаров придумал улучшенную конструкцию, устроив тайник в шахматном столике. Его не надо было каждый раз переворачивать, как первый, достаточно было выдвинуть один ящичек. Дело шло при этом так быстро, что иногда они запрятывали нелегальные материалы уже после ночного звонка, оповещавшего об очередном обыске. Но обычно все запрятывалось еще до прихода полиции, и в потайном ящике постоянно что-нибудь да хранилось.

Этот столик исколесил вместе с семьей Ульяновых-Елизаровых почти всю Россию — побывал в Самаре, Киеве, Петербурге, Саратове, Вологде, снова в Петербурге, снова в Москве. С 1901 года, когда были арестованы Марк Тимофеевич и Мария Ильинична, и до февраля 1917 года, когда в канун революции была арестована Анна Ильинична, ни разу, ни при одном обыске, которому подвергалась семья Ульяновых, столик не выдал себя.

* * *

В августе 1902 года Анна Ильинична после третьей заграничной поездки вернулась в Россию. По тщательности обыска, произведенного при переезде границы, было видно, что за ней установлено особо строгое наблюдение.

Марк Тимофеевич к этому времени — после очередного ареста в марте 1901 года — был выслан в Сызрань под гласный надзор полиции. Работы он там найти не мог, сызранские жандармы в своих рапор-

тах писали о нем, что он «живо интересуется всеми движениями среди учащейся молодежи, ярый защитник всех ее увлечений и убеждений, противник правительственных распоряжений, клонящихся к ограничению или стеснению в чем-либо прав учащихся, по слухам, находится в постоянных сношениях с кружками молодежи» (а это означало, что работу ему не найти и впредь).

Обдумав все, Марк Тимофеевич решил перебраться подальше от неусыпного жандармского ока, в Сибирь. Поселился в Томске, куда и приехала к нему Анна Ильинична.

Они сразу наладили связь с местной искровской организацией, нашли каналы для пересылки корреспонденции и получения свежих номеров «Искры». И так же сразу были взяты под пристальный надзор полиции. И пошли, пошли доносы, что Марк Елизаров «вращается исключительно среди неблагонадежных».

Нет, в Томске задерживаться было нельзя. Поехали они дальше на восток — в Дальний, затем в Порт-Артур, где Марк Тимофеевич стал работать в Управлении Восточно-Китайской железной дороги. А в сентябре 1903 года, когда кончился срок пребывания под гласным надзором полиции, Марк Тимофеевич уехал в Японию, а оттуда на океанском пароходе вокруг Африки в Марсель.

Анна Ильинична вернулась с Дальнего Востока в Центральную Россию. Сперва в Самару, где жила Мария Александровна, потом, вместе с матерью, в Киев.

Внешне этот переезд выглядел как чисто семейное дело: в Киеве жил в то время Дмитрий Ильич, работавший в больнице, и, естественно, к нему приехали мать и сестры.

На деле причины этого переезда были отнюдь не семейные: туда, в Киев, тогда перебазировалось Русское бюро Центрального Комитета партии, работа которого велась особо конспиративно.

Первым из семьи Ульяновых приехал в Киев Дмитрий Ильич. Приехал сразу же после Второго съезда партии. Затем прибыла Мария Ильинична, а потом и Анна Ильинична с матерью.

Легко представить себе, сколько было говорено и переговорено при встрече. Как расспрашивали они Дмитрия Ильича о Владимире Ильиче, о борьбе на Втором съезде, о расколе в партии, о перспективах дальнейшей борьбы.

Воодушевленные решениями съезда, сестры и брат Ульяновы с присущей им энергией включились в нелегальную партийную работу, направленную на усиление связей Бюро ЦК с местными партийными организациями.

Но, как говаривали тогда в революционных кругах, «человек предполагает, а жандарм располагает». Поработать в Киеве Ульяновым довелось совсем недолго, около трех месяцев. В самый канун 1904 года в Киеве прокатилась волна арестов и обысков. «Здесь страшный провал,— писала из Киева в Петербург М. М. Эссен.— В четверг 1 января произведено 600 обысков и арестовано 167 человек... взяты: Ульянов с женой (брат Ленина), его сестры...»

Дмитрия Ильича отвезли в крепость, где он просидел около года. Анну Ильиничну, Марию Ильиничну и жену Дмитрия Ильича, Антонину Ивановну, отправили в Лукьяновскую тюрьму.

При аресте и обыске никаких улик революционной деятельности семьи Ульяновых жандармам найти не удалось. Да и всю работу Ульяновы и все их товарищи по Русскому бюро ЦК и Киевскому комитету партии вели так тонко, умно и конспиративно, а на допросах держались так умело и бесстрашно, что при всем своем старании жандармы не добрались ни до документов, ни до самой сути их революционной деятельности. Они вынуждены были отказаться от устройства судебного процесса, который, по жандармскому плану, привел бы к суровому приговору.

Около полугода Анна Ильинична просидела в Лукьяновке. А за тюремной стеной жила заботившаяся обо всех Мария Александровна.

«Трудовой день Анны Ильиничны в тюрьме обычно начинался и кончался заботами о товарищах по заключению, с которыми она делилась последним...— пишет в своих воспоминаниях Антонина Ивановна.— Сидя в тюрьме, Анна Ильинична продолжала дело установления и укрепления связей между товарища-

ми, находившимися на воле, информировала их о положении дел, часто нагружала свою мать тюремными поручениями, которые Мария Александровна выполняла с исключительной аккуратностью и быстротой. Ловкость Марии Александровны, когда она получала и прятала записки в присутствии жандарма, была изумительной».

По одному Ульяновых выпускали из тюрьмы. Черед Анны Ильиничны настал в июне 1904 года. Марк Тимофеевич к этому времени работал в Управлении Николаевской железной дороги, правление которой находилось в Петербурге. Поскольку Анне Ильиничне, находившейся под надзором полиции, было отказано в праве жительства в столице, они поселились в поселке Саблино, в получасе езды от Петербурга. Вскоре к ним приехали Мария Александровна и Мария Ильинична. Это было уже в конце 1904 года, незадолго до великих событий, потрясших Россию.

Месяц за месяцем все выше подымалась волна стачечной борьбы. Все чаще стачки перерастали из чисто экономических в политические. Все шире и массовее становился размах движения.

Но в Петербурге происходило нечто странное. Появилась фигура до того никому неведомого попа Гапона.

Анна Ильинична, как и все петербургские большевики, считала подозрительной и темной личностью этого «странного» попа, причастного к зубатовщине. Но, узнав о его огромном, «электризующем» влиянии на массы, решила составить себе о нем непосредственное впечатление.

Вечером 8 января Анна Ильинична поехала в Петербург и отправилась за Нарвскую заставу, где гапоновцы особенно широко развернули свою деятельность.

У ворот большого двора, ведущего к отделению «Союза», она увидела объявление, что 9 января, в воскресенье, будет происходить «шествие с петицией». Поблизости прохаживался городовой. Объявление он не срывал. Двор был полон рабочих. Настроение было торжественное, даже праздничное.

У Анны Ильиничны защемило сердце.

— Вас к царю не пустят,— пыталась она доказать рабочим.— Все кончится арестами и нагайками.

Но ее доводы разбивались, как о стену. Анна Ильинична ушла с тяжелым чувством, полная тревоги за то, что будет завтра. В Петербургском комитете партии она узнала, что большевики решили участвовать в шествии и быть с народом, разделив его судьбу.

Поздним вечером возвращалась Анна Ильинична к друзьям, у которых остановилась. Ночь была тихая, тревожная. На всех мостах и переходах по льду через Неву стояли воинские пикеты, горели костры, дымились походные кухни. Солдаты были возбуждены, им дан был приказ стрелять по сигнальному рожку. Над крышами домов плыла огромная кроваво-красная луна.

Петербург не спал. Ждали утра. Верующие молились, обращая свои молитвы к богу, к царю, к «батюшке-Гапону».

Анна Ильинична не сомкнула всю ночь глаз. Едва забрезжил слабый зимний рассвет, побежала туда, где собиралась процессия Петербургской стороны. Повсюду по углам уже выстроились войска в полном боевом снаряжении.

Мне довелось слышать воспоминания Анны Ильиничны, выступавшей на собрании, посвященном пятнадцатилетию Кровавого воскресенья.

— Столько лет прошло, много видела я страшного,— сказала она.— Но это был, может, самый страшный день в моей жизни.

Да, столько лет прошло, столько пережито, но и сегодня не можешь не испытывать боли и трепета, когда думаешь об этом дне, когда читаешь рассказы тех, кто был тогда на улицах Петербурга, видишь охваченную слепым экстазом толпу, матерей с грудными детьми, сверкающие на солнце иконы, весело прыгающих ребятишек, истовые лица взрослых, поблескивающие казачьи пики, слышишь пенье «Отче наш» и «Боже, царя храни», сигнал рожка, первые сухие залпы.

— Это, наверно, холостые! — воскликнула Анна Ильинична, которая не могла представить себе, что эти легкие звуки были началом расстрела безоружных людей.

— Какое «холостые»! — крикнула бежавшая жен-

щина.— Подле меня один упал, а у другого рукав весь в крови.

Все же ряды шествия продолжали двигаться. Но послышались новые залпы. Толпа шарахнулась, проклиная, взывая о мщении.

Повсюду в городе шла стрельба. Рабочие в порыве отчаяния рвали на себе пиджаки и рубахи и с открытой грудью шли на штыки. Молча падали, когда солдаты открывали огонь, снова поднимались и пробивались дальше, к Зимнему дворцу, где их ждали новые залпы. Снег был усеян убитыми и ранеными, и среди них много детей, сбитых пулями с деревьев, на которые они забрались, чтобы «поглядеть на царя». На Дворцовой площади была масса войск, пехоты и конницы. Дворец был окружен пушками. Казаки с саблями наголо, пиками наперевес налетали на безоружных людей.

— Мне как-то не поверилось,— говорит Анна Ильинична,— когда я прочла об этом впервые, но это подтверждают многие очевидцы: как бы в довершение фантастической картины, которую представлял собой восставший Петербург, на затянутом белесоватой мглой небе мутно-красное солнце дважды отразилось в облаках, и казалось, что в небе плывут три солнца. Потом засветилась небывалая в это время года яркая зимняя радуга, а когда она потускнела и скрылась, поднялась снежная буря, в которой продолжали греметь ружейные залпы.

До поздней ночи улицы были полны. Электричество не горело. Лишь подожженные газетные киоски оранжево-красным пламенем освещали Невский. Народ двигался порывисто, угрюмо. В темноте раздавались выкрики, слышались восклицания: «У нас нет больше царя!», «Долой царя!», «Долой самодержавие!»

К вечеру в рабочих районах стали строить баррикады.

«Величайшие исторические события происходят в России,— писал Ленин по поводу событий 9 января.— Пролетариат восстал против царизма».

И обращался со страстным призывом: «Да здравствует революция!

Да здравствует восставший пролетариат!»

* * *

Отныне главной задачей партии стали организация масс и подготовка вооруженного восстания.

Анна Ильинична почти все время проводила в Петербурге. Она ведала всем финансовым хозяйством Петербургского комитета партии. Для революционной работы и выпуска нелегальной литературы нужны были деньги. Надо было иметь деньги и для того, чтобы хоть как-то обеспечить жизнь работников партии, перешедших на нелегальное положение. Они были предельно скромны, берегли каждую партийную копейку, но без помощи партии не могли бы существовать.

Финансовая работа Анны Ильиничны состояла не столько в учете расходуемых сумм, сколько в добыче средств — и путем сборов, и устройством концертов, и продажей партийной литературы.

К этому надо добавить еще и лежавшую на ней транспортировку по нелегальным каналам партийной литературы, в частности большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий». И при этом она умудрялась найти время и силы для перевода революционных изданий, рассчитанных на широкий круг читателей.

Осенью 1905 года из-за границы приехал Владимир Ильич. Тут появились и новые заботы, и новые дела. Теперь Анна Ильинична еще теснее связалась с большевистской печатью и вошла в редакцию издательства «Вперед».

И тогда же, осенью, большое место в ее работе и жизни заняли дела, связанные с революционной деятельностью Марка Тимофеевича Елизарова.

В 1906 году, когда правительство, подавив Декабрьское вооруженное восстание, перешло в наступление по всему фронту, Марк Тимофеевич был арестован.

После трехмесячного заключения он был выслан из Петербурга, с запрещением служить на железных дорогах. Он выбрал местом ссылки Сызрань.

Положение Анны Ильиничны весьма трудное: Марк Тимофеевич всегда был опорой семьи, а сейчас его не было, братья и сестра целиком поглощены революционной работой, вместе с нею была мать, нуж-

давшаяся в уходе и внимании. Все бремя семейных забот легло на ее плечи. Но как ни трудно ей было, она не прекратила свою революционную деятельность.

Важнейшим партийным делом Анны Ильиничны на ряд лет становится забота об издании работ В. И. Ленина. В хранящихся в архиве ее письмах к Владимиру Ильичу она рассказывает о том, как ходила по поводу издания книги «Материализм и эмпириокритицизм» в издательство «Знание» к Пятницкому, рекомендует отдать книгу в это издательство, грустит, что Владимир Ильич, к которому она ездила за границу, плохо выглядит, хочет послать ему денег. «Книгу твою я читаю,— пишет она два месяца спустя.— Чем дальше, тем она интереснее».

Она скрупулезно занимается изданием книги: ведет переговоры с издательствами, тщательно просматривает корректуру, посылает Владимиру Ильичу гранки, верстку и чистые листы. Одновременно следит за изданием сборника «Памяти Маркса», который вышел в 1908 году и для которого Владимир Ильич дал статью «Марксизм и ревизионизм». В издательстве «Зерно» (во главе которого стоял старый большевик М. Кедров) с ее помощью был подготовлен трехтомник работ Ленина. Удалось выпустить лишь первый том, который тотчас был конфискован, и первую часть второго. Но часть тиража М. Кедров спас от уничтожения, и книга распространилась.

Семья Ульяновых переживала большие материальные затруднения, к тому же все болели. Тревожила судьба Владимира Ильича. Летом 1907 года Анна Ильинична побывала у него в Финляндии. Он тогда словно бы отдохнул и несколько отошел после тяжелых месяцев поражения революции 1905—1907 годов, но к зиме обстановка стала тревожной, ему пришлось покинуть Финляндию, чтобы спастись от неминуемого ареста.

Вместе с Надеждой Константиновной Владимир Ильич поселился в Женеве, потом переехал в Париж.

За эти годы Анна Ильинична не раз ездила за границу, к Владимиру Ильичу. Поездки эти были связаны с партийными делами и с изданием книг Владимира Ильича. По его же поручению Анна Ильинична ездила за границу, чтобы разыскать партийные документы

(«женевскую корзину»), упорно разыскивала и разбирала партийные архивы.

День за днем, год за годом... Сколько нескончаемых переездов с квартиры на квартиру, из города в город! Атмосфера бесконечных волнений за каждого члена семьи...

В 1910 году семья Елизаровых-Ульяновых переезжает в Саратов.

Полиция приставила к семье Ульяновых специального шпика. В ночь с 7 на 8 мая 1912 года сестры Ульяновы, а также ряд работников саратовской партийной организации были арестованы. Снова для Марии Александровны начались передачи, хождения на свидания, хлопоты в жандармском управлении.

Письма сестер из тюрьмы полны оптимизма. Тюремная администрация эти письма перлюстрировала, подвергала проверке химическими реактивами. В руки Марии Александровны они приходили перекрещенные по диагонали двумя желтыми полосами, пахнущие чем-то острым.

* * *

Примерно за год до начала первой мировой войны семья Елизаровых, после всяческих передряг, арестов и высылок, поселилась в Петербурге. Мария Ильинична в это время отбыла ссылку в Вологде, Дмитрий Ильич работал врачом под Москвой.

То было время, когда особенно велика стала роль легальной большевистской печати. Анна Ильинична, жаловавшаяся до переезда в Питер на то, что она совсем «избездельничалась», с головой ушла в работу в «Правде», в издательстве и теоретическом журнале «Просвещение».

Вспоминая полтора десятка лет спустя эти годы революционного подъема, Анна Ильинична писала:

«То, что «Просвещение» выходило в живое и горячее время «эпохи «Звезды» и «Правды»», как их тесный идейный соратник, но в более научной области, то, что нам удавалось проводить взгляды Ильича в его статьях и статьях его последователей,— наконец, то, что мы завоевывали все больше интереса и симпатии со стороны товарищей рабочих, от которых, как и от товарищей из ссылки, нам посылалось все больше ста-

тей, стихотворений и рассказов,— все это в памяти каждого участника редакционной коллегии отпечатлело это время, как самое радостное, бодрое и полное прелести весеннее время».

Было еще одно дело, которому Анна Ильинична отдавала большую часть своей щедрой души,— работа среди женщин. По ее предложению в «Правде» была создана специальная страница, где помещались статьи о положении работниц, а также присланные самими работницами заметки, стихи и песни об их тяжелой доле.

Но материала было так много, работа развертывалась так успешно, что одной только страницы в «Правде» стало не хватать. Так возникла мысль об издании предназначенного для женщин журнала «Работница».

Ленин поддержал эту идею. Была создана редакционная коллегия, в которую вошли Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А. И. Елизарова, П. Ф. Куделли, Е. Ф. Розмирович, К. И. Николаева, К. Н. Самойлова и другие товарищи, жившие в России или в революционной эмиграции.

Одним из членов редакционной коллегии журнала «Работница» была Феодосия Ильинична Драбкина, известная в партии под именем «товарищ Наташа»,— мать автора этого очерка.

4 марта 1914 года члены редакционной коллегии журнала «Работница» собрались у П. Ф. Куделли на Старо-Невском, чтобы окончательно утвердить содержание первого номера. Настроение у всех было приподнятое. Но в ту же ночь вся редакционная коллегия была арестована.

А журнал вышел.

Как же это произошло? Кто выпустил журнал?

Это была Анна Ильинична.

По счастливой случайности она задержалась дома и опоздала на заседание редакционной коллегии... Подошла к дому, когда тюремные кареты уже увозили арестованных.

Из членов редколлегии на воле осталась только Анна Ильинична. И с помощью В. Р. Менжинской она выпустила журнал.

Трудно себе даже представить, как она смогла это сделать: ведь за несколько дней надо было написать

заново все статьи, подготовить обложку, сдать номер в набор, прочесть корректуру, отпечатать номер в типографии и доставить тираж в рабочие районы. И все это было сделано! Сделано в неправдоподобно короткий срок. Благодаря энергии Анны Ильиничны в руках участников собраний, посвященных Женскому дню, в руках манифестантов, вышедших в этот день на улицы с требованиями политической свободы, трепетал первый номер «Работницы».

Анна Ильинична оставалась членом редколлегии журнала «Работница» до тех пор, когда ему, на седьмом номере, говоря словами Анны Ильиничны, «пришлось умереть насильственной смертью» и «возродиться лишь после нашей победоносной революции».

* * *

Война повернула всю жизнь России. Повернула она и жизнь семьи Ульяновых.

Нет нужды объяснять, какими опасностями грозила интернационалистская работа в то военное время. Но Анна Ильинична взяла на себя один из наиболее опасных участков этой работы: переписку с заграничными центрами партии, в которой она подписывалась именем «Джемс».

Вспоминая об этом периоде своей переписки с Владимиром Ильичем, Анна Ильинична писала:

«...Не прекращавшаяся все время войны, до ареста адресата летом 1916 г., химическая переписка его (Ленина.— *Е. Д.*) с пишущей эти строки, конечно, не могла сохраниться по своему конспиративному характеру. Письма эти прогревались, оригиналы их, занимавшие иногда большое количество страниц книги, тщательно уничтожались, а переписанные в расшифрованном виде копии читались или передавались членам организации, которые в свою очередь по ознакомлении заботливо уничтожали их».

Служба Марка Тимофеевича была связана с постоянными разъездами. Все заботы о доме, о тяжело больной матери, о мальчике Горе, которого взяли на воспитание Елизаровы, лежали на Анне Ильиничне.

Особенно тревожило здоровье Марии Александровны. Она очень ослабела, почти все время лежала. Летом 1916 года она умерла.

А неделю спустя после ее похорон Анну Ильиничну арестовали.

Снова обыск, тюрьма, железные засовы, зарешеченное оконце под потолком. Снова допросы, «вещественные доказательства», очные ставки.

«Жена отставного коллежского секретаря Анна Ильинична Елизарова,— докладывал глава петербургской охранки,— по агентурным сведениям за 1915 г., получала из-за границы журнал «Социал-демократ» и распространяла его среди интеллигенции. Видную роль играла среди ленинцев, входила в литературную комиссию, которая заведовала книжным магазином «Правда». В течение последних лет неоднократно наблюдалась в сношениях с членами с.-д. организаций... В 1914 году поддерживала переписку с Владимиром Ульяновым и его женой Надеждой Крупской по делам партийного характера. В ночь на 21 июля с. г. у Елизаровой при обыске обнаружено: 1 прокламация РСДРП, 4 номера журнала «Вопросы страхования», большое число рукописей с разными пометками...»

Но ни одного письма Ленина, ни одной его записочки не нашли. Хорошо работала Анна Ильинична!

Арест Анны Ильиничны был тяжелым ударом для партии. «...Устранение Джемса,— писал А. Г. Шляпникову В. И. Ленин,— делает положение критическим и ставит опять на очередь вопрос об общем плане работы... Самое больное место теперь: слабость связи между нами и руководящими рабочими в России!! Никакой переписки!! Никого, кроме Джемса, а теперь и его нет!!»

Первоначально Анне Ильиничне грозило выселение из Петрограда. Но Марк Тимофеевич пустил в ход все свои связи и, ссылаясь на ее болезнь, добился того, что ее освободили и разрешили остаться дома. Разумеется, она продолжала свою подпольную работу. И разумеется, полиция держала ее под своим неусыпным наблюдением. Не успело пройти месяца после того, как она вернулась из тюрьмы, а в квартиру на Широкой улице снова нагрянули с обыском. Ничего обнаружено не было. Но два месяца спустя полиция вновь явилась с обыском и на этот раз арестовала Анну Ильиничну.

Февральская революция застала ее в тюрьме. Освободил ее восставший народ.

* * *

И понеслась, закипела новая жизнь, жизнь после революции — взбаламученный Петроград, митинги, собрания, восстановление партийных организаций, разгромленных в канун Февраля, возобновление выхода «Правды», секретарем которой она стала.

После установления Советской власти Анна Ильинична избрала своим поприщем работу по охране детей: она заведовала отделом Охраны детства Народного комиссариата социального обеспечения, а затем Народного комиссариата просвещения.

Надежда Константиновна Крупская также после Октября целиком занялась работой в Народном комиссариате просвещения.

Почему же они всецело отдали себя делу народного просвещения?

Мне думается, что причин тому несколько. Первая и главная из них — важность работы по народному образованию и охране детства.

Революция всколыхнула широчайшие народные низы, которые на протяжении столетий были, по выражению Ленина, «*ограблены* в смысле образования, света и знания». Теперь народ потянулся к грамотности, к знанию. Приобщение к культуре означало приобщение к революции.

Работа по охране детей требовала от Анны Ильиничны неимоверного напряжения сил. Каждая буханка хлеба добывалась буквально с бою, надо было драться также за дрова, обувь, самую нехитрую одежонку. Анной Ильиничной были подготовлены два декрета Совета Народных Комиссаров, подписанные В. И. Лениным, о мерах, которые должно принять, «ставя своей целью охрану детей и юношества от ряда заболеваний», связанных с недоеданием.

Нельзя без душевной боли читать список продуктов, которые выделялись из скудных запасов голодающим детям и кормящим матерям: полфунта манной крупы в неделю, полфунта сахару, фунт жиров и три яйца в месяц. Но и это удавалось выдать далеко не всегда!

Однако главное было достигнуто: к детям привлечено внимание всех советских организаций. В самые трудные, самые голодные дни наш народ отдавал детям последний кусок хлеба, последнюю вязанку дров, делал для них все возможное и все невозможное.

Чтобы объединить и координировать работу по охране детства, Анна Ильинична и ряд товарищей, в том числе А. В. Луначарский и Ф. Э. Дзержинский, предложили образовать «Совет защиты детей», и он был создан в начале 1919 года. Более реальной стала помощь детям, в основе своей детям «трудным», искалеченным войной и голодом, духовно сломленным, больным. Налаживалась практическая организация детских консультаций, детских домов, детских колоний. В труднейших условиях того времени все это заняло огромное место в деятельности молодого Советского государства.

Недаром А. М. Горький назвал работу по охране детства «героическим трудом». Недаром восхищался он «горячим чувством», с которым относились к этой работе ее руководители.

И прежде всего, больше всего эти слова Алексея Максимовича должны быть отнесены к Анне Ильиничне!

Между тем самой ей в то время было очень трудно: умер Марк Тимофеевич.

Работа на посту наркома путей сообщения оказалась физически не по силам Марка Тимофеевича. По его личной просьбе он был от нее освобожден и введен в коллегию Наркомата торговли и промышленности. Весной 1919 года он поехал по делам работы в Петроград: да и хотелось ему присутствовать на торжественном акте по случаю столетия Петербургского университета.

Там, в Петрограде, Марк Тимофеевич заболел. Сначала предполагали, что это грипп (его называли тогда «испанкой»), но оказался сыпной тиф. Анна Ильинична тотчас поехала к мужу, но, как ни выхаживала, спасти его не удалось.

Владимир Ильич и Мария Ильинична приехали в Петроград, чтобы проводить Марка Тимофеевича в последний путь. Похоронили его на Волковом кладби-

ще. На том самом Волковом кладбище, где покоились вечным сном Ольга Ильинична и Мария Александровна Ульяновы.

Похоронив Марка Тимофеевича, Анна Ильинична вернулась к своей «республике детей».

Детей надо кормить, одевать, обувать, что, как уже говорилось, само по себе было в тогдашних условиях бесконечно трудно. Но не менее важно учить и воспитывать из них граждан нового, социалистического общества. Этому Анна Ильинична уделяла огромное внимание.

Много думает она об особенностях воспитания в детских домах, всячески подчеркивает, что не должно быть «казарменности, нервирующего шума», что воспитание должно происходить «на основах действенного социализма, свободного мышления, полной демократизации и высокой гуманности». При этом отводит огромную роль труду, но только такому, который дает «осязательные результаты», а также детскому творчеству.

«Колонии,— пишет она,— имеют гораздо большее значение, чем клубы... Коллективный труд, естественные условия, общение с природой, выработка выносливости и находчивости. Общность интересов, взаимное обслуживание, труд — цемент общественности. Ознакомление с жизнью окружающей среды...»

Все это — мысли, сохраняющие свою силу и поныне, это основы самой передовой, подлинно социалистической педагогики.

«Чтобы семена воспитания падали в душу ребенка,— говорит Анна Ильинична,— нужно, чтобы душа эта была открыта перед сеятелем. А открыть ее можно только ключом ласки и взаимного доверия, которое можно выковать лишь неподдельной любовью к детям и тесной взаимной жизнью с ними. Те педагоги, которые хотят и умеют отдать свою жизнь этому трудному и вместе с тем благородному делу, к которым сами собой поворачиваются, как подсолнечник к солнцу, расцветая улыбкой, детские головки, для нас неоценимы, хотя бы они не могли представить ни одного диплома. Люди с дипломами нужны тоже, но они должны группироваться вокруг той оси, которой является педагог «божьей милостью», мать в семье, матка в улье...»

Таким педагогам «божьей милостью», пишет Анна Ильинична, удаются задачи, которые справедливо считаются труднейшими в области педагогики. И тут же добавляет, что опасения за судьбу таких педагогов не напрасны: «Сколько таких, прямо неоценимых, педагогов отстраняются или не допускаются к делу воспитания из-за того, что у них нет дипломов, и заменяются людьми с дипломами, но не имеющими часто ничего, кроме диплома и апломба».

Все эти раздумья относятся, конечно, не к первым шагам советской педагогики, а к временам более поздним.

Ценнейшим источником для суждения о педагогических идеях Анны Ильиничны служат ее рецензии, публиковавшиеся в советских общественно-политических и литературных журналах.

Придавая исключительно важное значение в формировании личности годам детства, Анна Ильинична внимательно приглядывается к воспоминаниям людей, в которых видит высокий образец человеческого духа, и стремится обрести в их жизненной судьбе уроки, которые можно применить в воспитании миллионов советских детей.

* * *

Охране детства Анна Ильинична отдала около четырех лет жизни. Но дело это требовало такой немыслимой затраты всех сил, особенно в голодный двадцать первый год, что она дошла до предела усталости. Надо было менять работу.

Надо было менять работу и потому, что вместе с переходом к новой экономической политике и развертыванием идеологической борьбы встала во весь рост необходимость создать историю нашей партии.

Партия звала к созданию ее истории всех, кто способен работать в этой области. Естественно, Анна Ильинична оказалась в числе работников Истпарта и членом редакционной коллегии его органа — журнала «Пролетарская революция».

Свою работу в Истпарте Анна Ильинична начала с дела брата, Александра Ильича. Высший свой долг она видела в том, чтобы разобраться до конца в деле 1 марта 1887 года, которое даже такие знатоки русских

политических процессов, как Гернет и Щеголев, считали одним из самых засекреченных в истории российского судопроизводства, а вместе с тем и увековечить в памяти потомков образ брата и его товарищей по борьбе.

Много лет Анна Ильинична переписывалась с сибирскими ссыльными, осужденными по делу 1 марта 1887 года. Это дало возможность написать об Александре Ильиче и его деле довольно большой очерк в сборнике «Галерея шлиссельбургских узников», вышедшем в 1906 году. Но сведения, которыми она располагала, были неполными, и, главное, оставались неясными причины ареста брата и его товарищей.

Только теперь, после революции, получив в руки следственное дело и судебный отчет о нем, Анна Ильинична смогла разобраться в вопросах, которые мучили ее столько лет. Только теперь узнала она о мальчишеской неосторожности одного из участников организации, который навел полицию на ее след, а также о предателях, выдавших всех в первые же часы после ареста.

«Моя работа в Истпарте началась с апреля 1921 года,— писала она.— Я никогда дотоле по истории или по архивам не работала, но здесь мне представлялась возможность осуществить собирание материала по делу брата, Александра Ильича...»

Параллельно с этим она составляла сборники воспоминаний о Н. Е. Федосееве и А. П. Скляренко — людях, которые сыграли огромную роль в первых марксистских организациях в России.

В эти сборники включены также и воспоминания самой Анны Ильиничны, которые не только выдержали самую трудную из существующих проверок — проверку временем, но звучат сегодня еще более интересно, чем тогда, когда были опубликованы впервые.

Предельно лаконичные, написанные прекрасным русским языком, без «красивостей», сдержанные, несентиментальные, они полны точных наблюдений и метких характеристик.

Словно живые встают со страниц этих воспоминаний их герои — самолюбивый и застенчивый Скляренко: он был «незаконнорожденным», и на его характере, по мнению Анны Ильиничны, болезненно отразилось гадливое отношение тогдашнего общества к «незакон-

норожденным». И Федосеев, с его искренней и чистой натурой, который те десять лет сознательной жизни, что ему суждено было прожить, буквально не жил, а горел.

* * *

В морозный январский день 1924 года на нашу партию, на наш народ, на семью Ульяновых обрушилось величайшее горе: не стало Владимира Ильича Ленина.

Хоронили Владимира Ильича в воскресенье. А в понедельник к самому началу рабочего дня Анна Ильинична уже сидела за своим письменным столом.

Бесконечно тяжелая неделя оставила следы горя на ее лице. Но была она подтянутая, собранная, как всегда. Только вместо обычной белой блузки и юбки на ней было простое черное платье с беленькими точками. Такие платья в то время носили простые русские женщины в знак траура.

Отныне возникла новая, столь же дорогая для Анны Ильиничны тема, как и тема о брате Александре,— история жизни ее второго брата, Владимира Ильича.

Вскоре Анна Ильинична написала и опубликовала воспоминания о Владимире Ильиче. И поныне эти воспоминания продолжают привлекать внимание ученых-историков и самого широкого круга читателей. Если бы не они, как много невосстановимых и невосполнимых страниц истории семьи Ульяновых было бы безвозвратно утеряно!

Свои работы о Владимире Ильиче Анна Ильинична стремилась писать так, чтобы они оказались доступными и взрослым и детям, предельно точными и правдивыми. Сперва она дает характеристику родителям и семейной обстановке, описывает детство и отрочество Владимира Ильича, его дальнейшую жизнь, годы, в которые, как писала Анна Ильинична, «складывалась и оформлялась окончательно его революционная физиономия». Рассказав о начале революционной деятельности Владимира Ильича, его аресте, ссылке в Сибирь, Анна Ильинична показывает затем, как тридцатилетний Владимир Ильич, вернувшись из ссылки, «взялся снова вплотную за революционную работу, но

уже в несравненно более широком масштабе; за ту работу, которая сплотила революционный российский пролетариат и привела его к победе».

Кроме воспоминаний о Владимире Ильиче Анна Ильинична оставила о нем два биографических очерка: один, краткий, был помещен в словаре «Гранат», а другой, более полный, выпущен отдельной брошюрой. Ею написан ряд статей — «Возвращение Ильича из ссылки и идея «Искры», «Третий арест Ильича», «Поездка в Уфу и отъезд за границу», «В. И. Ленин и самарская деревня» и другие, а также несколько рецензий на книги, посвященные Ленину, подробных разборов документов, принадлежащих перу Владимира Ильича и опубликованных впервые.

К статье «Как чуть не потухла «Искра?» непосредственно примыкают ее заметки о письмах Ленина к Горькому, о материалах по выработке Программы РСДРП в 1903 году.

Значительный интерес представляет статья «Профессор оппортунист о Ленине», посвященная книге участника «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» К. М. Тахтарева. Став «экономистом», Тахтарев примкнул затем к меньшевикам, но быстро отошел от практической партийной деятельности. Его книга «Рабочее движение в Петербурге. 1893—1901 гг.» была издана в Петрограде в 1924 году. Наряду с общими воспоминаниями об этом периоде, Тахтарев посвятил довольно много страниц В. И. Ленину, с которым встречался не только в Петербурге, но и позднее, в годы революционной эмиграции, в Лондоне.

Многое в воспоминаниях Тахтарева вызвало справедливый протест Анны Ильиничны. Об этом свидетельствует прежде всего заголовок ее статьи, опубликованной осенью того же 1924 года в журнале «Пролетарская революция». Но в то же время она внимательно подбирает каждую ценную крупицу, которую можно найти в книге Тахтарева. «Мы считаем,— пишет Анна Ильинична, определяя свое отношение к этой книге,— что для истории нашей партии надо взять квинтэссенцию всех трех статей Тахтарева, не стесняясь всякими его уколами из-за угла. Оставив в стороне освещение, которое придает событиям и личности Ленина автор, посмотрим на то, что, потушив это

освещение, мы можем получить... А получить мы можем очень много биографического материала о Ленине».

Так подходила Анна Ильинична к воспоминаниям о Ленине, принадлежащим его открытому политическому противнику.

Тем более бережно относилась она к тому, что писали о Владимире Ильиче его соратники, люди, которые отдали партии всю свою жизнь, весь пыл своего сердца, для которых Ленин был самым дорогим, самым любимым человеком. В воспоминаниях Анну Ильиничну привлекают не риторика и не восхваления, которые, будучи назойливыми, дают обратный результат, ей дороги подлинные черты подлинного образа.

Пример тому — ее отзыв о книге А. Шлихтера «Ильич, каким я его знал». В ней, пишет Анна Ильинична, «образ Ильича, его слова являются как бы блестками металла в больших кусках руды. Эта руда, т. е. обстановка, события тоже важны и интересны, ее тоже надо закрепить; в ней, как в рамке, понятнее слова и проявления Ильича».

Сколь бережлива Анна Ильинична ко всему, что восстанавливает правдивый образ Ленина, столь же непримирима она к халтуре, небрежности, спекуляции его памятью, мнимым знакомством с ним, к фальши и искажению его облика. Ее пером движет не только гнев. Главное, что она хочет сказать,— это как надо писать о братьях Ульяновых, старшем и младшем, как должно рисовать революционеров, большевиков. «Ведь недостаточно иметь бойкое перо беллетриста, чтобы рисовать всякие образы... Следует быть в уровень с образами, которые рисуешь, понимать стремления, быть в курсе тех общественных идей, на основе которых развертывались происшествия, развивались характеры, которые берешься изображать».

Так, именно так писала свои работы Анна Ильинична.

* * *

Большой человек, большая жизнь, прожитая на высоком накале действий и чувств. Вместе с Коммунистической партией, вместе с рабочим классом, вместе с Лениным Анна Ильинична прошла славный путь, за-

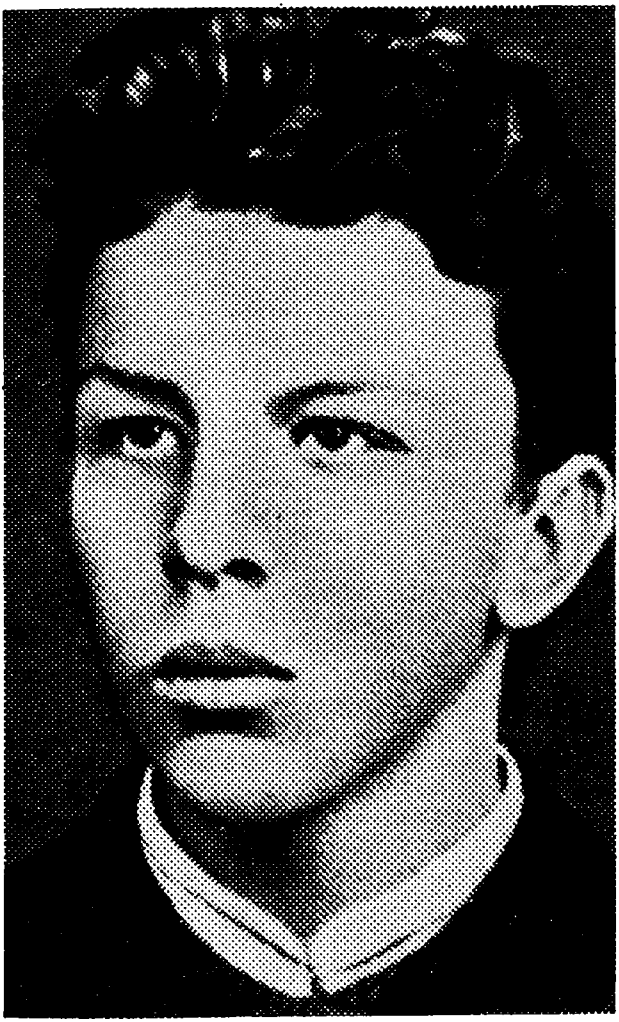
вершившийся победой Великой Октябрьской социалистической революции.

На многих фотографиях и кинокадрах мы видим Анну Ильиничну рядом с Владимиром Ильичем Лениным, Надеждой Константиновной Крупской, Марией Ильиничной Ульяновой. Вглядитесь повнимательнее в ее глаза — вы увидите живой, проницательный взгляд умного, глубокого, полного энергии человека. Присмотритесь к прекрасной линии лба, к тонкой улыбке, порой озаряющей ее лицо.

И прочтите ее книги, письма, воспоминания. Вы почувствуете, что недаром с ней были так близки ее братья — Александр и Владимир, недаром она была поверенной их мыслей, другом, советчиком, соратницей, товарищем в борьбе.

Она была настоящей коммунисткой, настоящим человеком. Достойной дочерью своей необыкновенной семьи. Достойной сестрой своих великих братьев. Достойным членом Коммунистической партии Советского Союза, которую Ленин по праву назвал *умом, честью и совестью нашей эпохи*.

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ



8 мая 1887 года на эшафоте, установленном во дворе Шлиссельбургской крепости, оборвалась жизнь Александра Ильича Ульянова. Ему тогда исполнился 21 год.

Михаил Васильевич Новорусский, приговоренный вместе с ним к повешению (оно было заменено ему бессрочной каторгой), отсидев 19 лет в одиночной камере той же крепости, писал о своем товарище:

«Он сгорел, не успевши вырасти. Его вырвали из жизни, не дав сложиться окончательно этой даровитой личности с благороднейшим нравственным обликом. Он мелькнул как метеор, на историческом небосклоне еще за 18 лет до первого просвета в нашей общественной жизни, до первой российской революции 1905 года, и за 30 лет до нашей пролетарской революции».

Как всякий афоризм, душа которого — краткость, это сравнение с метеором не может, конечно, служить исчерпывающей характеристикой. Но афоризм удачный всегда остро схватывает в характеризуемом человеке, явлении что-то наиболее яркое, существенное. Образ метеора, примененный к Александру Ульянову, нам представляется счастливой находкой Новорусского.

Действительно, активная революционная деятельность Ульянова была подобна быстротечному существованию метеора в земной атмосфере. Если даже включить в нее речь на суде, содержавшую бесстрашную критику царского строя, то и тогда вся она уложится в какие-нибудь пять месяцев.

Будто ослепительная вспышка сгорающего метеора, она на мгновение осветила беспросветный мрак реакционного царствования Александра III.

Ученые, анализируя спектр излучения небесного пришельца, получают понятие о его химической природе. Мы же, анализируя особенности террористического заговора, в котором участвовал Александр Ульянов, можем многое понять в характере последнего и составить представление о мотивах, приведших к покушению на царя.

Разумеется, такой анализ невозможен, если замкнуться в трехмесячном интервале времени, когда складывалась и действовала террористическая группа, в которую входил Ульянов. Недостаточен и трехлетний период его студенческой жизни в Петербурге. Понадобится заглянуть в Симбирск, город детства и ранней юности. Не обойтись нам без упоминаний об отце, матери, об атмосфере, царившей в этой удивительной семье.

Ленинская оценка индивидуального террора как бесполезного и даже вредного оружия революционной борьбы, когда он не связан с массовым революционным движением и не диктуется конкретными условиями момента, давно уже стала для нас аксиомой. Однако мы до сих пор не перестаем восхищаться героями «Народной воли». Восхищаемся не только их бесстрашием, готовностью к самопожертвованию, но также той двухлетней титанической деятельностью, которая потребовалась для того, чтобы привести в исполнение смертный приговор, вынесенный ими Александру II.

«Народная воля» была могучей революционной организацией. Ее Исполнительный комитет являл собой блестящую плеяду людей, вышколенных многолетней подпольной работой. Ее систему конспирации, созданную Александром Михайловым, надо признать почти безупречной. Народовольцы были силой, перед которой трепетал царь, а огромный полицейско-жандармский аппарат Российской империи часто оказывался несостоятельным.

Группа Ульянова была малочисленна — в ней насчитывалось не более десятка молодых людей, решивших взяться за оружие революционного террора. Все они были студентами, жившими на легальном положении и, следовательно, находившимися, как и вся студенческая масса столицы, под пристальным взором полиции. В отличие от народовольцев, они не располагали сколько-нибудь значительными денежными и техническими средствами. У них не было ни малейшего опыта конспиративной работы. Подбор участников группы, когда ею руководил студент Петр Шевырев, осуществлялся с легкомысленностью непростительной..,

Короче говоря, если с такой, практической, точки зрения подходить к этому заговору, трудно найти в нем что-либо похожее на блестящую заговорщическую деятельность «Народной воли». Но возможен и иной подход к этой трагической истории. Именно он приводит нас к правильной оценке.

Ошибки и промахи не могут быть поставлены в вину людям, которые самозабвенно отдались революционной борьбе, не имея практического опыта. Это не вина их, а беда. И она нисколько не умаляет красоты их подвига, потому что подвиг, совершаемый во имя истинно высокой цели, всегда, независимо от практического результата, прекрасен. Он вызывает у нас восхищение выдающимися нравственными достоинствами людей, готовых жертвовать жизнью даже в самых неблагоприятных условиях революционной борьбы. Вот почему мы видим Александра Ульянова, как и его товарищей, в одном ряду с героями «Народной воли».

Наиболее полно и ярко проявились нравственные основы его личности, вся его богатая натура, когда он вступил на путь террористической борьбы. Это и был тот миг, та самая исключительная ситуация, в которой человек, быть может, один-единственный раз в жизни, сам того не сознавая, распахивается настежь и дает нам возможность разглядеть его внутренний мир во всем богатстве.

* * *

Санкт-Петербург, столица Российской империи.

Среда, 31 декабря 1886 года. 9 часов вечера.

Александр Ульянов, студент Императорского университета, поджидал Ореста Говорухина — одного из ближайших товарищей, с которым вместе учился на четвертом курсе физико-математического факультета. Им предстояло идти на новогоднюю вечеринку.

Две комнаты, которые совместно снимали Ульянов и его земляк Чеботарев, были чем-то вроде отдельной квартиры. Они имели обособленный вход с улицы, от хозяйской половины дома, смотревшей окнами во двор, отделялись капитальной стеной. Жизнь здесь была тихая и к тому же вполне по карману.

Чеботарев недавно ушел, он встречал Новый год в своей компании.

Говорухин не заставил долго себя ждать. И еще с порога, сняв шапку, разматывая с шеи толстый, домашней вязки шарф, спросил:

— Ну, как сестра, уговорил?

— Нет, отказалась категорически.

— И будет коротать в одиночестве?

Александр развел руками.

— При ее-то меланхолическом характере? В новогодний вечер? Да ты что, Ильич!

Среди студентов, объединенных Донским и Кубанским землячествами (Говорухин был казак из станицы Усть-Медведицкой), существовал обычай именовать друг друга преимущественно по отчеству. Он принялся решительно наматывать шарф обратно на шею, приговаривая:

— Одевайся, одевайся немедленно! И пошли! Уж вдвоем-то мы ее убедим...

31 декабря 1886 года запечатлелось в памяти Анны Ильиничны Ульяновой как один из черных дней жизни. Расставалась она с уходящим годом, оказавшись в одиночестве, и поминала его самыми недобрыми словами: с первых дней принес он несчастье — смерть отца. И Анна предалась горестным воспоминаниям. Вселял тревогу и день завтрашний.

За последний месяц она не впервые старалась понять: что случилось, почему в их тесной дружбе с братом обнаружилась какая-то трещина, которая заметно ширилась, грозя превратиться в отчуждение? Александр занимал в ее жизни слишком большое место, чтобы это не вызывало мучительной тревоги.

В «Воспоминаниях об Александре Ильиче Ульянове», впервые опубликованных в сорокалетнюю годовщину его трагической гибели, Анна Ильинична открыто, не боясь быть заподозренной в сентиментальности, рассказала читателю о своей нежной любви к Александру, о глубоком уважении и преданности.

Арестованная в один день с братом, Анна Ильинична из тюрьмы, куда ее заключили, писала в другую тюрьму, где находился Александр:

«Лучше тебя, благороднее тебя нет человека на свете. Это не я одна скажу, не как сестра; это скажут все, кто знал тебя...»

Анна не ошибалась: все, знавшие Александра Ульянова, не расходились с ней в оценках его душевных качеств.

Легко представить теперь, каким тяжелым камнем легло на сердце Анны то, что было со страхом воспринято ею как начавшееся отчуждение. К тому же она терялась в догадках.

Осенью 1883 года Александр был зачислен на естественное отделение физико-математического факультета. Осуществилась наконец его заветная мечта — стать студентом Петербургского университета, где обучали естественным наукам такие профессора, как Менделеев, Бутлеров, Вагнер... Анну приняли на Бестужевские Высшие женские курсы, по окончании которых она намеревалась заняться педагогической деятельностью.

Вышло так, что поселились они далеко друг от друга. Александр нашел пристанище на Петербургской стороне, на Съезжинской улице, в небольшом деревянном доме. Ему очень повезло. В комнату ход вел прямо из передней, соседняя комната, гостиная, обычно пустовала. Было тихо, удобно для занятий. И хозяйка была внимательная, добросердечная.

Анна сняла комнату на Сергиевской, прельстившись близостью к дому Боткина, где тогда размещались Бестужевские курсы.

Чтобы встречаться друг с другом, надо было пешим порядком отмахать не одну версту, пользоваться конкой не позволял скромный бюджет. И все же встречались они тогда очень часто.

Первое облачко набежало осенью 1886 года, вскоре после того, как они, проведя лето в Симбирске, вернулись в Питер. Александр неожиданно для Анны решил, сняв две комнаты, поселиться с Чеботаревым, товарищем гимназических лет, только что окончившим Петербургский университет.

— Почему не со мной! — вырвалась у Анны острая обида.

Брат стал объяснять: у него теперь что ни день бывают университетские товарищи — по делам студенческого научно-литературного общества, Симбирского землячества. Кстати, и библиотеку землячества решено поместить в одной из комнат. Ей, Анне, луч-

ше всего поселиться в его прошлогодней комнате у хорошей, испытанной хозяйки, жить он будет неподалеку...

Объяснения были ни к чему, Анна их толком даже не слышала, мысленно твердила одно: «Не хочет Саша со мной селиться».

Живут они теперь — рукой подать, это верно, а видятся гораздо реже, чем раньше...

«Брат,— писала Анна Ильинична,— отправляясь на новогоднюю вечеринку, зашел ко мне, но не один, а с Говорухиным. Они звали и меня — помнится, больше Говорухин, чем брат,— но я, вообще большая домоседка, была в своем настроении траура не расположена идти на веселье, да к тому же и публика там должна была, кажется, быть мало знакомая. Помня, что брат первый год нашей питерской жизни приходил ко мне встречать Новый год (две следующие зимы я проводила праздники в Симбирске), зная, что он вообще не сторонник большого веселья, глядя, очевидно, чересчур сквозь призму своего настроения, я просила его остаться у меня. Но он стремился настойчиво, как ему не было свойственно в таких случаях, когда он видел причиняемое отказом серьезное огорчение, уйти на вечеринку».

Само собой разумеется, Александр понимал, в каком состоянии осталась сестра. Но поступить иначе не мог. Он ухватился за вечеринку ради того, чтобы избегнуть встречи Нового года вдвоем с Анной. При их душевной близости, годами выработанном умении понимать друг друга с полуслова и даже нередко читать в мыслях теперь такие встречи не приносили, да и не могли приносить былой радости. Анна тяготилась непривычной и непонятной замкнутостью брата, он — необходимостью таить от нее крутой поворот в собственной судьбе.

Но главное — эти встречи стали опасны для Анны. Он сознавал, что сестра мучительно терялась в догадках. Но мог ли он выдать свою и одновременно не ему одному принадлежащую тайну? А если б и выдал?.. Вряд ли смогла бы выстоять ее нервная натура, испытав этот неожиданный удар.

Для них обоих было бы счастьем, если б Анна и в этом году уехала на рождественские каникулы в

Симбирск. И матери легче было бы вместе с ней пройти через скорбную годовщину. Но Анна ни за что не хотела уезжать. И Александр, движимый любовью к ней, невольно причиняя боль, обиду, вынужден был отгораживаться от сестры. Любой исход задуманного покушения на царя — удачный, неудачный — почти неминуемо приведет его на эшафот. Это он знал, к этому был готов. И нельзя было допустить, чтобы Анна, как и другие близкие и непричастные к делу люди, пострадала.

Кстати, пришла пора сказать Чеботареву, что надо разъезжаться. И это — нелегкое дело. Трех месяцев не прошло, как они поселились вместе. Жизнь наладилась быстро и хорошо, оба были довольны ею вполне. И вдруг — разъезжаться! Нет ничего удивительного, если и Чеботарев воспримет его решение с обидой. Хуже того, сочтет легкомысленным и безответственным человеком.

Но и ему, также не подозревающему о заговоре, Александр не мог открыть истинных мотивов своего поступка. Одна надежда: Чеботарев — умница, поймет, что это не каприз. Поймет, не станет допытываться и простит.

(Примерно так и вышло. «В первой половине января,— писал Чеботарев много лет спустя,— Александр Ильич сказал мне, что некоторые из посещающих его товарищей могут быть серьезно скомпрометированы и что если я не хочу рисковать собой, то нам лучше всего разъехаться».)

В мемуарах современников, в иных литературных источниках нет ни слова о том, где Ульянов встречал 1887 год. Лишь Анна Ильинична неопределенно обмолвилась: «...публика там должна была, кажется, быть мало знакомая». Задумаемся все же над этой фразой. Прежде всего она исключает из возможных мест новогодней встречи студенческие квартиры, где Александр бывал в последнее время особенно часто (например, удобную квартиру Сергея Никонова, одного из участников террористического заговора). Здесь собирались в узком товарищеском кругу, сюда, даже под Новый год, малознакомые люди не могли быть званы. Фраза Анны Ильиничны наводит на мысль, что вечеринка скорее всего устраивалась в

доме, где брат, возможно, никогда не бывал, по крайней мере своим человеком не являлся. В ином случае и Анне он был бы близок, а это никак не вяжется с характером, тоном ее рассказа.

Возможно,— для этого есть кое-какие основания — брат и Говорухин звали Анну к Хренковым. Их квартиру студенческая молодежь посещала охотно, встречали ее здесь радушно. Анна у Хренковых не бывала, они в круг ее знакомых не входили. Ничто личное не связывало с ними и Александра, но два-три раза он заходил к ним по каким-то делам. Об этом мы знаем по воспоминаниям Валентины Иововны Дмитриевой, писательницы народнического толка, дружившей с молодой хозяйкой дома.

Именно здесь, в квартире Хренковых, она однажды, в конце 1886 года, встретила Александра Ульянова, и его «оригинальный образ» запечатлелся в памяти настолько ярко, что впоследствии послужил ей прототипом одного из героев романа «Червонный хутор».

Дмитриева оставила нам не только запоминающееся описание внешности, манеры поведения Александра, но и не без успеха попыталась заглянуть в его внутренний мир. Наконец, не менее важно и то, что, изображая царившую в доме Хренковых атмосферу, она тем самым в какой-то мере погружала читателя в общественную атмосферу тех лет, когда Ульянов учился в Петербургском университете.

Вот зарисовки четы Хренковых:

«Оба они были сибиряки, но совершенно разные по характеру люди. Хренков — последователь и поклонник Владимира Соловьева (философа-идеалиста, богослова, поэта-символиста.— *В. С.*), непротивленец с полумистическим уклоном; его жена — Софья Германовна, урожденная Гопфенгауз,— прирожденная бунтарка, с горячим боевым темпераментом, остроумная, решительная и скорая в своих действиях. Однажды, не задумываясь, в морозную ночь она сняла с себя теплую кофточку и отдала ее нищей с ребенком».

Хренков — по характеру человек мягкий и добрый — отвергал террор, с осуждением относился к деятельности «Народной воли», будучи убежден, что она «только и привела к взаимному ожесточению и кровопролитию», а затем к черной реакции Александ-

ра III. «Прощение выше мести»,— часто любил он повторять слова Ариэля из «Бури» Шекспира.

Хренкова, по словам Дмитриевой, «насквозь была пропитана революционным духом».

Разговоры и ожесточенные споры на политические темы в этом доме велись неумолчно. И какие только мнения не высказывались! Однако, как ни пестры были политические настроения и взгляды сходившихся здесь людей, ожесточенность их споров чаще всего отражала не крайность позиций, а оттенки все той же политической разочарованности, знаменовала крушение веры в бомбу, долженствовавшую, по мысли многих активных революционеров, не только лишить жизни царя, но и вызвать вооруженное восстание, инсуррекцию, как часто — на иностранный манер — выражались деятели «Народной воли», казнившие Александра II. Поэтому тем, кто и после воцарения Александра III продолжал считать революционный террор необходимым, результативным средством борьбы с царизмом, ни к чему было ввязываться в «ожесточенные» споры под гостеприимной кровлей Хренковых. Дмитриева отчетливо это показала в рассказе о самой встрече с Александром Ульяновым.

«И вот, однажды зайдя к ним,— писала Дмитриева,— я увидела незнакомого юношу-студента. Встретить там незнакомое лицо было явлением обычным: много их перебывало у Хренковых, но этот юноша почему-то особенно привлек мое внимание. Смугловато-бледный, с большим лбом, нахмуренными бровями и крепко сжатым ртом, он сидел в уголке, молчал и исподлобья поглядывал на присутствующих. По-видимому, он внимательно прислушивался к разговору, но во всей его фигуре, в выражении лица, в этих напряженно сдвинутых бровях было что-то такое самоуглубленное, сосредоточенное, чуждое всему окружающему, что казалось, будто мысль его не здесь, что им владеет какая-то своя, особая, страшно важная и захватывающая идея.

...В это время вокруг Хренкова разгорелся обычный спор о том, что делать? Не помню, кто-то заговорил о том, что террор после неудачи акта 1 марта (то есть несбывшихся надежд на коренные общественные преобразования в результате цареубийства.—

В. С.) доказал свою полную несостоятельность и что теперь нужно перейти к другим методам борьбы с реакцией. С подпольщиной нужно покончить навсегда, и все силы необходимо направить на культурную работу. Идти в земство, учить, лечить, бороться с невежеством народным не бомбами, а книгой... Поднялся шум; слышались отдельные слова: «Революция... Эволюция... Статистика страшнее динамита... Агрономия — вот главная задача...» А Хренков неторопливо и проникновенно пытался усмирить эту бурю мнений своими полумистическими изречениями:

— Не ищите мудрости, а ищите кротости. Победите зло в себе, не будет зла и в ближних ваших... Ибо зло питается злом...

И вдруг молчаливый студент точно проснулся. На смуглых щеках его проступил легкий румянец, изломанные хмурые брови приподнялись, в глазах и на губах заиграла насмешливая улыбка. В первый раз он взглянул на меня и сказал как бы про себя, ни к кому особенно не обращаясь:

— Чудаки! Корочкой хлеба хотят человечество осчастливить...

Я не успела ничего ответить, да и не знала, со мной ли он говорит. К нему подошел Хренков.

— Вы что-то сказали, коллега?

— Ничего. Удивляюсь, из-за чего спорят люди. Агрономия, статистика, земство, непротивление злу — вот каша-то. А народ как издыхал в грязи, в темноте, так и издыхает.

— А по-вашему, что же нужно? — с оттенком снисходительности — у него была такая манера — сказал Хренков.

Не знаю, тон ли этот не понравился студенту, или он вообще не хотел говорить в незнакомом обществе, но он весь как-то сжался, снова нахмурился и встал.

— Это, знаете ли, длинная история... а мне пора уходить. В другой раз когда-нибудь...— Он мешковато сунул руку Хренкову и мне, отошел к Софье Германовне и, обменявшись с ней несколькими словами, исчез.

Но его оригинальный образ запечатлелся в моей памяти, и через несколько дней я спросила Софью

Германовну, кто такой этот сумрачный студент с трагическими глазами:

— А это Ульянов. Я его сама мало знаю, он по делу приходил».

Разумеется, атмосферу дома Хренковых со всей его толчеей разнокалиберных людей, с пестротой мнений, хаотичностью споров нельзя принимать за микроскопическую копию общественной жизни России того времени. (У нас еще явится возможность пристальнее вглядеться в эту эпоху.) Но в зарисовках Дмитриевой, пусть неполно, кое в чем однобоко, отразились две ее существенные черты. Во-первых, апатия, охватившая значительную часть интеллигенции, еще вчера готовой аплодировать народовольцам,— апатия, вызванная политической безрезультатностью цареубийства и крайней реакционностью нового царствования. Во-вторых, идейный разброд в самом революционном стане, мучительные колебания в выборе дальнейшего пути. По выражению В. И. Ленина, «революционеры исчерпали себя 1-ым марта, в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации...».

Молодой революционной поросли, к которой принадлежал Александр Ульянов, приходилось самостоятельно определять свою позицию. В конце 1886 года он пришел к твердому решению стать на путь террористической борьбы, а с января следующего года считал себя формально принадлежащим к террористической группе, куда кроме него входили на первых же порах студенты Шевырев, Лукашевич, Никонов, Говорухин.

31 декабря на стол директора департамента полиции П. Н. Дурново был положен рапорт начальника Петербургского охранного отделения, к которому прилагался «добытый негласным путем печатный устав студенческого научно-литературного общества». В рапорте перечислялись и с чисто жандармской дотошностью «освещались» все лица, стоявшие во главе общества.

Об Ульянове, секретаре научно-литературного общества, в рапорте сообщалось подробно:

«...Александр Ильич Ульянов, 20 лет... проживает по Александровскому проспекту в д. № 21, кв. 2,

вместе с кандидатом университета, причисленным ныне к департаменту земледелия и сельской промышленности министерства государственных имуществ Иваном Николаевым Чеботаревым, 25 лет. Ульянов имеет мать, двух сестер и двух братьев, проживающих в в г. Симбирске, и сестру Анну, 23 лет, состоящую слушательницею Высших женских курсов.

Из знакомых Ульянова можно указать на студентов Военно-медицинской академии Василия Михайлова Бурлакова, известного департаменту полиции, университета Сергея Семенова Мельникова и Сергея Павлова Феократова, братьев Семена и Арсения Илларионовых Хлебниковых, акушерку Ревекку Абрамовну Шмидову и дочь священника Раису Ивановну Калайтан. Политическая благонадежность знакомых Ульянова, равно и его самого, весьма сомнительна, так как все они принадлежат к кружку «кубанцев и донцов»».

Рапорт кончался следующими строками:

«Из поименованных выше лиц (имелись в виду лица, возглавлявшие научно-литературное общество.— *В. С.*) один Ульянов и отчасти Сыромятников являются личностями в политическом отношении неблагонадежными.

Хотя на основании § 15 устава все заседания общества, его совета и научного отдела и происходят в зданиях университета, но тем не менее предварительные совещания членов общества могут происходить и на частных квартирах, особенно если принять во внимание, что такая личность, как Ульянов, играет в том обществе выдающуюся роль секретаря».

Это пристальное внимание петербургской охранки к Ульянову, агентурное наблюдение за его квартирой, за людьми, посещавшими ее, возникло еще в октябре. И рапорт являлся отчетом об исполнении поручения, которое департамент полиции возложил на Петербургское охранное отделение своим «отношением за № 2655/604», датированным 31 октября. Но во второй половине ноября, после студенческой демонстрации у ворот Волкова кладбища, слежка резко усилилась.

Начальник охранки подполковник Секеринский доносил утром 17 ноября департаменту: «Получено мною

сведение, что сего числа, в час дня, предполагается общестуденческая панихида на могиле Добролюбова... По сведениям, соберется до 1000 человек, причем собирающиеся предполагают после панихиды произвести демонстрацию».

«Сего числа,— сообщал в письме к Дурново петербургский градоначальник генерал-лейтенант Грессер,— учащаяся молодежь обоего пола высших учебных заведений столицы намерена была произвести, под предлогом чествования 25-летней годовщины смерти литератора Добролюбова, демонстрацию на Волковом кладбище, подробности о которой мной доложены вашему превосходительству в особой записке». Грессер предлагал, войдя «в сношение с подлежащими министерствами, в ведении коих состоят высшие учебные заведения», принять меры «к воспрепятствованию молодежи этой фигурировать в подобных демонстрациях».

18 декабря Дурново обратился к Грессеру: «Ввиду полученных сведений о сношениях... Александра Ильича Ульянова с лицами, высланными из Петербурга за демонстрацию в день годовщины смерти Добролюбова, департамент полиции имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать в распоряжении о собирании подробных сведений о деятельности и круге знакомых студента Ульянова и о последующем не оставлять вашими уведомлениями».

И Грессер, конечно, «не оставлял». В частности, его подробная записка об Ульянове, круге знакомых, о кружке «кубанцев и донцов», о студенческой столовой этого кружка как месте конспиративных встреч, помеченная 2 января 1887 года, кончалась следующим абзацем:

«Ввиду того, что большинство знакомых Ульянова суть лица, скомпрометированные в политическом отношении, он сам также должен быть признан за такое лицо.

Кроме того, Ульянов с сестрою своею и сожителем по квартире Иваном Николаевичем Чеботаревым является организатором малороссийского кружка, сведения о коем собираются по записке департамента полиции от 22 декабря 1886 года за № 138/762».

Насколько энергично шныряли в студенческой

среде шпики охранки, можно судить из донесения подполковника Секеринского. Буквально через несколько дней после решения группы Ульянова выпустить прокламации о репрессиях, связанных с «добролюбовской демонстрацией», Секеринский сообщил в департамент: «Дознано мной агентурным путем, что... 18 ноября по этому поводу происходила сходка студентов, на которой было решено издать прокламации двух родов: «к студенчеству» и «к русскому обществу»; из них первого рода прокламации предположено распространять среди знакомых и товарищей, а вторые — опускать в ящики, устроенные во входных дверях частных квартир». Здесь все, до мельчайших деталей, соответствовало решениям, принятым на квартире у Александра.

Вспоминая это время, Чеботарев писал: «...мы видели, что слежка за нашей квартирой усилилась. Шмыгали агенты тайной и явной полиции, дворник постоянно изыскивал повод войти в квартиру. И тем не менее это мало беспокоило Александра Ильича».

Нетрудно понять, почему не выражал беспокойства сам Чеботарев. Он не был связан с заговорщической деятельностью Ульянова, даже не знал о ней. Впоследствии, на суде, где он присутствовал в качестве свидетеля, да и то вызванного не следственными властями, а подсудимым, Ульяновым, к нему никаких претензий не предъявлялось. Но Александр Ильич, он-то почему мало беспокоился? Может быть, потому, что до конца декабря в его действиях еще не было фактически ничего такого, за что полагалось отвечать по всей строгости неумолимых законов Российской империи?

Как бы то ни было, в канун Нового года жандармско-полицейская грозовая туча сильно сгустилась и низко нависла над его головой.

* * *

Сергей Никонов, вспоминая спустя 40 лет студенческие годы, писал:

«Идея цареубийства в это время, так сказать, носилась в воздухе. До того сперлась политическая атмосфера, до того чувствовался гнет реакционной политики правительства Александра III, что очень мно-

гие задавали себе вопрос: неужели не найдется людей, которые взяли бы на себя устранить грубого деспота?»

Никонов не преувеличивал: идея цареубийства носилась в воздухе. Михаил Степанович Ольминский, один из старейших большевиков, в разговоре с Анной Ильиничной, который состоялся уже после Октябрьской революции, высказал ту же мысль, характеризуя настроения революционной молодежи в середине 80-х годов. Он и сам, тогда народоволец,— кстати сказать, поступивший в Петербургский университет одновременно с Ульяновым,— подумывал о террористическом акте. И тем не менее слухи о неудавшемся покушении на Александра III, мгновенно распространившиеся после ареста Ульянова и всех остальных участников террористической группы, ошеломили петербургское студенчество. Особенно слух, будто в числе арестованных — Ульянов. Кое-кто просто счел это за вздор. Иные склонны были объяснить недоразумением, на худой конец — роковой случайностью.

Другой реакции и быть не могло среди широкого круга студентов, знавших Ульянова по совместному слушанию лекций, по работе в студенческом научно-литературном обществе. В этой среде он был известен и уважаем как выдающийся своими способностями и знаниями студент-естественник, прямо-таки влюбленный в избранную область науки и поглощенный ею целиком.

А его успехи в занятиях по зоологии, год назад увенчанные университетской золотой медалью за конкурсную работу о кольчатых червях? А слух, что его решено оставить при университете для подготовки к профессорскому званию? Вот в этом слухе никто не сомневался.

Наконец, его видели до самого последнего дня на лекциях, которые Ульянов посещал, как всегда, аккуратнейшим образом, видели работающим — с обычной для него, а в общем-то редкой усидчивостью — в зоологическом кабинете, где он продолжал потрошить кольчатых червей. Какой уж тут террористический заговор?!

Но и в более узком кругу, среди товарищей, хорошо знавших Александра по работе в Симбирском

студенческом землячестве, в центральном кружке объединенного союза землячеств, в экономическом кружке «саморазвития»,— среди тех, кто вместе с ним не только изучал последнее слово философии, политической экономии, истории, но и обсуждал жгучие вопросы политической жизни России,— и в этом более узком кругу весть об его участии в террористическом заговоре также вызвала что-то вроде столбняка... Впрочем, некоторые из товарищей Александра Ильича, принадлежавшие именно к этому кругу, много позже в своих воспоминаниях отмечали печать смерти, которую они якобы разглядели на его лице незадолго до неудачного покушения.

«Чтобы не замешать нас, Ульянов заранее вышел из кружка,— писал в 1908 году В. Бартенев, один из участников экономического кружка.— Как-то случайно он зашел на одно заседание за две недели до 1 марта. Быть может, зашел взглянуть на нас в последний раз и мысленно проститься с нами. Вид его тогда поразил многих. Он весь вечер просидел молча, задумчиво глядя своими большими темными глазами. Я очень живо помню его лицо: матовой белизны, немного широкоскулое, всегда спокойное и серьезное, шапка черных, слегка вьющихся волос на голове. Но в этот вечер его лицо было точно освещено каким-то внутренним светом и казалось преображенным. И не я один обратил на это внимание; многие из нас, после того как его арестовали, вспоминали о выражении его лица — лица человека, обрекшего себя на смерть».

Однако это предвосхищение задним числом — неумышленное, конечно,— явно расходится с воспоминаниями тех, кто был очень близок к Александру, близок повседневно. Достаточно назвать Чеботарева. Последний даже после того, как Ульянов предложил разъехаться, ни по внешнему виду, ни по манере поведения своего друга не предугадывал надвигающейся трагедии. Кстати, не сказалось ли это «предвосхищение» и на портрете, нарисованном Дмитриевой,— «сумрачный студент с трагическими глазами» и пр.? Лишь тогда, когда Александра заставали одного и врасплох, могла явиться такая мысль. Например, у будущего шлиссельбуржца Михаила Новорусского, который как-то зашел к Ульянову, не постучавшись по рас-

сеянности в дверь его комнаты, и стал «минутным свидетелем роковой борьбы в душе Александра Ильича».

Новорусский писал: «Лицо его, обыкновенно спокойное и приветливое, было необычайно тревожно и грустно. Он медленно поднял голову, услыхавши мои шаги, и было видно, что я оторвал его как бы от тягостного сна, от которого он с трудом очнулся... Я чутьем понял, что он только что решал для себя тяжелые вопросы — может быть, вопрос жизни и смерти,— и невольный вопрос: «Что с ним?» — у меня замер на устах».

В том-то и дело, что Ульянов оставался до последней минуты непроницаемым для всех, кто не был посвящен в террористический замысел. Тут сказывалась его редкостная выдержка, железная самодисциплина.

Даже Анна проглядела превращение студента, всеми помыслами отдававшегося науке, в революционера-террориста. А ведь она была все время рядом с братом. И в тот момент, когда эта метаморфоза совершалась, настойчиво задумывалась над переменой в их отношениях, над отчуждением, которое приносило ей столько горестных переживаний. По ее собственному признанию, не раз она оказывалась у самого порога тайны, но так и не сумела переступить его. Даже после ареста брата — подумать только! — будучи и сама арестована в тот же день, она все еще блуждала в потемках.

И только в тюрьме, узнав о покушении студента Генералова (знакомого Саши) на жизнь царя и побывав на допросах, она все поняла. Только тогда открылась ей истинная причина нежелания Саши встречать Новый год с ней вдвоем:

«Уже в тюрьме, продумывая подробно все поведение брата за последнее время, я поняла, что при состоявшемся решении принять участие в террористическом акте — что скрывалось от меня — ему, такому правдивому, что он мог только уклониться от ответа, а не солгать, так глубоко любящему мать и семью, что он должен был очень болезненно переживать подготовляемое ей горе, было просто невмоготу остаться в этот вечер со мною, с мыслями о семье».

Александр Ильич рассказывал на суде об «умственном процессе», который привел его к террору.

Однако личные мотивы, то есть причины, толкнувшие именно его, Александра Ильича Ульянова, на дорогу террористической борьбы, в этой речи были им сознательно обойдены. Равным образом не писал об этом с его слов ни один из авторов воспоминаний. Между тем мы более всего озабочены задачей рассказать читателю о том психологическом процессе, в результате которого всепоглощающая в жизни Ульянова страсть к науке сменилась все поглотившей, в том числе и самую жизнь, террористической деятельностью. Если же автор при этом решительно сторонился всякой вольной фантазии, где ему было искать почву достоверности? Лучше, чем воспоминания Анны Ильиничны, не найти. Ее мысли о решении Александра пожертвовать собой ради цареубийства, сведенные воедино и изложенные в форме разговора с воображаемым голосом, и послужат нам надежной основой для того, чтобы попытаться восстановить в былой подлинности интересующий нас психологический процесс.

Анна Ильинична, как и другие авторы воспоминаний об Александре Ульянове, справедливо считала добролюбовскую демонстрацию с ее последствиями непосредственной причиной, толкнувшей его на террор.

Инициатором демонстрации, по свидетельству Никонова, был экономический кружок. В начале года студентам удалось организовать демонстрацию, приуроченную к двадцатипятилетию «освобождения» крестьян. Полиция ее проморгала. Ободренные таким успехом, студенческие организации живо откликнулись на призыв экономического кружка провести демонстрацию в день двадцатипятилетия со дня смерти Добролюбова. Подготовка велась открыто, но в объявлениях о сборе на Волковом кладбище говорилось лишь о панихиде и возложении венков на могилу знаменитого критика.

17 ноября, около полудня, когда демонстранты заполнили пустырь перед Волковым кладбищем, они обнаружили, что его ворота на замке, а решетка ограды защищена большим отрядом полиции во главе с полицмейстером, который объявил о запрещении панихиды. Ответом были негодующие выкрики, начались даже отдельные стычки между полицейскими и студентами.

Атмосфера быстро накалялась. Полицмейстер, опасаясь более серьезных эксцессов, пошел на уступку — дал возможность небольшой группе студентов пройти за ворота и возложить венки на могилу. Как-никак, а это была победа, хоть и маленькая, и демонстранты, немного помитинговав, решили не расходиться, а направиться в центр столицы, к Казанскому собору, где десять лет назад состоялась знаменитая демонстрация студентов и рабочих, организованная «Землей и волей». Дело принимало такой оборот, что могло кончиться кровопролитием, хотя сами демонстранты шли спокойно, организованно.

Дальнейшее передадим словами студента Петербургского университета М. Брагинского, в воспоминаниях которого Александр занимает центральное место:

«Ульянов... явился одним из деятельных организаторов этой демонстрации и одним из самых энергичных ее участников. Мне никогда не приходилось наблюдать Ульянова в таком состоянии... В продолжение всей демонстрации — а она длилась с утра до поздних сумерек — Ульянов был в сильно приподнятом настроении... Его настроение достигло крайней ступени возбуждения, когда огромная толпа демонстрантов, с революционными песнями подвигавшихся к Казанской площади... была остановлена цепью конных казаков, преградившей ей путь на Лиговке, не доходя до Николаевского вокзала, и когда вскоре затем перед демонстрантами появился градоначальник генерал Грессер. Я находился в этот момент вблизи Ульянова, шедшего все время под руку с своею сестрой, Анной Ильиничной, и положительно заражавшего всех своим боевым настроением, бурно проявившимся, как только он увидел приближавшегося к нам градоначальника. Точно электрическим током всего пронизало его при виде ненавистной фигуры Грессера... С побледневшим лицом, с загоревшимися гневом глазами Ульянов с криком «вперед!», увлекая за собой других и прокладывая себе путь сквозь гущу демонстрантов, устремился навстречу подходившему к нам градоначальнику, точно собираясь уничтожить его тут же, на месте. В ту же минуту и вся огромная толпа демонстрантов, охваченная необыкновенным волнением, пришла в движе-

ние и с криками «вон!», «долой!» ринулась на градоначальника и чуть не сбила его с ног».

Демонстрантов выпускали из оцепления маленькими группами, однако часть из них была задержана и отведена в полицейский участок, находившийся в двух шагах.

Вечером на квартире Ульянова собрались близкие товарищи, делились впечатлениями, тревожились о тех, кто был арестован, ждали дальнейших арестов. Настроение было озабоченное, подавленное. Но когда явились несколько человек из числа уведенных в кутузку и сообщили, что выпустили в конце концов всех, народ повеселел.

Наутро радостное чувство победы сменилось нешуточной тревогой, вызванной репрессиями — обысками, арестами, высылкой некоторых участников демонстрации. Около сорока человек высылались из Петербурга в различные места под надзор полиции. И тогда, на совещании, происходившем также в квартире Ульянова и Чеботарева, было решено напечатать на гектографе листовку с протестом против действий властей. Текст ее взялся писать Александр Ильич.

Озаглавленная «17 ноября в Петербурге», она в спокойных тонах, подробно излагала все события этого дня, указывала на мирные цели студентов, желавших «только воспользоваться своим правом — служить панихиду по тем лицам, которых мы признавали своими учителями, которые завещали нам бороться с неправдой и злом русской жизни». В листовке говорилось об издевательских действиях Грессера, заставившего демонстрантов несколько часов стоять под дождем, в лужах, о последующих репрессиях и делался вывод, что не из опасения беспорядков были брошены полицейские и казаки — мирный характер манифестации не вызвал сомнений,— правительство, очевидно, было «против самого факта чествования Добролюбова».

«У нас на памяти немало других таких же фактов,— говорилось далее,— где правительство ясно показывало свою враждебность самым общекультурным стремлениям общества». Один из последних абзацев листовки гласил: «Итак, всякое чествование сколько-

нибудь прогрессивных, литературных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и благодарности им, даже над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству. Все, что так дорого для каждого сколько-нибудь образованного русского, что составляет истинную славу и гордость нашей родины, всего этого не существует для русского правительства. Но тем-то важны и дороги такие факты, как 17 ноября, что они показывают всю оторванность правительства от общества и указывают ту почву, на которой должны сойтись все слои общества, а не только его революционные элементы».

Заканчивалась листовка энергичным заявлением: «Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу, но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности».

Обвинитель на процессе Ульянова и его товарищей, обер-прокурор правительствующего сената Неклюдов, пытался в своей речи истолковать последние строки листовки как неприкрытую угрозу террором. С юридической точки зрения это являлось грубой подтасовкой, подлогом, потому что в них ясно говорилось о духовной солидарности, о действиях, подобных добролюбовской демонстрации. Но, быть может,— об этом следует задуматься — для самого автора листовки ее заключительная фраза и стала тем «толчком», который «подвинул его на террор».

Подкрепляя свое мнение о влиянии добролюбовской демонстрации на судьбу брата, Анна Ильинична писала:

«В наше время может показаться диким по несоответствию: разогнанная студенческая демонстрация толкает на самоубийство, на террор. Нам трудно перенестись за 40 лет назад, в психологию того «проклятого богом», по выражению Якубовича (поэта-народовольца, сосланного на каторгу.— *В. С.)*, поколения восьмидесятых годов. Но прежде всего неверно, чтобы это была студенческая демонстрация. Не студенческие, а общеполитические мотивы вызывали ее...»

Мысль Анны Ильиничны ясна. Но, быть может, для глубокого проникновения в сущность переворота, произведенного добролюбовской демонстрацией в

сознании Александра, более пригодна иная аллегория.

В годы ранней юности Александра наука, закладывая основы учения об энергии, руководилась принципом, что причина всегда равна следствию. При этом она, естественно, должна была объяснить процессы, в которых «малые причины порождали большие следствия». (Именно этими словами они тогда и характеризовались.) В одной из популярных книг того времени в качестве иллюстрации приводилась снежная лавина — процесс, производящий катастрофические опустошения, но возникающий от малых, ничтожно малых причин, например от взмаха крыльев птицы, низко пролетающей над гигантским напластованием снега уже созревшей лавины. В наш просвещенный, атомный век кто не знает о лавинообразных процессах, о так называемых цепных реакциях, когда «малая причина», например деление одного атомного ядра, порождает катастрофически большие следствия? Именно таков — по скоротечности, по всеобъемлемости результатов — и был «умственный процесс», упомянутый на суде самим Ульяновым.

Быть может, «взмахом крыльев» и явилась для него последняя фраза листовки об «организованной силе», которую общество противопоставит «грубой силе» правительства. Написав эту фразу, он — при его характере и складе ума,— несомненно, задался вопросом: «А что под этим следует понимать?» И мысли его покатились в сторону террора.

Толчок добролюбовской демонстрации, несомненно, привел в движение напластованные за три года жизни в Петербурге впечатления. Ведь это был город, где все и на каждом шагу кричало о «разнузданной,— по выражению Ленина,— невероятно бессмысленной и зверской реакции» царствования Александра III.

Не случайно в листовке было упомянуто о похоронах Тургенева, «на которых в качестве представителей правительства присутствовали казаки с нагайками и городовые». После революции, когда открылся доступ к секретным архивам полиции и охранки, было обнаружено специальное «дело» о похоронах великого русского писателя. Из него мы узнали о том, какому надругательству подвергался прах Тургенева на пути из

Парижа в Петербург, как лишили Льва Толстого возможности произнести на траурном собрании в Москве речь в память Ивана Сергеевича, да и многое другое. Но и то, что было известно тогда, вызывало омерзение и гнев в самых широких кругах интеллигенции.

Не мог Александр не вспомнить своего посещения Петропавловской крепости, где среди многих благороднейших и смелых русских людей, становившихся в разное время узниками казематов-могил, отсидел свои четыре года кумир его ранней юности — Писарев. Тогда и не помышлялось, конечно, что и сам он, Александр, станет узником этого застенка. Он вспомнил и о смерти Писарева, утонувшего во время купания на Рижском взморье. Полицейский, приставленный к нему «для наружного наблюдения», видевший, как тонул Дмитрий Иванович, пальцем не шевельнул, никого не позвал, чтобы спасти его.

Не мог не вспомнить Александр и другого любимого писателя — Салтыкова-Щедрина. Александру удалось повидать его, даже дважды, и пожать ему руку. Он ходил со студенческой депутацией на квартиру к Михаилу Евграфовичу, чтобы вручить адрес и поздравить с днем ангела — единственный формально допустимый и все же небезопасный повод выразить любовь и горячую признательность опальному писателю. Затравленный, лишенный своего детища (его журнал «Отечественные записки» был закрыт в 1884 году), больной, на пороге смерти — таким видел и таким вспомнил его Александр, когда лавина мыслей неслась с возрастающей скоростью.

Помните, читатель, слова Никонова: «...очень многие задавали себе вопрос: «Неужели не найдется людей, которые взялись бы устранить грубого деспота?» Для Александра, как и для самого Никонова, такой вопрос был немыслим: «Почему надо уповать на других? Если надо устранить, берись за дело сам!»

В «Записках шлиссельбуржца» Михаил Новорусский писал об Александре: «...ему, самоотверженному защитнику террора, пришлось пережить немало тяжких минут раздумья и колебаний. Идти самому на этот путь не значит идти к победе. Победой, если она будет, воспользуются другие. Участника же, который становится на этот крестный путь, скорее всего ожи-

дает смерть. А идти на смерть сознательно в 21 год, на заре жизни, когда человек полон самых возвышенных стремлений и рвется к делу, борьбе, жизни, а не к смерти,— на это нужна необычайная решимость».

Справедливо сказано! Очень трудно побороть естественную, особенно сильную у молодого, жажду жизни. Но мужественному человеку, обдуманно и убежденно избирающему террор в качестве революционного оружия, мысль о смерти не страшна. Он приемлет ее спокойно, как неизбежность, им самим вызванную.

Несомненно, жизнь Александра Ильича до краев полнилась самыми возвышенными стремлениями, недюжинными делами, благородными мечтаниями о личном счастье. А добролюбовская демонстрация, толкнувшая на путь революционного террора, понуждала принести все в жертву новой жизненной цели. Пусть такое требование и не противоречило моральному кодексу, установленному им для себя, а совпадало — результат не менялся. В этом нравственном подвиге вся натура Александра. Этот подвиг являет нам жизнь его трагически прекрасной. Но раньше, чем совершить его, надо было обратиться к надежному советчику, к вышколенному аналитическому уму, оберегавшему во всех случаях жизни от поспешных, сомнительных, ложных шагов. И прежде всего, надо полагать, Александр почувствовал необходимость проверить еще раз, как уживается идея революционного террора со сложившимися у него к этому времени теоретическими представлениями о пути развития русского революционного движения.

* * *

Для биографов Александра Ульянова его теоретические искания являются той единственной областью, где, к счастью, можно опереться на документы, автором коих был он сам. Их три: во-первых, листовка «17 ноября в Петербурге», во-вторых, «Программа террористической фракции «Народной воли» — так именовала себя в этом документе группа Александра Ульянова — и, наконец, стенограмма его речи на суде.

«Я могу,— говорил Александр перед судьями,— отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более

проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы».

Разъясняя слова брата о смутном чувстве ранней молодости, Анна Ильинична в своей книге рассказала маленькую историю.

Однажды, когда семья Ульяновых жила, как обычно в летнюю пору, в деревне Кокушкино, девятилетний Саша и одиннадцатилетняя Анна отправились покататься на лодке. На реке их застал дождь. Боясь, что слегка простуженная сестра расхворается всерьез, Саша, гребя изо всех сил, погнал лодку к ближайшей деревне Татарской. Здесь они забежали в избу хорошо знакомого Ульяновым охотника и рыболова Карпея. «Это был талантливый самородок с речью, блещущей остроумием и меткими сравнениями,— писала Анна Ильинична.— Но особенно запомнила я нашу беседу с ним в этот раз... Он рассказывал нам, как по царскому приказу гнали через Казанскую губернию в Сибирь «жиденят». Этот рассказ очевидца был ярок и произвел на нас сильное впечатление».

Насколько глубоко он запал в детские души, можно понять из того, что через десяток лет, читая «Былое и думы» Герцена, Александр и Анна живо вспомнили охотника Карпея. Тогдашняя детская печаль и жалость сменились негодованием. Герцен, встретив по дороге в собственную ссылку этих восьми-девятилетних еврейских ребятишек, оторванных от родителей, бредущих из последних сил неизвестно куда и зачем и умирающих по дороге от этапа к этапу,— сам Герцен глотал слезы бессильной ярости: «Какие чудовищные преступления бесславно схоронены в архивах злодейского, безнравственного царствования Николая!»

Воспитанные в уважении к «инородцам», населявшим Симбирскую губернию, к татарам, чувашам, мордвинам, для которых Илья Николаевич строил школы, готовил преподавателей из их же среды, воспитанные в духе, чуждом великодержавному шовинизму, Александр и Анна горячо сочувствовали ярости Герцена.

И Анна Ильинична была, несомненно, права, заключив свой рассказ утверждением, что «для Саши это было одним из фактов, пробуждавших в нем еще в детские годы то смутное недовольство существующим политическим строем, о котором он говорил в своей речи на суде».

Но вот мы переносимся в студенческие годы Александра и с недоумением читаем в воспоминаниях близких товарищей о его аполитичности. Чеботарев, например, писал, имея в виду первый год питерской жизни:

«Я принимал тогда деятельное участие в поволжском землячестве и на первых же порах заговорил с Александром Ильичем о вступлении его в члены этого землячества, равно как и с приехавшей вместе с ним сестрой его, Анной Ильиничной... Но сочувствия не встретил. Мне показалось, что оба они слишком для этого «благовоспитанны»... Приехали в Питер только «учиться» и заниматься «чистой наукой», а не «политикой».

О том же примерно писал и Говорухин. Он утверждал, что даже на третьем курсе Александр «не участвовал еще ни в революционных организациях, ни в кружках самообразования». О студентах, которые работали в этих кружках, он, по словам Говорухина, говорил: «Болтают много, а учатся мало».

Наше недоумение естественно: мы уже имели случай узнать редкостную правдивость Александра. Ложь, хотя бы и по пустяковому поводу, никогда не слетала с его уст. Нельзя допустить, чтобы в речи на суде — а он понимал, что она последняя в его жизни,— были сказаны неправдивые слова. И ради чего понадобилось бы относить начало своего революционного мышления, хоть и «смутного», к временам ранней молодости? В характере Александра рядом с правдивостью жила редкостная скромность, о которой не забывали упомянуть буквально все, кто писал о нем воспоминания.

Но нельзя заподозрить Чеботарева и Говорухина в том, что их первые впечатления об Ульянове-студенте неискренни. Более того, надо признать, в них отразилась известная доля правды. Поступив в университет, Ульянов действительно был некоторое время целиком поглощен наукой. И его, однолюба по характеру, нетрудно понять.

Наконец-то осуществилась давняя, заветная мечта!

Однако продолжим цитату из воспоминаний Говорухина, в которой было сказано, что Ульянов сторонился революционных организаций. Вот как объяснил это ему Александр:

«В революционные организации не вступаю потому, что я не решил еще многих вопросов, касающихся лично меня, а что еще важнее, вопросов социальных. Да и вряд ли скоро вступлю».— «Почему?» — «Потому — больно уж сложны социальные явления. Ведь, если естественные науки, можно сказать, только теперь вступают в ту фазу своего развития, когда явления рассматриваются не только с качественной, но и с количественной стороны,— только теперь становятся, стало быть, настоящими науками, то что же представляют собой социальные науки? Ясно, что не скоро можно решить социальные вопросы. Я предполагаю, конечно, научное решение — иное не имеет никакого смысла,— а решить их необходимо общественному деятелю. Смешно, более того, безнравственно профану медицины лечить болезни; еще более и смешно и безнравственно лечить социальные болезни, не понимая причины их».

Еще и не предполагая быть лекарем социальных болезней, все еще оставаясь верным рыцарем Науки, Александр стал втягиваться в изучение политических, исторических, экономических проблем. Вместе с Анной он слушал лекции В. Семевского по истории русского крестьянства. А когда чтение этого курса было прекращено и в университете, и в Бестужевке (народник В. Семевский для начальства оказался слишком левым), оба они «в числе избранных», как писала Анна Ильинична, дослушивали лекции на квартире историка. По инициативе Александра в Симбирском землячестве, где он уже активно работал, возник кружок по изучению экономического положения крестьянства.

«Крестьянский вопрос» — как в историческом плане, так и злободневном — все чаще и острей будоражит мысль Александра. Он внимательно следит за журнальными статьями на эту тему, понимая, что она становится главной, решающей в острой полемике первых русских марксистов в лице Плеханова и группы «Освобождение труда» с народниками.

Наряду с поисками правильной революционной теории Александр все глубже входил в общественную студенческую жизнь. Он стал одним из самых деятельных и авторитетных членов Симбирского землячества. От этого землячества он был делегирован в центральный кружок (руководящий орган) объединенного Союза студенческих землячеств.

В конце 1885 года Ульянов вступил в экономический кружок, интересы которого отнюдь не сводились к изучению общественных наук и обсуждению злободневных политических проблем. Фактически это был и негласный политический центр, распространявший свое влияние на деятельность Союза землячеств и других студенческих организаций того же научно-литературного общества, где Александр был, как уже знает читатель, избран секретарем и во многом определял характер его деятельности.

Именно Ульянов включил в повестку одного из заседаний общества доклад студента Марка Елизарова, также участника экономического кружка, об экономическом положении крестьян Самарской губернии. По форме это был даже не доклад, а как бы личные впечатления Елизарова о жизни родной деревни, откуда только что он вернулся после каникул. Но слушатели из этих впечатлений могли без труда сделать вывод о тяжелом положении крестьян, об их глухом протесте против порядков, установленных реакционной политикой правительства Александра III и доводящих деревню до крайней степени нищеты и бесправия.

Так, если говорить кратко, шел процесс «предварительной научной подготовки и нравственной закалки» будущего революционного деятеля, хотя сам Ульянов до поры до времени не отдавал себе в этом отчета. Каков же был его конечный результат?

Авторы воспоминаний, а позднее биографы и исследователи политических взглядов Александра Ильича Ульянова признали, что сложившиеся к этому моменту у Александра Ульянова политические взгляды были непоследовательными, внутренне противоречивыми. Действительно, в программе и в речи на суде нетрудно обнаружить существенные элементы нового, марксистского понимания законов общественного развития и обусловленных ими путей и практических за-

дач революционной борьбы. Но тут же, по соседству с ними, так же легко обнаружить и элементы старых, народнических воззрений.

Александр Ильич и сам признавал это соседство. Более того, он сознательно стремился к такому сочетанию разнородных политических взглядов. В письменных показаниях от 20—21 марта Ульянов, восстанавливая по памяти программу, объяснил следствию, что в его задачу входило «составить опыт общепартийной программы, которая могла бы объединить революционные партии».

«Прежняя программа «Народной воли»,— писал Александр Ильич далее в этих показаниях,— по недостатку научной обосновке и некоторой неопределенности своих положений не вполне удовлетворяет революционные кружки, и мы думали, что, исправляя эти ее недостатки и сделав в ней некоторые изменения, можно устранить все существенные причины разногласий и послужить делу объединения революционных сил...»

Говоря о партиях, которым следовало бы в интересах революционного дела объединиться на единой политической платформе, Ульянов имел в виду кроме «Народной воли» группу «Освобождения труда» и возникшие в Петербурге кружки молодежи социал-демократического направления.

Современному читателю такое намерение может показаться наивным. Но для его правильной оценки необходимо учитывать обстановку — кризисное состояние, в каком тогда находилась революционная теоретическая мысль.

Вспомним ленинскую характеристику руководителей социал-демократического движения в период 1894—1898 годов:

«Многие из них начинали революционно мыслить, как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными «Народной воле» и которых молодые социал-демократы высоко уважали».

Если бы не смерть на эшафоте, Александр Ульянов — для нас это несомненно — был бы среди моло-

дых социал-демократов вместе с братом Владимиром. Но в конце 1886 года Александр еще не успел полностью освободиться от влияния народовольческих идей.

Александр Ульянов принадлежал к тому поколению русских революционеров, для которого отказ от обаятельного впечатления героического народовольчества был делом нелегким и требовал бесстрашной работы мысли.

Александр сразу после знакомства с первым томом «Капитала» проникается глубоким интересом к марксизму. Ему удалось раздобыть и вместе с Говорухиным прочитать одну из первых работ Маркса, опубликованную в «Немецко-французском ежегоднике»,— статью «К критике гегелевской философии права». Он даже сделал ее перевод на русский язык, намереваясь опубликовать в нелегальном издании.

«Помню до сих пор,— писал Говорухин в 1927 году,— как мы читали о еврейском вопросе и о философии права Гегеля. Александр Ильич с восторгом следил за блестящей диалектикой Маркса и бурно выражал свой восторг... Александр Ильич предполагал прочесть со мной все другие сочинения Маркса и Энгельса, какие только можно было достать в то время в Петербурге, и первым из них он намечал брошюру «К критике политической экономии».

В работах Маркса его пленил самый подход к историческому процессу, раскрытие объективных закономерностей общественного развития.

Он внимательно прочитал первые крупные марксистские работы Плеханова — «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия».

Вооружившись таким образом, он подверг анализу и критике народовольческие взгляды. Нашумевшую в то время книжку столпа либерального народничества В. Воронцова «Судьбы капитализма в России» прочитал основательно, с карандашом в руках и сделал многочисленные записи, которые долго хранились у Чеботарева. До нас они не дошли, но вот что писал Чеботарев в своих воспоминаниях:

«Перечитывая эти заметки, я видел, как широко и глубоко уже тогда Александр Ильич понимал экономические вопросы, и, стоя в своей практической деятельности (заметки писаны не раньше осени 1886 г.)

на почве народничества, он видел, как быстро развивается в России капитализм, критически относился к идеям В. В. (под таким псевдонимом выступал В. Воронцов.— *В. С.*) и выражал сомнение в прочности русской общины как базы социального переустройства. Не знаю, может быть, тут сказалось влияние появившейся тогда книги Плеханова «Наши разногласия», о которой я помню отзыв Александра Ильича — «интересная книга».

Посмотрим теперь, как изучение марксизма отразилось и в программе, написанной Ульяновым, и в его речи на суде. Лучше всего сделать это при помощи выписки из статьи Ленина «Мелкобуржуазный и пролетарский социализм», написанной в 1905 году и направленной против эсеровских взглядов:

«Народничество было до известной степени цельным и последовательным учением. Отрицалось господство капитализма в России; отрицалась роль фабрично-заводских рабочих, как передовых борцов всего пролетариата; отрицалось значение политической революции и буржуазной политической свободы; проповедовался сразу социалистический переворот, исходящий из крестьянской общины с ее мелким сельским хозяйством».

«Человек будущего в России — мужик, думали народники, и этот взгляд вытекал неизбежно из веры в социалистичность общины, из неверия в судьбы капитализма. Человек будущего в России — рабочий, думали марксисты, и развитие русского капитализма, как в земледелии, так и в промышленности, все более и более подтверждает их взгляды».

Сопоставим теперь по пунктам взгляды Александра с тем, что сказано в ленинской статье.

1. Судьбы капитализма в России. «В «Программе террористической фракции партии «Народной воли» записано:

«К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития; он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства».

Прибавим к этому убеждение Александра Ульянова, что развитие капитализма в России идет быстрым темпом,— убеждение, высказанное в заметках о книге «Судьбы капитализма в России».

2. В прямом противоречии со взглядами народников, уповавших на мужика, отводивших ему, а не рабочему классу главную роль в социалистическом переустройстве жизни, Александр Ульянов эту роль отдавал именно пролетариату. В программе сказано:

«Только на известной ступени экономического развития общества, при достаточной зрелости его, возможно осуществление социалистического идеала... как результат изменения в отношении общественных сил в стране, как результат количественного или качественного увеличения силы и сознательности в рабочем классе».

И далее:

«Рабочий класс будет иметь решающее влияние не только на изменения общественного строя, борясь за свои экономические нужды, но и политической борьбе настоящего он может оказывать самую серьезную поддержку, являясь наиболее способной к политической сознательности общественной группой. Он должен поэтому составить ядро социалистической партии, ее наиболее деятельную часть, и пропаганде в его среде и его организации должны быть посвящены главные силы партии».

Убеждение, что именно рабочий класс призван сыграть главную роль в социалистическом преобразовании России, что подготовка его к этой роли должна быть важнейшей заботой партии, сказалось и в практической деятельности Александра Ильича.

Будучи занят и учебой в университете, и работой в студенческих организациях, а в последние месяцы еще и подготовкой к покушению, Александр Ильич находил время для налаживания связи с нелегальными рабочими кружками на Васильевском острове. К сожалению, сведения об этой его деятельности необычайно скудны. Но можно не сомневаться: если бы не арест, Александр быстро стал бы крупным организатором пролетарских революционных сил в этом районе.

3. Программа террористической фракции не отрицала значения буржуазной политической свободы. «Без

свободы слова... без участия народных представителей в управлении страной», говорилось в программе, невозможно достижение конечных целей социалистической партии. Поэтому борьба за «свободные учреждения», хотя она и не является главной задачей для русского социалиста, необходима как непременное условие перехода к социалистическим формам общественной жизни. (Этой теме была посвящена и значительная часть речи на суде.) Что же касается самого перехода, его характера — политическая революция или какой-то постепенный процесс, то и в программе, и в речи он фактически освещен не был.

4. Крестьянская община. Этот пункт представляет, пожалуй, наибольший интерес для исследователя политических взглядов Александра Ульянова.

Вряд ли можно оставить без внимания утверждение Чеботарева, что Александр Ильич «выражал сомнение в прочности русской общины как базы социального переустройства». Однако в программе после заявления о неизбежности перехода к социализму, коль скоро страна стала на путь капиталистического развития, говорится: «Этот закон не выражает собой, конечно, единственно возможного пути; он не исключает возможности более прямого перехода к социалистической организации народного хозяйства, если для этого существуют особенно благоприятные условия...»

Некоторые авторы, писавшие об Александре Ульянове, расценили эти строки как неоспоримое доказательство того, что он, по сути дела, остался верен главному догмату народников — утверждению, что у России особый путь исторического развития, на котором нет места капиталистической стадии. Нам это представляется ошибкой. Не имея возможности подробно останавливаться на этом специальном вопросе, мы ограничимся ссылкой на Маркса и Энгельса, которые неоднократно, в течение ряда лет обращались в статьях, письмах к судьбе русской крестьянской общины, к ее роли в процессе преобразования России.

В первом наброске ответа на письмо В. И. Засулич Маркс писал: «Если революция (в России.— *В. С.*) произойдет в надлежащее время, если она сосредоточит все свои силы, чтобы обеспечить свободное разви-

тие сельской общины, последняя вскоре станет элементом возрождения русского общества и элементом превосходства над странами, которые находятся под ярмом капиталистического строя». Небезынтересно, что это было написано в конце февраля — начале марта 1881 года, то есть в момент, когда народовольцы казнили Александра II.

В январе 1882 года Маркс и Энгельс заключили предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» следующими строками:

«Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?

Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Таким образом, ничего специфически народнического, антимарксистского в мысли Александра Ульянова о возможности перехода России к социализму, минуя капиталистическую стадию, не было.

«Для народовольца,— писал Ленин,— понятие политической борьбы тождественно с понятием политического заговора». Эта характеристика целиком приложима к группе Александра Ульянова. В самом деле, она возникла как группа студентов, убежденных в том, что террор является единственным средством эффективной политической борьбы с царизмом, поскольку «у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности». Она возникла как заговор единомышленников, поставивших перед собой определенную задачу — казнить Александра III. И вся быстротечная деятельность группы, строго ограниченная такой задачей, свелась к изготовлению динамита, мелко нарубленных и отравленных стрихнином кусоч-

ков свинца, которые при взрыве бомбы должны были разлетаться с убойной силой во все стороны, к усовершенствованию запалов, устройству механизма, исключающего преждевременный взрыв бомбы, и, само собой разумеется, к слежке за редкими выездами царя из Гатчинского дворца в столицу...

Несомненно, террористическая борьба, заговорщическая деятельность находились в противоречии с мыслями Ульянова об исторической революционной роли пролетариата, о долге революционной интеллигенции, которая свои силы «должна посвящать организации и воспитанию рабочего класса, его подготовке к предстоящей ему общественной роли». Однако, полагал Александр Ильич, «при существующем политическом режиме в России почти невозможна никакая часть этой деятельности». Надо, следовательно, добиться изменения режима, полной «свободы совести, слова, печати, сходок, ассоциации» и т. д. Но какое же для этого есть средство, если не террор? Беспощадный, систематический террор, который вынудит самодержавие пойти на все необходимые политические уступки!

В сущности, это была та же народовольческая иллюзия.

Но были еще и эмоции, о которых мы сказали раньше словами Сергея Никонова:

«Идея цареубийства в это время, так сказать, носилась в воздухе. До того сперлась политическая атмосфера, до того чувствовался гнет реакционной политики правительства Александра III, что очень многие задавали себе вопрос: неужели не найдется людей, которые взяли бы на себя устранить грубого деспота?»

Александр Ульянов принадлежал к числу людей, которые, задаваясь подобными вопросами, отвечают на них не только словом, но и делом. Став на дорогу террора, он совершил трагическую ошибку и расплатился жизнью. Но раньше, чем это произошло, ему пришлось возложить на алтарь революционной борьбы две тяжкие жертвы.

* * *

Напомним читателю слова Брагинского: «Идея служения народу была центральной идеей нравственного и политического миросозерцания Ульянова». По-

этому, справедливо считал Брагинский, он и науку любил «не как самоцель, а как могучее орудие служения народу, человечеству». Родственную, но гораздо более определенную мысль высказал известный русский востоковед академик С. Ольденбург, учившийся в Петербургском университете одновременно с Александром Ульяновым. Он спрашивал себя: что побуждало последнего работать в студенческом научно-литературном обществе?

«Этот вопрос я ставил после его смерти не раз,— писал Ольденбург в 1924 году.— И удовлетворительный ответ получил, только когда познакомился потом с его братом, Владимиром Ильичем. Да, Александр Ильич был, как и брат, прежде всего человеком воли и действия. Эта сторона его характера определила для него ту террористическую деятельность, которая и привела его к смерти. Но наряду с этим в нем, как и в его брате, была заложена глубокая вера и любовь к науке: разрушая старую жизнь, которая рисовалась ему как сплошное рабство, он понимал, что новую, свободную, рациональную жизнь, для которой он не жалел жизней, своей и чужих, можно создать, только опираясь на науку, с ее неуклонным свободным исканием. Оттого он с такой любовью вел свои глубоко специальные лабораторные занятия по зоологии, оттого он писал с таким увлечением специальную, столь, казалось, далекую от жизни, а особенно от террористического акта, работу, за которую ему присудили потом золотую медаль».

Несомненно, такую любовь, такое понимание науки Александру привил отец, человек отчетливо просветительских взглядов. Первые проблески интереса к науке обнаружились у Александра еще в раннем возрасте. Летняя жизнь в Кокушкине, деревенское приволье, казавшееся, по словам Анны Ильиничны, чем-то «несравненно красочным и счастливым», пробудили у мальчика-горожанина естественное любопытство к окружающей природе. Вскоре оно обернулось любознательностью. Саша пристрастился собирать разного рода коллекции. А затем началось чтение книг — о природе, об ученых, которые ее изучают. И наконец, в духовный мир Александра и Анны ворвался «кумир ранней юности» — Писарев со своей страстной проповедью ес-

тественнонаучных знаний, резкими, прямолинейными взглядами на проблемы эстетики, суровым нравственным кодексом «мыслящих реалистов».

«Брали мы Писарева, запрещенного в библиотеках,— писала Анна Ильинична,— у одного знакомого врача, имевшего полное собрание его сочинений. Это было первое из запрещенных сочинений, прочитанное нами. Но главное было в том, что это чтение разогрело и без того сильное увлечение Александра естественными науками. Еще раньше он наладил себе собственными руками маленькую лабораторию, научился с помощью спиртовки гнуть стеклянные трубочки, смастерил прибор для гальванопластики. Исчерпав запас колб и реторт, которые можно было получить в Симбирске, стал выписывать все нужное для простейших химических опытов из Казани, а чтобы иметь для этого деньги, в последних классах гимназии взялся репетиторствовать. На эти же деньги приобрел он и немало книг из библиотеки учителя Чугонова, по дешевке распродававшейся после смерти владельца».

В последние годы пребывания на гимназической скамье Александр увлекался химией, которую основательно изучил в домашней обстановке с помощью всемирно известного учебника Менделеева «Основы химии». Мог ли он думать тогда, что эти «основы» дадут ему возможность легко освоить процесс кустарного приготовления динамита!

В университете химия неожиданно должна была потесниться и даже отойти на второй план. Александра стала все больше и больше привлекать биология, точнее, зоология, еще точнее, зоология беспозвоночных. Это произошло под влиянием такой обаятельной личности, как Николай Петрович Вагнер. Крупный ученый, профессор, он ведал кафедрой зоологии беспозвоночных.

Александр не сразу изменил химии — столько было ей отдано в Симбирске, столько радостей она ему доставила! К тому же знаменитый Бутлеров не желал упускать из числа своих учеников талантливого юношу. И все же спор химика Бутлерова с зоологом Вагнером кончился победой последнего. Приход молодого ученого к зоологам принес ему... вторую золотую медаль.

В 1885 году студент второго курса естественного отделения физико-математического факультета Александр Ульянов избрал для конкурсного сочинения тему «Исследование строения сегментарных органов пресноводных». В конце того же года Александр представил свою работу на суд специального жюри, рецензент которого академик Овсянников оценил ее следующим образом:

«Здесь, в этой хорошо обследованной области, каждый новый факт имеет тем большую цену, что он добывается значительным трудом. Проверять, а тем более поправлять работы таких опытных исследователей, как Лейдиг или Шультце, или такую тщательную работу, как работа Бёрна,— для этого нужно иметь довольно значительную долю опытности и прилежания. Вот основания, по которым автора, студента VI семестра Александра Ульянова, факультет нашел возможным вознаградить за его старательный труд золотой медалью».

8 февраля 1886 года в актовом зале Александру среди других победителей конкурса была вручена золотая медаль с надписью: «Преуспевшему». Ректор университета И. Андреевский, поздравляя, назвал его «гордостью университета», что, впрочем, не помешало тому же Андреевскому всего через год с небольшим, сразу же после ареста Александра, в том же актовом зале объявить «бывшего» студента Ульянова «позором университета».

Скромный и застенчивый в проявлении своих чувств, Александр сообщил о своем успехе матери лишь в письме от 2 марта и всего одной фразой: «За мою зоологическую работу о кольчатых червях (я еще летом начал работать) получил золотую медаль». А далее в коротком письме шло: «Все у нас по-старому, не знаю, что сказать тебе еще, милая мамочка...»

Скромность скромностью, но Александр уже твердо знал, что он выбрал в жизни дело, в котором достигнет немалых успехов. Он это знал и по собственному разумению, и по отношению к нему профессоров.

После его смерти Д. И. Менделеев отозвался о нем словами самой высокой похвалы.

«Эти проклятые социальные вопросы,— сказал Менделеев в стенах университетской аудитории,— это не-

нужное, по моему мнению, увлечение революцией,— сколько оно отнимает великих дарований. Два талантливейших моих ученика, которые, несомненно, были бы славой русской науки,— Кибальчич и Ульянов — пожраны этим чудовищем».

Простим, читатель, великому химику его политическую наивность. Он вовсе не был ретроградом или царским угодником, вроде трусливого Андреевского. Наоборот, это был человек свободомыслящий, независимый в суждениях. Не раз вызывали они резкое недовольство в правительственных сферах, и только мировая слава спасала его от репрессий.

Может показаться парадоксом утверждение, что наука не только бурно протестовала против террора, но одновременно и толкала Александра на террористическую борьбу. Но ничего парадоксального тут нет.

Разве не наука заставила Александра сказать Говорухину, что смешно и безнравственно лечить болезни, в том числе и социальные, не понимая причины их? И если он, Александр, пришел к мысли о жестокой необходимости участвовать в лечении социальных болезней, то наука должна была помочь ему в поисках действенных лекарств. Так привычка к глубокому научному мышлению толкнула его на поиски правильной революционной теории.

И еще одно обстоятельство, также тесно связанное с наукой, укрепляло его решение отложить в сторону любимое дело и отдать все силы революционной борьбе. Три года жизни в Питере убедили Александра в том, что существующий общественный строй не заинтересован в развитии науки, более того, всячески этому препятствует. «При отношении правительства к умственной жизни, которое у нас существует,— говорил он на суде,— невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднена».

Когда подготовка к террористическому акту подходила к концу, Александр, как и Лукашевич, старался каждую свободную минуту проводить в университетской лаборатории. Хотелось лишний раз глотнуть живительного воздуха науки. Это было мучительно-

сладостным прощанием с ней. И оно еще раз обмануло Анну.

«Около первых чисел февраля,— писала Анна Ильинична в книге о брате,— Саша засел опять основательно в зоологический кабинет университета, где стал проводить все утра. Он начал новую самостоятельную работу по изучению органа зрения у какого-то вида червей. Нервная беготня последнего времени как будто прекратилась или, во всяком случае, приостановилась. И я почувствовала большое облегчение...»

А между тем дело быстро приближалось к трагической развязке.

* * *

Александр Ульянов любил науку и ценил самостоятельное творчество. И все-таки не наука была для него, уже испытавшего радость первого крупного научного успеха, самым большим препятствием на пути к террору.

Семья... Наука может и не заметить этой потери. Найдутся люди, которые, быть может, даже лучше сделают то, что он лелеял в своих планах. Непременно найдутся, не могут не найтись — такова потребность науки. Примерно так, если помнить о его скромности, должен был думать Александр, навсегда прощаясь с наукой.

Но кто заменит его в семье? Никто! Еще год-другой — и он стоял бы крепко на ногах. Владимиру для этого нужно не менее шести. И память об отце безжалостно корила его за новый выбор жизненной цели.

Илья Николаевич, человек некрепкого здоровья, боялся, что ему вряд ли удастся дослужить до пенсии. Жалованье небольшое, сбережений почти никаких, «и судьба семьи,— писала Анна Ильинична,— все время очень заботила его».

Илья Николаевич, говоря со старшими детьми об их долге по отношению к младшим, имел в виду главным образом Александра, на которого привык полагаться во всем. Вообще, удивительным было положение Саши в кругу семьи. У всех детей, включая и Анну, он пользовался непререкаемым авторитетом. Володю даже вышучивали за то, что он на любой вопрос о своих желаниях много лет отвечал одними и теми же словами: «Я — как Саша».

Вот почему, задумываясь о старости, о преждевременной смерти, Илья Николаевич видел в Александре такую семейную опору, на которую можно спокойно положиться. Как же отнесся бы он теперь к сыну после его безрассудного и ужасного решения? Об этом тоже мучительно было думать. А еще недавно во взгляде Ильи Николаевича Александр часто видел одобрение и даже нескрываемое восхищение.

Начало лета 1883 года. Сданы на круглые пятерки выпускные экзамены, получены усеянный похвалами «аттестат зрелости» и золотая медаль.

Рад был Александр, по свидетельству Анны Ильиничны, окончанию постылой гимназии чрезвычайно. Предстояло выбрать университет. Родители думали о Казанском, где учился в свое время Илья Николаевич. Александр решительно заявил, что выбрал Петербургский. Мария Александровна огорчилась: даль-то какая, чужой город, столица, туда отпускать житейски неопытного юношу просто страшно. Илья Николаевич не смог спорить с доводами сына. Конечно, в столичном университете наилучшим образом поставлено преподавание естественных наук, и отец со вздохом дал согласие. Марии Александровне пришлось смириться.

Отец сказал, что и его, и Анну, поступавшую на Бестужевские курсы, обеспечит скромным, но достаточным прожиточным минимумом в 40 рублей каждому. Александр возразил: ему вполне хватит 30. Отец все же стал посылать сыну сорок, и упорствовавший сын, казалось, смирился. Но через восемь месяцев, приехав в Симбирск на летние каникулы, вручил удивленному и восхищенному отцу 80 рублей.

В его трехлетней самостоятельной питерской жизни нельзя сыскать шага, который был бы сделан необдуманно. Но вот теперь, когда он принял самое важное за всю жизнь решение, реакцией отца, несомненно, было бы гневное осуждение.

Мать... Ее образ немым укором, воплощенной мольбой неотступно стоял перед Александром. В тот самый миг, когда впервые явилась ему мысль о терроре, тотчас же пришла и мысль о матери. А он любил ее нежной, горячей любовью, вкладывал в это чувство весь пыл своего юношеского сердца. Эти последние наши слова нуждаются в пояснении.

У некоторых мемуаристов, писавших об Александре Ульянове, можно прочитать характеристику, из которой складывается впечатление, что он был по натуре человеком суровым и мрачным, замкнутым.

Историк, профессор Петербургского университета И. Гревс, учившийся в нем одновременно с Александром, отмечал, что «он был молчалив и сдержан, что-то было в нем будто суровое или меланхоличное». О суровом и часто даже мрачном выражении лица вспоминал академик Ольденбург.

Публицист В. Поссе, вспоминая о собраниях научно-литературного студенческого общества, писал: «Там же появлялась изредка стройная фигура замкнутого в себе молодого зоолога Александра Ильича Ульянова».

Такие люди обычно не склонны к горячим чувствам, им не свойствен сердечный пыл. Если прочитать письма Александра к родителям, главным образом к родителям, за три года жизни в Петербурге (до нас дошло их около 30), то и они, казалось бы, говорят о том же.

«Милый папа! Благодарю тебя за присланные деньги и письмо».

«Милые папа и мама! Извините, что я немного запоздал с этим письмом».

«Mersi, милая мамочка, за все присланное с Анютой».

«Милые мама и папа! Поздравляю вас и всех детей с праздником».

После такого начала шли сухие слова о себе, вроде: «Я совершенно здоров и живу по-прежнему». Или о каких-нибудь поручениях: «Нот, о которых просила меня Оля, я не мог купить, так как не нашел их нигде у букинистов», «Посылаю папе брошюрку «Математические софизмы», которую он желал иметь». В письмах нет, кажется, слова, в котором прорвалась бы нежность, дало о себе знать чувство разлуки с родным и любимым человеком. Нет этого даже в письме, где Александр склоняет перед матерью повинную голову: «Дорогая мамочка! Ты меня упрекаешь, что я редко пишу тебе; я, действительно, запоздал с последним письмом, совсем забыл про него, и оно пролежало несколько дней в кармане пальто. Лекции у нас начались 15-го. Я записался только на обязательные...»

О замкнутости Александра упомянула однажды в своей книге и Анна Ильинична. Но к слову «замкнутый», как бы разъясняя его смысл, прибавила — «выдержанный». И это лишний раз дает нам возможность понять, насколько тонко она разбиралась в характере брата.

Замкнутый в себе человек — эгоцентрист. Для замкнутого в себе человека окружающая его жизнь как бы не существует и, следовательно, особого интереса не представляет. Александр, наоборот, был широко распахнут перед внешним миром. Проницательно подметил это Брагинский, сказав, что Ульянову пришлось жить в эпоху, окутанную «густою мглою общественной и политической реакции», однако «его глубокая вдумчивость, его необыкновенная чуткость помогали ему улавливать сильно приглушенные этою мглою, но все же доходившие до него голоса жизни». Все, кто считал Александра замкнутым, именно этим объясняли его обычную молчаливость в обществе, его немногословность, даже когда вокруг бушевал студенческий спор. На самом же деле он помалкивал потому, что было интересно знать мнение других. Желание и умение слушать собеседника, особенно когда он не согласен с тобой,— дар, не часто встречающийся. Александр обладал им в полной мере.

Нет, не замкнутым, а в высшей степени сдержанным в проявлении чувств и убеждений, «выдержанным», как сказала Анна Ильинична, человеком был Александр Ульянов. Но для того чтобы сквозь броню выдержки прорвался огонь его души, требовались какие-то исключительные обстоятельства.

Анна Ильинична, со слов Марии Александровны, рассказывала, что брат «плакал и обнимал ее колени, прося простить причиняемое ей горе». Александр был не только сдержан, но и стыдлив в проявлении своих чувств. Но этому эмоциональному порыву не помешала даже фигура судейского чиновника, присутствовавшего при свидании.

В любви Александра к матери кроме естественного, с младенческих дней возникающего чувства кровного родства таилось явившееся уже в пору юности восхищение ею как личностью, равно таилась и благодарность за формирование его собственной личности.

Илья Николаевич, часто находившийся в разъездах по губернии, загруженный многотрудными обязанностями директора народных училищ, не мог уделять много времени воспитанию детей. Эта семейная обязанность лежала главным образом на плечах Марии Александровны. Каждого она научила читать с малых лет, привила любовь к книге, заронила и развила любовь к музыке. Наконец, она разными способами, в том числе и собственным примером, укоренила в сознании детей моральные принципы, особенно главный из них — неукоснительно следовать велениям долга. И за это Александр был ей более всего признателен.

«...Все в семье (в том числе и Владимир Ильич),— писала самая младшая из Ульяновых, Мария Ильинична,— очень любили Александра Ильича и старались равняться по нему. Нравственный облик его был очень высок. Характерно, что, еще будучи мальчиком 11 лет, на вопрос старшей сестры: «Какие пороки самые худшие?» — он, не задумываясь, ответил: «Ложь и трусость».

Сочинение на тему «Что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству» гимназист Александр Ульянов начал следующими словами: «Для полезной деятельности человека нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твердость характера, 4) ум и 5) знание». Далее шло развитие и логическое обоснование выставленных им тезисов. Поражает в этом сочинении пятнадцатилетнего юноши не только зрелая система нравственных принципов, но и стройность изложения мыслей, чеканность формы, в которую они заключены. Все предельно ясно, убедительно и кратко, ни одного лишнего слова!

Александр был обязан матери еще и тем, что она привила ему, как и остальным детям, навыки к физическому труду.

Эти трудовые навыки очень пригодились Александру в дальнейшей жизни. Сначала — при оборудовании кухоньки-лаборатории. Потом — в университете. Опыт, копившийся с детских лет, помог быстро освоить тонкое дело препарирования и микроскопического исследования кольчатых червей. Сослужит он службу и позже, когда Александр возьмется за изготовление динамита, а потом за работу еще более опасную — начинку

оболочек бомб взрывчаткой, отравленными пулями и хитроумным запалом — работу, где малейшая невнимательность, неловкое движение рук грозили катастрофой. Так неожиданно и причудливым образом материнское воспитание окажет помощь делу, в котором сын найдет свою погибель и, может быть, погубит мать. О таком исходе Александр не мог не думать, и было от чего мутиться рассудку.

Согласимся еще раз с Анной Ильиничной: более всего удерживала Александра от террора мысль о матери. Но тут же следует сказать, что его решение стать на путь революционной борьбы, сделаться участником террористического заговора возникло не без влияния отца и особенно матери. И опять-таки в этом нет и следа парадоксальности.

Как понять удивительную семью Ульяновых? Как объяснить тот факт, что у родителей — людей свободолюбивых, но далеких от революционных идей — все дети, кроме рано умершей Ольги, связали свою судьбу с революционным движением?

Известны случаи, их было немало, когда сыновья и дочери богатых дворян-помещиков или крупных чиновников царской администрации уходили в революцию, становились, в частности, террористами. Такова, например, была Софья Перовская, дочь генерала, петербургского губернатора. Но в таких случаях между родителями и детьми шла глухая борьба, дети противились родительскому воспитанию, поднимали бунт, на родительские проклятия отвечали разрывом, уходом из семьи. Ничего этого и в помине не было в семье Ульяновых. И не случайно не было. Воспитательные принципы Ильи Николаевича и Марии Александровны сами по себе не направляли детей на революционную дорогу. Однако в сочетании с определенными воздействиями общественной жизни они сильно способствовали тому, что дети избирали именно эту дорогу.

Когда одиннадцатилетний Саша, отвечая на вопрос сестры, говорит, что худшие из пороков — ложь и трусость, тут сказываются принципы воспитания. А когда студент Александр Ульянов приходит к мысли о необходимости революционной борьбы, такая нравственная заповедь служит революционной закалке.

Если бы Илья Николаевич был в живых, когда Александр сделался террористом, если бы у него произошел об этом разговор с сыном, то на его гневную отповедь сын, как всегда, спокойно и рассудительно, наверно, ответил бы: «Вы оба с мамой приучали меня с детских лет правилу — не уклоняться от исполнения своего долга». Он напомнил бы отцу, как тот, повинуясь им самим установленному долгу, пожертвовал любимым делом — преподаванием и стал организатором и администратором школьного дела. На возможную реплику отца, что террор, убийство человека, пусть даже тирана,— поступок ужасающе безнравственный, а безнравственное дело не может быть долгом, Александр, не споря, сказал бы отцу, что именно он всегда приучал его уважительно относиться к чужим мнениям, как бы они ни отличались от собственных. И даже напомнил бы отцу, сколь деликатно поступил тот, когда сын, разуверившись в религиозном учении, отказался от устоявшейся традиции ходить вместе с отцом по субботам в церковь ко всенощной службе. Отец, позвав Александра еще раз или два после первого отказа, больше о церкви уже не заговаривал.

Именно в этой домашней науке Александр обрел силы, чтобы в жертву террору принести не только науку, но даже и семью. На свидании в тюрьме, умоляя мать простить причиняемое ей горе, он говорил, что «кроме долга перед семьей у него есть долг и перед родиной». «Он рисовал бесправное, задавленное положение родины,— писала Анна Ильинична со слов матери,— и указывал, что долг каждого честного человека бороться за освобождение ее».

Заметьте, читатель, предпочтение отдано долгу перед родиной, не перед семьей. Оно и понятно. В таких именно нравственных правилах воспитывались дети.

* * *

День ареста и следующий прошли в томительном ожидании допроса, но Александр провел их не попусту. Он приводил в порядок свои мысли. Кусочек жизни, который был еще в его распоряжении, он должен прожить разумно и с наибольшей пользой, в последней и посильной, при создавшихся условиях, борьбе все с тем же врагом — самодержавием.

Разумность требовала тщательно приготовиться к единоборству со следствием, а затем и судом. Польза мыслилась, во-первых, как облегчение участи товарищей. Кое-что он может и, следовательно, должен сделать на допросах, беря на себя всю ответственность за организацию покушения. Во-вторых, он обязан с возможной полнотой осветить перед следствием и особенно на суде политический смысл заговора. В этом он всегда расходился с Шевыревым, как только заходил разговор о возможности оказаться в руках полиции. Шевырев... Где-то он теперь? Будут ли его искать? Если все же и на него пало подозрение, найдут ли?..

Шевырев упорно занимал странную позицию. Он был решительно против того, чтобы на суде, если не удастся его избежать, группа выступила с каким-то программным заявлением. Народовольцы, говорил он, сказали на своем процессе все, что нужно. Лучше их не скажешь. Да и зачем метать бисер перед свиньями? Ведь на суде, кроме судейских и иных царских чиновников, никого не будет, и все слова будут похоронены в стенах судилища. А на следствии надо отказаться от всего. И вообще стараться выглядеть жалкой кучкой легкомысленных студентов, а не серьезным противником царского правительства.

Возражая Шевыреву, Александр был не в одиночестве. Его поддержали и Лукашевич, и Никонов, и Говорухин. Обсуждалась и кандидатура: кто должен выступить на суде с программным заявлением от имени группы? Лукашевича сразу же признали непригодным для такой роли. Его польское происхождение могло дать правительству повод объявить заговор делом рук польских патриотов, их ответом на жестокие царские репрессии в Польше. Александр предложил поручить эту роль Никонову, считая, что он лучше всех остальных ее выполнит. Никонов долго отказывался, говорил, что после таких великолепных речей, как речь Мышкина, Желябова, Веры Фигнер, его выступление будет детским лепетом.

Никонова все же убедили... Где-то он теперь? Удалось ли следствию доказать его связь с тайными офицерскими кружками, которые были раскрыты в январе? Может быть, до сих пор мытарят на допросах? Или куда-то уже успели прочно и надолго упрятать?

Как видно, теперь ему, Александру, выпадает задача выступить с программной речью. Свои ораторские способности он оценивал скромно. Но было и одно преимущество — программу писал он. После длительного обсуждения в группе она как-то сразу сложилась у него в голове, и, выйдя в другую комнату, он написал ее в один присест, так быстро, что все потом удивлялись и единодушно одобрили. Она прочно отпечаталась в памяти, но все-таки будущую речь надо основательно обдумать.

Кто же, однако, арестован? Все ли шесть человек, выходившие на Невский? Как они держатся? В металыциках он не сомневался. А сигнальщики?.. В их стойкости отнюдь не был уверен. И не ошибся: именно в результате их предательства в ночь на 3 марта в Петербурге был арестован Лукашевич, 7 марта в Ялте — Шевырев и даже припутаны к делу ни в чем не повинные люди.

3 марта Александр был вызван на первый допрос. Допрашивал жандармский ротмистр с фамилией, точно специально подобранной к его служебным обязанностям, Лютов. Когда записали ответы на чисто формальные вопросы — имя, отчество, фамилия, возраст, семейное положение и т. д., Лютов предъявил Александру обвинение в «покушении на жизнь священной особы, его величества, государя императора Александра III» и прочел выдержки из показаний Канчера, в которых раскрывалась вся деятельность группы, а ему, Александру, отводилась руководящая роль.

Откровенные и в высшей степени важные для следствия показания Канчера ошеломили Александра настолько, что он не сразу нашелся...

После красноречивой паузы в протоколе допроса было записано: «На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь государя императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым, и прошу отложить допрос до следующего дня».

Лютов, вероятно, с ехидной улыбочкой, не без расчета «уважил» просьбу и приказал увести подследственного в его одиночную камеру.

Да, недавний «студент Ульянов» именовался теперь «подследственным Ульяновым», скоро его переимену-

ют в «подсудимого Ульянова», а затем, уже навечно, назовут «казненным преступником Ульяновым». Но, вернувшись в одиночку, Александр думал не об этом. Его борьба со следствием сильно упрощалась в том смысле, что отрицать наличие заговора было уже нелепо. Но она и усложнялась. Канчер, несомненно, оговорил и всех остальных арестованных. Можно не сомневаться, что так же поступил и Горкун, да и Волохов. В этих условиях было гораздо труднее защищать товарищей. Оставалось одно — отказываться от каких-либо показаний на их счет вообще, а все, что раскрыто Канчером, не отрицать, но относить по возможности на свой собственный. Этой тактики он и придерживался в дальнейшем ходе следствия и на суде.

4 и 5 марта Александр подробно рассказывал следователю о своей деятельности в группе — о приготовлении им динамита, отдельных частей метательных снарядов, пуль-жеребеек, изготовленных из кусочков листового свинца и начиненных стрихнином, о набивке снарядов взрывчаткой и т. д.

Подробность, скрупулезность этих показаний может даже вызвать недоумение: почему бы не ограничиться перечислением лишь главных действий в ходе подготовительных работ? А между тем это был тактический прием защиты товарищей: всячески «вызывая огонь на себя», Александр старался отвлечь внимание следствия от них, в частности и прежде всего от Марии Александровны Ананьиной, которая действительно была ни в чем не повинна. Впоследствии она говорила дочери, что «стремление Александра Ильича взять все на себя одного ощущалось даже тягостно другими».

Еще более тягостно было Александру видеть на скамье подсудимых Ананьину. Он с глубокой душевной болью думал о том, что только по его вине, по непростительной его небрежности эта ни в чем не повинная женщина оказалась привлеченной к судебной ответственности. В том же винил себя, глядя на Михаила Васильевича Новорусского, сидевшего среди обвиняемых почти рядом с ним. А вина и в самом деле была.

Когда потребовалась надежная квартира для приготовления последней порции динамита, Александр обратился к Новорусскому. Они были знакомы по

центральному кружку Союза студенческих землячеств. Воспитанник духовной академии, Михаил Новорусский не принадлежал к числу студентов, мысливших революционно. Но он был верным товарищем и сразу же согласился помочь Александру. Он направил его к матери своей невесты, акушерке Ананьиной, которая жила в окрестностях Петербурга, в Парголове, рекомендовав ей Александра репетитором ее сыну. Ульянов пробыл у Ананьиной несколько дней, приготовил динамит и вернулся в Петербург. Но квартира Ананьиной стала известной Канчеру. Он туда отвозил все, что требовалось Александру для работы. К тому же, уезжая от Ананьиной в Петербург, Александр Ильич оставил в ее квартире часть химической посуды и небольшую порцию нитроглицерина — на случай, если приготовленного динамита не хватит.

Так оба, Новорусский и Ананьина, оказались в числе террористов, судимых Особым присутствием Правительствующего сената. Естественно, и в период следствия, и на суде Александр старался отвести от них беду, но безрезультатно. Новорусский был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости, Ананьина — к двадцатилетним каторжным работам.

Конечно, не в судебных инстанциях фактически решалась судьба участников заговора. Уже 1 марта министр внутренних дел граф Толстой письменно докладывал царю о задержании на Невском метальщиков и сигнальщиков, о том, что на предварительном допросе один из них, Генералов, признался в намерении бросить найденный у него метательный снаряд «под карету государя императора», что прочие арестованные «пока от каких-либо объяснений отказываются». Он предложил также напечатать сообщение об этом в «Правительственном вестнике».

«Во избежание преувеличенных толков в городе,— значилось в угодливо-витиеватом обращении придворного,— по поводу ареста на Невском проспекте трех студентов с метательными снарядами, я полагал бы необходимым напечатать в «Правительственном вестнике» краткое сообщение об обстоятельствах, сопровождавших их задержание, и на приведение сего предложения в исполнение долгом поставляю себе всеподдан-

нейше испрашивать Высочайшее Вашего Императорского Величества соизволение.

Граф Дмитрий Толстой».

Царь согласился с предложением «всеподданнейшего» министра, но пошел гораздо дальше. «Собственною Его Величества рукою» на толстовском документе было начертано: «Совершенно одобряю и вообще желательно не придавать слишком большого значения этим арестам. По-моему, лучше было бы узнавать от них все, что только возможно, не предавать их суду и просто без всякого шума отправить в Шлиссельбургскую крепость. Это самое сильное и неприятное наказание».

Что заставило Александра III в дальнейшем изменить свое монаршее мнение, мы не знаем. Возможно, роковую роль сыграла программа террористической группы, особенно заголовок, который декларировал ее кровное родство с «Народной волей». 22 марта, получив копию только что восстановленной Ульяновым по памяти программы, царь немедленно знакомится с нею. Не этим ли объясняется его желание разузнать через таких словоохотливых членов террористической группы, как Канчер, Горкун, хоть что-то, пока не узнанное, неизвестное, о ненавистной и все еще страшной ему «Народной воле»? Во всяком случае, когда Мария Александровна Ульянова обратилась к нему с письменным прошением, умоляя разрешить ей свидание с сыном, царь согласился и объяснил Толстому, что такие свидания министр должен использовать для того, чтобы через мать выудить у сына хоть намек, не стоял ли за спиной преступных студентов кто-то из невыловленных агентов «Народной воли». И Толстой попытался это осуществить, но, конечно, не преуспел.

Свидания матери и сына были мучительны для обоих. Мария Александровна, глядя на сына, слыша его голос, не могла отделаться от мысли, что он уже на пороге смерти и что это свидание, быть может, последнее. У Александра тоже разрывалось сердце, ему чудился в глазах матери молчаливый укор.

Суд начался 15 апреля. Дело разбиралось в Особом присутствии сената, с участием сословных представителей. Судебный процесс шел в зале, где уже не раз громко звучали голоса революционных народников,

террористов «Народной воли». Первоприсутствующий (председатель), сенатор Дейер, не первый раз отправлял их из этого зала на виселицу или на медленную смерть в казематах Петропавловки. Отправит и этих новичков, которые только что были подняты его возгласом со скамей, чтобы слушать чтение обвинительного акта. Потом он их удалит и будет вызывать по одному для дачи показаний.

Ульянов был готов к бою. Он спокоен, внимателен ко всему. Разыскав глазами Чеботарева, которого вызвал для показаний в защиту Новорусского, поклонился недавнему сожителю по квартире, и тот ответил таким же глубоким поклоном. Лукашевичу успел шепнуть: «Если вам что-нибудь будет нужно, говорите на меня». Лукашевич вспоминал впоследствии, что в эту минуту ему стало ясно решение Александра Ильича сознательно идти на смерть.

Александр был готов и к схватке с экспертом, профессором артиллерийской академии генерал-майором Федоровым, насчет различных способов приготовления динамита. Это было нужно для защиты Ананьиной. Эксперт утверждал, что Ананьина не могла не знать о тайном приготовлении Ульяновым в ее квартире какого-то химического состава. Аргументом служило то, что изготовление динамита неизбежно сопряжено с выделением резкого и удушливого запаха. Когда на втором заседании суда Федоров в категорической форме заявил об этом, бывший студент посрамил маститого, но недобросовестного профессора, указав, что существует простой способ, позволяющий полностью избежать выделения какого-либо запаха. Именно этим способом и готовился в Парголове динамит.

На несколько ходов вперед была обдумана и защита Новорусского — недаром Саша Ульянов еще в гимназии славился как отменный шахматный игрок. Что же касается программной речи, то она в основе своей сложилась еще до суда, в стенах одиночки.

Свидание с товарищами после долгого перерыва подняло его дух. Они тоже были спокойны и решительны. Лишь Канчер, Горкун и Волохов трусливо жались друг к другу на краю массивной дубовой скамьи подсудимых, стоявшей во втором ряду.

Ульянов отказался от защитников, решив высту-

пить в прениях сторон сам, но не для собственной защиты, а для программного заявления. К сожалению, его речь была застенографирована очень плохо. Но те, кому удалось ее слушать, были поражены железной логикой и силой убеждений.

Литератор В. Поссе со слов сенатора Таганцева писал впоследствии: «Он смотрел на судей, как на врагов, и пощады от них не ждал. Но и на врагов произвела сильное впечатление его смелая речь». Издававшийся за границей нелегальный печатный орган «Свободная Россия» в начале 1889 года писал: «Речь, произнесенная Ульяновым, произвела очень сильное впечатление; ее сравнивают с речью Желябова...»

Мария Александровна, присутствовавшая на этом заседании суда, рассказывала своей старшей дочери:

«Я удивилась, как хорошо говорил Саша: так убедительно, так красноречиво. Я не думала, что он может говорить так. Но мне было так безумно тяжело слушать его, что я не могла досидеть до конца его речи и должна была выйти из зала».

Начав с того, что фактическая сторона установлена вполне верно, Александр воспользовался правом защиты, чтобы проанализировать умственный процесс, который привел его к мысли о необходимости использовать террор в борьбе с самодержавием.

Он сказал, что этот процесс типичен для каждого революционера, становящегося в ряды террористов.

Вину за возникновение в прошлом — и непременно в будущем — заговоров и покушений Александр целиком возлагал на царя, на его правительство, на общественный строй и полностью освобождал от нее террористов, вынужденных силою вещей прибегнуть к оружию.

Вообще главным в его речи было хорошо аргументированное утверждение, что сама существующая система правления, весь общественный строй России неизбежно рождают самые крайние способы и формы борьбы за политические свободы. Общество неизбежно и бурно протестует против реакционного режима, в условиях которого «невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна».

Приговор был жесток до предела: все подсудимые, без единого исключения, присуждались к «смертной казни через повешение», причем на них издевательски еще возлагались судебные издержки — «поровну, с круговой друг за друга ответственностью и с принятием таковых на счет казны при несостоятельности подсудимых».

Последний пункт приговора гласил, что суд находил возможным, учитывая «близкий к несовершеннолетию возраст» Канчера, Горкуна и Волохова, а также ввиду их «чистосердечного раскаяния и содействия при самом начале дознания к раскрытию преступления», ходатайствовать перед царем о замене всем троим смертной казни двадцатилетними каторжными работами. О такой же замене он ходатайствовал в отношении Ананьиной. Наконец, испрашивалась монаршая милость в виде замены смертной казни иными наказаниями Пашковскому, Пилсудскому, Шмидовой и Сердюковой.

Таким образом, смертный приговор распространялся на семерых подсудимых: Ульянова, Шевырева, Андреюшкина, Генералова, Осипанова, Лукашевича и Новорусского. Одиннадцать из пятнадцати приговоренных, среди которых были Шевырев, Лукашевич, Новорусский, обратились к Александру III с «всеподданнейшим» ходатайством о помиловании. Двум последним царь заменил повешение бессрочным заточением в Шлиссельбургскую крепость, Шевыреву было отказано, остальным из подавших утверждены наказания, о которых ходатайствовало Особое присутствие. Шлиссельбургская крепость готовилась к повешению пяти осужденных на смерть.

На свидании после суда Мария Александровна долго убеждала сына, как она впоследствии рассказывала Анне Ильиничне, подать прошение о помиловании. Александр сказал, что после своих признаний на суде он так поступить не может. Ведь обращение к царю требовало бы признания вины, покаянных слов. А он за собой никакой вины перед царем не признает и покаянных слов написать не может. И еще говорил, что замена казни вечным заточением хуже смерти, что таким узникам разрешается читать только духов-

ные книги. Разве это жизнь? «Этак можно до полного идиотизма дойти».

— Неужели ты бы этого желала для меня, мама?..

24 апреля Александр снова был вызван на свидание. Но вместо матери увидел... мужа двоюродной сестры — Матвея Леонтьевича Песковского. Это было как удар обуха по голове. Александр сразу же решил, что нежданный посетитель пришел с ужасной вестью о матери.

Бойкий литератор и говорун, как характеризовала Песковского Анна Ильинична, был доволен произведенным впечатлением. Оно помогало ему в намерении заставить Александра просить царя о помиловании.

Нет, нет, Мария Александровна жива, но прийти не могла, так как находится на грани смерти или потери рассудка. И он, боясь малейшего промедления, добился-таки разрешения на свидание, чтобы сказать об этом ему, Александру, и напомнить о его долге перед матерью и семьей.

Долг, долг!.. Нет! Он, Александр, уже простился с жизнью, и нет у него больше никаких долгов перед живыми.

Но Песковский не переставал твердить о долге, снова и снова напоминая: мать казни не перенесет. Да и что, если говорить начистоту, удерживает Александра от того, чтобы обратиться к монарху? Гордость! Самолюбивая гордость, ничего больше. Ради нее и приносятся в жертву жизнь матери, судьба всей семьи.

У Александра мутилось сознание, он как-то весь ослабел. Не выдержав этой нравственной пытки, сдался, обратился к царю со следующими строками: «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к вашему величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить ваше величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Это снис-

хождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи.

Александр Ульянов».

Анна Ильинична писала, что это была «последняя, может быть, горшая из всех нравственная пытка». Она к тому же была и совершенно бесполезна. «Ничего не вышло, потому что он написал совсем не так, как я говорил ему,— передавал впоследствии Песковский Анне Ильиничне.— Никакого раскаяния, и подпись даже не «верноподданный», а просто «Александр Ульянов». Александру III пишет Александр Ульянов! Конечно, на это прошение и внимания не обратили, и оно не было даже показано царю».

8 мая в 3 часа 30 минут утра разбуженным за полчаса до казни смертникам было объявлено о предстоящем приведении приговора в исполнение. Докладывая об этом царю со слов товарища прокурора петербургского окружного суда Щегловитого, министр внутренних дел Д. Толстой писал, что «все они сохранили полное спокойствие и отказались от принятия святых». На эшафот вошли «бодро и спокойно».

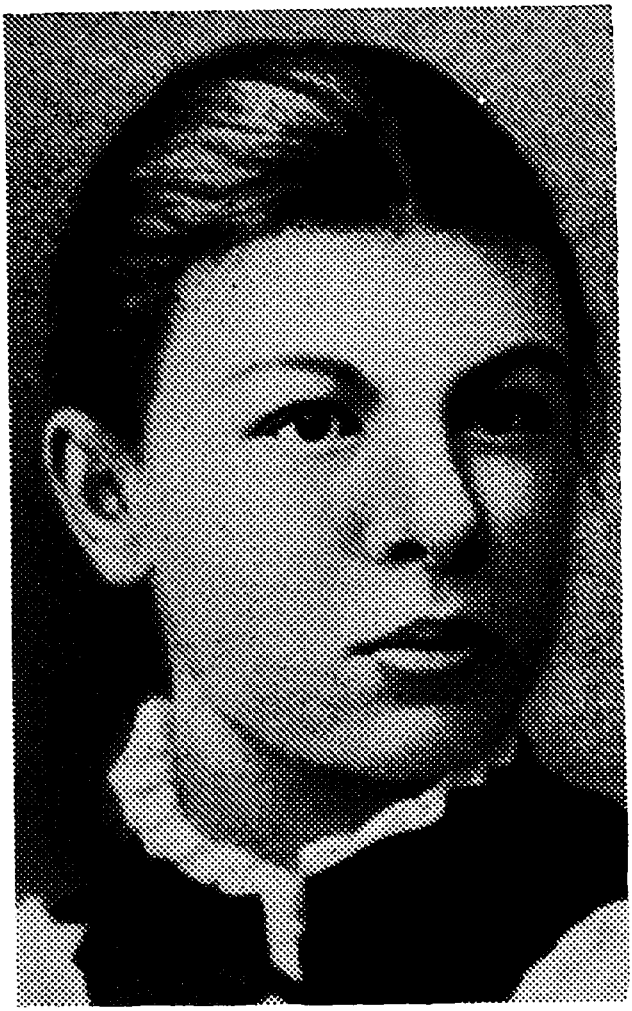
Казнили их в два приема, так как двор старого тюремного здания был невелик и установить более трех виселиц оказалось невозможным. Сначала вывели Генералова, Андреюшкина и Осипанова. Когда их тела были сняты с виселиц, во двор вывели Ульянова и Шевырева. Все совершилось так тихо, что узники Шлиссельбурга, в том числе Новорусский и Лукашевич, спали спокойным сном. Лишь много времени спустя им стало известно о казни пятерых товарищей.

Надежда Константиновна Крупская писала:

«Судьба брата имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича. Большую роль при этом сыграло то, что Владимир Ильич к этому времени уже о многом самостоятельно думал, решал уже для себя вопрос о необходимости революционной борьбы».

В удивительной семье Ульяновых формировался еще один революционер, великий пролетарский революционер, ставший всемирно известным под именем— Ленин.

ОЛЬГА УЛЬЯНОВА



4 ноября 1871 года в Симбирске в семье Ульяновых родилась девочка. Ее назвали Ольгой.

Дмитрий Ильич Ульянов писал о своей сестре Ольге, которая умерла, не достигнув двадцати лет: «О ней мало известно, между тем это был самый близкий, лучший товарищ Володи в годы детства и юношества».

Володя — крепкий, коренастый, на полтора года старше Ольги. Оля — миниатюрная, худенькая, но здоровая девочка. Она мало болела, рано начала ходить и ни в чем не отставала от брата, с которым была неразлучна. В отличие от старшего брата и сестры, которые были нрава тихого и задумчивого, вторая пара — резвая, шаловливая. Неистощимые на выдумки, Владимир и Ольга любили шумные игры и целыми днями гоняли по саду и двору, лазали по деревьям.

Оля беспрекословно слушалась старшего брата. Они любили тайком от взрослых отсиживаться в сарае, забираться на чердак и вести там необыкновенно увлекательную игру в индейцев. Часто принимали в игру и младшего — Дмитрия. Это запомнилось Дмитрию Ильичу на всю жизнь. Уже в зрелые годы он писал: «Помню, как-то однажды я забрел в глухой, заросший со всех сторон уголок нашего сада и увидел там Олю, сидящую в каком-то шалаше из хвороста, низ шалаша был устлан травой. Около шалаша лежала кучка мелко наломанного хвороста, посыпанного огненно-желтыми листиками шафрана. Это должно было изображать горящий костер, на котором в каком-то котелке или горшочке готовился обед. Над головой у Оли пристроен большой зеленый лопух, изображавший головной убор индейца. Володя где-то промышлял охотой, она в ожидании его стерегла жилище и готовила еду. Оля дала мне понять, что все это тайна и рассказывать об этом старшим нельзя».

Мария Александровна была первой учительницей своих детей. Владимир Ильич научился читать в пятилетнем возрасте. Оле исполнилось четыре года, когда, «шутя и играя», она научилась грамоте. С удиви-

тельной легкостью заучивала она наизусть стихотворения и рассказывала их всем, кто ни попросит.

В семье Ульяновых с ранних лет прививали детям любовь к книге, к литературе. Родители горячо поддерживали инициативу старших детей и помогали им в выпуске домашнего рукописного журнала «Субботник». Его редактор — Александр, главная «критическая сила» — Анна. Самыми молодыми «сотрудниками» были Володя и Ольга; они избрали себе литературные псевдонимы: Володя — Кубышкин, а Оля, прозванная за проворство и живость обезьяной,— Обезьянков. Под кривыми карандашными строчками своих сочинений она крупными буквами подписывалась: «Абезянков».

Семи лет Олю определили в 3-е отделение первого женского приходского училища.

Проучилась Оля лишь один год: родители нашли, что она еще слишком мала для 4-го отделения. Правда, она не только не отставала от старших девочек, но даже выделялась среди них своими способностями и начитанностью.

18 августа 1883 года Илья Николаевич Ульянов подал прошение «Его высокородию господину начальнику Симбирской Мариинской женской гимназии» о допущении его дочери Ольги к испытаниям для поступления в 4-й класс гимназии. Оле было тогда 11 лет. Вступительные экзамены она выдержала успешно.

Наряду с большими способностями Ольге были свойственны исключительное прилежание и трудолюбие — черты, которые Илья Николаевич и Мария Александровна настойчиво прививали детям. Ольга в гимназии училась отлично и неизменно переходила из класса в класс с наградой первой степени — «За благонравие и успехи». Она была награждена сочинением И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада»», книгой «Русские поэты в биографиях и образцах». Эта хрестоматия, составленная Николаем Васильевичем Гербелем, являлась в то время наиболее полным сборником лучших произведений русских поэтов, начиная с Кантемира и кончая поэтами 70-х годов XIX века.

Ольгу Ульянову наградили и другой книгой, вышедшей под редакцией Н. В. Гербеля,— «Немецкие

поэты в биографиях и образцах». Эта книга и сейчас хранится в личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле.

По табелям Ольги Ульяновой во все ее гимназические годы трудно выделить предметы, к которым она имела наибольшую склонность или в которых наиболее ярко проявились ее способности. Мария Ильинична рассказывала, что Оля отличалась выдающимися способностями в математике и этим походила на старшего брата Александра.

Оля также очень любила историю. По окончании гимназии она вместе с Владимиром Ильичем читала серьезные исторические труды.

С большим интересом относилась Оля Ульянова к литературе. Произведения корифеев русской литературы — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Толстого — были в семье Ульяновых настольными книгами.

Сохранилось несколько школьных сочинений Ольги Ульяновой, написанных ею в отроческие годы. По ним видно, что она хорошо владела языком, излагала свои мысли логично, доказательно. В этих сочинениях, при всей их непосредственности, выражены те нравственные убеждения, которые были привиты Ольге в родительском доме.

Задано, к примеру, сочинение на тему «Как развивалась скупость Плюшкина». Бережливость — черта, которую уважали в семье Ульяновых. Но Плюшкин отвратителен тем, пишет Ольга, что он «постепенно превратился из бережливого хозяина в скрягу. По своим душевным качествам он стал ниже животного, потому что и бессмысленные животные выказывают более любви к своим детям, чем ее выказывал Плюшкин...».

Ольга пытается проследить развитие характера Плюшкина: «Плюшкин не был добр и гостеприимен... На старости лет Плюшкин остался один. Старость и одиночество представляют хорошие условия для развития скупости: скупость Плюшкина начала быстро развиваться. Хотя произведений такого имения, какое было у Плюшкина, было гораздо больше, чем нужно одинокому старику,— Плюшкин ничего не продавал: он просил за все вдвое больше его настоящей стоимости, и потому все покупщики вскоре перестали

ездить к нему... Плюшкин никому не доверял и всех упрекал в воровстве. Каждый день Плюшкин выходил на улицу, где осматривал каждую колею, заглядывал под каждый мостик и все, что там находил: черепки, тряпки, палки, старые изорванные подошвы и т. п. нес к себе в комнату и складывал там в кучу».

«После него,— с иронией пишет юный автор,— улица делалась так чиста, что ее не нужно было и мести. С каждым днем скупость Плюшкина усиливалась и заглушала все другие чувства».

Порок наказывается,— это твердо усвоила Ольга Ульянова, и потому ее рассказ о Плюшкине кончается назидательно: «Жизнь его (Плюшкина) была постоянное лишение себя всего, даже самого необходимого, и сделалась не только тягостной для него, но и для всех окружающих, которые должны были сносить его необузданную страсть».

Интересно сочинение Ольги на тему «Бытовые черты в сказках «Емеля-дурачок» и «Морозко»».

«В сказке «Емеля-дурачок»,— пишет она,— показывается отношение старших братьев к младшему — Емеле-дурачку. Братья стараются извлечь для себя пользу из глупости и покорности дурака: он у них работник и должен во всем их слушаться». Такое жестокое обращение возмущает добрую душу Ольги: она не может мириться с несправедливостью.

Но наиболее ярко, хоть и простодушно, она высказала свои жизненные наблюдения, свои мысли о воспитании при разборе сказки «Морозко». Ольга пишет об отношении мачехи к падчерице, которую та не любит: «...за всякую вину бьет ее, часто без причины сердится на нее, никогда ее не приласкает и относится к ней, как к совсем чужой для нее девочке-работнице». Совсем иное отношение к родной дочери. «Мать сосредоточивает на ней всю свою любовь; излишняя материнская нежность не позволяет мачехе давать девочке хотя небольшую работу».

Серьезно, совсем по-взрослому рассуждает Ольга в своем сочинении о недостатках воспитания, которое наносит непоправимый вред. Мачеха, «женщина грубая и необразованная, полагает, что составит счастье своей дочери, но ошибается. Девочка, не приученная ни к какому делу, избалованная матерью, ко всем отно-

сится холодно и безучастно; она привыкла, чтобы все заботились о ней, а сама не привыкла заботиться о других».

Эти рассуждения подсказаны Ольге опытом жизни в семье, где с раннего детства, окруженные разумной любовью и родительской заботой, дети приучались к делу, привыкали заботиться об окружающих.

В сказке по-разному складывается судьба девушек. Одна, дочь мачехи, чрезмерно избалована, «эгоизм ее всех от нее отталкивает, и она обыкновенно бывает несчастною. Падчерица, напротив, приучена к работе, скромна, терпелива и ко всем ласкова, зная, как много отрады доставляет ласковое слово и как много горя доставляет холодное, безучастное слово. Эти черты характера падчерицы привлекают к ней всех, и она достигает счастья, вполне ею заслуженного».

Примечательна эта назидательность в сочинениях Ольги: она говорит о высоких моральных устоях девушки.

Ольгу Ульянову очень любили в гимназии. «Она была маленькая, худенькая, смуглая, кудрявая, очень живая и ласковая девочка» — так рисовали ее классные подруги. Одна из них, Александра Феодосиевна Щербо, и на склоне лет вспоминала о том неизгладимом впечатлении, которое производила Оля: «...что-то в ее темных, спокойных глазах, в ровной походке было особое. Ульянову вызывали, и что ни спросят, все так гладенько, так спокойно отчитывается... Знала она и отвечала не как заученное, а как-то ясно и просто».

Ольга была первой ученицей, но никогда не хвасталась этим, не стремилась выделиться, наоборот, всегда была готова прийти на помощь подругам. Ольга Петрова записала в своем дневнике: «У нас в классе все уважают Олю Ульянову. Она никогда не отказывается объяснить нам трудные задачи».

Оля «была хотя с виду и замкнутая, но замечательно отзывчивая и выдающихся способностей»,— вспоминала Катя Арнольд.

А когда Ольга сама становилась в тупик и не могла что-то объяснить, она говорила девочкам: «Пойдем спросим Володю. Он знает! Он все знает!»

Оля любила брата и гордилась им. Гимназическая подруга Ольги Аня Орлова рассказывала о таком эпи-

зоде их юности: «В школьные годы Володя Ульянов очень любил кататься на коньках. Зимой он почти каждый день ходил на каток. Сидишь у окна и видишь — идет он с коньками... Шинель на нем длинная, сшитая с запасцем на будущий рост... Ольга придет ко мне и скажет: «Нюра, пойдем на каток. Посмотрим, как Володя катается...» Быстро соберусь и пойдем. Увидит Володя Ульянов, что мы на каток пришли, и подкатит к нам, сделав при этом по льду замысловатую фигуру. Ольга приходит в восторг: «Ах, как хорошо! А ну-ка еще раз так прокатись!» Через минуту Володя Ульянов катит к нам по льду кресло. Ольга садится в кресло, и брат долго катает свою любимую сестру. Потом катает и меня».

Девочки стеснялись Олиного брата — серьезного, начитанного, хотя он относился к ним по-товарищески. Та же Аня Орлова рассказывает: «Придем с просьбой проверить. Володя Ульянов засмеется. Потом проверит и толково разъяснит». Саша Щербо вспоминала, как однажды Владимир Ульянов, уже будучи гимназистом последнего класса, пошел проводить ее домой: «Он меня расспрашивал об учителях так серьезно, деловито, что я робела и не знала, как получше сказать».

Олины подруги любили бывать в дружной семье Ульяновых. Забегали запросто — то в связи с уроками, то посидеть в саду, полюбоваться цветами: дети выращивали их под руководством Марии Александровны, и Оля так чудесно, так увлекательно рассказывала о цветах — просто заслушаешься.

Мария Александровна любила природу, музыку и эту любовь к прекрасному передала своим детям. Музыкален был Владимир Ильич, большими музыкальными способностями обладала и Ольга Ильинична, у нее был приятный голос. Когда собирались подруги, они пели под аккомпанемент матери, музицировали.

Публичных концертов в Симбирске не было, зато приезд оперы являлся настоящим праздником. В апреле 1885 года в Симбирске гастролировала оперная труппа известного антрепренера П. М. Медведева. Владимир и Ольга Ульяновы любили театр; вместе с Олиной подругой Александрой Щербо покупали в складчину дешевую ложу на 3-м ярусе и с восторгом

слушали «Русалку» Даргомыжского, «Травиату» и «Аиду» Верди, «Фауста» Гуно, «Гальку» Монюшко. Мария Александровна поощряла и посещение драматического театра, особенно классических пьес.

«Завтра пойдем с Катей к Ульяновым на елку,— записывала в своем дневнике Ольга Петрова.— У них всегда очень весело».

Новогодний праздник отмечался в семье особенно торжественно; родители были его активными участниками и организаторами. Все украшения, подарки под наблюдением и с помощью матери делали сами дети. Вот когда можно было отличиться, проявить собственный вкус! В семье почти не было купленных игрушек: и куклы, и кубики, и солдатики были самодельные.

В своих воспоминаниях «Гимназические годы О. И. Ульяновой» А. Ф. Щербо рассказывала: «В классе последнего года (т. е. в выпускном) Ольга Ульянова, Варя Половцева и Вера Юстинова вели «подпольный» журнал. Назывался он «Скорбный лист» и был размером в лист бумаги. Редактировала его Ольга Ильинична. Писали об учителях, о театральных пьесах, на которых бывали, и о прочитанных книгах».

* * *

Весной 1887 года Ольга Ильинична кончала Мариинскую женскую гимназию. Это было тяжелое время в жизни Ульяновых: в январе 1886 года скоропостижно скончался отец.

Велико было горе семьи.

Но жизненный подвиг отца не будет забыт. Анна Ильинична расскажет позднее, что, по целым неделям не видя отца, они учились понимать, что «дело — это нечто высшее, чему все приносится в жертву».

Любовь к труду, чувство долга, бескорыстие — вот нравственные ценности, унаследованные детьми. И когда на пороге юности Ольга задумается о своем жизненном призвании, она вспомнит дорогой образ отца и несравненный его пример беззаветного служения делу народного просвещения.

Вскоре новое несчастье постигло семью Ульяновых. В марте 1887 года в Петербурге по обвинению в подготовке цареубийства был арестован старший сын и

брат Александр. Мария Александровна, получив это тяжкое известие, немедленно собралась в столицу, оставив дом и младших детей на попечение старших — Владимира и Ольги.

По приговору царского суда Александра Ульянова казнили.

Владимир Ильич был в выпускном классе. Он тяжело переживал гибель брата, но глубоко запрятал свое горе: надо было выполнять каждодневный долг. И Володя продолжал упорно работать, отлично сдавал экзамены.

Мужественное поведение матери и брата не могло не подействовать на Ольгу. В свои шестнадцать лет она почувствовала себя взрослой, ответственной не только за себя, но и за жизнь всей семьи, судьба которой отныне была связана с судьбой борющейся революционной России.

Ольга очень любила старшего брата и была, по свидетельству Анны Ильиничны, «с раннего детства его любимицей из младших. У нее и в натуре было много общего с Сашей: глубина и твердость характера при большой ровности и мягкости его, из ряда вон выходящая трудоспособность. Я сказала бы, что у нее, как и у Саши, в характере преобладающим было чувство долга...»

Когда весть о казни брата дошла до Симбирска, отчаяние, охватившее Ольгу, было беспредельным. Она бросилась на землю и кричала: «Я ненавижу царя, я убью его». Но так же, как Владимир Ильич, Ольга Ильинична продолжала аккуратно посещать гимназию и усердно заниматься. Когда из Петербурга приехал ревизор делать проверочные испытания, Ольга даже столичного гостя поразила своими глубокими познаниями.

Подруга Ольги Е. Арнольд вспоминала, как Ольга принесла в класс фотографию брата, снятого в тюрьме: «Я с трудом сдержалась, чтобы не заплакать, но ее самообладание было поразительное: она, как окаменелая, ни одним мускулом лица не выдала своего горя».

Неизгладимый след оставили те страшные дни в душе и сознании Ольги Ильиничны. Талантливая девушка, первая ученица, украшение гимназии, она

вдруг стала почти для всех чужой, ее избегали, к ней не обращались.

Осенью 1887 года Ольга Ильинична приезжала в Симбирск из Казани получить золотую медаль, присужденную Владимиру. В деле канцелярии директора Симбирской гимназии сохранилась расписка: «Золотую медаль Владимира Ульянова по поручению его получила 13 сентября 1887 года Ольга Ульянова». К этому приезду относится ее проникнутое горечью письмо к Саше Щербо. Она пишет, что во время пребывания в Симбирске она вместе с их общей подругой Ниной Стржалковской пошла на почту и встретила своих бывших учителей. «Они кланялись Нине, а меня как будто и не замечали или не узнавали».

Ольга Ульянова — первая ученица во все годы обучения в гимназии — блестяще сдала выпускные экзамены и тоже получила золотую медаль.

После экзаменов Оля уехала на отдых в Кокушкино. Сохранилось восторженное описание ею дороги в Кокушкино, которая «большею частью шла между хлебными полями; рожь уже колосилась; она была очень густа и высока, так что весело было на нее смотреть. Иногда дорога шла лесом, и вместо яркого солнечного света, трещанья кузнечиков, пенья птиц внезапно наступали мрак и тишина, которые особенно усиливались в глубине леса...».

По веснам пели соловьи в большом саду и на берегу реки Ушни. Казалось, прелестнее нет места на земле. Все цвело и благоухало в Кокушкине, печально было только в семье Ульяновых.

Ольга очень устала: физическое напряжение во время сдачи выпускных экзаменов, тяжелые душевные переживания надорвали ее силы. В деревне она вначале предалась полному отдыху: гуляла, купалась, каталась на лодке, ездила верхом.

Много волнений и толков вызвало в деревне ожидавшееся солнечное затмение. «Крестьян предупредили,— пишет Ольга Ильинична подруге,— что будет затмение, и не велели им в этот день выгонять скотину; некоторые из них не поверили, большинство же поняло так, что в пятницу должно быть землетрясение и что скотина в поле провалится, и порядком струсило, наконец, некоторые, особенно бабы, решили, что будет

«светопреставление». Ольге Ильиничне невольно пришлось стать «просветителем» и объяснять знакомым крестьянам происходящие в природе явления.

Но идиллия деревенской жизни не долго утешала девушку, привыкшую к строжайшей дисциплине и упорному труду. Она «вдруг» начала серьезно заниматься английским, много читала по-французски.

* * *

Еще до того как Владимир и Ольга окончили гимназический курс, Мария Александровна решила покинуть Симбирск и обосноваться в Казани, где жила ее старшая сестра — Анна Александровна Веретенникова.

В конце июня 1887 года Мария Александровна с сыном Владимиром и дочерью Ольгой отплыла на пароходе из Симбирска. С невыразимой печалью прощалась мать с городом, где прошли счастливые годы ее жизни. А для детей начиналась тревожная, мятежная юность.

Подростком Ольга дала прекрасное описание путешествия по Волге.

...Волга — живая река, она меняется на глазах. «Медленно» катит река «свои светлые воды», и девушка неотрывно любуется берегами, движением парохода. Безмятежное счастье овладевает молодой душой... «Местами отражение солнца в воде так сильно, что больно смотреть; вокруг все тихо, так тихо, как никогда не бывает на земле». Тонко, поэтично передано ощущение торжественного и ясного солнечного дня на реке. Но набегают тучи, и Волга предстает «мутною и серою, словно сердитою».

В Казани начались поиски квартиры, что было нелегким делом. В конце октября Ольга Ильинична пишет А. Ф. Щербо: «Мы сняли квартиру в новом доме, где еще никто не жил».

Теплую погоду, которая была в Казани в первой половине сентября, сменили стужа и ненастье. В ночь на 23 сентября выпал снег и покрыл землю на четверть аршина. В квартире «ужасно холодно», неуютно. Мрачные мысли одолевают девушку. С горечью пишет Ольга: «Уехав из Симбирска, мы превратились в каких-то кочевников; нигде не найдем себе места, и

все время проходит в том, что мы укладываемся и раскладываемся».

После довольно длительного перерыва, почти на исходе 1887 года, Ольга Ильинична написала письмо А. Ф. Щербо в Симбирск и сообщила ей, что теперь семья переезжает в Кокушкино, а она остается в Казани, чтобы не бросать занятий в музыкальной школе, и будет жить у тети — А. А. Веретенниковой. В очень сдержанных выражениях она написала подруге о «студенческих беспорядках» в Казанском университете и об участии в них брата.

Университет закрыт, закрыт и Ветеринарный институт, много участников сходки арестовано и выслано. «Общество,— писала Ольга Ильинична подруге,— отнеслось к студентам сочувственно: им прислали 300 руб. в первые же дни арестов и высылки из Казани, также шубы и шарфы, потому что многим студентам не в чем было ехать. Казанские дамы прислали им табаку и папирос; а гимназисты, особенно 1-ой гимназии, отдавали все свои деньги, у кого были — часы, некоторые — даже свои шубы. Гимназистки тоже жертвовали, но об этом узнала начальница и прочитала им строгую нотацию».

Город был взбудоражен. Выпущенная исключенными студентами листовка ходила по рукам. Слова листовки «Наша молодая кровь, наше молодое сердце заставило искать выхода» ставили перед каждым мыслящим юношей и девушкой вопрос о собственной судьбе.

Стоял этот вопрос и перед Ольгой Ульяновой. Ее глубоко волновало революционное выступление казанских студентов, в котором принимал участие любимый брат. Зимой 1887/88 года Ольга недолго (около полутора месяцев) жила в Кокушкине. Здесь в ее комнате спартанская простота, единственное украшение — белые занавесочки на окнах.

Ульяновы провели зиму в полном одиночестве. Скрашивали его приезды Ольги Ильиничны; она всегда охотно играла на фортепьяно, и ее музыка доставляла много радости кокушкинским изгнанникам.

Как о чем-то бесконечно дорогом, но невозвратном, навсегда ушедшем вспоминала теперь Ольга о счастливой жизни в Симбирске: «...как хорошо мне там было».

Ольга презирает бессмысленное времяпрепровождение. Ум и знания, преданность науке стали ее путеводной звездой.

С детских лет запомнила Ольга дифирамб великого Лобачевского в честь науки, его страстные слова, осуждающие богатых тунеядцев: «...Вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнию. Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков». Эти слова часто повторял отец.

Сама Ольга жаждет знаний, труда, жизни разумной, плодотворной. Вот Ольга встретила свою бывшую соученицу — Благодарову. Работая, она одновременно посещает земскую фельдшерскую школу. И Ольга с восхищением пишет про нее А. Ф. Щербо: «Молодец! Учится и трудится!»

Все чаще задумывается Ольга о собственном будущем: оно волнует и тревожит ее. Перед ней — пример матери. Нравственное величие Марии Александровны покоряет всех знавших ее и в дочери вызывает непреодолимое желание быть сильной, мужественной. «Ты спрашивала, как здоровье мамы,— пишет она А. Ф. Щербо.— Я надеюсь, что жизнь в деревне ей будет полезна». Перед верной подругой Ольга не таится. Она не скрывает тяжкой, незаживающей раны, которую нанесла казнь любимого брата. Но сострадание она отвергает. «Ты права, сожаление я не принимаю; это не из гордости, а просто не в моем характере». Ольге грустно, с глубокой печалью задает она вопрос: «А счастье? Да где оно? Где счастливые люди? Нет, я положительно не верю в счастье, а верю только, что можно забывать о несчастьях, своих и чужих (и то только отчасти), исполняя свой долг. По-моему, весь смысл жизни в этом слове. Вот тебе вся моя философия».

Долг как смысл жизни. Но в чем долг?

События общественной жизни, судьба ее семьи — трагическая гибель старшего брата Александра, подвиг которого, как факел, пылал в сердце; Володя, ее любимый брат, друг детства и юности, непоколебимо

и смело ставший на путь борьбы,— все это неумолимо толкало Ольгу к пониманию того, что только в беззаветном служении народу можно найти смысл жизни.

* * *

В Казани Ольга посещала музыкальную школу, руководимую известным музыкальным педагогом и дирижером Орловым-Соколовским. Одно время в этой школе преподавал композитор Виктор Никандрович Пасхалов, творчество которого высоко ценили Мусоргский и Стасов.

Ольга очень любила музыку, глубоко чувствовала и понимала ее. Музыка играет большую роль в ее духовной жизни. Ольга пишет подруге, что часто бывает на «симфонических собраниях»: «У меня, как у всех, бывают ясные дни, бывают и пасмурные, когда я мучусь сомнениями...» Как ей тогда помогает музыка! Вот напала жестокая хандра, но, «на мое счастье, удалось попасть в театр на «Фауста» (прекрасная опера!), и эти чудные звуки меня ободрили».

В «Фаусте» пел знаменитый артист Казанской оперы Ю. Ф. Закржевский. Его «с великим наслаждением» слушал молодой Владимир Ульянов. Их тетя, А. А. Веретенникова, посвятила Закржевскому несколько прочувствованных стихотворений. Она благодарит певца за то, что он «в час печальный, трудный» «восторгом нас дарит».

И однако, при всей любви к музыке, Ольга Ильинична не связывала с ней свою будущность. Она писала А. Ф. Щербо: «Да, конечно, музыка — чудная, прекрасная вещь, источник чистого наслаждения... Только помнишь ты, Саша, что мы перед моим отъездом из Симбирска говорили о музыке и я тогда сказала, что мне кажется как-то *совестно* (курсив О. У.) отдаться музыке, если можешь приносить какую-нибудь более существенную пользу...»

В этих словах отражены идеалы передовой русской девушки, которая мечтает о серьезном деле, приносящем «существенную пользу» народу.

Но тут же Ольга Ильинична оговаривается. Она пишет: «Разумеется, это по отношению к обыкновенным смертным, а не к выдающимся, не к Моцартам или Бетховенам».

Вследствие несчастного случая — из-за ушиба — сошел ноготь на пальце, и в занятиях Ольги Ильиничны музыкой невольно образовался перерыв. «Но сказать правду, я совсем не так огорчена невозможностью играть, как это все думают; у меня теперь голова полна мечтами о поездке в Гельсингфорс»,— пишет она подруге.

«Поездка в Гельсингфорс» означала поступление в университет на медицинский факультет. Ольга просит А. Ф. Щербо все хранить «в самой строгой тайне». «Я говорила уже об этом с мамой, и хотя она приводила многие возражения, но я знаю, что она так добра, что ни в чем мне не откажет...»

Ольга стояла перед новым важнейшим рубежом в своей жизни.

В мае 1889 года Ульяновы поселились на хуторе при деревне Алакаевка, купленном Марией Александровной на деньги, вырученные от продажи дома в Симбирске.

Ольга Ильинична так описывала подруге «достопримечательности» Алакаевки: «Я, как и ты, очень люблю кататься на лодке, но здесь это удовольствие невозможно: 1) лодки у нас нет, а во-вторых, воды очень мало, так что кататься можно бы только в пруду до мельницы, а сама река, которая огибает наши владения, так мелка, что курица вброд перейдет (это уже маленькая гипербола). Теперь у нас жнут пшеницу, и я езжу туда каждый день, а приехав туда, отправляюсь в лес (пшеница около леса); я очень люблю лес...»

«Олин клен» — так называли высокий старый клен, стоявший у обрыва, спускавшегося к ручью. Здесь часто можно было застать Ольгу Ильиничну, всегда с книгой в руках.

Это было для Ольги время напряженного труда. Она готовилась поступить в высшее учебное заведение. Краткие записи в дневнике, письма к подруге хранят следы той атмосферы разносторонних интересов, в которой жила девушка. Ольга Ильинична много занималась языками. В 18 лет она превосходно знала немецкий, английский, французский; изучала шведский. В личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле находится книга, принадлежавшая О. И. Ульяновой. Это

учебник итальянского языка (на немецком): *Mussafia*. Italienische Sprachlehre in Regeln und Beispielen. Вена, 1873.

Для поступления в университет требовалось знать древние языки. В дневнике Ольги мы находим такие записи: «Кончила латинскую этимологию; перевод Фемистокла». Из дневника же мы узнаем, что она усиленно занималась физикой, химией, увлекалась астрономией.

Ольга много читает. Воспитание любви к литературе было органической, важнейшей частью культурного, более того — нравственного воспитания молодых Ульяновых. Еще в юности они познакомились в семье с лучшими, классическими произведениями русской литературы, которые рассказывали правду о народной жизни, отражали чаяния и стремления передовой общественной мысли.

«Литература не умрет! не умрет во веки веков... Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз,— одна литература изъята из законов тления, она одна не признает смерти». Эти вдохновенные слова принадлежат М. Е. Салтыкову-Щедрину, великому писателю-подвижнику, которого особенно любили Ульяновы.

Когда в «Вестнике Европы» в конце 1887—1888 году стала печататься «Пошехонская старина», Ольга рекомендует своей подруге А. Щербо познакомиться с этим произведением; ей оно «очень понравилось».

С восхищением перечитывала Ольга Ильинична «Ревизора» и «Мертвые души» Гоголя. «У нас, русских, никогда не будет таланта более замечательного и высокого, чем Гоголь»,— пишет она.

Ее внимание и симпатии привлекает творчество писателей, искренне и честно воспевающих народную жизнь. Ольге нравятся произведения Никитина, она считает его «самобытным», «истинным» поэтом. Поэтический сборник Никитина «бытовал» в их семье. Маленький Володя под одобрительный смех взрослых распевал никитинскую «Песню бобыля»:

Богачу-дур-раку
И с казной не спится,—
Бедняк гол, как сокол,
Поет, веселится.

В конце 80-х годов в литературу вошел новый замечательный писатель — Всеволод Гаршин. Его «несомненно оригинальный талант» горячо приветствовали И. С. Тургенев и Лев Толстой.

Рассказ В. Гаршина «Сигнал» произвел на Ольгу Ильиничну сильное впечатление; ей были знакомы и «Записки рядового» [1]. Среди произведений Гаршина, которые ей «особенно нравятся», Ольга Ильинична называет рассказ «Художник» [2].

В книгах Ольга Ульянова ищет ответ на мучившие ее вопросы жизни. Она пишет подруге, что начала читать сочинения Белинского.

Творчество русских революционных демократов оказало огромное влияние на формирование молодых Ульяновых. Александр Ильич и Анна Ильинична увлекались сочинениями Д. И. Писарева. Владимир Ильич рассказывал, что в юности его увлек роман Чернышевского «Что делать?».

Ольгу глубоко взволновало знакомство с биографией В. Г. Белинского, его страстное искание истины. Поражает зрелость ее суждений. Ольга признает в Белинском «талант выдающийся». Она убеждена, что в критике особенно важны «мысли и взгляды», иными словами, идейная позиция автора.

А «во взглядах,— пишет Ольга Ильинична,— я часто расходилась с Б[елинским], читая написанное им до 40 года». «В первом же томе мне не понравились восторженные отзывы Бел[инского] об имп. Екатерине, которые можно бы принять за лесть, если бы возможно было сомневаться в искренности этого замечательного человека».

Ольга Ульянова имеет в виду статью «Литературные мечтания» (1834 год), в которой Белинский давал восторженные, преувеличенно похвальные отзывы о «великой эпохе» Екатерины II.

Ольга подробно пишет подруге об эволюции взглядов великого критика. Ее восхищает нравственное «мужество» Белинского, который «печатно» сознался «в ошибочности мнения, которое он прежде разделял. но потом отверг».

---

[1] Точное название — «Из воспоминаний рядового Иванова».
[2] Рассказ точно называется «Художники».

Она просит подругу перечитать «Медвежью охоту» Н. А. Некрасова: «Там есть прекрасные стихи о Белинском». В своем письме она приводит строки:

Белинский был особенно любим...
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

«Я читаю его (Белинского.— *Р. К.*) с большим удовольствием, некоторые места с наслаждением, и думаю, что его сочинения должны быть настольною книгой для молодежи и что перед его именем можно и должно «преклонить колени» в знак глубокого уважения к его памяти».

Замечательны эти строки Ольги Ульяновой,— в них голос честного, боевого поколения, которое готовилось выйти на арену общественной жизни.

По воспоминаниям родных, Ольга вместе с братом читала Глеба Ивановича Успенского. Владимир Ильич считал Успенского одним из лучших писателей, который с глубочайшей искренностью и правдивостью рисовал картины дифференциации деревни, роста кулачества и нищеты крестьянских масс. Ольга настоятельно советует Саше Щербо читать Успенского.

Стремясь как можно глубже познать народную жизнь, Ольга в это же время знакомится с сочинениями популярного писателя Н. Н. Златовратского. В дневнике Ольга Ильинична перечисляет прочитанные ею произведения Златовратского.

После знакомства с повестью «Крестьяне-присяжные», которая принесла автору заслуженную известность, Ольга ставит в скобках только одно слово — «Фомушка». Этот герой являлся центральной фигурой повести, в его уста автор вложил народную мечту о социальной справедливости, о «крестьянском устроении согласно желанию мирскому».

Ольга читает рассказ «В артели». Рассказ имел подзаголовок «Из записок петербургского пролетария». Третьестепенная газетенка, ютящаяся где-то на задворках. Стучит ручной пресс. Лампы с осколками вместо стекол, с абажурами, склеенными из бумаги... Газета делается примитивно, ножницами. «Нумер

кое-как наполняется чужим материалом», из различных газет вырезываются «огрызки» передовых статей и корреспонденций.

Корректор этой газеты, потерявший работу, попадает в артель водовозов, состоящую из 12 человек. Петербургскому «фабричному люду» (несколько человек из этой среды оказалось здесь) — «мелким, худым, затомленным, в плохой одежонке» — противостоят пришлые крестьяне — «большею частью тверяки, здоровые, коренастые, железных мускулов, с несокрушимыми спинами». Они образовали «общежительство». Автор восторженно пишет об этом. Один из персонажей, который, по мысли Златовратского, «умеет вникнуть в суть дела», обстоятельно разъясняет корректору, что «артель — дело великое», что она основана «на принципе чистого самоуправления и полной равноправности».

Ольга Ильинична сопровождает этот рассказ только одним кратким замечанием: «Идеализация общины»; оно показывает, что девушка прекрасно разбиралась в тенденциях творчества писателя, действительно идеализировавшего общинный уклад.

Выписав название рассказа Златовратского «Горе старого Кабана», Ольга Ильинична отмечает: «Та же идея, как у Успенского, в «Взбрело в башку»».

Пометка эта интересна. Рассказ Успенского, который вспоминает Ольга, был напечатан впервые в журнале «Русская мысль» (в VI книге за 1888 год). Выходит, Ольга Ильинична читала его сразу после напечатания.

Глубокое раздумье Ольги вызвал рассказ «Пропала деревня». Она пишет в дневнике: «Чрезвычайно интер[есен] тип бывш[его] семинар[иста] Б-ского, сделавшегося судебным приставом».

Кто такой Б-ский? Он сам рассказывает о себе, что он «большой любитель чтения», мечтал об университете, но семейные обстоятельства заставили его поторопиться «избрать род жизни». Он, выписывает Ольга слова героя,— «птица маленькая, исполнительное орудие»... Б-ский считает, что его дело — сторона, что он ни к чему не причастен. В ночь, когда над городом разразилась ураганная буря, Б-ский повесился. Молва приписала это «обманутой любви». Автор рас-

сказа от себя добавляет: «Мои предположения были иные».

Внимательная читательница, Ольга Ульянова, видимо, согласна с автором. Она полагает, что молодой судебный пристав покончил жизнь самоубийством именно потому, что суровая действительность оказалась не в ладу с его легкомысленной теорией о непричастности ни к добру, ни к злу. Размышляя о судьбе героя этого рассказа, Ольга Ильинична, думается, хотела сказать, что человек несет ответственность за свои поступки и свою жизнь и никто не может безнаказанно отказаться от нее.

Два рассказа — «Шапка» и «Хлопцы» — из тех, что у Н. Н. Златовратского объединены общим заголовком «Рассказы заводского хлопца»,— были прочитаны Ольгой Ульяновой, но никаких пометок не вызвали. Зато третий рассказ из этого цикла — «Иван Якимыч — питерский учитель» — привлек ее внимание.

Иван Якимыч, приставленный учить грамоте несчастных хлопцев на полукрепостнической фабрике,— сам человек подневольный. Он мечтает о лучшей жизни, но бессилен что-нибудь изменить в окружающей действительности или указать людям путь борьбы.

Ольга Ильинична делает из этого рассказа несколько выписок. Первая. Иван Якимыч — питерский учитель, «моливший у жизни только любви и встретивший злобу, ненависть, подозрение» (это из характеристики автора). И вторая выписка — из рассуждений самого учителя: «Нет, братцы, за вас будут другие начальники,— держатели света и знания,— с любовью и наукой выступят они». «В нас нет этой силы святой и благодатной. Мы рабы».

Фразы, выписанные Ольгой, свидетельствуют, что судьба учителя — незадачливого правдолюбца — волновала ее.

Душевные искания Ольги Ильиничны несомненно не проходили мимо брата. Недаром Мария Ильинична, рассказывая впоследствии об алакаевском периоде их жизни, писала: «По возрасту Ольга более всего подходила к Владимиру Ильичу, и они жили в то время общими интересами».

Не без влияния Владимира Ильича Ольга читает серьезный труд Гизо «История Франции»; изучает

«Историю цивилизации в Англии» Бокля — книгу, которой увлекалось не одно поколение русских разночинцев; в дневнике она отмечает заинтересовавшие ее журнальные статьи: «Очерки русского национального сознания» В. Соловьева («Вестник Европы», кн. 9); «Критические и догматические элементы философии Канта» («Северный Вестник», кн. 11).

Из художественной литературы она отмечает «Скучную историю» А. П. Чехова.

В Алакаевке Владимир Ильич занимался глубоким изучением теории научного социализма, в которой он искал ответ на животрепещущие вопросы русской действительности. Несомненно, что именно с помощью брата Ольга приобщается к марксистской литературе.

Сочинений Маркса и Энгельса тогда в России было мало, тем более трудно было их достать в глухой самарской деревне. Но Владимир Ильич знал «Манифест Коммунистической партии» на немецком языке; читал книгу Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» по-английски. Анна Ильинична рассказывает, что вместе с сестрой Ольгой они читали «Нищету философии» на французском.

Не только общность интеллектуальных интересов, но и любовь к музыке и пению сближала брата и сестру. Самым захватывающим «номером» в «домашнем концерте» была песня «Пловец» на слова поэта Н. Языкова. Владимир Ильич и Ольга Ильинична пели любимую песню дуэтом:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Сильно и вдохновенно звучали слова:

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой!

Эта песня очень точно передавала те глубокие чувства, которые переполняли их молодые сердца.

Ольга Ильинична имела обыкновение записывать на нотной бумаге полюбившиеся ей романсы, песни,

арии из опер. Когда нот набиралось много, их переплетали. В сохранившемся альбоме Ольги — арии из опер Гуно, Верди, Верстовского, романсы Чайковского, Даргомыжского, Гурилева, старинные русские песни.

* * *

На зиму Ульяновы переехали из Алакаевки в Самару.

После Казани, где были университет, театр, Самара выглядела захолустной, особенно непривлекательной.

Ульяновы после долгих поисков квартиры поселились на восточной окраине города. Район этот был неблагоустроенный: узенькие тротуары, редкие керосиновые фонари. Улица не мощена, изрыта колесами, дождями и свиньями.

Недреманное жандармское око продолжало и тут неусыпно следить за Ульяновыми. Оно только расширило сферу своих наблюдений: поднадзорными стали и младшие члены семьи.

Самая младшая в семье — Мария — готовилась к поступлению в Самарскую гимназию. По всем предметам с ней занималась Ольга Ильинична, имевшая уже некоторый педагогический опыт: в Казани она давала уроки одиннадцатилетней девочке. В одном из писем к Саше Щербо она делится впечатлениями о своей ученице и рассказывает, какие «коварные» вопросы та ей задает: «Недавно как-то за уроком она вдруг спрашивает меня: «А кто это дьявол?» Как это тебе нравится?»

Тщательно, настойчиво занималась Ольга Ильинична и с сестренкой. «Давала урок Мане», «занималась с Маней и Митей», «занималась с Маней утром и вечером»,— пестрят записи в ее дневнике.

Ольга Ильинична хорошо подготовила сестру, и осенью 1889 года та поступила во второй класс Самарской гимназии.

Окончание полного гимназического курса с золотой медалью давало Ольге Ильиничне право занять место учительницы, и она подала прошение в Самарскую городскую думу. Категорический отказ, который она получила, сильно ее огорчил. В письме подруге в Симбирск Ольга писала, что потерпела неудачу, ибо было

«нужно нечто посущественнее золотой медали, а именно протекция», чего у нее не оказалось.

Стремление Ольги стать учительницей не было случайным. Она высоко ценила эту сферу деятельности. Тут сказалась прежде всего наследственная, «ульяновская» черта — в семье высоко ценили просветительскую деятельность, преклонялись перед жизненным подвигом народного учителя.

Когда Саша Щербо написала ей, что их одноклассница Маркова получила место учительницы французского языка в гимназии, Ольга Ильинична отвечает: «Я не позавидую Марковой, хотя она получит хорошее место, будет получать большое жалованье и будет хорошо принята в обществе... Мне гораздо более симпатична должность учительницы народной школы. Эта работа тем особенно привлекательна, что учительница видит своих учеников не раза три по часу в неделю, а каждый день и, следовательно, кроме науки, может сказать им живое слово...»

Это высказывание удивительно перекликается с мыслями И. Н. Ульянова. Ведь Илья Николаевич держался именно того мнения, что в народной школе учительница не только выполняет очень нужную функцию — обучения ребят, но и, что еще важнее, их гражданского и нравственного воспитания.

Раздумывая над тем, что Маркова получила место в гимназии, Ольга пишет: «По-моему, завидна доля того человека, кот[орый] приносит *действительную* (курсив О. У.) пользу из желания приносить ее... а это занятие французским языком скорее развлечение, чем действительная польза. Девушки учат спряжения avoir, être и т. п. главным образом затем, чтобы уметь сказать в обществе несколько слов по-французски...» «...Марковой... и в голову не приходят подобные глупые рассуждения. Она ведь человек практический»,— с нескрываемой иронией замечает Ольга. Она полна ненависти к мещанскому укладу, презрения к житейской выгоде, к погоне за житейскими благами. Ей абсолютно чужды люди, подобные Марковой. «Я ее и не люблю,— писала она,— именно за полное отсутствие идеальности, т. е. стремления к лучшему не с материальной, а нравственной точки зрения...»

«Нравственная точка зрения» всегда была харак-

терна для Ольги Ильиничны Ульяновой. В этом плане интересен спор, который разгорелся между подругами вокруг произведений писателя Болеслава Маркевича.

Болеслав Маркевич (1822—1884) ныне забыт, и имя его мало говорит современному читателю. Этот плодовитый писатель и публицист (псевдоним «Иногородний обыватель») был представителем крайней реакции, «зубр феодальной аристократии», по образному определению А. В. Луначарского.

Верный охранитель самодержавия и крепостнического строя, Маркевич не гнушался выступить и в роли прямого доносчика. Романы Маркевича были гнусным, отвратительным поклепом на молодое поколение. Главный «революционер» «Волк» в представлении автора личность, долженствующая иметь «нечто общее с Желябовым». На самом деле — это законченный негодяй, грязный циник; его поступки и рассуждения под стать оголтелому уголовному преступнику. Он активно действующее лицо в романе «Бездна», о котором Ольга писала кратко, но выразительно: «Противная «Бездна», в ней, действительно, «бездна чепухи».

Она пишет «беспощадную критику» и на роман «Четверть века назад»: «Какой сюжет у Мар[кевича] в «Четверти века назад»? Ну, разумеется, картина русской жизни и нравов за 25 л. Описывает М[аркевич] только одну блестящую аристократию, простых смертных не допускается в его произведениях, они недостойны его пера»,— издевается Ольга Ильинична над автором.

«Какую же жизнь ведет эта аристократия? Исполняет «Гамлета» на домашнем спектакле, дает вечера, обеды,— с презрением пишет девушка,— играет в любовь, как в карты (примером служит ваш любимец Асанин), торгует собой, как, например, Ольга Елпидифовна, и, наконец, умирает от любви, как, например, княжна Лина и князь Ларион!» У Ольги Ильиничны острое критическое перо, но она не мажет всех персонажей одной черной краской.

Так, она пишет, что «княжну Лину нельзя ставить наряду с другими; это кроткое, чистое, но слабое создание «не от мира сего», и понятно, что она умирает в

этой гнилой среде после безуспешной попытки вырваться из нее, выйдя замуж за Гундурова».

Охранительная критика, на потребу которой «творил» Маркевич, подымала на щит Гундурова, как положительного героя, которого она ставила в ряд с героями произведений Л. Толстого (!). Но Ольга Ульянова очень убедительно развенчивает его. Она пишет: «Но позвольте: что нашла бы княжна Лина в Гундурове; что делает этот идеальный Гундуров? Играет Гамлета — это прежде всего, но жить в доме кн. Аглаи, которую он презирает, наслаждаться роскошью, приобретенной нечестно,— этого не сделать идеально честному человеку, каким хотел Маркевич сделать Гундурова».

Эти слова относятся не только к литературному герою, они являются выражением и принципиальной жизненной позиции автора письма. Быть «идеально честным человеком» — это стремление всех молодых Ульяновых.

Предвидя, что Александра Щербо не во всем согласится с ней, Ольга пишет: «Ты возразишь мне, что после смерти Лины Гундуров занимался освобождением крестьян; да вот оно тут кстати подвернулось, освобождение-то; а когда крестьян освободили, что же тогда делал Гундуров? У Маркевича помянуто, что он что-то такое делал в либеральном духе, но что же именно, я не могла взять в толк». Ирония этих слов попадает не в бровь, а в глаз, потому что на самом деле Гундуров являлся представителем поместного дворянства, которое всегда готово было покориться центральной власти. Гундуров в романе произносит пламенную речь в защиту царя и самодержавия.

Лина — со своей чистой, идеальной любовью и бескорыстием, презиравшая сплетни и никчемный образ жизни светской черни, стремившаяся к чему-то лучшему — одна привлекла симпатии Ольги Ульяновой. Она признается подруге, что написала княжне Лине эпитафию...

Ольга Ильинична не могла равнодушно пройти и мимо безвкусия и пошлости стиля Маркевича: «Построение фраз у Маркевича, по-моему, не русское, и вообще в нем я не вижу совсем национальности».

Восторженно, с любовью относится Ольга Ульяно-

ва к поэту Надсону. Она писала Щербо: «Знаешь стихи Надсона «Наедине» и «Если душно тебе...»? Чудесные стихи! Я всегда твержу их, когда мне грустно...»

Она приводит особенно полюбившуюся ей строфу:

Дела много — не складывай руки,—
Это дело так громко зовет!
Сколько жгучих страданий и муки,
Сколько слез облегчения ждет!..

Ольга Ильинична страстно желает подруге найти «дело», чтобы вылечиться от хандры. Она сама переживала в это время душевный подъем. Исполнилось ее заветное желание: она уезжает в Петербург учиться. Она не скрывала, что много трудностей ждет ее впереди, но «когда я подумаю о том, чего можно достигнуть, то чувствую, как будто у меня крылья вырастают».

«Крылья вырастают» — это не красивая аллегория. Нет, Ольга понимала, что перед ней открывается широкая дорога, что она обретет подлинный смысл. настоящую цель жизни.

* * *

29 марта 1890 года Ольга Ильинична Ульянова подала прошение «Его превосходительству господину начальнику Самарской губернии» с просьбой выдать ей «свидетельство о благонадежности», необходимое для поступления в высшее учебное заведение.

Однако губернское начальство не решилось это сделать и запросило всесильного начальника департамента полиции П. Дурново: Ольга Ульянова в Самаре «всего несколько месяцев, ни в чем предосудительном и в политической неблагонадежности замечена не была, но живет вместе с сестрой Анной Елизаровой, состоящей под гласным надзором полиции, и братом Владимиром Ульяновым, состоящим под негласным надзором полиции...»

В ответ последовало распоряжение: «Выдать свидетельство, что ни к каким делам не привлекалась», и 27 апреля 1890 года Ольга Ильинична получила свидетельство «о политической благонадежности».

24 августа этого же года на имя директора Высших женских курсов в Петербурге от Ольги Ульяновой поступило

прошение:

«Желая поступить на физико-математическое отделение Высших женских курсов, имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство о принятии меня в число слушательниц с тем, чтобы жить в интернате.

Прилагаю мои документы:

1) метрическое свидетельство;

2) аттестат;

3) свидетельство о благонадежности;

разрешение матери, удостоверение о материальном моем обеспечении на четыре года и фотографические карточки представлю в самом непродолжительном времени».

При прошении Ольга Ильинична указывает свой петербургский адрес: квартиру двоюродной сестры Екатерины Ивановны Веретенниковой-Песковской.

Прошение Ольги Ильиничны не было принято к немедленному рассмотрению; на него была наложена резолюция: «Ожидать доставления остальных документов».

1 сентября канцелярия Высших женских курсов получила необходимые документы, написанные матерью абитуриентки.

Первый:

«Я, нижеподписавшаяся, удостоверяю, что не имею препятствий к поступлению дочери моей, Ольги Ильиничны Ульяновой, на Высшие Женские Курсы».

И второй:

«Я, нижеподписавшаяся, удостоверяю, что имею средства для содержания дочери моей Ольги Ульяновой в интернате при Высших Женских Курсах в продолжение четырех лет».

Для тысяч и тысяч девушек в России, стремившихся к самостоятельности, мечтавших о «храме науки», сопротивление родителей нередко было тем камнем преткновения, о который разбивались все мечты. А Мария Александровна Ульянова, ни минуты не колеблясь, дала согласие на то, чтобы сын и дочь учились в высших учебных заведениях.

Наконец все формальности выполнены. Ольга Ильинична Ульянова зачислена на Высшие женские курсы, на физико-математическое отделение.

А медицина? Ведь Ольга Ильинична стремилась учиться на медицинском факультете Гельсингфорсского университета и стать врачом. Выяснилось, что для поступления в университет требуется знание еще и финского языка, и, не желая терять года, Ольга поступила на Высшие женские курсы. Но, как рассказывала Анна Ильинична, Ольга не исключала мысли об отъезде за границу для получения медицинского образования.

Ольге Ульяновой профессия врача была особенно дорога. В их семье слово «врач», как и слово «учитель», было синонимом беззаветного, самоотверженного служения людям.

Ольга Ульянова быстро вошла в курс студенческой жизни. «Лекций каждый день 3—4, начинаются они с 10»,— сообщает она родным.

На первом курсе физико-математического отделения изучались следующие предметы: общий курс математики, аналитическая геометрия, алгебраический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, астрономия, механика, физика, химия и физическая география. «У нас,— пишет Ольга домой,— самые интересные лекции — Бекетова — химия. Приборов, конечно, вполне достаточно для всевозможных опытов, и лаборант показывает их хорошо и очень любезно объясняет все, что спрашиваем».

Большое удовлетворение вызывает у нее также «новый предмет — высшая алгебра — и читается хорошо».

Астрономию на Высших женских курсах преподавал академик О. А. Баклунд. Ольга увлекалась астрономией с юных лет. Еще в школьные годы она по совету своей подруги Щербо прочитала книгу Фламмариона «Небесные светила», в которой находила бездну поэзии. Нравилась ей и книга Ф. Араго «Общепонятная астрономия». В ее списке литературы в студенческие годы есть и другие книги этого автора — «Популярные беседы о научных предметах», «История неба», «Гром и молния». Этой книгой, бывшей в свое время большой новинкой, пользовался Илья Николаевич Ульянов.

Физику на втором курсе прекрасно читал О. Д. Хвольсон; на первом же курсе, пишет Ольга, физику читают «плохо», она «мало» слушает, «так

надо будет заниматься по книгам». Когда Владимир Ильич собирался приехать в Петербург для сдачи государственных экзаменов в университете, она просит привезти ей «Полный курс физики» Гано.

Кроме предметов, обязательных для курсисток физико-математического отделения, Ольга Ильинична посещала лекции на словесно-историческом отделении. Она спрашивает сестру Анну Ильиничну: «Кто у вас читал на первом курсе психологию? Теперь здесь читает Введенский». Его лекции собирают огромную аудиторию, но Ольга отзывается о них не очень одобрительно — «слишком популярно». Она сообщает, что на втором курсе Введенский «читает логику, тоже весьма популярно». Час в неделю посвящался рефератам; пока, писала Ольга Ильинична, «был только один: «Изложение и разбор одной главы из «Логики» Милля»».

В целом программа занятий не удовлетворяла Ольгу Ильиничну, ибо в «статусе курсов» во исполнение «высочайшего повеления» на физико-математическом отделении не допускалось преподавание физиологии человека и животных, естественной истории и гистологии.

Ольга Ульянова внимательно прислушивалась ко всем разговорам по важному и волнующему ее вопросу — об открытии в будущем учебном году медицинского факультета. В связи с этим она писала матери: «Во всяком случае для меня этот год не потерян, потому что и математика, и химия для врача очень нужны, а если я в течение этого года несколько освоюсь с химией, то на медицинском факультете больше будет времени для анатомии и др. наук».

* * *

Марию Александровну не могло не беспокоить, как устроится юная девушка, впервые покидающая родительский кров и вступающая в самостоятельную жизнь. Ольга Ильинична старается рассеять тревогу матери: «...Милая мамочка, ты знаешь, что я на многое человек безразличный, так что ты напрасно так беспокоишься и заботишься о том, где мне жить. Обедать я буду, где бы ни жила, на курсах, где кормят хорошо и очень дешево».

Ольга бережлива, непритязательна. В другом письме она сообщает домой: «Серое платье не одеваю, так как оно слишком парадно». Зато «юбка совсем хороша», и «хотя я ношу черное платье, но неряшливо никогда не хожу, потому что всегда чищу его щеткой и делаю некоторые улучшения».

Ольга Ильинична жила в общежитии Бестужевских курсов на Васильевском острове, на 10-й линии, в доме 39. Учившаяся одновременно с ней Зинаида Павловна Невзорова вспоминала: «Оля Ульянова — маленькая хрупкая фигурка в... очень скромном платьице, с закрученным узлом черных, слегка вьющихся волос и умными небольшими, но проницательными «ульяновскими» глазами».

Ольга, получавшая регулярно деньги от матери, не знала той нужды, которую испытывали другие курсистки, не получавшие помощи из дому.

Однако она тоже стремится иметь заработок, чтобы облегчить положение матери. Ольга Ильинична нашла временную работу у одного доктора. Когда работа закончилась, она пишет матери, что получила восемь рублей: «так что я теперь богата». Она пробовала свои силы и в переводах. В архиве Ольги сохранились два переведенных ею рассказа известного шведского писателя Сигура — «Теща» и «Слишком поздно». Но систематически заниматься переводами не удавалось. Ольга Ильинична писала матери 4 февраля 1891 года: «Книг шведских доставать негде, приходится покупать их в магазине, стоят они дорого, а подходящего для перевода в них мало, так что теперь я уже отказываюсь от дальнейших попыток этого рода».

Ольга Ильинична перевела одну научную статью с английского и сдала ее в журнал «Русское богатство». Редакция помещалась на Песках, Ольга ездила, по ее словам, в эту «ужасную даль» несколько раз, потеряла много времени и денег — и без всякого результата.

Неудача с этим переводом до известной степени характеризовала нравы тогдашней журналистики, о чем не без иронии Ольга писала сестре Анне Ильиничне: «Рьяный» цензор Р. Б. запретил бедную статью, потому что в научной статье, где трактуется о теориях Дарвина, Уоллеса и Гальтона, не отзываются о браке, как о таинстве. Вообще теперь на этот счет, т. е.

относительно всего, касающегося религии, цензура стала очень строга». Ольга Ильинична приводит слова их родственника М. Л. Песковского, который «острит даже, что «ей-богу» не пропускают...».

Ольга Ильинична сохраняет крепкую связь с родным домом, и забота о близких не покидает ее. С удовлетворением сообщая матери о своих разнообразных занятиях, она замечает: «Жаль только, что ученье это так дорого обходится и что целую зиму не видишься с вами — но тут уже ничего не поделаешь». «Как вы поживаете, дорогая мамурочка? Читает ли тебе кто-нибудь вслух по вечерам?» — спрашивает она Марию Александровну в другой раз.

Ольга испытывала к матери не только глубокую дочернюю любовь, но и преклонялась перед ее душевной силой. Она с радостью выполняет просьбу матери о «переснятии карточки Саши» и ищет в Петербурге фотографию, которая делала бы «увеличенные копии».

Перед отъездом на курсы Ольга Ильинична помогала матери в воспитании младших детей. Она любила, баловала их, на свои скромные карманные деньги покупала им лакомства. И теперь, живя в Петербурге, она не перестает интересоваться школьными успехами младшего брата, радуется, что у Мити нашелся товарищ для игр.

«Что делает в свободное время моя дорогая Марусеничка?» — спрашивает Ольга Ильинична. «Марусеничка» в свою очередь платила ей нежной привязанностью. В письме, отправленном сестре вскоре после начала учебного года (7 ноября 1890 года), она сообщает новости гимназической жизни: «У нас из французского теперь другая учительница, которая задает очень много и строго спрашивает... Из истории мы учим о Иоанне III, учитель наш г-н Морозов часто спросит какую-нибудь ученицу, она начнет говорить не так, и он целый час объясняет, почему так нельзя сказать...»

Мария делится со старшей сестрой и радостными событиями: ей подарили чижика; в Самару приехал зверинец, и взрослые обещают с ней сходить туда; в семье подписались в библиотеке на 4 книги, теперь она надеется, что и у нее появятся интересные книги для чтения.

Много времени отнимают у Ольги Ильиничны поиски нот для младшей сестры. Когда-то искал для нее в Петербурге ноты и посылал их в Симбирск брат Александр, а теперь она сама бродит по магазинам столицы на Васильевском, Литейном, Невском. Но всюду «очень плохой выбор». «Да, правда,— пишет Ольга Ильинична матери,— Маня теперь как раз играет так, что ей очень трудно найти хорошие вещи: от детских уже она выросла; классические вещи, как Бетховена и Моцарта, начинать ей рано и приходится пробавляться какой-нибудь музыкальной стряпней вроде Бейера». Она высказывает разумные соображения, как построить дальнейшие занятия: «Я послала ей сегодня 3 вещицы: пусть она попробует разучить сонату Гайдна. Если ей сразу не понравится, то все же посоветуй ей не бросать, потому что это такая вещь, которую надо хорошенько разучить». Ольга подробно пишет матери об имеющихся у них дома «этюдах и пиесах», которые может и должна играть Маня, чтобы «совершенствовать и улучшать свою игру». Советы юной Ольги серьезны и обоснованны.

Ольга охотно выполняет литературные поручения своей старшей сестры и ее мужа М. Т. Елизарова. Она ходит в букинистические магазины, чтобы поискать книги на итальянском языке для Анны Ильиничны. Прекрасно знавшая многие европейские языки, Анна Ильинична изучила и итальянский, перевела на русский язык известную книгу Э. Амичиса «Школьные товарищи», выдержавшую несколько изданий. Анна Ильинична просила сестру прислать ей итальянские книги для чтения и перевода. В одном магазине Ольга Ильинична узнает, что букинист «недавно продал все итальянские книги, какие у него были». Ей «очень досадно», что просьба сестры не выполнена, она заходит в другой магазин, но и здесь «ни Петрарки, ни Боккачио не оказалось».

Ольга Ильинична была в редакции журнала «Детское чтение», куда Анна Ильинична направила рассказ; она осведомляется насчет перевода сестры в журнале «Живописное обозрение». После посещения этой редакции она так описывает ее: «...господин, с которым я беседовала... достал мне из шкафа все рукописи — оказалось их самое ничтожное количество,— и

вообще редакция производит какое-то плачевное впечатление».

Марк Тимофеевич Елизаров послал корреспонденцию в журнал «Северный Вестник». Ольга Ильинична охотно соглашается узнать о ее судьбе: «Заходить в редакцию мне, конечно, не составляет труда, если несрочно... концы здесь огромные и приходится ходить пешком...» Спустя некоторое время она пишет сестре: «Скажи Марку, что не грех бы ему написать мне: ведь я все же, хотя без пользы, ходила три раза в редакцию «Северный Вестник». Так люблю письма из дому, что если получу одно лишнее, то буду вполне вознаграждена за это хождение, оказавшееся бесполезным».

Хождение по редакциям наводит Ольгу Ильиничну на грустные размышления. В Самаре она не могла получить места учительницы, так как не имела протекции. Этот же волчий закон, она видит, господствует и в журналах. С горьким чувством говорит Ольга Ильинична о своих наблюдениях: «Если рукопись передает редактору знакомый человек, то редактор относится совсем иначе к рукописи, т. е. прочтет ее внимательно». А без «родного человечка» рукописи «проваливаются» в бездонные редакционные корзины.

* * *

Ольга Ильинична очень общительна, у нее веселый, добрый характер. В комнате она живет с другой курсисткой — Ольгой Сергеевной Ростовцевой. Она «очень хорошая девочка», но особой дружбы с ней не получилось. «Зато,— пишет Ольга Ильинична,— я ближе познакомилась с одной словесницей 1-го курса. Она хороший человек, очень много читала и много думала, так что разговаривать интересно. Читаем с ней вместе журналы или какие-нибудь статьи...» [1]

Ольга Ильинична жила интересами студенческого коллектива. В письмах к сестре она рассказывает: «на курсах устраивается читальня»; «предполагается вечер в пользу недостаточных слушательниц».

[1] Это — Ольга Константиновна Григорьева (Витмер); впоследствии она стала марксисткой. В годы революции 1905—1907 гг. ее квартира служила большевистской явкой, где бывал В. И. Ленин.

Ольга просит «мамурочку» не беспокоиться, музыку она «не забрасывает и даже музицирует» на студенческих вечерах. «Особенным успехом у нас пользуется Бетховен»,— замечает Ольга. В другой раз она пишет Анне Ильиничне, что «на курсах был вечер с целью общения курсисток. Было очень оживленно. Началось, конечно, с прений о женском вопросе». Ведь в эти годы вопрос о женском образовании, о женском труде стоял очень остро.

Заметный след оставило собрание, на котором «читали вслух статью «Современная французская молодежь» из февральской книжки «Русской мысли», а затем рассуждали». Ольга Ильинична не сообщает подробностей, но несомненно, что статья затронула всех «за живое». Начать с того, что она, разумеется не случайно, имела подзаголовок: «Посвящается русскому студенчеству».

Основная аргументация автора статьи покоилась на анализе фактов социальной и литературной жизни Франции. Французский писатель Поль Бурже в романе «Ученик» ярко запечатлел образ человека «глубоко несчастного» поколения. На его «нравственную энергию» оказали пагубное влияние события французской действительности. «Пруссаки, разгромившие, растоптавшие и принизившие отечество», поражение Парижской коммуны, растленная атмосфера второй империи с ее «проституционной моралью», где «брюшные аппетиты взыграли» и «началась оргия всяческого свинства».

Роман Бурже с его отрицанием науки и научного мышления был проникнут глубоким пессимизмом, общественной инертностью и апологией индивидуализма; главный персонаж романа Робер Грелу, по остроумному определению автора статьи, «самопоклоняющийся эгоист», признающий только «одно отечество в мире», «одного бога» — свое собственное «я».

Ольга Ульянова еще до отъезда на курсы записала в своем дневнике, что читает роман «Le Disciple» Bourget («Ученик» Поля Бурже). Этот факт сам по себе примечателен. Русский перевод романа печатался в журнале «Северный Вестник» (№№ 4, 6, 7, 8) за 1889 год; в дневнике Ольга Ильинична все время дает название романа по-французски; вероятно, она читала

его в подлиннике. Роман вызвал во Франции многочисленные отклики, привел к ожесточенной полемике.

В России роман тоже привлек к себе внимание, его с большим интересом читал А. П. Чехов. Юноши и девушки, принадлежавшие главным образом к демократической интеллигенции, искали ответ на мучительные, извечные для молодых людей вопросы — куда идти? что делать? зачем жить? Волновали эти вопросы и бестужевок, собравшихся на курсы со всех концов России.

Ольге Ильиничне Ульяновой герой романа Бурже, весь строй его мыслей и чувств был абсолютно чужд, более того — враждебен.

* * *

Мария Александровна с пристальным вниманием следила за жизнью дочери в столице. Она в курсе всех ее занятий, волнуется, спрашивает, как проводит дочь досуг. «Мамурочка,— отвечает ей Оля,— я не скучаю на праздниках,— для меня они не отличаются от будней почти ничем — только на лекции не ходить», «Вечер я обыкновенно сижу дома и читаю или занимаюсь, книг здесь хороших много».

В архиве Ольги Ильиничны сохранился написанный ею список книг, которые она намеревалась прочитать, изучить, «проработать», что должно было способствовать выработке цельного научного мировоззрения. Тут — серьезные книги по естественнонаучным дисциплинам: «Происхождение человека» Ч. Дарвина, «Рефлексы головного мозга» И. Сеченова, «Жизнь растений» К. Тимирязева. Ольга изучает книгу «Речи и статьи» известного английского физика, сотрудника М. Фарадея — Д. Тиндаля, классические труды: «Основные понятия химии» А. Бутлерова, «Основания биологии» Г. Спенсера и др.

Но наиболее широкие и разносторонние ее интересы относятся к гуманитарным наукам — истории, философии, политэкономии, истории литературы. В списке Ольги Ильиничны сочинения В. Г. Белинского и Н. А. Добролюбова. Творчество революционных демократов играло большую роль в ее духовной жизни, их книги она всегда хотела иметь «под рукой». Почетное место в «реестрике» Ольги Ильиничны занимают

книги Георга Брандеса, популярного историка европейской литературы. Выписывает Ольга и книги Байрона, перед которым преклонялась. Великий английский писатель, его романтический пафос и свободолюбие волновали все молодое поколение. Попали в «реестрик» Ольги Ильиничны книги Людвига Берне и Генриха Гейне.

Сохранилась тетрадь О. И. Ульяновой «Заметки о практическом преподавании русского языка», а также тетради по изучению ею иностранных языков. Большинство записей (слова, прозаические отрывки, стихи) относятся к шведскому языку, которым усиленно занималась Ольга Ильинична в последний год перед поступлением на курсы. В тетрадях много выписок из стихотворений Байрона на английском языке.

Привлекает внимание круг чтения по истории, намеченный Ольгой Ильиничной. Здесь есть книги по истории античного мира, «История Греции» крупного немецкого буржуазного историка Э. Курциуса, капитальный труд по истории 18-го и 19-го веков Ф. Шлоссера, «История французской революции» Т. Карлейля и Ж. Мишле, «История умственного развития в Европе» Ф. Гизо, «Письма об Англии» Л. Блана и др.

История родной страны, пути ее развития, ее будущее — вот вопросы, которыми глубоко интересовалась передовая молодежь. Не удивительно, что «русские» книги составляли значительный раздел «литературной памятки» Ольги Ульяновой.

В архиве Ольги Ильиничны сохранилась и тетрадка, на которой ею написан заглавный листок — «Конспект лекций по русской истории Ключевского». Программа по Русской Истории. Введение. Период первый (VIII—XII); Период второй (XII—XV).

Помимо книги В. О. Ключевского «Боярская дума в древней Руси», в ее списке «История русской жизни» Е. И. Забелина, «Общественное движение при Александре I» Н. А. Пыпина, много книг, связанных с положением и историей крестьянства: книга Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина», «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века» В. И. Семевского.

В соответствии с общественной направленностью своих интересов Ольга Ильинична заносит в список

книги, связанные с историей общины. Книга В. Н. Григорьева «Переселения крестьян Рязанской губ.» содержала огромный статистический материал. В своем труде «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин неоднократно цитировал ее. Ольга Ильинична внимательно читает труд М. М. Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения».

Она делает выписки из этой книги и на обороте одной странички помечает: «Статьи для сравнения хода истории крестьянского вопроса у нас и в Западной Европе: «История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 г.» Лучицкого (Киевские университетские «Известия», 1878 г., № 10—12; 79 г., № 2; 80 г., № 11; 81 г., № 2 и 3)».

Ольга Ильинична стремилась овладеть всем намеченным объемом знаний. Но не всегда она соблюдала строгую и точную последовательность в занятиях. Так, накануне студенческих каникул, во второй половине декабря 1890 года, Ольга пишет брату: «Мои занятия математикой на время праздников вполне прекращаются, и занимаюсь я науками, так сказать, гуманитарными, ибо они более праздничному времени соответствуют. Читать систематически, отдав предпочтение индуктивному методу перед дедуктивным, все больше еще намереваюсь, чем читаю».

Ольга рассказывает Владимиру Ильичу, что прочитала Фукидида по-немецки и находит, что он «очень интересен и полезен». После этого она прочитала 2 тома русской истории с «древнейших времен» С. М. Соловьева и «принялась за Зибера».

Ольга Ильинична интересовалась и вопросами политической экономии. В ее списке литературы — труды Д. С. Милля, Ф. Лассаля, книги русских экономистов: «Синтез учений экономической политики» И. И. Иванюкова, «Экономическая ответственность предпринимателя» В. Г. Яроцкого и др.

Разнообразны книги по философии, числящиеся в ее «реестрике»,— ряд трудов Г. Спенсера, «Мир, как воля и представление» А. Шопенгауэра, «Гениальность и помешательство» Ч. Ломброзо. Она читает книгу «Пессимизм в XIX веке» французского философа Е. Каро, ярого борца против материализма. Для зна-

комства с психологией она выписывает книги Рибо — «Психология внимания» и другие. Ольга Ульянова читает книги «столпов» народнической философии — Н. К. Михайловского и П. Л. Лаврова.

Но чтение самой разнообразной литературы «по системе» и без нее не было для Ольги самоцелью. Она пишет Владимиру Ильичу: «...с одной стороны, надо сознаться, что книг хороших и стоящих прочтения много, то, с другой стороны, и в словах Шопенгауэра есть правда, когда он говорит, что нужно меньше читать и больше думать. А думать в настоящем смысле слова гораздо труднее, чем читать». А думать необходимо: это должно было повлечь за собой дело.

Конец 80-х — начало 90-х годов — период полного идейного крушения народничества. Передовая молодежь искала революционную теорию, которая указала бы ей «доблестный и благородный путь» служения народу. На пути исканий была и Ольга Ульянова.

Ольга писала Владимиру Ильичу: «Интересно бы поговорить по всяким «вопросам», да как-то не клеится в письме». Несомненно, что под словом, взятым в многозначительные кавычки, кроется что-то очень важное, что прочными нитями связывает ее с любимым братом.

* * *

Важнейшим фактом идейной биографии Ольги Ильиничны является ее знакомство с теорией марксизма, с трудами основоположников научного коммунизма. Ольга Ульянова знала книгу Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»; вместе с братом — еще на Алакаевском хуторе — читала «Нищету философии» К. Маркса; в Петербурге она изучала «Капитал» Карла Маркса — в ее бумагах сохранился конспект III главы первого тома.

Когда Владимир Ильич весной 1891 года приехал в Петербург, он часто навещал свою сестру в общежитии Бестужевских женских курсов. Здесь с ним познакомилась Олина подруга — Зинаида Павловна Невзорова. Она пишет в своих воспоминаниях: «...сестра страшно высоко его ценила и, по-видимому, по его советам и указаниям работала».

О принадлежности Ольги к передовым студенческим кругам говорит такой факт. Весной 1891 года наи-

более сознательные пролетарии Петербурга и студенческая молодежь чествовали соратника Н. Г. Чернышевского — знаменитого писателя и общественного деятеля революционера-демократа Николая Васильевича Шелгунова. Среди самых теплых приветствий, посланных тяжело больному Н. В. Шелгунову, было и приветствие студенток Бестужевских курсов. Они горячо благодарили писателя за то, что его произведения будили общественную мысль; они звучали «как неустанное искание истины во имя любви к родине, ко всему человечеству».

Это приветствие Н. В. Шелгунову подписали почти 70 курсисток. Одной из первых стоит под ним подпись Ольги Ульяновой.

Ольга всячески старалась помочь брату, готовившемуся сдать экстерном государственные экзамены в Петербургском университете. По его просьбе она высылала книги: курс известного русского криминалиста профессора И. Я. Фойницкого, лекции профессора Н. М. Коркунова «Русское государственное право». Она выполняла и другие его «книжные» поручения; их было так много, что она наконец «взмолилась» и просит Владимира Ильича: «Вообще напиши мне что-нибудь, только уже не о книгах: мне они просто надоесть успели, лежат у меня на полке: столько я писала тебе и себе для памяти реестриков!»

Для того чтобы брат успешно сдал экзамены, важно было предусмотреть все организационные вопросы, и Ольга пишет матери: «Не лучше ли бы Володе написать прямо мне: у меня есть знакомые — юристы; может быть, я скорее узнаю через них». Она все выясняет четко, быстро, не задерживает ответ: «...советую Володе нашему немедленно ехать сюда, так как экзамены начинаются 4-го апреля и может выйти очень неудобно для него, если он приедет позже, чем бы надо... Экзамены сдавать Володе, вероятно, не трудно будет, т. е. не особенно трудно, потому что профессора, говорят, многое выпускают к экзамену из своих курсов и вообще предъявляют не слишком много требований».

Из писем Ольги к матери мы узнаем некоторые подробности о пребывании Владимира Ильича в Петербурге. 1 апреля она пишет Марии Александровне:

«Володю я видела третьего дня — была у него. Комната, которую он снял, мне нравится; особенно хорошо для него, мне кажется, то, что в квартире его тихо, так что ему удобно будет заниматься. Он, вероятно, уже писал тебе, что прошение его было принято (да и сейчас еще секретарь принимает прошения) и что хотя срок на подготовку к экзаменам сокращен, но требования, по-видимому, не особенно велики, так что он надеется, что успеет подготовиться. Вероятно, писал также, что обедать ходит в нормальную столовую».

Через несколько дней Ольга Ильинична торопится ответить на полные беспокойства о Володе письма матери.

Весна 1891 года была очень напряженной и для самой Ольги Ильиничны. Ей предстояло сдать экзамены по следующим предметам: «Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве», «Химия», «Высшая алгебра» и «Введение в анализ». Последний экзамен — по физике — был назначен на 7 мая.

Жизнь казалась удивительной, многообещающей. Впереди — надежда на отдых, на счастливое свидание с родными. Ольга Ильинична пишет матери о своем намерении пригласить в Алакаевку одну курсистку из Иркутска, которой негде провести летние каникулы, благодарит за присылку ей 30 рублей на дорогу: «Дорогая мамочка, ты, вероятно, считаешь, что я поеду по железной дороге. А я подумывала, не ехать ли на Рыбинск, так как, кажется, при этом выходит порядочная экономия денег».

Она пишет, что Владимир Ильич после сдачи очередного экзамена пришел к ней. «Мы ходили с ним гулять по набережной Невы — смотрели на ледоход». Погода здесь — «совершенная весна».

Могла ли она думать, что это последняя весна в ее жизни? Что она в последний раз гуляет с любимым братом по улицам Петербурга? Могла ли она думать, что ей больше не суждено будет любоваться Невой, увидеть родную Волгу?

В апреле Ольга Ильинична заболела брюшным тифом. Владимир Ильич отвез ее в Александровскую больницу, часто навещал, трогательно заботился. Домой, в Самару, он отправил телеграмму: «У Оли брюшной тиф, лежит в больнице, уход хороший, доктор на-

деется на благополучный исход»... Но брюшной тиф осложнился рожей, и вскоре от Владимира Ильича пришла другая телеграмма: «Оле хуже, не лучше ли маме ехать завтра»...

8 мая 1891 года на руках матери и брата Ольга Ильинична скончалась [1].

10 мая Ольгу хоронили на Волковом кладбище. Был ветреный, сырой петербургский день. Подруга О. И. Ульяновой З. П. Невзорова много лет спустя вспоминала: «Идти было трудно... Я осторожно вела под руку мать Оли, Марию Александровну Ульянову, с другой стороны ее поддерживал Владимир Ильич. Она шла молча, прямая, тонкая, хрупкая, с слегка закинутой назад головой и лишь изредка из-под полуопущенных глаз скатывались скупые слезинки. У меня сердце разрывалось от жалости. Невыносимо было хоронить Олю, чудесную 19-летнюю девушку, умницу, только что развертывавшую свои блестящие способности, милого товарища, так нелепо погибшего».

* * *

Ольга Ильинична скончалась, не успев претворить в жизнь свои мечты о служении народу. Анна Ильинична, старшая сестра, уважала цельный характер Оли, понимала ее глубокие идейные искания и потому с полным основанием писала: «Из нее вышла бы несомненно выдающаяся и преданная революционерка».

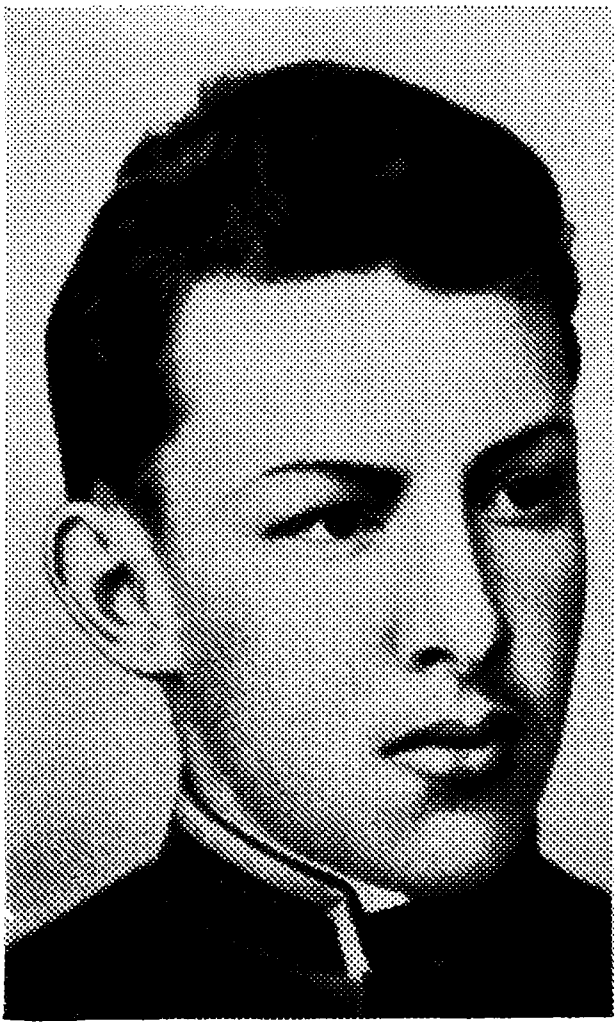
Думая о своем жизненном призвании, Ольга Ульянова писала: «В душу человека вложено стремление к истине и к идеалу. Из этого я заключаю, что человек должен всегда верить в людей, в возможность лучшего на земле, несмотря на личные разочарования, потому что так уж он создан. А если не верить в людей, не любить их, тогда для чего же жить?»

Поразительная по глубине и цельности натура, самоотверженно преданная науке, мечтавшая о служении и подвиге во имя народа, Ольга Ильинична по праву разделяет честь и бессмертную славу семьи Ульяновых.

---

[1] По трагическому совпадению Ольга Ильинична скончалась ровно через четыре года после казни Александра Ильича.

МЛАДШИЙ БРАТ



ВСТРЕЧА

План был хорош: встретить поезд в Подольске, нежданно-негаданно появиться в вагоне, обнять брата (первым из семьи!) и торжественно привезти его в Москву, на Бахметьевскую, где мать и сестры нетерпеливо ждали дорогого «сибиряка».

План был хорош. Но Дмитрий Ильич оставил без внимания два существенных обстоятельства: опоздание поезда и подмосковный февральский мороз. А дожидаться пришлось на вольном воздухе. После тюрьмы Дмитрия Ильича на год подчинили гласному надзору полиции. До конца срока ни много ни мало — четыре месяца. Гласный надзор — дело нешуточное. Даже дежурный станционный жандарм, с которым на беду Дмитрий Ильич уже имел дело, заметь он поднадзорного при посадке в поезд, обязан «водворить» его по месту жительства. Добрая была бы встреча брата, нечего сказать! Так что Дмитрий Ильич, запасясь билетом, не стал более задерживаться в здании вокзала, вышел наружу, пересек пути и прогуливался по дорожке, протоптанной пешеходами в снегу параллельно железнодорожной колее. Не самое лучшее место и время для прогулок, но что поделаешь! Впрочем, равномерное хождение по ядреному, поскрипывающему снегу — сто двадцать шагов до крайнего домика, где дорожка круто сворачивала вправо, сто двадцать шагов обратно — давало возможность собраться с мыслями, подумать о предстоящей встрече. В этом был свой резон.

За три года вынужденной разлуки произошло много событий. Вот тюрьма. Конечно, она была естественным результатом нелегальной деятельности. Как говорится в народе: от сумы да от тюрьмы... Тем не менее приход полиции и агентов в штатском на квартиру в тихом районе Арбата, где жили Ульяновы, оказался неожиданным. Пока вызвали на первый допрос, было время прикидывать и гадать, что полиции известно, что неизвестно. Проходил сперва по «делу о союзном Совете объединенных землячеств», потом по «делу о Московском рабочем союзе». Вышел из тюрьмы осенью и отправился в Тулу под гласный

надзор, затем удалось добиться перевода в Подольск. Из университета, конечно, выкинули, хотя доучиваться оставался лишь один год. Вряд ли разрешат. Да и нужно ли продолжать заниматься медициной? Вот вопрос, который мучительно решал для себя Дмитрий Ильич. Нет, он не разочаровался в призвании, медицина по-прежнему казалась ему самой человечной профессией. Но что может сделать врач в условиях российской действительности, когда систематически голодают миллионы, когда пухнут и мрут дети. Как важно знать, что думает по этому поводу Володя...

Всякому ожиданию приходит конец. Показался поезд. На платформе появились железнодорожные служащие, пассажиры, разносчики разной снеди. Астматически дыша, паровоз преодолевал последние сажени пути. Баба в овчинном тулупе до пят неуклюже бежала рядом с медленно ползущими вагонами, прижимая к груди укутанную ватным одеялом корзину. Дмитрий Ильич купил у нее еще теплый пирог с мясом, несколько ржаных лепешек с картошкой и поднялся по скользким от наледи ступеням в вагон третьего класса.

По всему видно было, что публика едет из холодных стран. На полках валялись меховые шубы, сибирские дохи, шапки с длинными наушниками. Медленно пошел по проходу, высматривая брата. Вот он!..

Владимир Ильич сидел, согнувшись над поставленным на ребро чемоданом, и быстро писал. Не поднимая головы, он что-то спрашивал у сидящего рядом старика, по виду небогатого мещанина. Почувствовав устремленный на него взгляд, Владимир Ильич обернулся. Глаза его потеплели, заискрились. Он встал из-за своего «письменного стола» и обнял брата.

— Митя, дорогой!

Чувствуя, как першит в горле, Дмитрий Ильич приник к сильному родному плечу, продолжая в каждой руке держать по злосчастному пирогу и лепешке, от которых так и не успел избавиться. Владимир Ильич покосился на его дары и весело рассмеялся.

— Со своим угощением. Ай да Митя! Познакомьтесь,— обратился он к старику,— мой младший брат.

Быстро спросил: «Как мама? Как все?» Получив

ответ, что здоровы, с нетерпением ждут его в Москве, удовлетворенно кивнул и сказал:

— Извини, Митя, сейчас закончу. Допишу, пока поезд не тронулся,— и стремительно стал заполнять белый лист бегущими строчками.

— Вот и все. Возьмите, уважаемый, и действуйте, как я вам советовал.

— Премного благодарствую,— поклонился старик, бережно принимая бумагу.— Позвольте-с вам за труды,— протянул он извлеченную из кошелька бумажку.

— Нет, нет,— отмахнулся Владимир Ильич.— Действуйте, уважаемый, действуйте. Право на вашей стороне. Однако не надейтесь на скорое решение.

— Это мы понимаем,— вздохнул старик.— Его, ябедника, голыми руками не ухватишь. Спасибо вам, сударь,— еще раз поклонился старик и отошел.

Раздались три удара станционного колокола. Поезд тронулся. Владимир Ильич задумчиво смотрел, как мимо полузамерзшего окна проплывали станционные постройки.

— В чем его дело? — спросил Дмитрий Ильич, кивнув в сторону старика.

— Обычное надругательство сильного над слабым... А ты возмужал, Митя. Ну-ка повернись к свету. Да, как-никак три года,— говорил Владимир Ильич, ласково поблескивая глазами.— Помнишь наше свидание в предварилке, а?

Да, свидание в предварилке!.. Это было осенью 1896 года. Дмитрий Ильич на несколько дней приехал из Москвы в Питер, навестить арестованного брата. В доме предварительного заключения посетителям разрешалось разговаривать с узниками только через двойную решетку. В узком пространстве между рядами железных прутьев ходил надзиратель. На младшего Ульянова впервые увиденная тюремная обстановка произвела угнетающее впечатление. Владимир Ильич, пытаясь приободрить брата, сказал что-то веселое и сам искренне расхохотался.

— Смеяться в тюрьме не дозволено,— неодобрительно произнес надзиратель.

После свидания Дмитрий Ильич долго не мог прийти в себя. Тюрьма перестала быть отвлеченным символом, обрела конкретность: там, за решетками, в

одиночной камере, без неба, без солнечного света, томится его брат. Через 14 месяцев после ареста Владимир Ильич вышел из тюрьмы и по дороге в сибирскую ссылку остановился в Москве. Похудевший, бледный, но полный энергии и надежд.

— Ну, ну, в милейшей предварилке мы совсем даже недурно устроились,— заметил он, когда брат рассказал, какое чувство унес со свидания.— Библиотека там вполне приличная, наладили связь с внешним миром, занимайся каждый своим делом. И знаешь, первая моя мысль, когда раздалась команда: «Ульянов, собирайте вещи», была...

— «Черти полосатые, не дали кончить книгу».

— Угадал, проницательный брат мой,— засмеялся Владимир Ильич. И уже без улыбки добавил:

— Тюремные препятствия, милый Митя, преодолимы, как и всякие другие. Или ты, невзирая на решетку, будешь хозяином своей судьбы, или тюрьма сломает тебя, сломает и раздавит. Tertium non datur — третьего не дано.

Не так уж много времени прошло после этого разговора, как Дмитрий Ильич сам оказался за решеткой. Первые дни с возбужденным любопытством наблюдал тюремный быт. Но любопытство скоро уступило место раздражению, перешедшему в трудно сдерживаемое бешенство. Тяготили не бытовые лишения. Дмитрий Ильич не был избалован. Мучили зависимость от чьей-то тупой и злой воли, непреложный, раз и навсегда установленный порядок, попирающий человека и его достоинство. Он возненавидел хриплые голоса надзирателей, их команды, грузные мерные шаги по гулкому коридору, звон ключей, железный скрежет отпираемых и вновь запираемых замков. Пропал сон. Резко ухудшилось здоровье. И как ни старался Дмитрий Ильич стать «хозяином своей судьбы», то есть отрешиться от всех тюремных раздражителей, ему это не удалось. Каково сложится в следующий раз? А что «следующий раз» будет, Дмитрий Ильич не сомневался.

Но сегодня на заданный братом вопрос в тон весело ответил:

— Попробовал было забыть, да матушка Таганка напомнила.

С удовольствием отметил, что брат выглядит гораздо свежее и здоровее, чем после «предварилки».

— Вещи мои собраны, время еще есть,— сказал Владимир Ильич,— пройдем в тамбур, поговорим.

В тамбуре никого не было. Вагон сильно раскачивало на стрелках. Снизу, из-под пола, отчетливее, чем в вагоне, слышался равномерный перестук колес.

— Рассказывай, Митя.

...Перестук колес стал реже, поезд замедлял ход. Через тамбур торопливо прошел кондуктор в черной, перехваченной ремнем форменной куртке.

— Прибыли, Москва!..

Вышли на привокзальную площадь. Подкатил лихач.

— Прокачу, ваш-ство...

Владимир Ильич отрицательно покачал головой, решительно направился к веренице извозчиков и сел в крайние сани. Дмитрий Ильич устроился рядом, кое-как распихали ручной багаж.

— Насколько я понял, Митя, интерес к противоэпидемическому и санитарному делу у тебя давний и стойкий? — продолжил Владимир Ильич прерванную беседу.

Дмитрий Ильич рассказал о волновавшей в ту пору медиков разгадке природы чумных и холерных эпидемий. Над этим много и плодотворно работали в 90-х годах русские ученые. Споры и дискуссии, в которых принимали участие виднейшие биологи И. И. Мечников, Д. К. Заболотный и другие, коснулись и Московского университета. Некоторые студенты-медики предложили свои услуги по борьбе с эпидемиями. В числе их был Дмитрий Ульянов. О намерении Мити ехать «на чуму» Мария Александровна писала Владимиру Ильичу в Шушенское. Но студентам-добровольцам было предложено заканчивать учение. Дмитрий Ильич перешел на последний курс и, наверное, через непродолжительное время сумел бы настоять на своем, но последовал арест. Вместо поездки на борьбу с эпидемией он очутился в Таганской тюрьме. Надежда на разрешение окончить курс слабая. Надо ли добиваться? Может быть, лучше иначе применить свои силы.

— Надо добиваться! — твердо сказал Владимир Ильич.— Медицина у тебя не блажь, а призвание. Не сомневаюсь, ты не станешь модным доктором, а пойдешь в земство. Откроется возможность активной связи с народом, связи органической, многосторонней. Тебе не доводилось читать интереснейшие наблюдения земского врача Кудрявцева за судьбой пришлых сельскохозяйственных рабочих в Таврии или схожий труд доктора Тезякова по Херсонской губернии? Нет? Жаль. Помнишь, наверное, я использовал некоторые их материалы в своей книге. Эти исследования и другие подобные приподнимают краешек завесы, прикрывающей условия труда в деревенских захолустьях. Деятельность земского врача поможет тебе и в практической работе в партийных кружках. Нам очень нужны будут, Митя, верные люди.

— У тебя есть конкретный план? — заинтересованно спросил Дмитрий Ильич.

— Поговорим позднее... Да, хочу еще раз поблагодарить за доброе ружье, за книги — чувствую, пришлось похлопотать,— и за поправку к рукописи... [1]

Бахметьевская улица, что неподалеку от Камер-Коллежского вала. Дом № 25. Увидев через окно подъезжающего извозчика, мать и сестры вышли на лестницу. Владимир Ильич стремительно, через две ступеньки, взбежал наверх и обнял мать.

— Какой же ты худой, Володя,— горестно воскликнула Мария Александровна.— Как же писал, что поправился? Дети, раздевайтесь, умойтесь и скорее к столу.

— Я не голоден, мамочка, меня Митя подольскими пирожками накормил. Чудо-пирожки! — заговорщически подмигнув брату, говорил Владимир Ильич. И торопливо спросил: — Есть мне письмо? Нет? Как же так... Митя, не в службу, а в дружбу, пожалуйста, отнеси телеграмму на почту.

---

[1] Владимир Ильич имел в виду замеченную братом цифровую неточность в тексте рукописи «Развитие капитализма в России». «Ошибку в начале II § IV главы (стр. 346) ты отметил совершенно верно, спасибо за это,— писал из ссылки Ленин брату.— Надо 41,3 миллиона четвертей, а не 14,3. У меня в 1-ом черновике было верно... *Пожалуйста, пошли эту поправку тотчас же*».

Возвратившись домой, Дмитрий Ильич уже на лестнице услышал доносившуюся из-за двери незнакомую мелодию. В столовой у фортепьяно собралась вся семья.

— К нам, Митя, к нам! — воскликнула Мария Ильинична, подбиравшая на фортепьяно аккомпанемент.— Володя из Сибири привез новые песни.

Владимир Ильич с увлечением пел, энергично дирижируя:

То не зверь голодный завывает,
Дико разыгралася пурга.
В шуме ветра ухо различает
Хохот торжествующий врага.

И хор дружно подхватывал:

Смело, други, смело,
И над долей злой
Песней насмеемся
Удалой!

— А теперь я вас научу отличной песне «Червоны штандар»,— объявил Владимир Ильич.

В маленькой столовой сперва робко, потом все увереннее зазвучала страстная и гневная мелодия, облетевшая за полвека многие страны Европы. «Червоны штандар» со своей родины принесли в холодную Сибирь польские революционеры:

А колёр штандара червоны
Бо на ним работникув кров.

Вскоре вся рабочая Россия пела родившееся из «Червоного штандара» «Красное знамя».

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд,

Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд.

Лейся вдаль, наш напев! Мчись
кругом!
Над миром наше знамя реет...

Устала Мария Александровна, ушла к себе. А молодые Ульяновы сидели еще долго. Наверное, в этот вечер Владимир Ильич поделился с сестрами и братом продуманным в ссылке планом создания общерусской газеты.

Наступила весна. Ульяновы жили в Подольске, в одноэтажном домике на берегу Пахры. В июне к родным приехал Владимир Ильич. Требовалось соблюдать осторожность: после возвращения из ссылки его снова арестовали «по причине незаконного приезда в столицу», затем выпустили и направили в Подольск в сопровождении полицейского чиновника. Посторонний, заглянув в примыкающий к домику сад, мог увидеть молодых людей, занятых крокетом. Но в крокет играли не только для отвода глаз, сражались азартно, партия на партию. Владимир Ильич вносил в игру самозабвенное веселье и страсть борьбы.

Иногда в игре принимал участие знакомый Дмитрия Ильича санитарный врач Вячеслав Александрович Левицкий. Высокий, худощавый, с глубоко посаженными темными умными глазами, он сразу понравился Владимиру Ильичу. На вопросы Левицкий отвечал односложно, пока не зашел разговор о местных промыслах и их пагубном влиянии на здоровье населения уезда. Куда девалась сдержанность доктора Левицкого. С возмущением и болью он рассказывал, как пары ртути, применяемой в наиболее распространенном в этих краях производстве фетровых шляп, отравляют рабочих и буквально калечат их потомство.

В домик на берегу Пахры прибывают для переговоров о газете П. Н. Лепешинский и другие социал-демократы. В июле Владимир Ильич выезжает за границу, в декабре выходит первый номер «Искры» — общерусской марксистской газеты, сыгравшей огромную роль в истории партии.

А Дмитрий Ильич, по выражению старшего брата, «засел за науки»: добивается права завершить образование, проходит последние два семестра в Юрьевском (Дерптском) университете, который и заканчивает в декабре 1901 года.

Первую самостоятельную работу молодого врача (в грязелечебнице под Одессой) грубо обрывает новый арест. Освобожденный из одесского тюремного замка под гласный надзор полиции, Д. И. Ульянов нелегально живет в Туле. С местной социал-демократической организацией он связан еще с 1897 года.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Впереди на ровной террасе приречной поймы маячила ломаная линия стогов. Солнце палило нещадно. Парило, как перед грозой. Небо спокойно голубело, только вдали висела небольшая тучка.

Дмитрий Ильич вскинул на плечо дорожную корзинку и прибавил шагу. До грозы надо успеть к стогам: больше укрыться негде. Селение еще далеко, да и все равно не стоит входить днем, лучше дождаться темноты. И поразмыслить не мешает. После того как в Туле его избрали делегатом на II съезд РСДРП, не было спокойной минуты. Выбор пути и подготовка перехода через границу для человека, уже сидевшего в московской и одесской тюрьмах, на которого в охранном отделении департамента полиции и в некоторых губернских жандармских управлениях имелись досье, оказались делом непростым.

Остался один, завершающий шаг. Чтобы добраться до Женевы, предстоит пересечь половину Европы. Но главное — сегодня. Как ни охраняется граница, всегда найдется лазейка... Сколько еще до стогов? Казалось, от силы саженей двести, а тут добрых три версты. В известном смысле это хорошо. Значит, не сбился с дороги. Объясняя маршрут, кишиневский товарищ говорил, что здесь ширина поймы достигает семи верст. Видно, так оно и есть. Поразительно, как на плоскости скрадывается расстояние. Проклятый стог пятится назад.

Глухо прогромыхало, словно по неровной булыжной мостовой прокатили огромную бочку. Сразу потемнело. Темно-лиловая туча захватила полнеба и продолжала расти. От реки потянуло холодом. Упало несколько первых капель. Снова громыхнуло... Наконец стога. Нырнул вместе с корзинкой в свежее сено. Совсем близко ударил гром. Сверкнула молния. По вершине стога зашуршали дождевые струйки. И вдруг с неба хлынули потоки воды.

Внутри стога сухо. Пахнет полынью, мятой, чабрецом. Как в детстве, в Кокушкино. И еще чем-то незнакомым, южным. Гроза усиливалась. Огненная вспышка озарила темное небо, почти сразу оглушающе грохнуло...

Лето в 1903 году было в России грозовым. В прямом и переносном смысле. Подобно тому как насытившее атмосферу электричество конденсировалось в разрядах молнии, долго зревшее возмущение рабочего класса вылилось в массовые политические стачки — новое мощное оружие классовой борьбы.

В Петербурге, Москве, на Урале, юге России останавливаются фабрики и заводы, рабочие выходят на улицу уже не только с экономическими, а и с политическими требованиями, то там, то здесь происходят вооруженные столкновения с полицией и войсками. На юге страны, об этом Дмитрий Ильич узнал от товарищей во время своей поездки, готовится всеобщая политическая стачка. Российский пролетариат созрел для великих свершений. Нужна партия, способная возглавить массы. Нужна, как никогда!

Для этого и собирается съезд. Второй делегат от Тульского комитета — Степанов пробирается западным путем. А Дмитрий Ильич выбрал более знакомый ему — южный. И кое-какие встречи важно осуществить до съезда. В Кишиневе оказалось, что обычный маршрут перехода через границу временно закрыт. Был провал, необходимо прояснить ситуацию. Что же делать, ждать или идти другим путем?

— Можно попытаться перейти вот здесь,— сказал кишиневский товарищ, показывая по карте.— Отсюда железнодорожная линия в направлении Вены.

— В чем же дело? Переправа ненадежная?

— Как вам сказать. И да и нет. Есть там человек один. Пришлый из России. В Бессарабии давно. Пустил корни. Он кузнец. Кузница, хозяйство. Живет не бедно. Однако царскую власть ненавидит лютой ненавистью. И если захочет — вы единым духом окажетесь по ту сторону границы.

— То есть как «если захочет»?

— В том и заковыка. Тимофей Маркелович мужчина «ндравный», как говорится. Нравится ему нелегальный — дело сделано, не нравится — от ворот поворот.

— И выдать может?

— Ни за что. Просто не станет путаться. Ищи, скажет, мил человек, другую дорожку. Одним словом, на ваше усмотрение.

Подумал. Что ж, риск невелик. В крайнем случае вернусь назад. А вдруг понравлюсь «ндравному» перевозчику.

— Давайте явку на Тимофея Маркеловича.

— Что такое куз, кузюки слыхали? Крепостные уральских заводов, клеймо такое было.

— Читал.

— Предки его, насколько я знаю, из кузюков. Так вот, пароль к Тимофею Маркеловичу: «Я до Кузи». Он спросит: «До какого такого Кузи?». Вы: «Ясно до какого». Если ответит: «И ясно, и красно, и видно верст за сто», считайте, что вы уже на той стороне. Ответ может быть и такой: «Проваливай, паря, был Кузя, да весь вышел». Тут уж никакие уговоры не помогут. И кто его разберет, опасно переправлять или просто ему ваша личность не приглянулась. Вот так. Не в оправдание Тимофея Маркеловича, а справедливости ради нужно сказать, что был случай, он шпика разгадал. Но нельзя же только по внешности судить о человеке. Вот почему маршрутом этим пользуемся редко. Ну, ни пуха вам.

Дождь перестал. В чистом голубом небе парил стрепет. Дмитрий Ильич подумал, что здесь, в пойме, наверное, добрая охота. И как хорошо бы пострелять уток. Ругнув себя за легкомыслие, не соответствующее моменту, вылез из стога, отряхнулся и зашагал, с удовольствием вдыхая чистый, напоенный озоном воздух. Обойдя село с севера, увидел на отшибе чисто выбеленную мазанку, а поодаль от нее — черный копченый кирпичный сарай, явно деревенскую кузницу.

Подошел к ограде. Огромный рыжий пес сердито заворчал, когда Дмитрий Ильич попытался открыть калитку. На вторую попытку пес ответил еще более грозным ворчаньем. Нос его сморщился, верхняя губа приподнялась, обнажив такие клыки, что Дмитрий Ильич счел за благо остановиться и позвать хозяина.

— Тимофей Маркелович!

Пес перестал ворчать, но не двигался с места. Дмитрий Ильич прислушался. Из дома доносились какие-то неясные стонущие звуки.

Собака повернула в сторону дома свою массивную голову, из ее пасти вырвалось короткое завывание, тут же снова перешедшее в ворчание.

— Ну и ну,— растерянно проговорил Дмитрий Ильич.— Что тут творится, песик, не можешь мне объяснить?

Собака внимательно смотрела на человека, словно пытаясь понять вопрос, но не двигалась с места. Стоило Дмитрию Ильичу коснуться рукой калитки, как снова обнажились клыки и раздалось угрожающее ворчание.

— Тимофей Маркелович! Эй, кто-нибудь!

Появился мужик, большой, бородатый. Он спустился с крыльца, подошел к калитке, мимоходом небрежно, но ласково провел рукой по лохматой голове пса.

«Не пнул ногой, как это делается обычно, а погладил,— непроизвольно подумал Дмитрий Ильич.— Добрый».

Нет, вряд ли по внешнему виду хозяина дома можно было назвать добрым. Глубоко посаженные глаза смотрели колюче-сурово, словно пытались проникнуть в душу незваного гостя. «Черт его знает, такой может и шпика распознать»,— мелькнуло у Дмитрия Ильича. Назвал пароль:

— Я до Кузи.

Мужчина не отводил взгляда, пристально разглядывал гостя.

— Я до Кузи,— недоуменно повторил Дмитрий Ильич. И не дождавшись ответа, спросил: — Это дом Тимофея Маркеловича?

Мужчина кивнул:

— Я Тимофей Маркелов и есть... Не вовремя ты, мил человек, хоть до Кузи, хоть до Кузьмы. Жена помирает.

Из дома все время доносились невнятные стонущие звуки. Дмитрий Ильич прислушался. Стоны перемежались бормотанием. Слов разобрать было нельзя. Тимофей Маркелович гневно сжал кулаки.

— За что?! Слышь, как мается. Плачет, внутри будто молотками бьет. Неужто помрет? А? За грехи послано, бабка говорит. Какие такие грехи? Букашку и ту в жизни не обидела.

Его тяжелый взгляд по-прежнему не отпускал незваного гостя.

«Я делегат съезда и должен во что бы то ни стало

перейти границу,— думал в это время Дмитрий Ильич.— Но я врач. Имею ли я право пройти мимо. И чем больна женщина? Сумею ли помочь? Без медикаментов, без ничего. И разрешит ли муж даже взглянуть на больную? Нет, ничего хорошего из этого не выйдет».

— Не вовремя ты, мил человек,— после паузы сказал Тимофей Маркелович.— Иди себе с богом.

— Конечно, конечно. Прощайте.

Неожиданно для самого себя добавил:

— Впрочем, я бы сперва осмотрел больную, если разрешите?

Хозяин молчал.

— Прошу разрешить осмотреть больную,— повторил Дмитрий Ильич.

Сам того не ощущая, эту фразу произнес иначе, чем предыдущие. В ней непроизвольно прозвучали уверенные и властные «докторские интонации», их студенты-медики переимчиво схватывают у любимых профессоров. «Властителем дум» студентов-медиков Московского университета многие десятилетия был Григорий Антонович Захарьин, заслуженный профессор и директор университетской клиники. В пору, когда Дмитрий Ильич учился на факультете, Захарьину перевалило за шестьдесят. Но по-прежнему молоды были его движения, молодо и властно звучал голос.

Как-то в споре с товарищем-медиком Дмитрий Ильич высмеял эти внешние профессорские атрибуты: «Григорий Антонович — изумительный диагност и вообще гений. Его знание человеческого организма непревзойденно. Вот чему нужно учиться, а не голосу и походке. Мы — врачи, а не актеры».

В своей молодой запальчивости Дмитрий Ильич был не совсем прав. За недолгое время самостоятельной врачебной деятельности он убедился, что личность врача, впечатление, которое он производит на больного, зачастую важнее прописанного рецепта.

Впрочем, ни о чем таком Дмитрий Ильич в ту минуту не думал; он просто произнес: «Разрешите осмотреть больную». И, не дожидаясь ответа, отворил калитку. Пес стоял неподвижно, только покосился на хозяина, ожидая приказа. Верхняя губа его снова поднялась и обнажилась.

— Осмотреть? Ты что, понимаешь в этом деле? — также угрюмо спросил хозяин.

— Понимаю.

Из комнаты доносились отчетливые, но непонятные стонущие звуки:

— Уй, дой, трей, патру, чинч...

И снова Тимофей Маркелович ответил на немой вопрос:

— Молдавский счет это. Один, два, три, четыре. Чтобы не кричать,— пояснил он.

Дверь из комнаты больной отворилась. Показалась высокая костистая старуха.

— Худо дело, Маркелыч,— посылай за отцом Никодимом.

Дмитрий Ильич отстранил старуху и вошел в комнату.

На кровати в лихорадочном болезненном возбуждении металась женщина.

— Что с вами? — спросил Дмитрий Ильич, нащупывая пульс на влажной от пота маленькой руке.

— Не понимает она,— объяснил вошедший следом Тимофей Маркелович и произнес что-то по-молдавски.

— Мэ доаре,— прошептала женщина.

— Говорит: «Мне больно».

Пульс был резко учащен.

— Спросите, где больно. Здесь?.. Здесь?.. Здесь?..

И снова прерывающийся шепот:

— Ну читиу.

— Говорит: «Не знаю».

Дмитрий Ильич не заметил, как попыталась вмешаться старуха, как хозяин решительно отстранил ее, после чего старуха исчезла.

Коротко спросил:

— Началось внезапно?

— Сразу схватило,— подтвердил Тимофей Маркелович, настороженно следя за манипуляциями незваного доктора.

Боясь верить догадке, Дмитрий Ильич еще раз внимательно прослушал сердце и пульс больной. Да, кажется, так. Что ж делать? В памяти возникла картина. Клиника Московского университета. Профессор

Захарьин делает обход, за ним врачи, цепочка студентов. Больная по поведению и симптомам очень схожа с бедной милой молдаванкой.

— Господа,— слышен голос Захарьина.— Перед вами классический случай пароксизмальной тахикардии. Следует устранить вызвавшие ее причины, для чего существует простое и превосходно отвлекающее средство: раздражение блуждающего нерва. Мы надавливаем большими пальцами рук одновременно на глазные яблоки... Вот так.

И действительно, тогда у больной приступ мгновенно закончился. Но ведь это был Захарьин.

Облизнув пересохшие губы, Дмитрий Ильич охрипшим голосом сказал:

— Тимофей Маркелович, сейчас я попробую... Не обещаю, но испробовать надо. Худа ей не будет.

Хозяин молча наклонил голову. Дмитрий Ильич положил руки на лицо больной, пальцами нащупал нужную позицию и замер в нерешительности.

— Кто таков? — раздался грубый голос.

Не оглядываясь, почувствовал возникновение какой-то новой опасности, это подтолкнуло. С силой нажал на глазные яблоки...

Произошло чудо. Во всяком случае, так показалось присутствующим, а их было четыре человека: Тимофей Маркелович, костлявая старуха — местная знахарка, приведенный ею солдат в форме пограничной стражи и сам Дмитрий Ильич, сотворивший «чудо».

Женщина затихла, открыла глаза. Села на постели, стыдливо кутаясь в одеяло. Все молчали. Она благодарно посмотрела на Дмитрия Ильича и тихо сказала:

— Мулцумеск.

Старуха знахарка удивленно всплеснула руками.

— Спасибо, говорит,— перевел Тимофей Маркелович. Он неожиданно рухнул на колени перед женой, а она ласково гладила спутанные черные с проседью волосы.

Через несколько секунд Тимофей Маркелович справился с собой, встал и коротко сказал:

— Пожалуйте в горницу.

Когда все оказались в горнице, притворил дверь в комнату и спросил, не отрывая от стражника тяжелого взгляда:

— Что делать будем, Алексей Сазоныч?

Стражник, явно обескураженный, откашлялся и совсем не так, как в первый раз, спросил:

— Кто таков?

— Господин доктор из города. Кто еще. Скончит лечение и поедет своей дорожкой. Поедет, понял? Ты ведь меня знаешь, Алексей Сазоныч? А завтра, если хозяюшка поправится...— он вопросительно посмотрел на Дмитрия Ильича, тот утвердительно кивнул,— милости прошу к нам, Алексей Сазоныч.

— Я хотел бы дать вам кое-какие медицинские советы,— сказал Дмитрий Ильич.— Найдется чем писать?

Тимофей Маркелович принес пузырек с чернилами, деревянную вставочку и листок бумаги, а старуха знахарка подвинула к столу лавку, предварительно обмахнув ее полотенцем.

«Черт знает что! — подумал Дмитрий Ильич.— Прямо как с профессором Захарьиным. И эта бабка тоже...» Быстро написал рецепт-памятку.

— Наперстянку знаете? Красные цветы такие, колокольчиками.

— Знаю, батюшка,— подобострастно проговорила старуха.

Дмитрий Ильич покосился на нее и улыбнулся про себя: «Добро еще «батюшка», а то как бы не «коллега» — и продолжал:

— Соберите листья, желательно с растений второго года цветения и с верхней части стебля, высушите, храните в хорошо прикрытых банках и давайте в виде настоя. Как и по скольку, я здесь написал...

Дмитрий Ильич и хозяин остались одни. Тимофей Маркелович, глядя через окно на удаляющуюся фигуру солдата, проговорил:

— Не мыслю на Сазоныча, однако... Промайтеська, господин доктор, до ночи тут в одной хате, вон там, на задах, а потемну я заеду.

Дмитрий Ильич «промаялся» до десяти вечера в многосемейном домике, куда его провели. Тимофей Маркелович, как и обещал, заехал за ним на телеге. Где-то оставили телегу и без дороги пробирались по кустам. Перешли вброд речку с очень быстрым течением. Провожатый крепко держал Дмитрия Иль-

ича за руку. Дальше были поля... И опять поля, но уже за границей.

Тимофей Маркелович не останавливался, пока не дошли до какой-то будки. Шепнул:

— Дожидайтесь здесь. Я скоро.

Действительно, вернулся скоро.

— Сховайте билет. Станция вот,— он указал в темноту.— Придет поезд, садитесь, как у себя дома,— крепко пожал руку.— Ежели что, адрес знаете,— предостерегающе поднес палец к губам и скрылся в темноте.

Дмитрий Ильич, удивляясь, что все прошло так гладко, взял изрядно надоевшую корзинку и направился в сторону станции.

Темноту прорезал хриплый гудок поезда.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Киев готовился встретить новый, 1904 год. День 31 декабря выдался морозным и ясным. Над крышами стояли столбы белого дыма. Холодное солнце искрилось на заснеженных деревьях и потолстевших от инея телеграфных проводах. Нагруженные свертками и кульками, подгоняемые морозом, торопились прохожие. У круглой афишной тумбы, на углу Владимирской и Фундуклеевской, остановился мужчина. Казалось, что в этот суматошный предновогодний день он один никуда не спешит. С явным интересом взглянул на анонс цирка: «Экстраординарное представление! Букет артистического искусства! Грандиозное шествие — проводы старого и встреча нового года в 30 картинах!» Перешел к афише с новогодней программой киевского русского купеческого собрания: «Бал-маскарад. Мужчин просят быть в вечерних костюмах!» Неторопливо обогнул тумбу. На противоположном углу у ресторана два заиндевевших господина изучали меню. Мужчина окликнул извозчика, быстро уселся в санки и запахнул медвежью полость:

— На вокзал.

Застоявшаяся лошадь взяла с ходу. Двое у ресторана бросились к ближайшим санкам.

— За этим... живо!

— Рази догонишь. Рысак энтот...— бормотал извозчик смерзшимися губами.

— Зряшное дело. Ушел Темный,— сердито сказал один из седоков.

Извозчик вздохнул и задергал вожжами.

...Пассажирский прибыл без опоздания в 4 часа 10 минут дня. Зверка не приехала. Следующий поезд, скорый,— в 6 часов 30 минут. Дмитрий Ильич (именовавшийся в донесениях агентов киевской охранки Темным) решил ждать, так было безопаснее. От филеров, кажется, удалось оторваться.

Последние месяцы постоянно чувствовал: за ним следят. Чутьем конспиратора угадывал — готовятся. Поэтому и приехал на вокзал. Нельзя допустить, чтобы Зверка — она же по паспорту Зинаида Дешина, она же временно Лидия Гобби, она же истинная Мария Эссен — была схвачена с материалами объезда комитетов. Более десятка городов объехала Эссен за последние месяцы. Завоевание комитетов — важнейшая задача русской части ЦК РСДРП. На этом настаивает Ленин... Надо продумать тактику завтрашнего совещания с членами Киевского комитета.

Где же подождать? Лучше всего в буфете третьего класса.

— Пожалуйста, чайник и заварку.

Чайник полуведерный. Интересно, сколько чая может выпить человек, когда ему вовсе не хочется пить?.. Даст ли полиция возможность собраться?..

Многоголосо гудит станционный буфет. Мутной пеленой висит табачный дым. Поблизости кто-то, невидимый за печкой, рокочет протодьяконским басом:

— Литургию будет служить сам преосвященный Платон, епископ Чигиринский...

Куда это станционный жандарм?.. К стойке. Ну, ну... Слежка усилилась. Вот на улице вместо одного двоих приставили. Спасибо за честь... Круг явно смыкается. Скверно. Пришлось уничтожить адреса явок, шифры, списки. Только в памяти. Туда полиция еще не научилась заглядывать. Много, очень много надо держать в памяти. В Киев прибывают товарищи со всех концов России. Каждого нужно обеспечить явкой, снабдить паспортом и деньгами. Ох, как нужен

этот «презренный металл» партии. Вспомнились недавние встречи с Максимом Горьким, глуховатый окающий голос: «Берите, берите, на доброе дело не жалко». Поездки пришлось прекратить и принять у Зинаиды Кржижановской все партийное «хозяйство»: адреса, транспорты с литературой и пр. Не совсем по призванию, да что поделаешь. Надо.

...Безостановочно хлопают входные двери. Шум сгущается и, кажется, висит в помещении, как пелена дыма. Шум — это ничего. Вроде безопаснее думать, а разговаривать и подавно. Вот у Кржижановского в лаборатории чего-чего, а шума сколько душе угодно. Отличное место для конспиративных встреч — лаборатория испытания строительных материалов управления железной дороги. Здание огромное, сотни людей входят и выходят... Читали там письмо Ленина. Кржижановский включил мотор, металлический барабан завертелся, внутри загрохотало, застонало, заскрежетало. Так, оказывается, испытывают образцы. Это было... месяца два уже прошло. Крепко досталось от Ленина и Глебу Максимилиановичу, и всем: «Между тем комитеты остаются без призора: в Киеве глупят...»

Эссен (она тогда недавно приехала из Одессы) за шумом не расслышала или сделала вид — кто ее знает, озорную неунывающую Зверку,— переспросила: «Что в Киеве?» Кржижановский подозрительно покосился на нее и продолжал читать: «Чем распределять функции, не важнее ли занять агентами местечки в каждом комитете...» Затем Кржижановский ездил в Женеву, вернулся оттуда с новым зарядом энергии... и иллюзиями о возможности мира с меньшевиками. Скоро, очень скоро иллюзии эти потерпели полный крах. И вот совсем на днях новое гневное письмо Ленина:

«...Бросьте наивную надежду мирно работать в такой невозможной атмосфере. Направьте все *главные* силы на объезды... *обеспечьте* тотчас окончательно свои комитеты, двиньте затем атаку на чужие и... съезд, съезд не позже января!» «Свои» — это Петербургский, Московский, Нижегородский, Одесский... 14 комитетов. «Чужие» — это прежде всего, как ни странно, находящийся «под боком» Киевский. «Завтра «двинем атаку», как этого требует Ленин»,— подумал

Дмитрий Ильич и улыбнулся: даже в мыслях назвал брата Лениным. Ленин! В письмах к родным он для него по-прежнему Володя — чудесный товарищ детства и юности. В политической борьбе — Ленин, вождь партии. Может быть, впервые во весь рост увидел он брата на II съезде.

Густеет табачный дым, звенит посуда, бегают потные половые. Рокочет невидимый бас:

— По благословению его высокопреосвященства в Софийском и Владимирских соборах совершены будут новогодние молебные пения...

Действительно, завтра Новый год. Не до веселья. Для мамы решили все же отпраздновать. В кои веки собрались вместе, кроме Володи. Третьего дня написали в Женеву, поздравили, пожелали счастья... Что-то делает сейчас Володя? Трудно ему. Меньшевики губят только что сложившуюся партию. Завтра будет большой разговор с киевлянами.

Кто это подходит к столику?

— Нет, не занято, пожалуйста... На шпика вроде не похож... Кто его знает. Уходить нельзя...

Вот так весной подсел один в буфете небольшой румынской станции; Дмитрий Ильич тогда пробирался на II съезд. Этот человек оказался русским врачом, коллегой, милейшим человеком. До утра говорили о Чехове... С этим о Чехове не поговоришь... Ну и аппетит у господина. Пожалуй, шпик не будет так натурально чревоугодничать... Четверть седьмого. Через пятнадцать минут поезд. Можно выйти на дебаркадер.

А в это время Мария Александровна через окошко своей квартиры тревожно высматривала Анну Ильиничну, которая уже давно пошла покупать елку.

— Ани все еще нет. Знаешь, Маняша, этот человек опять во дворе.

— Не обращай внимания, мамочка... А вот и Аня. Смотри, смотри... Он помогает ей нести.

Шаги по деревянной лестнице: тяжелые — «этого человека» и легкие — Анны Ильиничны. Елка в комнате. Терпко запахло хвоей, лесом.

— Очень неосторожно, Аня,— укоризненно сказала Мария Александровна.— По-моему, ты попросила об одолжении агента полиции.

— Ну и что же, мамочка? Ульяновы празднуют Новый год. Ведь в этом нет ничего предосудительного.

— Дети, украшать елку! — почему-то шепотом сказала Мария Александровна.

Сколько раз произносила эту фразу дома, в Симбирске. Тающие сосульки на зеленых иглах, запах хвои... Вокруг елки толпятся дети. Старшие — Аня и Саша — вешают украшения, заботливо спрятанные еще с прошлогодней елки. Володя что-то мастерит, а маленькая добрая Маняша протягивает брату Саше свою самую любимую куклу. Воспоминание о старшем сыне принесло знакомую боль... Нет, нет, сегодня не надо о грустном. Трое детей — с нею в Киеве, все здоровы. Володя с Надей — в безопасности в Женеве. Сегодня — праздник. И Митя с женой обещали прийти пораньше.

...Тяжело отфыркивается обледеневший паровоз. Окутанные облаками пара торопятся пассажиры к своим новогодним делам. Дмитрий Ильич обратил внимание на странную компанию: четверо, разные и вместе с тем чем-то схожие. Всмотрелся — знакомое лицо; лошадиная челюсть, расплющенный нос. Сразу вспомнил: Москва, завод Гужона, после занятий кружка шел с рабочими. И эта фигура сзади. «Проучить, что ли?» — хмуро сказал один из рабочих. Словно почувствовала фигура, свернула в переулок. В ноябре 1897 года, перед арестом, снова мелькал расплющенный нос. Значит, киевской охранке прибыла подмога.

Последние пассажиры. Эссен не приехала. Надо посоветоваться с товарищами. Скоро семь, до Нового года осталось не так уж много.

...Ровно в семь часов вечера начальник киевского охранного отделения подполковник Спиридович вышел из своего кабинета и спустился в подвальный этаж. Там, в гимнастическом, так называемом сокольском, зале его уже ждали филеры отделения.

Сегодня в сокольском зале было особенно многолюдно. Для успешного проведения операции прибыли агенты из многих охранных отделений: московского, гомельского, екатеринославского и др. Операция необычная — арест всех делегатов III съезда РСДРП.

По версии подполковника Спиридовича, съезд должен был собраться в Киеве. Ежедневно в течение ноября Спиридович телеграфно доносил в Петербург директору департамента полиции о ходе «подготовки» к съезду. Подполковник ждал прибытия самого Ленина, которого он в официальных документах называл «душою» партийного съезда.

За проживающими в Киеве членами семьи Ульяновых была установлена тщательная слежка. За два месяца несколько сот записей в «журналах наблюдений».

Но съезд почему-то все не собирался. Операция затягивалась. 29 декабря киевское охранное отделение представило в Петербург «список лиц, предназначенных к безусловным арестам». 30 декабря последовала секретная телеграмма департамента полиции: «Не выжидая съезда, ликвидировать центральный и местный комитет, предъявив требования об отсутствующих».

Ликвидация была назначена на 1 января 1904 года. В канун нового года филеры заняли свои посты.

В обширном списке значились: Дмитрий Ильич Ульянов, его жена Антонина Ивановна Нещеретова-Ульянова, проживающие по Пушкинской, № 32, Анна Ильинична Елизарова и Мария Ильинична Ульянова, проживающие по Лабораторной, 12, квартира 14.

...Окна их трехкомнатной квартирки светились допоздна. Чья-то рука отворила изнутри форточку. И тогда в морозную мглу ночного Киева ворвалась песня древних киевлян, славящих Усладов день — день радости. Мария Александровна играла «Аскольдову могилу» Верстовского, свою любимую оперу. Удивительно хорошо было сегодня Марии Александровне. Впервые за долгие годы почти все дети собрались вместе. За Володю с женой подняли первый тост. Жаль, что дети так озабочены. Митя пристроился у подоконника и переписывает из тетради, тревожно поглядывая на двор. В детстве, еще до гимназии, он тоже любил заниматься на подоконнике. Положит букварь и старательно выводит по писаному: зи-ма, сани... Митя, милый, да ты и сейчас переписываешь из тетради печатными буквами. Но слова другие, недетские: «...диктатура пролетариата... необходимость отдельной политической партии...» Не спрашиваю, ничего не спрашиваю. Понимаю, так надо... Маняша пря-

чет несколько документов в шахматный столик. Остальное — в печку. Туда же Митя бросает тетрадку. А потом просит сыграть из «Травиаты» и сам пытается спеть арию Альфреда. Пора расходиться, но расходиться не хочется. И все-таки пора.

А на улице закоченевший филер, тщетно пытаясь зажечь спичку, бормотал:

— Люди обходительные, вежливые, по-хорошему песни поют. Самого бы его высокоблагородие сюда на морозец.

1 января 1904 года в 5 часов в доме № 17 по Караваевской улице Дмитрий Ульянов «двинул атаку» на Киевский комитет. Легко возникали нужные слова. Образно передал атмосферу II съезда. Рассказал, как удалось смести кружковщину, заменить ее великой партийной связью. В этом — главное. Создана партия. Она еще молода, еще не окрепла, и враг партии, враг рабочего класса тот, кто тратит ее силы в спорах, когда в воздухе носится дыхание революции!

Совещание окончилось. Кажется, удалось вбить клин в меньшевистский комитет. Расходились поодиночке...

Около 8 часов вечера Дмитрий Ульянов был арестован (вместе с З. П. Кржижановской) на Бибиковском бульваре. Доставлен в Старо-Киевский участок, где на него заполнили допросный лист. К великому огорчению жандармов, у арестованного удалось обнаружить лишь «писанный печатными буквами лист почтовой бумаги: «Конспект к изучению партийной программы». И больше ничего. Ни адресов, ни записной книжки, ни писем.

Был найден листок бумаги со стихами, записанными рукой Дмитрия Ильича:

Лес рубят — молодой,
нежно-зеленый лес.
А сосны старые нахмурились угрюмо...

Навеянные недавними правительственными репрессиями против студентов, стихи эти сочтены были тенденциозными и приобщены к делу их «автора», который честно отпирался от незаслуженного поэтического венка.

Улик для возбуждения судебного дела против Дмитрия Ульянова, «привлеченного к настоящему

дознанию на основании сведений Киевского охранного отделения о принадлежности Ульянова к членам Центрального Комитета Российской демократической рабочей партии», оказалось недостаточно.

В 10 часов вечера начался обыск на квартире Ульяновых. Сестер Ульяновых арестовали и под конвоем повезли в лукьяновскую тюрьму.

Мария Александровна осталась одна. Только прошедшей ночью маленькие комнатки были наполнены смехом, музыкой, звучали родные голоса, а сегодня — одна в пустой разоренной квартире.

Мария Александровна вздохнула и начала неторопливо уничтожать следы жандармского погрома.

Наутро она уже стояла с передачей у ворот лукьяновской тюрьмы.

Дмитрия Ульянова поначалу определили в Киевскую крепость, где содержались особо важные преступники. Нудная процедура снятия примет, хорошо известная ему по Таганке:

«Лета — 29.

Рост стоя — 70 ½.

Телосложения — плотного.

Цвет волос — черный, усы и борода темно-русые.

Цвет глаз — карие...

Приложить палец вот сюда: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец.

Все».

Марию Александровну не забывали друзья, несколько раз забегала Эссен, которая прибыла в город уже после полицейской «акции» и счастливо избежала ареста. Мария Александровна выдвинула из шахматного столика плоский потайной ящик и передала Эссен документы, предназначенные для отправки в Женеву.

Что мог сделать Дмитрий Ильич, чем помочь матери? Из тюремной камеры он пишет прокурору Киевской судебной палаты. Нет, заключенному Дмитрию Ульянову ничего не нужно. Единственная просьба — мать! «...Полное одиночество, которое создано для моей матери после ареста меня с женой и обеих моих сестер, действует на нее, особенно в последнее время, когда у нее появились признаки старой болезни, прямо убийственным образом...» Письмо передано через надзирателя. Ответа нет. Жалость сжимает сердце, когда

в помещении для свиданий видит он через решетку измученное лицо матери, слышит ее слабый голос, теряющийся в общем шуме. Снова требует заключенный, на этот раз от начальника Киевского жандармского управления, «вместо свиданий за решеткой личные свидания по одному в неделю». Ведь старой больной женщине «крайне затруднительны свидания за решеткой как вследствие того, что среди шума и разговоров со всех сторон она плохо слышит и сама не может говорить достаточно громко, так и потому, что ей тяжело подолгу стоять...». Казенные, по необходимости, обороты дышат болью и гневом.

Было тяжело, очень тяжело. Но будущее не казалось мрачным. Охранному отделению не удалось арестовать ни одного из членов ЦК, агентом которого Дмитрий Ильич был в Киеве. Русская часть ЦК продолжала жить. А главное, в Женеве, в недосягаемости от царской полиции, работал Владимир Ильич Ленин. За Лениным шло подавляющее большинство комитетов. III съезд был уже не за горами.

БУДЕТ СОЛНЦЕ!

Вышла из тюрьмы Мария Ильинична, затем Анна Ильинична, а Дмитрий Ильич по-прежнему находился в заключении. И только 22 ноября 1904 года он был выпущен под особый надзор полиции.

Ощущение слежки стало даже привычным. Но работать в таких условиях нельзя. Нужно переменить место жительства и на какое-то время уйти от недреманного полицейского ока хотя бы до прекращения дела, а конца ему все не предвиделось.

В это время в восточных губерниях России под угрозой вспышки холерной эпидемии возникла экстренная нужда в медицинском персонале. Ведь большинство и так немногочисленных земских врачей мобилизовали на русско-японскую войну. Дмитрий Ильич послал прошение о командировании его в Акмолинскую область на борьбу с холерой и приложил документы (ох эти документы, к Таганской и одесской тюрьмам прибавилась еще популярная киевская «Лукьяновка»). Из газет узнал о событиях 9 января. Решил перебраться поближе к столице — в Саблино, под Петер-

бургом, где жили Мария Александровна и Анна Ильинична.

Гласный надзор полиции хуже оков — шагу не ступишь. Ответа на прошение все не было.

Явился на прием к чиновному лицу по врачебному ведомству. Чиновное лицо, коему было поручено срочно подыскивать врачей для борьбы с холерной эпидемией, обещало «протолкнуть».

Но Дмитрий Ильич не дождался завершения длительных секретных переговоров между департаментами. Друзья выхлопотали ему место санитарного врача в родной Симбирской губернии. Эпидемия, уже не раз бывшая гостьей приволжских городов, снова стоит у ворот Симбирска. Дмитрий Ильич выехал к месту своей новой работы.

«...Предъявитель сего санитарный врач Симбирского уезда Дмитрий Ильич Ульянов имеет право на взимание трех лошадей для разъездов по делам службы...

Секретарь земской управы...»

Вынимал эту бумажку на земских станциях, требовал, просил, настаивал, а затем сугробы, одинокие стога, ветряки, хмурые силуэты церквей. Понурив головы, бегут тощие, разбитые на ноги почтовые лошади. И снова сугробы, сугробы, наметаемые злыми приволжскими ветрами. Вот она, Симбирская губерния, земля без конца и края, а крестьянские наделы нищие.

...Заночевал у фельдшера в Ногаткине. Небольшой, но чистый приемный покой, аптечка. И уже немолодой фельдшер — интеллигентное исхудалое лицо, лихорадочно блестят глаза.

— Нездоровится, коллега?

— Нет, устал. Понимаете, до следующего фельдшерского пункта шестьдесят две версты. Волость огромная... Впрочем, всюду так?

— Всюду. Один врач на сто — сто пятьдесят тысяч жителей.

— Ужасно. Вот и крутимся. А тут эпидемия. Дифтерия, оспа, тиф, кое-где в лежку, дворов по двадцать в ряд.

— Сыпной тиф?

— И сыпной, и брюшной, а то уж не разберешь какой. Слава богу, холеру остановили. Собственно, не богу слава, а вам, Дмитрий Ильич, и доктору Соловье-

ву. Не отпирайтесь, мы в глуши, а наслышаны о недавних губернских баталиях.

Баталии были, и жестокие.

Приступив к исполнению обязанностей санитарного врача Симбирского уезда, Дмитрий Ильич прежде всего засел за изучение материалов по холерной эпидемии 1892 года в том же уезде. Он не обращал внимания на иронические улыбки некоторых земцев. Но в одном человеке Дмитрий Ильич нашел полную поддержку, очень важную для него, особенно в начале работы. Городским санитарным врачом Симбирска был доктор Зиновий Петрович Соловьев, товарищ Дмитрия Ульянова по партии.

— Действуйте, Дмитрий Ильич, действуйте,— решительно сказал Соловьев при первой же встрече.— Холера не за горами, она, быть может, уже стучится в двери, а мы по-прежнему связаны по рукам и ногам правилами, циркулярами, невежеством и эгоизмом чиновной бюрократии.

Вместе с Соловьевым решили, что после изучения материалов Дмитрий Ильич должен выступить на заседании Симбирской губернской земской управы с развернутым сообщением. На заседании желательно присутствие высшей администрации губернии. Организационную подготовку брал на себя Соловьев.

Прощаясь, он задержал руку Дмитрия Ильича в своей.

— Вы мне сейчас вашего отца покойного напомнили. Был, знаете, такой эпизод. Я тогда учился еще в начальной школе, шел урок закона божьего очень не любимого нами священника, мракобеса и человеконенавистника. Вызвал он меня к доске. Сердце стучит. Что-то в ответе не понравилось попу, он как рявкнет: «Камением побиваху нечестивца!.. Преклонь же колена, возопи гласом великим!..» Ну и так далее. Представляете, на мальчика, почти ребенка. Не помню, как сел на свое место. И тут чувствую, обнимает меня чья-то большая, сильная рука. Ничего не понимаю, только чувствую ласку и прижимаюсь к его плечу. Догадываетесь, кто это был? Да, да, инспектор народных училищ Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов. Вошел в класс, когда поп вопил свое «побиваху!», затем сел за мою парту...

Многое в Симбирске наталкивало на воспоминания. В один из редких свободных дней отправился взглянуть на дом, где когда-то жила дружная семья Ульяновых. Решил пройти через сад с Покровской улицы, как делали это в детстве, возвращаясь вместе с Володей после купания. Плавать его научил Володя. Предупредил: «Три урока, не больше, только делай так, как я скажу». Показал движения рук, ног, затем решительно вывел на глубокое место и скомандовал: «Плыви, не бойся».

Володе он верил безоговорочно, но... камнем пошел ко дну. Рука брата извлекла его на поверхность. И снова: «Плыви!»

После второго урока уже держался на воде, непослушные руки и ноги начали делать то, что им положено.

— Плыву, Володя!

Как он тогда был горд! А довольный Володя плыл рядом и говорил:

— Видишь, главное не бояться. Этот стиль называется «собачка». Потренируешься, я покажу «саженки»...

Начался забор, отделяющий сад от улицы, сейчас будет калитка, обычно ее запирали на ночь. Забор сохранился, изрядно обветшавший, но калитки не было. Вместо нее зиял пролом. И сада тоже не было, так показалось Дмитрию Ильичу в первую минуту. Потом сообразил, что вырублена половина сада до большой аллеи, обсаженной серебристыми тополями. Среди тополей когда-то росла единственная осинка, ее очень любила Анна Ильинична. Так и прозвали деревцо — Анина осинка.

«Аниной осинки» тоже не было. На месте сада строился новый дом. Лавируя между наваленными бревнами, пересек уцелевшую часть сада и вошел во двор. Старый дом сохранился, поодаль лежал строительный материал. Новый владелец затеял перестройку.

Дмитрий Ильич присел на одно из бревен, вынул портсигар и стал шарить в карманах в поисках спичек.

— Извольте, господин хороший.

Поднял голову. Перед ним стоял пожилой плотник.

В черной бороде золотились стружки, в руке он держал топор, который аккуратно прислонил к колоде, отвернул фартук, вытащил кремень и кресало, сноровисто, с одного удара высек искру и протянул тлеющий трут.

Дмитрий Ильич закурил, с наслаждением сделал затяжку и подал плотнику портсигар.

— Благодарствую... Дмитрий Ильич, стало быть?

— Да. Откуда вы меня знаете?

— Может, слыхали? Калачиковы мы. Плотники и по столярной части. Еще стульчики дубовые для вашего семейства делали.

Стулья эти Дмитрий Ильич помнил хорошо. Складные, не слишком удобные, они были частью детства.

Картины детства часто тревожили память. Вечер. Отец за работой в своем кабинете. Наверху, в антресолях, в маленьких комнатах, трудятся Саша и Володя. Внизу, в столовой, за большим столом сидит за шитьем мать. Возле нее с книгами и тетрадями — сестры Аня и Оля. А он, Митя, и маленькая Маня играют, стараясь не шуметь в эти рабочие для старших часы. Но в другое время шум не считался грехом. Неистощимый на выдумки, Володя затевал разные игры, сад и двор звенели от детских голосов, они наполняли весь дом, тот самый дом, который сейчас перед ним.

...Заседание управы собрало большую аудиторию. Ждали губернатора, он прислал сказать, чтобы начинали без него. Слово для сообщения председательствующий предоставил доктору Ульянову.

Дмитрий Ильич обвел глазами собравшихся. Вот сидят земельные магнаты, короли приволжских просторов, местные промышленники. По имущественному цензу промышленники пока еще не равны землевладельцам. Но плодятся и множатся, жиреют, зубами и когтями урывая свою долю прибылей. Подозрительно поглядывают они на доктора Ульянова. Уже прошел слух, что намереваются врачи в связи с эпидемией потребовать выполнения разных санитарных норм. Расходы, и немалые.

Чиновная бюрократия. Та предпочитает похоронить любое новшество в ворохе бумаг, уж так испокон веку повелось на Руси. Но есть среди присутствующих и единомышленники.

Напомнив течение прошлой эпидемии 1892 года, назвав цифры высокой смертности тогда (11 человек на тысячу населения), Дмитрий Ильич перешел к главному:

— Однако различные волости и селения были поражены далеко не в одинаковой степени. В одних селениях холера держалась месяцами, в другие заглядывала лишь на несколько дней, в одних заболевала десятая и даже пятая часть жителей, в других за все лето было только по одному случаю...

В дверях послышалось движение. Вошел симбирский губернатор Яшвиль в сопровождении непременного члена губернского присутствия, действительного статского советника Мотовилова и начальника жандармского управления полковника Ловягина.

— Продолжайте, господа,— сказал губернатор, усаживаясь на свое место.

— Я говорил, что эпидемия 1892 года распространялась по губернии неравномерно. В чем же причина тому? Чем объяснить такую неравномерность? На первое место следовало бы поставить вопрос о материальном благосостоянии населения. Холера вообще является бичом для низших классов населения и повсюду, и в городах и в деревнях, захватывает тех, кто живет в худших санитарных условиях, кто хуже питается и особенно кто хронически недоедает.

Поднялся председательствующий:

— Прошу вас, доктор Ульянов, ближе держаться темы вашего сообщения.

— Мне кажется, я от нее не уклонился. Последующие вопросы климатических влияний на развитие эпидемии действительно носят специальный характер, я изложу их письменно. А сейчас позвольте огласить программу антиэпидемических мероприятий, опирающихся на широкую информацию и привлечение населения к борьбе с болезнью. Кроме того, прошу обязать владельцев картофельно-терочных и картофельно-паточных фабрик, кожевенных заводов и некоторых других по прилагаемому списку не загрязнять реки — ведь именно этим путем двигалась холера в страшный 1892 год,— для чего установить систему фильтров. В противном случае фабрики и заводы, как возможный рассадник болезни, закрывать.

Вот тут-то и начались прогремевшие на всю губернию баталии, о которых упоминал ногаткинский фельдшер.

Дмитрий Ульянов и Зиновий Соловьев добиваются санитарного контроля над предприятиями, опасными в эпидемическом отношении, настойчиво требуют от земства открытия новых фельдшерских пунктов. Заставляют земство раскошелиться на медикаменты: сулему, карболку, гидропульты для дезинфекции и, главное, на спасительную противохолерную вакцину Хавкина, созданную в далекой Индии русским бактериологом и эпидемиологом, сыном бердянского учителя, много лет находившимся под надзором русской полиции.

Свои санитарно-эпидемические наблюдения Дмитрий Ильич опубликовал во «Врачебно-санитарном листке Симбирской губернии» с выводом, который мог появиться на страницах легальной печати только в эпоху 1905 года. На первое место в борьбе с эпидемией, утверждал Дмитрий Ильич, следует поставить «вопрос о необходимости изменения в общих условиях народной жизни».

Казалось, вся деятельность доктора Ульянова на виду. Немногие знали, что санитарный врач уезда — большевик и вот уже 10 лет ведет куда более грозные и опасные «баталии» против царского самодержавия, что он — один из руководителей симбирской группы РСДРП, которая систематически выпускает революционные листовки, приводящие в бешенство полковника Ловягина.

Симбирская группа РСДРП в 1905—1906 годах была тщательно законспирирована. Начальнику жандармского управления казалось, что, уничтожив «путем сжигания» несколько экземпляров листовки «К товарищам крестьянам», он ликвидировал большевистскую «заразу». А это «противозаконное» обращение к народу (листовка была выпущена в количестве 7 тысяч экземпляров) возникало то в одном, то в другом конце огромной губернии. Подчиненные полковника метались по уездам и привозили «вещественные доказательства» — новые прокламации. Еще более вещественными и доказательными были забастовки на фабриках и крестьянские волнения. Сообщая о них, боль-

шевистская газета «Пролетарий» писала, что в Симбирской губернии «почти ежедневно горят частновладельческие имения».

В октябре 1905 года симбирские большевики организовали массовый митинг. Начавшийся у здания управы митинг вылился во внушительную демонстрацию. С пением «Марсельезы» рабочие железнодорожных мастерских и учащиеся прошли по улицам купеческого города.

О некоторых событиях бурного революционного времени осторожно, чтобы не очень раскрыть себя и не спугнуть собеседника, рассказал Дмитрий Ильич ногаткинскому фельдшеру, рассказал зимней ночью, когда уже погасили лампу и в густой тьме комнаты едва серел замерзший прямоугольник окна. По опыту старого пропагандиста понимал, что такие беседы с глазу на глаз оставляют в душе заметный след, пусть даже он проявится не сразу.

Наутро, прощаясь на морозе, фельдшер сказал:

— А я вашего батюшку Илью Николаевича знавал. Он мне и напутствие дал — в фельдшерское училище. И письмо рекомендательное вручил.

— Что же вы раньше-то молчали?

— Неловко как-то было. Ничего, авось еще встретимся... Вот бутыль с сулемой, карболка неочищенная. В Елшанке поберегитесь, Дмитрий Ильич, гиблое место.

В Елшанку ехал растроганный, вспоминая об отце. Наверное, когда-то Илья Николаевич ездил по этим же местам и церквушку эту древнюю, наверное, видел, и старый ветряк... И так же вился за ним санный след по свежему пушистому снегу... Через минуту заметет этот след поземкой, а след в человеческих судьбах вечен. И радостно было Дмитрию Ильичу встречать в медвежьих углах губернии скромных интеллигентов — учителей, фельдшеров — питомцев Ильи Николаевича.

Когда Дмитрий Ильич въехал в Елшанку, он сразу помрачнел. Глиняные мазанки с серыми соломенными крышами. В мазанках — крошечные оконца над землей. Внутри избы — земляные полы и стены, покрытые слоем сажи: топили по-черному... Осмотр больных превратился в муку, казалось, что хронический голод показывает свои язвы, сочащиеся кровью десны, гнию-

щие кости. До вечера работал Дмитрий Ильич, обходил мазанки, давал лекарства, растолковывал, как делать дезинфекцию теми препаратами, которые он оставлял деревенскому старосте... Все это казалось ничтожным по сравнению с тем, что надо было сделать.

Когда садился уже в сани — ямщик торопил, в степи волки,— подбежала плачущая женщина:

— Сын, сыночек... Ванюшка.

Пошел за женщиной. Ямщик укоризненно покачал головой.

Всю ночь шла борьба за жизнь ребенка. Утром вышел на улицу. После темной мазанки нестерпимо ярко светило солнце, искрящееся мириадами белых кристаллов. За оконцем силуэт женщины с ребенком на руках. Повернулся к оконцу:

— Будь здоров, Ванюша. Придет время — все будет твое: и солнце, и снежные степи, и горячее южное море...

— Чудной доктор,— ухмыльнулся ямщик и весело гаркнул: — Нно, сердешные!..

ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ, ДОРОГИЕ МОИ!

В мае 1913 года в Симферополе собрался XI съезд врачей и земств Таврической губернии. После окончания съезда у Дмитрия Ильича, уже два года работавшего санитарным врачом Феодосийского уезда, остались еще кое-какие дела. И вот сегодня наконец он собрался восвояси. Нужно только не забыть купить подарки домашним.

При входе в магазин Дмитрий Ильич по старой конспиративной привычке незаметно оглянулся, хотя на сей раз в предосторожностях не было нужды. Успел увидеть, как за углом дома скрылась какая-то фигура. Дмитрий Ильич даже присвистнул от удивления. За угол отпрянул, явно не желая быть замеченным, не кто иной, как доктор Антон Андреевич Дзевановский, заведующий санитарным отделом управы Таврической губернии и непосредственный начальник санитарного врача Феодосийского уезда Д. И. Ульянова. Что за диво? Зачем известному в Симферополе и губернии

доктору, уважаемому земскому деятелю прятаться? Продолжая размышлять об этом, Дмитрий Ильич с невольным интересом наблюдал, как виртуозно работает приказчик-грек. Сняв штуку материи с полки, он небрежно швырял ее на прилавок. Весь шик был именно в этой многократно отработанной небрежности. В воздухе штука разворачивалась со звуком, напоминающим хлопанье крыльев большой птицы, и мягко шлепалась на точно определенное место, устилая прилавок широкими разноцветными лентами. Дмитрий Ильич уже выбрал подходящую материю для Марии Александровны и сестры Анны, нынешней весной гостивших у него в Феодосии, для Марии Ильиничны, отбывавшей ссылку в Вологде, а на прилавок набегали все новые и новые волны. Пришлось попросить отрезать еще от этого куска и от этого, расплатиться и уйти сопровождаемому до дверей все тем же неутомимым приказчиком.

На улице в этот жаркий полуденный час было малолюдно. Чуть прихрамывая (еще болела сломанная нога — память о непроезжих дорогах Серпуховского земства), пошел по теневой стороне. Только подумал о Дзевановском, как тот сам появился из-за угла, изобразив на лице радость от нежданно-негаданного свидания.

И тут Дмитрий Ильич понял, что сложные и довольно неуклюжие тактические маневры нужны были его шефу только для того, чтобы подчеркнуть случайный характер их встречи. Но зачем? Ведь с доктором Дзевановским они знакомы лет десять, в Таврическом земстве бок о бок работают два года. И собственно, Антону Андреевичу, его влиянию он обязан своим назначением. Губернские власти чуть ли не полгода отказывались утвердить неблагонадежного доктора на должность санитарного врача Феодосийского уезда. Дзевановский настаивал, доказывал, пока не добился своего. Только сейчас оба неделю провели на губернском съезде врачей и представителей земств, делали даже совместный доклад, многократно беседовали на различные темы. Зачем же милейшему Дзевановскому понадобилось это представление?

— Так вот, Дмитрий Ильич, сегодня утром меня изволили пригласить в жандармское управление,—

сказал Дзевановский, когда они уселись на скамейку в парке,— и разговор шел о вас. Полковник спросил, довольно ли вами земство. В ответ я произнес соответствующую филиппику. Нет, нет, не благодарите. Полковник напомнил, какую широту взглядов проявил он в свое время, не возражая против утверждения доктора Ульянова в должности, несмотря на его прошлое. Я ответил, что сие очень давнее прошлое, грехи молодости, так сказать. Полковник заметил, что для моего сведения, как непосредственного начальника доктора Ульянова, может сообщить: у оного доктора Ульянова незадолго до перевода в Таврическое земство на старом месте работы и жительства в Серпуховском уезде, Московской губернии, был произведен обыск и обнаружены брошюры нелегального содержания в количестве, не помню точно, что-то свыше ста штук, и не только брошюры. Некоторые обстоятельства, информировать о коих он, полковник, не вправе, приостановили арест, после чего доктор Ульянов почел за благо переменить место жительства и осчастливил своим присутствием Таврическую губернию. Я сказал, что ирония господина полковника неуместна, ибо опыт, знания и энергия доктора Ульянова — действительно ценное приобретение для Таврического земства. Полковник ответил, что не намеревается вторгаться в мою компетенцию, но рассчитывает, что доктор Ульянов не будет в дальнейшем использовать служебную трибуну, так сказать, для выражения своих социальных взглядов. Я спросил, что полковник имеет в виду, на что получил ответ, показывающий широкую информированность жандармского управления в вашей общественно-врачебной деятельности. Надеюсь, вы не позволите гордыне обуять себя?..

— Не позволю,— без улыбки отозвался Дмитрий Ильич, продолжая раздумывать, в чем смысл неожиданной многоречивой откровенности жандармского чина.

— Полковник пояснил, что имеет в виду обобщения, которые делает доктор Ульянов в своих докладах на медицинские темы, его требования оздоровления всех совокупностей жизни, объяснение эпидемий социальными причинами, выпады, которые позволяет себе должностное лицо, а уездный санитарный врач

является таковым, в адрес правительственных учреждений и полиции. В заключение полковник сказал, что надеется на взаимопонимание. Я откланялся и ушел... Не смею вам что-либо советовать, но честно скажу, что не хотел бы терять сотрудника. Ведь впереди еще столько работы. Ну, не буду вас более задерживать. Вы отбываете домой сегодня?

— Сегодня. И спасибо вам, дорогой друг.

Крепко пожал Дзевановскому руку и пошел в гостиницу за вещами.

По дороге из Симферополя в Феодосию Дмитрий Ильич еще раз тщательно воспроизвел в памяти переданный ему разговор. Вряд ли жандармскому управлению известна его связь с партийным центром и те поручения, которые регулярно выполнял Дмитрий Ульянов. Разумеется, местные жандармы знают материалы обыска в Липитино и его объяснения по поводу изъятых «брошюр нелегального содержания», но это не страшно. И все же надо быть осторожнее. Излишнее внимание властей к добру не приводит. Надо надеяться, что обойдется без неприятностей, пока мать и сестра гостят в Феодосии.

Для Дмитрия Ильича было большой радостью, когда «милые вечные странники» время от времени могли отдохнуть у него. С удовольствием вспоминался 1908 год: мать и сестры прожили лето в Серпуховском уезде, на «старом месте работы» доктора Ульянова, как выразился жандармский чин. Тогда оно еще не было «старым местом». Земский врач только обживался, налаживал конспиративные связи. Хорошо было летом в Липитино: бескрайние поля вокруг, речка вьется — тихая Каширка.

Да, летом в Липитино хорошо, привольно, в докторском доме — многолюдно. Зимой же в деревне одиноко, вечера долгие-предолгие. Дмитрий Ильич увлекся шахматами. За неимением сильного партнера занялся шахматной композицией. Одну из составленных им задач послал в «Ниву». Напечатали... «Нива» с задачкой добралась даже до Парижа, где жил тогда Владимир Ильич. Брат ответил двумя письмами, второе, коротенькое, специально «шахматное». Но вообще-то Владимиру Ильичу не до шахмат. Работы невпроворот. Аня рассказывает, в каком стремительном

ритме он живет. В России нарастает революционный подъем. Майские дни пролетариат отметил мощными демонстрациями в столице и других городах. Сообщая об этом, большевистская «Правда» писала о боевой роли российского пролетариата в грядущих событиях. Остро встал вопрос об интернациональном единстве рабочего класса. Как много сделала «Правда» всего за один год!

Душа газеты — Ленин. На прошлой неделе вместе с Анной Ильиничной прикинули, что за последние месяцы в каждом втором номере «Правды» — статья Владимира Ильича. И это только часть его работы. Огромная нечеловеческая нагрузка, а тут еще беда — болезнь Надежды Константиновны. Когда Дмитрий Ильич вернулся в Феодосию из предыдущей поездки, Мария Александровна протянула полученное в его отсутствие письмо. Пока читал, мать смотрела на младшего сына с надеждой, словно он на расстоянии мог помочь беде. Владимир Ильич советовался с братом о методах лечения Надежды Константиновны. Ответил подробно сразу же. Как там дела? Нужно надеяться, что все будет благополучно.

В Феодосии возвращения Дмитрия Ильича ждали с нетерпением. Мария Александровна торопилась в Вологду к младшей дочери.

— Сегодня я Марусе нужнее,— коротко отвечала мать на все уговоры. Попробовал апеллировать к сестре.

— Жаль, Митя, но надобно ехать,— сказала Анна Ильинична.— Мама места себе не находит. Ведь мы на свободе, а Маня в ссылке... А ты чем-то озабочен? На съезде что не так?

— На съезде все удачно, да вот...

И Дмитрий Ильич пересказал беседу с Дзевановским.

— Будь у жандармов конкретные сведения,— заметила Анна Ильинична,— не стали бы разговоры разговаривать. Однако... Сейчас не стоит садиться в тюрьму,— улыбнулась Анна Ильинична.— Будущее, ради которого мы живем, возможно, уже не так далеко. И знаешь, Дмитрий, как мне кажется, в последнее время Владимира Ильича стали занимать проблемы завтрашней России.

С началом мировой войны Дмитрий Ульянов был мобилизован в армию.

Революционные события 1917 года он встретил в Севастополе.

ГОД 1917-й

В виду Севастополя стояло 100 боевых кораблей. На них несли службу 40 тысяч матросов. Каждое утро по испокон веку установленному порядку переливчато пели боцманские дудки, требуя от матросов канонической, как религиозный обряд, процедуры уборки корабля. Палубу драили, лопатили, потоки морской воды из мощных шлангов омывали ее бело выскобленную поверхность, и влажное дерево нехотя просыхало под лучами нежаркого осеннего солнца.

Это была видимость тишины, внешняя дань традициям консервативного флотского быта. Медленно, но неотвратимо на кораблях шел глубинный, подспудный процесс, захвативший всю матросскую массу. Черноморский флот осенью 1917 года напоминал вулкан перед извержением. Все нарастает подземный гул, землю сотрясают толчки, и вот уже из кратера выплескивается огненная лава. Подчинить этот бурный стихийный процесс задачам революции, вырвать матросов из-под влияния эсеров, анархистов, меньшевиков — такую задачу поставила перед собой немногочисленная группа севастопольских большевиков.

...Катер, вибрируя стройным корпусом, приближался к линкору. Корабль стоял грузный, одетый в тяжелую броню, угрюмо глядя орудийными башнями. Суровый облик его, казалось, не предвещал ничего хорошего. Или так казалось Дмитрию Ильичу. Перед поездкой предупредили, что экипаж трудный, верховодят эсеры, нужно быть осторожным. Был случай, когда чуть не сбросили за борт большевика Финогенова.

— Слово предоставляется представителю партии большевиков военному врачу Ульянову.

Дмитрий Ильич был умелым пропагандистом. Но выступать перед большими людскими массами до Севастополя ему не приходилось. И каждый раз, выходя на трибуну, особенно в первые секунды, когда аудито-

рия примеривается к оратору, а оратор нащупывает нити, связывающие его с тысячеликой массой, он испытывал чувство тревожного волнения. К тому же на корабле все выглядело иначе, чем на суше. Там говоришь со сцены или трибуны. Аудитория внизу. Здесь же матросы расположились на палубе, надпалубных надстройках, мостиках, мачтах, вантах и еще бог знает на чем. Со всех сторон любопытные, ищущие, внимательные глаза. Но были и другие — хмурые, злые. В центре группы — высокий, в полувоенном костюме, правая рука за бортом френча. Как до смешного подражают они своему истеричному Керенскому. От теплой компании добра не жди. Надо на чем-то сосредоточиться. Обязательно сосредоточиться. Кто-то машет рукой? Ба, да это старый знакомец, морячок из госпитального кружка, довольно-таки нетерпеливый пациент, настоял, чтобы его выписали досрочно. Очень рад встрече. Ответно помахал и заговорил, обращаясь как бы к нему одному, пытливому, острому на язык, ищущему свою правду.

Дмитрий Ильич говорил о вещах, касающихся каждого из многоликой массы. Временное правительство за восемь месяцев не смогло решить ни одного вопроса. Война продолжается, разруха усиливается, неумолимо надвигается голод. А капиталисты по-прежнему ворочают миллионами и гребут гигантские прибыли, помещики по-прежнему владеют тысячами и тысячами десятин земли. В февральские дни на красных знаменах был начертан девиз Великой французской революции: «Мир хижинам, война дворцам!». Эсеры изменили хижинам, стали на сторону дворцов.

— Братишки, не слушайте его! — надсадно заорал один из группы высокого во френче. И сразу посыпалось:

— На жалованье у Вильгельма!

— Долой!..

— Родину про-о-одали!..

— Временное правительство запретило политическую работу в войсках,— напрягая голос, продолжал Дмитрий Ильич.— Восстановлена смертная казнь. Председатель Временного правительства, смеющий считать себя революционером, назвал солдат и рабочих «взбунтовавшимися рабами». Раньше в Зимнем

дворце драконовы приказы подписывал Николай Романов, сейчас — Александр Керенский. Что же изменилось, товарищи?

— Тех же щей, да пожиже влей,— иронически протянул знакомый хрипловатый тенор.

Вокруг засмеялись.

— Только эсеры способны спасти Россию, вырвать ее из хаоса! — выкрикнул высокий во френче.

— Овсяная каша хвалилась, будто с коровьим маслом родилась,— не смолчал тенор.

Смех стал общим.

Говорить стало легко. Аудитория, казалось, ловила каждое слово. Заключительные слова Дмитрия Ильича о значении Севастополя для русской революции были покрыты дружными аплодисментами.

Собрание продолжалось. Выступали представители разных партий. Но тон был задан. Корабль проголосовал за резолюцию большевиков.

26 октября пришла телеграмма Петроградского военно-революционного комитета:

«...Петроградский гарнизон и пролетариат низвергнул правительство Керенского, восставшее против революции народа».

В тот же день в Севастополе прозвучал пушечный выстрел. Его ожидали тысячи моряков. Это был сигнал к началу демонстрации в честь свершившейся пролетарской революции. Городской комитет большевиков призвал весь личный состав базировавшегося в Севастополе флота и крепости выйти на улицу. По Нахимовскому проспекту, Приморской, Екатерининской и другим центральным улицам в сторону Графской пристани шли людские колонны. Возникали импровизированные митинги. Но большевикам приходилось нелегко. Из 25 членов исполкома Совета военных и рабочих депутатов только четверо были большевиками. Меньшевики и эсеры развили бурную деятельность.

Утром 31 октября Дмитрий Ильич шел в городской комитет большевистской партии. На одном из домов Нахимовского проспекта висел щит со свежеприклеенной газетой «Известия Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов». Матрос вслух читал толпе:

«К восстанию. 25 октября во время заседания Петроградского Совета в зале появился тов. Ленин. Собрание устраивает бурную овацию...

«Товарищи! — сказал Ленин.— Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась».

В середине декабря в Севастополе был сформирован ревком, почти полностью большевистский. Ревком взял власть в свои руки.

С первых чисел января в разных городах Крыма по приказам ревкомов вспыхивают вооруженные восстания. Сражаются рабочие, сформированные в красногвардейские отряды, и революционные матросы.

На одном из заседаний ревкома поднялся Дмитрий Ильич:

— Если товарищи не возражают, я пойду с отрядами, буду оказывать медицинскую помощь.

Идут бои за Севастополь, за Бахчисарай... «В сражениях под Бахчисараем и дальше к Симферополю,— писал Дмитрий Ильич родным,— я временно работал в качестве врача и перевязывал раненых».

24 января вышел первый номер большевистской газеты Крыма «Таврическая правда». Вместе с товарищами в редакции работал и Дмитрий Ульянов. «Таврическая правда» вела бои с меньшевистским «Прибоем», с эсеровским «Вольным Югом», со всеми враждебными революции изданиями.

Дом № 3 по Екатерининской улице Севастополя, где помещалась редакция «Таврической правды», стал одним из политических и культурных центров нового Крыма. Но молодая Крымская республика была недолговечна, она пала под ударами кайзеровских войск.

Уйти удалось не всем. Многие члены правительства республики попали в руки буржуазных националистов и были зверски убиты. Дмитрий Ильич остался в Крыму. Как поступить? Уйти в глубокое подполье или легально обосноваться в таком городе, где была бы меньше известна его революционная деятельность. Дмитрий Ильич выбрал второе — переехал в Евпаторию. Там в широких кругах его почти не знали. Зато с евпаторийскими большевиками у Дмитрия Ульянова были давние и прочные связи.

История не сберегла для нас многие документы,

связанные с деятельностью Дмитрия Ильича в это бурное время. Но память людская сохранила главное — влияние личности Дмитрия Ульянова на жизнь и судьбы тех, кто встречался с ним.

«Самое потрясающее в моей жизни» — так выдающийся советский поэт Илья Сельвинский назвал эпизод своей евпаторийской юности, действующим лицом которого был Дмитрий Ульянов. Вспоминая встречи с Дмитрием Ильичем, Сельвинский пишет:

«...С большой страстью, зажигательно говорил он о величии революции, о мировом значении коммунизма. Оказалось, что это знаменитый подпольщик «товарищ Андрей», он же Дмитрий Ильич Ульянов, родной брат Ленина... Так вот они какие, большевики. Я был счастлив. Бесконечно счастлив от того, что в России существует такая великолепно организованная партия, что живут на свете такие замечательные люди».

В МАМАЙСКИХ КАМЕНОЛОМНЯХ

Огненные отблески прыгают по стенам подземной штольни. Еще недавно здесь добывали желтый ноздреватый евпаторийский ракушечник. Зимой 1918/19 года подземные ходы и штольни стали прибежищем партизанского отряда «Красные каски». Около 250 человек, часть из них — раненые и больные, побывавшие в застенках белогвардейской контрразведки.

В центре штольни, на деревянном топчане, под белой простыней ждет операции раненый партизан. Три женщины с марлевыми повязками на лицах заканчивают приготовления, хирург в белом халате тщательно моет руки над тазом. Вошла еще одна женщина с зажженной керосиновой лампой.

— Вот, Дмитрий Ильич.

— Хорошо. Факел отодвиньте, от него копоть, лампу держите так. Посмотрим, посмотрим... Противостолбнячную сыворотку ввели?

— Сделали, как вы показывали, Дмитрий Ильич.

— Отлично. Ну-с, герой, начнем. Не боишься?

Раненый — молодой парень с искаженным от страданий лицом — отрицательно мотнул головой.

— Молодец. Больно не будет. Шприц!

В протянутую руку доктора вложили шприц.

— Выше лампу, правее... Так держите.

Несколько обезболивающих уколов. Больной дышит ровнее.

— Начинаем. Скальпель!

Одна за другой короткие команды.

Как в настоящей операционной, в руках хирурга послушно появляется нужный инструмент, так же послушно безмолвны сестры. Затихли больные на соломе, слышно чадное потрескивание факела.

— Вот она, голубушка.

На ладони врача маленький окровавленный кусочек металла — пуля.

Закончена обработка раны.

— Бинтуйте, Мария.

Быстро и умело одна из женщин накладывает на рану повязку.

Из темноты возник высокий худощавый молодой человек в форменной тужурке инженера или техника, с щегольскими подкрученными кверху усиками.

— Пора, Дмитрий Ильич. Только-только управимся до рассвета.

— Еще десять минут, Александр Иванович.

Вымыл руки, на ходу вытирая их, подошел к лежащим больным.

— Несколько слов, товарищи. В мире происходят большие события. И как вам ни трудно, чудовищно трудно здесь, в подземелье, в окружении белогвардейщины, коротко расскажу о них. В Германии вспыхнула долгожданная революция. Восстали матросы военного флота, поднялись рабочие. Вильгельм II бежал в Голландию. Германия дальше воевать не может. Вы спросите: не станет ли от этого сильнее Антанта, которая сейчас хозяйничает в нашем Крыму? Нет, друзья. Империалисты Антанты начинают понимать, что интервенция в России требует миллионной армии, а французские и английские рабочие воевать против нас не хотят и при случае повернут штыки против своих капиталистов. Они начинают понимать, что революция стучится в их собственные двери.

Поодиночке и группами подходили партизаны, колеблющийся свет факела выхватывал из темноты лица внимательно слушающих людей.

— Так вот, о наших с вами делах. Недавно в Симферополе состоялась общекрымская подпольная конференция. Конференция решила готовиться к вооруженному восстанию. Когда оно начнется? Это зависит от срока наступления Красной Армии на Крым. Могу вас заверить: срок приближается. Выполняя решения конференции, евпаторийский ревком формирует боевые отряды. По сигналу они придут вам на помощь... Вот и все пока. Постараюсь приехать сюда дней через пять. Привезу медикаменты. До свидания, товарищи.

Вышел из каменоломни наружу. Сырая, черная, беззвездная ночь. Фыркают невидимые в темноте лошади.

— Ну, бывайте здоровы, товарищ Петриченко. Все, о чем толковали, передам ревкому.

Крепко пожал руку Ивану Никифоровичу Петриченко, рабочему-большевику, командиру партизанского отряда «Красные каски».

Сел в бричку рядом с молодым человеком в инженерной тужурке. Сейчас на нем была еще и форменная фуражка с молоточками.

— Трогай, Александр Иванович.

Бричка подпрыгивала на колдобинах, но шла ходко. Каменоломни остались далеко позади.

— Закуривайте, если желаете, последнюю, Дмитрий Ильич. Как повернем, уже нельзя будет. Огонек далеко-о видать. Не дай бог, попадетесь, все припомнят.

— Припомнят,— охотно согласился Дмитрий Ильич.— Однако не попадемся.

Вместе со своим неизменным спутником пробирался он мимо белогвардейских застав к партизанам, оказывая посильную медицинскую помощь, рассказывая о том, что делается на белом свете, с рассветом возвращался домой, чтобы с утра в больнице лечить больных, встречаться с членами большевистского подпольного комитета, готовить вооруженное восстание.

В марте началось наступление Красной Армии на юге страны. Войсками крымского направления командовал П. Е. Дыбенко, помощником его был И. Ф. Федько.

11 апреля 1919 года Красная Армия освободила Симферополь и Евпаторию (ревкомы помогали изнутри взрывать оборону белых). 28 апреля в Симферополе открылась Крымская областная партийная конференция, избравшая новый обком, а 5 мая закончилось формирование Временного рабоче-крестьянского правительства Крымской Советской Социалистической Республики. Заместителем председателя Временного рабоче-крестьянского правительства (место председателя осталось пока вакантным) и наркомом здравоохранения и социального обеспечения был утвержден Д. И. Ульянов, наркомвоенмором — П. Е. Дыбенко. В тот же день была послана телеграмма — любопытный и яркий документ эпохи:

«Москва, Совнарком, Ленину. Копия. Совнаркомам Киев, Будапешт, Мюнхен, Рига, Минск и всем, всем, всем.

Провозглашая создание Крымской Социалистической Советской Республики, Временное Рабоче-Крестьянское правительство Крыма обращается с коммунистическим приветом к братским социалистическим республикам России, Украины, Венгрии, Баварии, Литвы, Латвии, а также ко всему международному коммунистическому пролетариату и выражает полную решительность бороться в тесном союзе со всеми советскими республиками до полного торжества мировой коммунистической революции. Временное Рабоче-Крестьянское правительство Крыма твердо уверено в том, что близок день, когда на развалинах залитого кровью капиталистического мира Третьим, Коммунистическим Интернационалом будет воздвигнуто царство свободного труда.

Да здравствует международная коммунистическая революция! Да здравствует Третий, Коммунистический Интернационал! Да здравствует международная республика Советов!

За председателя
Временного
Рабоче-Крестьянского правительства
Дмитрий Ульянов».

Из многочисленных вопросов, которыми занималось рабоче-крестьянское правительство Крыма в эти

два с половиной месяца, выделим те, которые положили начало последующей деятельности Дмитрия Ильича в области курортного дела.

Еще 4 апреля 1919 года В. И. Ленин подписал декрет «О лечебных местностях общегосударственного значения». Специальным декретом Совнаркома Крыма за подписью Д. И. Ульянова 65 дворцов, особняков и дач, принадлежавших дому Романовых и сановной аристократии, были объявлены национальным достоянием для последующего превращения их в здравницы. Специально назначенные комиссары совместно с местными властями взяли имущество дворцов на учет. По рекомендации Д. И. Ульянова комиссаром Феодосийского уезда был назначен писатель В. В. Вересаев, М. П. Чехова стала хранительницей дома Чехова в Ялте, а молодой тогда профессор Таврического университета, в будущем крупнейший советский историк, Б. Д. Греков — начальником Архивного управления Крыма. Ему же Дмитрий Ильич поручил чтение лекций по истории и археологии.

Время было бурное, быстротекущее. 11 мая Дмитрий Ильич пишет подробное письмо Марии Ильиничне в Москву, рассказывает о прошлом, делится замыслами:

«...В начале апреля я жил в Евпатории и вошел там в Ревком, там работы была бездна, удавалось спать не более 3—4 часов в сутки, тем не менее я совершенно ожил в этой обстановке и чувствовал себя превосходно, день проходил в общей организаторской работе, на митингах и в редакции, а вечером в 11—12 ночи начинали заседания ревкома. Затем в конце апреля меня перетащили в Симферополь.

...О своем плане по курортному делу пишу Зиновию Соловьеву, на завтра созываю совещание товарищей и специалистов врачей... У меня самочувствие великолепное, работа бодрит. При вашей поддержке будем налаживать курортную работу, после нескольких лет разгрома и хищений находящуюся в жалком состоянии. И устроим настоящую пролетарскую здравницу для Советской России, использовав все лечебные ресурсы Крыма.

Крепко целую тебя, Аню и Володю, привет и пожелания здоровья Надежде Константиновне и всем

вам. Печальную весть о Марке [1] узнал недавно, она как громом поразила меня.

Твой Дмитрий.

P. S. Передай Володе, что в Евпатории в лучшем санатории у самого берега моря я приготовлю ему помещение, чтобы он хоть 2—3 недели мог отдохнуть, покупаться и окрепнуть. Там есть у нас все приборы для электро-гидро-механо- и гелиотерапии, и можно полечить ему руку. Тем более, что он никогда не видел нашего Черного моря. Надеюсь, что к тому времени море будет вполне наше, без английских жандармов. Вероятно также Надежде Константиновне, Ане и тебе следовало бы подумать хотя бы о небольшом отдыхе, чтобы потом приняться за работу с новыми силами...»

Верил ли автор письма, что Владимир Ильич сможет в условиях 1919 года приехать в Крым? Вряд ли. Но он искренне и страстно желал этого.

Всего 75 дней продержалась в 1919 году Крымская Советская Социалистическая Республика. Но, просматривая газеты того времени («Известия Временного правительства Крыма», «Прибой», «Голос Евпатории» и др.), просто диву даешься, как много сделано за этот короткий срок, какие смелые и щедрые планы намечались на будущее.

ВСЕ ЭТО — ВАШЕ!

В начале июля 1919 года Дмитрий Ильич вернулся с юга в Москву. По телефону из гостиницы «Россия» связался с Лениным. Владимир Ильич задал брату несколько коротких вопросов и просил приехать к нему в Кремль к половине пятого. Сказал, что автомобиль вышлет к четырем.

Ровно в четыре часа Дмитрий Ильич вышел из гостиницы на Лубянскую площадь. Машина уже стояла. За рулем сидел шофер в кожаной куртке.

— Товарищ Гиль?

— Вы Дмитрий Ильич? — спросил шофер, распахивая дверку.

— Он самый. Будем знакомы.

[1] Речь идет о смерти Марка Тимофеевича Елизарова.—*Ред.*

Жадно рассматривал суровую, настороженную Москву лета 1919 года, красноармейцев, отряды вооруженных рабочих. Напомним, что 3 июля Деникин начал наступление на Москву. По трем направлениям рвались к столице алексеевцы, корниловцы, марковцы, дроздовцы, белоказачьи части донской армии, рассчитывая охватить Москву клещами.

Владимир Ильич встретил брата в своем кабинете, обнял, сказал, что Митя выглядит совсем неплохо, но подышать Москвой ему не мешает. Жить будет у него в Кремле, в комнате Нади (Надежда Константиновна находилась в агитпоездке по Волге), а в субботу вечером они вместе поедут в Горки.

Дмитрий Ильич был радостно удивлен, услышав, что Ленин гораздо оптимистичнее, чем думалось ему, оценивает нынешнюю ситуацию. Мы должны напрячь все силы, тут не может быть двух мнений, положение опасное, но не катастрофическое. Год назад было тяжелее. Теперь у нас есть организация, есть опыт.

Через три дня, в субботу 12 июля, Дмитрий Ильич вместе с делегатами Московской общегородской конференции РКП(б) слушал доклад Ленина о внутреннем и внешнем положении республики. Владимир Ильич выразил твердую уверенность в победе. Эта уверенность основывается на реальной оценке обстановки. Колчак, а за ним Деникин восстановили против себя крестьянство, которое воочию убедилось, что собой представляют эти «освободители». Массы крестьянства перешли на сторону большевиков. В странах Запада встает пролетариат, несмотря на все понесенные им жертвы. «Вот почему, учитывая все пережитое, весь опыт этого года, мы с уверенностью говорим, что трудности преодолеем, что этот июль — последний тяжелый июль...»

После конференции поехали в Горки. Дмитрий Ильич был здесь впервые. С интересом осмотрел дом, вышел на одну из четырех террас.

Только начинало темнеть, было еще достаточно светло. Владимир Ильич предложил сыграть в городки. Игру эту он очень любил. Составились две партии. Владимир Ильич играл с азартом. Один из товарищей, вошедших в его команду, хромал, другой отличался сильной близорукостью. Владимир Ильич по-

лувшутку, полувсерьез негодовал: «Черт знает кого вы мне дали — одного хромого, другого слепого».

После игры пили чай вприкуску с сухариками, и Дмитрий Ильич подумал, что там, в Крыму, пока еще не знали продовольственных тягот Центральной России. И еще подумал: хорошо, что успели в мае отправить из Крыма в голодные губернии (цифры врезались в память, нелегко далась эта отправка) около 350 вагонов хлеба и муки, 147 вагонов соли, более 50 вагонов варенья и сухих фруктов, 3 вагона орехов и 100 тысяч бутылок лучшего крымского вина для больниц и госпиталей.

Конечно, Россию этим не накормишь, но все же...

После чая Владимир Ильич сказал, что должен еще поработать, и ушел к себе, а Дмитрий Ильич поднялся наверх. В лучах гаснущего заката вырисовывались силуэты деревьев. Совсем близко слышался настойчивый перестук дятла. В дальнем березняке звучно пересвистывались иволги. Легким ветерком с лугов принесло медовый запах клевера.

Дмитрий Ильич еще долго сидел на балконе.

На следующей неделе повидался со старым другом Зиновием Соловьевым, заместителем наркома здравоохранения РСФСР.

— Лежит план, ждет своего часа,— с сожалением сказал Соловьев, вынув папку с предложениями Дмитрия Ильича по крымской здравнице.

Восстановление Советской власти в Крыму казалось делом недалекого будущего. В конце 1919 года Д. И. Ульянов вошел в составы утвержденных ЦК РКП(б) Крымского ревкома и обкома. Эти органы обосновались в Мелитополе, вместе с командованием, политуправлением Южфронта готовили последний штурм Крыма.

В один из дней Дмитрия Ильича вызвали к Фрунзе.

В вагоне командующего было людно и шумно. Только что закончилось совещание, участники его, обмениваясь короткими репликами, торопились по своим частям.

Фрунзе встал из-за стола, поздоровался.

— Садитесь, Дмитрий Ильич. Вы досконально знаете некоторые районы Крыма? Какие?

Выслушав ответ, удовлетворенно кивнул:

— Ваши знания пригодятся. Прошу вместе с закордонным отделом ЦК КП(б)У проводить систематический инструктаж партизан, которых мы забрасываем в тыл Врангеля. Иногда мелочь стоит жизни. Не должно быть непредвиденных мелочей!

...Наступил долгожданный час штурма.

16 ноября 1920 года М. В. Фрунзе по телеграфу сообщил В. И. Ленину: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован». Освобождение Крыма от врангелевцев было завершено. Началась мирная жизнь.

«Превратить Крым во всесоюзную здравницу» — с этой мыслью вступил Дмитрий Ульянов на освобожденную от белых землю...

Совсем другим, чем полтора года назад,— дочиста разграбленным встретил Крым своих освободителей. Не было продовольствия, медикаментов, оборудования, постельного белья, не было врачей, сестер, да мало ли чего еще не было на разоренной войной и врангелевцами земле!

Нужны были экстренные меры и поистине героические усилия.

14 декабря 1920 года Крымревком издал приказ, предоставляющий под санатории и курорты все пригодные для этой цели государственные и частные помещения. Приказ касался комплектования штатов санаториев, обеспечения больных продуктами и т. д. 21 декабря Советское правительство приняло декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».

В этот же день Наркомздрав РСФСР назначил Д. И. Ульянова особоуполномоченным по организации курортов в Крыму.

К сезону 1921 года гостеприимно распахнули свои двери около 50 санаториев и домов отдыха. Южный берег Крыма мог одновременно принять 2400 человек, Феодосия — 1090, Евпатория, Саки, Севастополь — 1400.

В мае начали прибывать на лечение группы красноармейцев и рабочих из Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенска, Харькова, Донбасса и других мест. Им устраивались торжественные встречи, стихийно

возникали короткие митинги. На одном из них выступил Д. И. Ульянов:

— Дорогие товарищи рабочие и красноармейцы! Вы прибыли на лечение в солнечный Крым. Слава о целебных свойствах здешней природы идет уже давно. Аристократы и богачи приезжали сюда на летний сезон отдыхать, а больше — кутить и развлекаться. Приезжали и бедняки, для иных Крым был единственным спасением от чахотки и других болезней. Но что их встречало? Великий русский писатель и врач Антон Павлович Чехов с горечью писал из Ялты: «Как много здесь чахоточных! Какая беднота и как беспокойно с ними. Тяжелых больных не принимают здесь ни в гостиницы, ни на квартиры, можете же себе представить, какие истории приходится наблюдать здесь. Мрут люди от истощения, от обстановки, от полного заброса — и это в благословенной Тавриде».

Так было раньше. Теперь все иначе. Море, воздух, солнце, дворцы царей и аристократов, дома отдыха — все это ваше, товарищи!

Когда митинг окончился, к Дмитрию Ильичу через толпу пробился молодой красноармеец. Он шагал, опираясь на костыль, энергично выбрасывая вперед ногу в гипсовой повязке.

— Здравствуйте, товарищ Ульянов. Я — Ваня.

Дмитрий Ильич недоуменно смотрел на красноармейца. Нет, он его никогда не встречал. Может быть, на каком-нибудь митинге?

А красноармеец продолжал твердить.

— Я — Ваня. Неужто забыли? Симбирский я. Выходили меня махонького. Мамка сказывала.

— Погоди, погоди. В Елшанке?

— Точно,— обрадовался парень.— В Елшанке.

— Как же вы мою фамилию узнали?

— Фельдшер ногаткинский объяснил. Так, мол, и так: и фамилию, и имя, и по батюшке. Мамка за вас в церкви свечки ставила. Я как услышал: «Слово имеет товарищ Ульянов Дмитрий Ильич», так про все на свете забыл.

— Попробуй узнай, тебя, Ваня,— растроганный воспоминаниями, говорил Дмитрий Ильич,— вон какой вымахал. Отдыхай, Ванюша, поправляйся. Здесь все — твое!

В ГОРКАХ ЛЕНИНСКИХ

Прошло немало времени.

Дмитрий Ильич сидел на скамейке возле дикой яблони. Здесь любил отдыхать Владимир Ильич. После темноватой густоты парка радовало открытое место, поля, леса. Недалеко Подольск. Небольшой русский город, с которым у семьи Ульяновых связано много воспоминаний.

Рубеж XIX и XX столетий. Как давно это было!

А еще раньше — Симбирск, Самара. Москва... Время не стерло в памяти Дмитрия Ильича события прожитых лет. К счастью, не стерло. Потому что все чаще и чаще к нему, младшему брату, обращаются с просьбой, по разному выраженной, но одинаковой по содержанию: расскажите о Владимире Ильиче, о семье Ульяновых. Обращаются историки, музейные работники, пионеры, комсомольцы, литераторы. Вот и нынче звонила Надежда Константиновна, сообщила, что приедут к нему в Горки посоветоваться товарищи с киностудии. Еще передала, что просит разрешения приехать в Горки поэтесса Щепкина-Куперник.

— У нее к вам дело, Митя,— сказала Надежда Константиновна.— Если я правильно поняла, она работает над воспоминаниями о Марии Николаевне Ермоловой и надеется взглянуть на какое-то письмо, уточнить подробности, как вы спасали ее близких.

— Никого я не спасал, помог выбраться из Крыма, вот и все. Ох уж эти мне поэты. Впрочем, пусть приезжает.

...Он вернулся в Крым из Москвы в марте 1921 года и нашел в ревкоме телеграмму Луначарского от 25 января с просьбой помочь выехать с юга семье артистки Ермоловой, Щепкиной-Куперник, художнику Поленову. Конечно, сразу же сделал все возможное.

Вот товарищи с киностудии задумали фильм, посвященный детству и юности Владимира Ильича. Замысел похвальный.

Но настораживает, что во многих воспоминаниях и очерках о ранних периодах жизни Владимира Ильича проскальзывает стремление приноровиться, подладиться к общеизвестному, так сказать, образу вождя. Авторы подобных воспоминаний невольно впадают в

фальшь, изображая отношение к Володе других членов семьи и окружающих таким, словно уже тогда все знали или чувствовали, что Володя будет Лениным. Формирование характера великого человека происходит гораздо ярче и интереснее, чем кажется с первого взгляда, сложными внутренними путями. Надо предупредить товарищей от возможной ошибки. И помочь, разумеется. Когда они должны приехать?.. Да, вот запись в блокноте: в три часа дня. А в пять обещали позвонить из Медицинского издательства. Просят расширить для справочника сведения о деятельности его, Дмитрия Ильича, в советском здравоохранении. Жалуются, что в литературных источниках сведений этих крайне мало. Взял том Советской энциклопедии, испытывая при этом доброе чувство соприкосновения с прошлым, и не потому вовсе, что там справка о нем. Энциклопедию редактирует старый друг Федор Николаевич Петров... Да, действительно все изложено предельно сжато: с 1921 года работа в санпросвете Наркомздрава, с 1925-го — в Коммунистическом институте имени Я. М. Свердлова, с 1933-го — в научном секторе поликлиники санитарного управления Кремля. Возможно, товарищи из издательства правы.

Ведь за каждым словом автобиографии — жизнь. Вместе со старым другом по большевистскому подполью З. П. Соловьевым ему довелось принять участие в организации одного из важнейших направлений «советского здравоохранения — санитарного дела. «Предупреждая, лечить!» Мечта прогрессивных врачей дореволюционной России воплотилась в стройную, подлинно научную, общегосударственную систему санитарного просвещения и профилактики.

Что ж, в фундаменте этого здания, которому расти и расти, есть и кирпичи, заложенные им, скромным земским врачом, затем тружеником советского здравоохранения.

Надо попытаться выполнить просьбу товарищей из Медицинского издательства. Труднее всего — писать о себе самом. Кое-что подобрал: стенограммы, статьи. Материал, к сожалению, суховатый. Письма гораздо богаче. Благодаря сестрам некоторые из писем сохранились. Родные, заботливые руки бережно разгладили и сберегли странички, на которых торопливо, подчас

сумбурно Дмитрий Ильич делился мыслями, планами, рассказывал содержание прочитанного и давал медицинские советы (это делал особенно настойчиво и регулярно). После 1917 года писем, к сожалению, не так уж много. Раньше поболее. Иные Дмитрий Ильич перечитывал с невольной, чуть грустной улыбкой. Вот, например, адресованное дорогой Маняше письмо от 10 сентября 1912 года: «Особенно интересует меня теория электронов и радиоактивность; там есть также статьи по теории авиации — тоже интересная очень вещь; я, знаешь, до сих пор мечтаю начать учиться. В Москве был на воздухоплавательной выставке и на съезде».

Съезды Пироговского общества врачей всегда были для Дмитрия Ильича немаловажным событием, воздухоплавательная выставка произвела, разумеется, впечатление, но учиться авиации с едва зажившими травмами ноги и ключицы, да еще в тридцать восемь лет!.. Своему «фантазерству» улыбался сейчас Дмитрий Ильич.

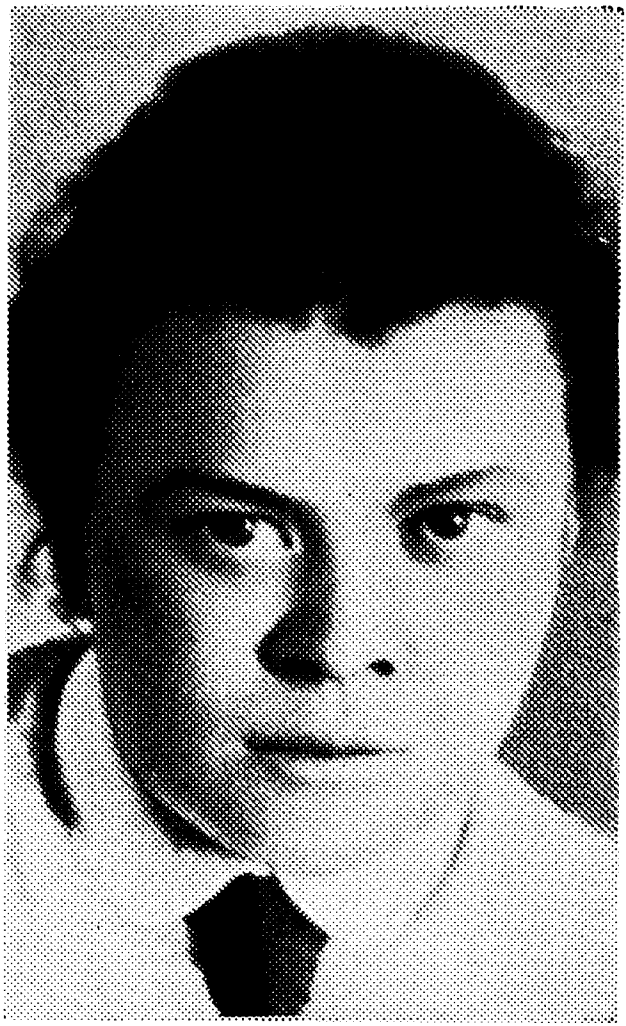
И сколько таких «фантазерств», а на деле серьезных увлечений в области науки было в жизни, увлечений, жестоко обрываемых московской «Таганкой», одесским тюремным замком, киевской «Лукьяновкой»...

А вот теорией электронов он тогда, в 1912 году, заинтересовался всерьез. Прочитал массу литературы. Любопытно, что буквально на днях попалось сообщение об открытии в космических лучах тяжелых электронов, приблизительно в 200 раз тяжелее обычных. Это лишь одна из вех на путях бурного развития новой физики. Сбывается предвидение Владимира Ильича, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна...». Какие еще возможности таит современное естествознание, какие еще чудеса материального мира раскроются перед человеком?

Если бы хоть одним глазком заглянуть в будущее! Что ж, не нам — нашим потомкам доведется раскрыть тайны волнующих загадок мира, познать сущность жизни. Для них мы расчистили путь!

...Начало третьего. Пора в дом, скоро приедут товарищи, работающие над темой о Ленине.

М. И. УЛЬЯНОВА



Машенька с первых дней дышала атмосферой семьи, жила ее традициями, ее принципами. Ей просто нельзя было иначе. Нельзя было не трудиться в саду подле мамы, когда трудились все. Нельзя было не играть в шарады, когда играли все. Нельзя было не петь под мамин аккомпанемент, когда пели все. Нельзя было не прийти кому-то на помощь, когда в семье было заведено помогать друг другу. И учиться плохо невозможно было, потому что братья и сестры учились хорошо и отлично.

И так во всем. Чувство долга. Чувство локтя. Чувство взаимопомощи. Эти чувства проявлялись с первыми проблесками сознания. Старшие дети старались походить на родителей, младшие — на старших.

Из автобиографии Марии Ильиничны известно, что больше всех братьев и сестер она любила Владимира Ильича и старалась походить на него, учиться у него, помогать ему. И эту необыкновенную любовь она пронесла через всю жизнь...

Маня часто прихварывала, росла хрупкой и болезненной девочкой. Очень метко и вместе с тем очень ласково Владимир Ильич называл ее Мимозой — нежным и хрупким цветком.

Маня, как и все Ульяновы, тоже любила стихи, записывала их в специальные блокнотики, хранила. Некоторые из записных книжек сохранились. Это стихи разных поэтов, в том числе И. С. Тургенева, М. Ю. Лермонтова.

Это некрасовские полные грусти, сочувствия и любви строки «В полном разгаре страда деревенская».

Это известные песни — «Нелюдимо наше море» и «Есть на Волге утес», считавшиеся в то время, особенно последняя, «вольными».

Сохранились также тетради: перевод из Лассаля «О сущности конституции», «Классовая борьба во Франции». Надпись на них карандашом: «Тетради Мимоза просила сохранить».

Конечно, это более поздние, не симбирские записи, потому что в Симбирске Мария Ильинична жила

только до девяти лет и еще просто не могла понимать и чувствовать то, что мы читаем в ее записных книжках и тетрадях. В Симбирске она жила всеми любимая, всеми опекаемая.

Особая, шутливо-дружеская, нежно-уважительная обстановка была в семье Ульяновых. Создали ее Илья Николаевич и Мария Александровна.

Илья Николаевич, как вспоминала Мария Ильинична, «держал себя с детьми так, что они не испытывали перед ним страха, как перед начальством, а доверчиво шли к нему». Он воспитывал их личным примером, негромким убедительным словом. И такие особенности характера Ильи Николаевича, как трудолюбие, самоотверженность, чувство долга, передались детям.

Мария Александровна, так же как и Илья Николаевич, «не любила, когда дети слонялись без дела, и умела приучать их к труду, проявляя иной раз немало изобретательности, чтобы труд этот на первых порах не был принудительным, заинтересовывал и завлекал детей. Помню, сколько интереса доставляло мне,— писала М. И. Ульянова,— когда я была еще совсем маленькой, обучение вязанию и шитью. Мать подарила мне большой клубок красной шерсти и крючок для вязания. Я принялась за дело и скоро увидала с удивлением, что из-под шерсти торчат какие-то твердые предметы. Постепенно, по мере того как я вязала, из клубка появлялись маленькие игрушки, конфеты и т. п. И я вязала с увлечением, стараясь поскорее разгадать все тайны, заключавшиеся в этом чудесном клубке». Родители будто дополняли друг друга, каждый нес свое «жемчужное зернышко», а схожим качествам придавали разные оттенки.

Беззаботной, радостной была жизнь Машеньки в Симбирске. И вероятно, ей казалось, что так будет всегда. Но ей не было еще восьми лет, когда умер отец. Безоблачное детство кончилось.

* * *

Прошло чуть больше года — новая беда. Старшие сестра и брат — Анна и Александр, учившиеся в Петербурге,— арестованы по делу о подготовке покушения на царя Александра III.

Маня впервые ощутила неосознанную боль утраты. Она услышала слова, сказанные ее любимым братом Володей, сказанные необычайно серьезно, по-взрослому, как клятва. «Десятки лет прошли с тех пор,— говорила она на траурном заседании Московского Совета 7 февраля 1924 года,— но и теперь я хорошо вижу выражение лица Владимира Ильича в ту минуту и слышу его голос: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти».

Семья Ульяновых вынуждена была оставить Симбирск. Они переехали в Казань.

Вскоре еще одна беда обрушилась на них. В Казанском университете прошла бурная сходка студентов в поддержку начавшихся в Москве студенческих выступлений против реакционного университетского устава. В ней принял активное участие и Владимир Ильич. Многие студенты были исключены из университета, а некоторые, в том числе и Владимир Ильич, арестованы и посажены в тюрьму. Затем его выслали из Казани в Кокушкино, где уже жила Анна Ильинична. И вот он едет в свою первую ссылку. Его провожают мать и младшая сестра Маня.

Марии Ильиничне врезались в память эти проводы. Вот что писала она через много лет: «Это был первый случай, когда я наблюдала репрессию полиции... С братом и матерью, которая поехала проводить В. И. до деревни, мы едем по городу в крытой кибитке, а сзади нас на рысаке провожает — и это останавливает все мое внимание — полицейский чин. У городской черты он поворачивает обратно, а мы под звон колокольчиков и скрип полозьев по снегу продолжаем наш путь».

* * *

Владимир Ильич звал Марию Ильиничну Маняшей. С детских лет он оказывал на нее колоссальное влияние, помогал ей в учебе: давал советы, что читать и как читать, настаивал на выполнении их, приучал к точности и аккуратности.

Сама Мария Ильинична вспоминала такой случай. Ей нужно было приготовить урок по географии, начертить карту Европы. Она сделала задание и показала брату. Владимир Ильич забраковал работу, научил, как пользоваться циркулем, чтобы не рисовать «на глазок».

Владимир Ильич был уже в Петербурге, в гуще революционной борьбы, у него явно не хватало времени, и все-таки он находил его, чтобы написать Маняше в Москву, справиться о ее здоровье и учебе.

В октябре 1893 года он пишет сестре: «Напиши, много ли проводишь времени за уроками дома?»

В декабре 1894 года: «Как твое здоровье, Маняша?..

Следовало бы заставить себя гулять ежедневно часа по два. Стоит это сидеть так усердно за уроками — и портить здоровье.

Что ты поделываешь кроме гимназических занятий? Что читаешь?..»

Несомненно, сестра выполняла его советы, особенно те, что касались образования, чтения, выбора книг и статей...

Мария Ильинична регулярно переписывалась с братом. Иначе и не могло быть в семье Ульяновых.

* * *

В 1895 году Мария Ильинична окончила гимназию и поступила на Высшие женские курсы в Москве. Увлеченная революционными идеями любимого брата, она и сама принимает участие в нелегальных студенческих сходках. И тут понимает, что мало знает, что не подготовлена ни практически, ни теоретически к революционной работе. На примере Владимира Ильича его младшая сестра видела, сколько нужно читать и знать, чтобы заниматься этой работой. Она обращается за советом к Владимиру Ильичу. И он составляет ей целую программу самостоятельного изучения марксизма. Программы этой не сохранилось, но можно предположить, что представляла она собой. В одной из анкет на вопрос: «Что прочитано вами из произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Каутского, Плеханова?» — Мария Ильинична отвечала: «Большая часть».

В декабре 1895 года арестовали Владимира Ильича. В конце мая 1896 года Мария Александровна, Анна Ильинична и Мария Ильинична смогли приехать в Петербург, чтобы быть ближе к В. И. Ленину, ходить к нему на свидания. Марию Ильиничну Володя поразил. Подумать только, где он решил писать книгу! Влади-

мир Ильич в то время начал работать над книгой «Развитие капитализма в России».

В набросках автобиографии Мария Ильинична писала: «Во время ареста Владимира Ильича в 1895—1897 годах мне еще ближе пришлось столкнуться с революционными социал-демократами, познакомиться и с революционной нелегальной литературой...» А в автобиографии Мария Ильинична замечает: «...вплотную подошла к с.-д. работе в годы 1896—1897, когда, будучи в Петербурге, служила передаточным звеном между Лениным, находящимся в тюрьме, и «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».

«Передаточное звено» — что же это такое? Это — связная. Анна Ильинична занималась более сложной и ответственной, требующей опыта работой — «передачей книг и деловой шифрованной перепиской». На долю Марии Ильиничны оставалась другая сторона дела. Видимо, она обязана была к кому-то прийти, что-то передать от Владимира Ильича, с кем-то встретиться и получить от него необходимую информацию для Владимира Ильича. Безусловно, это было рискованно. Безусловно, ее могли заметить, задержать, привлечь. Знал ли Владимир Ильич, что младшая сестра подвергается риску? Знал и наверняка не хотел этого. Но иного выхода не было. А главным образом сама Мария Ильинична не только не возражала против своей роли, но и настаивала на ней, хотела быть «передаточным звеном».

Владимира Ильича сослали в далекое Шушенское. Но он и не думал прекращать работу над книгой «Развитие капитализма в России». Мария Ильинична понимает, что теперь ему, как никогда, нужна ее помощь, нужны книги, журналы, множество прочих материалов. Мария Ильинична помогает Владимиру Ильичу вместе с Анной Ильиничной и Дмитрием Ильичем.

В одном из писем она сообщает, что может делать выписки из книг Румянцевской библиотеки для Владимира Ильича. На ее предложение он сообщает: «Предложением твоим насчет выписок в Румянцевской библиотеке я, наверное, воспользуюсь».

Ему нужны были книги, и Мария Ильинична изыскивает возможности отправить «товары», посылает бандероли, знакомится с людьми, едущими до

Красноярска, и через них отправляет «посылочки». В письме, которое цитировалось выше, Владимир Ильич пишет: «Может быть, будет также и оказия либо на рождество, либо с намеревающимися сюда ехать девицами [1] (об них пишу маме), либо, наконец, еще с кем-нибудь».

На все это нужно массу времени, нужно чутье на человека, нужна смелость, чтобы завязать контакт и довериться «попутчику».

Путь до Шушенского далекий, дороги не всегда свободны (навигация не круглый год). Владимиру Ильичу требуется время для прочтения посылаемой литературы. А тут еще множество других препятствий, которые нужно было преодолеть Марии Ильиничне.

«Ты уж не трудись так усиленно, Маняша, насчет Штанге: по всей вероятности, я соврал. Где тут упомнить за столько лет! Нашлась одна статейка — и то слава богу».

А она трудилась... Она ничего не могла делать спустя рукава. Он же сам научил ее такой тщательности. Ее девизом на всю жизнь стало: «Уж если что делать, то делать хорошо».

Марии Ильиничне было девятнадцать лет. Она была полна обаяния, юной непосредственности, веселья. Ей шли скромные платья с высокими воротниками, шел серый и голубой цвет, гладкая прическа... Знакомые считали ее приятной и славной девушкой и были, несомненно, расположены к ней, но она вела себя как-то странно: редко где бывала, почти никуда не выходила, вечно была занята. Все говорила: мне надо заниматься.

Конечно же и ей хотелось повеселиться, быть среди молодежи, но чувство долга, чувство ответственности за порученное дело, необходимость помогать человеку в несчастье, привитые с детства, брали верх, и она сдерживала свои желания. Вместо развлечений, встреч, шумного общества спешила в библиотеку, в магазины, на почту, на вокзал, на связь с теми, от кого Владимир Ильич ждал вестей. Она спешила помочь ему закончить книгу. Теперь она не просто сочувство-

[1] Речь идет о Н. К. Крупской и З. П. Невзоровой.— *Ред.*

вала ему, не просто стремилась помочь родному человеку, не просто восхищалась его мужеством, теперь она сознавала важность его дела.

* * *

С 1898 года Мария Ильинична — член Российской социал-демократической рабочей партии. Она имела моральное право быть в рядах этой партии, была достаточно подготовлена к революционной работе, созрела для ответственного, сложного и рискованного дела.

Юная и застенчивая в товарищеском кругу, она преображалась на партийной работе, рвалась в самую гущу ее.

«Помогая В. И. Ленину в его работе, Мария Ильинична одновременно вела пропаганду марксизма среди рабочих и интеллигенции, принимала участие в организации политических стачек, подпольных кружков, уличных демонстраций, нелегальных собраний, маевок». Она прошла составленную Лениным программу «самообразования», и это давало ей необходимый минимум знаний для пропаганды марксизма среди студентов и рабочих.

А сама Мария Ильинична чувствовала, что ей не хватает образования. Рамки Высших женских курсов стали малы. Нужно было ехать учиться за границу, так как в России в те годы для женщин круг образования был ограничен. Мария Ильинична решила поехать учиться в Брюссель, в лучший в то время новый университет. Владимир Ильич горячо поддержал ее выбор: «План Маняши ехать в Брюссель мне кажется очень хорошим. Вероятно, учиться там можно лучше, чем в Швейцарии. С французским языком она, вероятно, скоро справится. В климатическом отношении, говорят, там хорошо».

Мария Ильинична уехала в Бельгию. Получив от нее письмо из-за границы, Владимир Ильич ответил из Шушенского: «Получили мы, Маняша, твое письмо и были ему очень рады. Взялись сейчас за карты и начали разглядывать, где это — черт побери — находится Брюссель. Определили и стали размышлять: рукой подать и до Лондона, и до Парижа, и до Германии, в самом, почитай, центре Европы... Да, завидую тебе».

А она и там, в далеком Брюсселе, остается помощ-

ником Владимира Ильича. В одном из первых писем она спрашивает, что ему нужно? Какую литературу прислать?

И она, конечно, доставала все, что он просил,— и газеты, и книги, и каталоги, и стенографические отчеты — и высылала ему. Ей приходилось читать газеты и другую литературу, иначе не узнаешь, то ли это, что требует Владимир Ильич. Она делала это с охотой; за годы помощи брату уже пристрастилась к чтению политической, философской и экономической литературы.

Ее особенно порадовало сообщение Владимира Ильича о том, что работа над книгой «Развитие капитализма в России» подходит к концу. В этой работе была и ее доля. И ее радость.

Будучи за границей, она тосковала по родине. Однажды в письме Анне Ильиничне из Франции она писала:

«Теперь пора за работу, только бы добраться до России, очень уж мне заграница очертела».

Вот почему, едва дождавшись лета, едва закончив курс, Мария Ильинична мчится в Россию. Скорее к родным, друзьям, скорее к революционной работе.

* * *

Мария Ильинична приехала в Подольск, где жили мама и старшая сестра, родные люди. Живи спокойно, отдыхай, готовь силы к новому учебному году. Она не знает, в чем ей специализироваться, какую выбрать профессию.

Больше всего Марию Ильиничну тянет к революционной работе. Ей не сидится дома, не отдыхается. Она буквально с первых дней связывается с единомышленниками, москвичами-партийцами, входит в группу Лукашевич и сестер Королевых и принимает самое активное участие в ее работе. Снова она распространяет нелегальную литературу, участвует в нелегальных сходках, ведет пропаганду марксизма.

Владимир Ильич по-прежнему загружает ее заданиями по розыску необходимой литературы, предлагает ей читать новинки по философии, экономике, политике, делится с нею своим мнением о прочитанном.

Московская охранка приходит к выводу: «Мария Ульянова несомненно поддерживает революционные

традиции своей семьи, все члены коей отличаются крайне вредным направлением. Так, брат ее, Александр, казнен в 1887 году за участие в террористическом заговоре, Владимир сослан в Сибирь за государственное преступление, и Дмитрий недавно подчинен гласному надзору полиции за пропаганду социал-демократических идей, а сестра Анна, состоящая, как и муж ее Марк Тимофеевич Елизаров, под гласным надзором полиции, ведет постоянные сношения с заграничными деятелями».

В середине лета 1899 года Мария Ильинична вернулась на родину, а уже 30 сентября была арестована по делу Московской партийной организации и в октябре выслана под особый надзор полиции в Нижний Новгород.

Ее обвиняли в связях с революционными лицами за границей и в том, что она содействовала перевозке политической литературы в Россию.

Мария Ильинична стойко переносила первый арест и первую ссылку. Теперь ей на деле пришлось познакомиться с тюремными законами, с «любезностями» полиции. Теперь уже к ней на свидание приходили мама и старшая сестра. Мария Ильинична старалась держаться мужественно. Перед глазами был пример Владимира Ильича. Он в тюрьме начал работу над книгой. Он находил в себе силы для работы в подобных условиях. А Александр Ильич... По рассказам мамы, он даже перед казнью был спокоен и уверен в своей правоте. Нет, никакого уныния, ни минуты малодушия. Она будет достойной сестрой своих братьев.

Достаточных улик против Марии Ильиничны не было, и в январе 1900 года ей разрешили вернуться из Нижнего в Москву.

Но пришлось прервать учение в университете, прервать не по своей воле: полиция отобрала заграничный паспорт, запретила выезд в Брюссель.

Началась новая жизнь — жизнь революционера-профессионала.

* * *

Марии Ильиничне пришлось устроиться на скромную работу в Управление Московско-Казанской железной дороги. Нужен был заработок. Конечно, она и не думала оставлять партийную работу. Она вновь заня-

лась распространением нелегальной литературы, организацией нелегальных кружков молодежи.

Февраль 1900 года для Марии Ильиничны, как и для всей семьи Ульяновых, был праздничным. Из далекой ссылки вернулся Владимир Ильич. В Москве пребывать ему не разрешалось, но он все-таки приехал и провел с родными несколько приятных и радостных дней. Нетрудно представить, какой была эта встреча. Он удивился, увидев Марию Ильиничну. Оставил ее хрупкой, робеющей девочкой, а встретил девушку с твердым и цельным характером, деятельную, напористую, готовую и помочь, и поучиться, и поспорить.

До отъезда за границу Владимиру Ильичу необходимо было восстановить связи, встретиться с нужными товарищами, уговориться о шифре, о переписке, о многих больших и малых делах. Опять нужен был надежный человек, умный и смелый связной, ведь сам он находился в Москве нелегально.

И тут снова пришла ему на помощь Мария Ильинична. Она ездила к нужным людям, связывала их с Владимиром Ильичем, передавала ему поручения, приносила данные.

Эти месяцы у нее были самыми тяжелыми. Она устает. Это волнует Владимира Ильича. Уже из-за границы он пишет матери: «Как идут дела у Маняши? Не очень ли много она работает? Вполне ли здорова теперь?..»

А она много, с увлечением работает. Самое важное для нее теперь новое дело — газета. Переписка с Владимиром Ильичем, связи и работа с молодежью, с рабочими — членами нелегальных кружков.

Осенью 1900 г. М. И. Ульянова через А. В. Луначарского связалась с московскими искровцами и приняла участие в составлении корреспонденции для первого номера «Искры». Не знала Мария Ильинична, что эти первые заметки в первом номере «Искры» будут началом ее большой и яркой работы в газете, началом долгого и успешного журналистского пути.

* * *

В марте 1901 года Мария Ильинична была вновь арестована и заключена в одиночную камеру Таганской тюрьмы.

Марию Ильиничну держали в тяжелых условиях, в душной камере, без предъявления обвинений; ей даже свидания с родным братом Дмитрием Ильичем не разрешали. Полиция думала сломить таким образом дух молодой революционерки, заставить ее поколебаться, дрогнуть.

Мария Ильинична была хоть и молодым, но достаточно опытным и смелым революционером. Кроме того, она понимала, что у полиции против нее лично мало фактов. Полиция не знала правды.

А правда была такова. Получив от Владимира Ильича советы и указания о дальнейшей партийной работе, Мария Ильинична уяснила главное. Владимир Ильич взял на себя наиболее трудное дело — организацию общерусской газеты. Марии Ильиничне и другим рядовым революционерам предстояло заниматься «черновой» и «мелкой» работой. Владимир Ильич учил, и она понимала это: настал тот период, когда нет мелких и крупных дел, когда от мелочей зависит большая работа, когда неосторожный шаг может привести к провалу организации, когда из-за пустяка может все рухнуть. Не вышли она Владимиру Ильичу необходимую информацию, не помоги ему советами, заметками, письмами другие члены партии — не выйдет вовремя «Искра». Выйдет свежая газета, но не придет к тем, кому она предназначена,— роль ее обесценивается, смысл выпуска теряется. И так во всем. Мелочи и крупные дела зависят друг от друга, как части одной огромной, еще не вполне освоенной машины...

Мария Ильинична посылает Владимиру Ильичу книги, газеты, Владимир Ильич благодарит:

«От Маняши получил также и книги... спасибо за них. Жду вскоре присылки ящика и денег...»

Мария Ильинична вновь и вновь организует связи, переписку с интересующими Владимира Ильича товарищами, она снабжает его секретной информацией, проявляя при этом тонкость и изобретательность опытного революционера.

«В каком положении Манино дело? — спрашивает Владимир Ильич у матери в одном из писем.— Кстати, забыл передать ей, что Пушкина получил — очень благодарю...»

Для чего вдруг понадобился Владимиру Ильичу Пушкин? Ответ простой. На его страницах химическим способом Мария Ильинична передала необходимую информацию.

В следующем письме Владимира Ильича читаем: «...а Маняшу очень благодарю за присланные книги и особенно за чрезвычайно красивые и интересные фотографии, посланные кузеном из Вены; очень желал бы почаще получать такие подарки».

Опять Мария Ильинична умудрилась обвести полицию. Она переслала брату манифест партии социалистов-революционеров, заделав его в альбом с какими-то фотографиями.

Нелегальная литература приходила в Россию на «чистые» легальные адреса. Марии Ильиничне вместе с другими товарищами приходилось ездить по этим адресам, собирать нелегальную литературу и распространять ее среди рабочих и молодежи. Вместе с другими членами Московской партийной организации Мария Ильинична подготовила и издала гектографическую листовку, в которой остро и доказательно высмеивались и разоблачались бернштейнианство и его последователи в России — экономисты. Листовка горячо призывала к решительной и непримиримой борьбе с ревизионизмом. Это была ленинская линия...

Полиция продолжала держать Марию Ильиничну в одиночке.

Шло лето. Самое тяжкое время для заключенных. Духота. Жара. Спертый воздух. Но особенно тяжело было Марии Ильиничне от неизвестности, от одиночества. Несколько месяцев ей не предъявляли обвинения. Долгое время к ней пускали на свидания только Марию Александровну.

Маме было одиноко. И это очень угнетало Марию Ильиничну. Она всячески старалась не только скрыть от матери свое состояние, но и подбодрить ее.

Она боролась. Прежде всего не поддавалась гнетущей обстановке. Владимир Ильич однажды делился тюремным опытом. Она запомнила его рассказ. Ежедневно делала гимнастику, обтиралась холодной водой и читала, читала, читала. Все, что можно было читать, все, что попадало к ней с воли, изучала, запоминала, превратив свою одиночку в учебную комнату.

Мария Ильинична не только сама не падала духом, но и других старалась поддержать.

Мария Александровна при встречах передавала весточки от Владимира Ильича. Он заботился о младшей сестре.

Ленин сообщал матери: «Грустно, что в положении Марка и Маняши никаких перемен нет. Я написал им перед самым отъездом Анюты письмо со всякой болтовней о тюремном времяпрепровождении. Не знаю, получены ли эти письма и дошли ли до них?»

Вот эта «болтовня»: «Как-то ты поживаешь? Надеюсь, наладила уже более правильный режим, который так важен в одиночке?.. По части умственной работы особенно рекомендовал переводы и притом *обратные*, т. е. сначала с иностранного на русский письменно, а потом с русского перевода опять на иностранный. Я вынес из своего опыта, что это самый рациональный способ изучения языка. А по части физической усиленно рекомендовал ему (Марку Елизарову.— *В. Д.*), и повторяю то же тебе, гимнастику ежедневную и обтирания. В одиночке это прямо необходимо... Советую еще распределить правильно занятия по имеющимся книгам так, чтобы разнообразить их... Иногда ухудшение настроения — довольно-таки изменчивого в тюрьме — зависит просто от утомления однообразными впечатлениями или однообразной работой, и достаточно бывает переменить ее, чтобы войти в норму и совладать с нервами».

Как видим, эта так называемая «болтовня» — целая инструкция, наставление, наполненное заботой и желанием помочь Марии Ильиничне.

Мария Ильинична выстояла. Прокуратура, несмотря на все старания, ничего более или менее серьезного, никакого тяжелого обвинения ей предъявить не могла.

В октябре 1901 года до окончания дознания ее выслали в Самару под гласный надзор полиции.

Вначале Мария Ильинична не имела никакого заработка. Деньги на житье высылала ей из своей пенсии Мария Александровна, помогали товарищи. Позже Марии Ильиничне разрешено было устроиться на работу. Она стала конторщицей в дорожно-строительном отделении Самарской губернской земской управы.

Вскоре в Самаре у нее нашлись единомышленники.

Едва освоившись с обстановкой, Мария Ильинична тотчас вошла в искровскую группу (К. К. Газенбуш, Н. И. Соловьев, В. П. Арцыбушев, Н. Пономарев, В. Н. Масленников и другие). В Самару прибыл видный революционер Ф. В. Ленгник и тоже вошел в группу искровцев, внеся свой опыт. Партийная работа значительно оживилась.

Опять Мария Ильинична участвовала в нелегальных собраниях, в составлении заметок для «Искры», в пропаганде идей марксизма. Она была одним из секретарей Бюро Русской организации «Искры».

В начале января 1902 года в Самару приехали Г. М. и З. П. Кржижановские. Глеб Максимилианович был под негласным надзором полиции. Он устроился работать помощником начальника депо Самаро-Златоустовской железной дороги и стал одним из руководителей русской организации «Искры». Глебу Максимилиановичу при поддержке В. И. Ленина в конце января 1902 года удалось созвать в Самаре конференцию представителей крупнейших искровских организаций. Секретарскую работу вели З. П. Кржижановская и М. И. Ульянова. Вместе они и составили Бюро Русской организации «Искры»...

Так прошло время, и кончился полный лишений и мытарств годичный срок гласного надзора.

Мария Ильинична пишет Н. К. Крупской, просит у нее совета:

«Медведь (близкие любовно прозвали Марию Ильиничну Медвежонком.— *В. Д.*) просит передать, что хотелось бы перекочевать куда-либо... Очень бы просил дать указание относительно этого. Вы знаете, что это за зверь, а следовательно, можете судить, где он может быть у места... Он бы был очень благодарен, если бы старик высказал свое мнение относительно этого».

Владимир Ильич (Старик) незамедлительно ответил:

«О выборе местных дел отсюда говорить и совсем трудно. Повторяю, что я считаю единственно разумным с своей стороны передать всецело свой голос Клэру, который знает все из первых рук и сумеет подать лучший совет».

Клэр — ближайший соратник Владимира Ильича

Г. М. Кржижановский — должен был вскоре уехать в Киев. Туда по совету Владимира Ильича собирались переместить искровский центр. Кржижановский рекомендовал Марии Ильиничне остаться пока в Самаре. Нужны были надежные люди. Мария Ильинична считалась именно таким человеком. Для лучшей конспирации она поступает на новую работу — на стройку сельскохозяйственного училища счетоводом.

Самара в то время являлась партийным центром. Через нее осуществлялась связь с «Искрой», велась подготовка ко II съезду РСДРП. Позже был организован специальный комитет по подготовке к съезду.

Из очерков истории Ленинградской организации КПСС узнаем: «Через И. И. Радченко Петербургский комитет поддерживал постоянную связь с Русской организацией «Искры» в Самаре и ее видными деятелями — Р. С. Землячкой, Г. М. и З. П. Кржижановскими, Ф. В. Ленгником, М. И. Ульяновой».

Видимо, кто-то из товарищей или родственников сообщил Владимиру Ильичу о том, что Мария Ильинична плохо выглядит. Он тревожится: «А Маняша?.. Ну и ей тоже летом надо выбираться из Самары — я не могу и сейчас забыть, какая она пакостная в жару».

Наконец она выбирается на Волгу. И тотчас помощник начальника самарского губернского жандармского управления сообщает в Симбирск, что Мария Ильинична, как состоящая под особым надзором полиции, выехала из Самары без разрешения, и просит «о водворении поднадзорной в Самару».

Только ловкая конспирация, только ум и находчивость спасают Марию Ильиничну от нового ареста.

Вот только один пример.

Как ни старалась Мария Ильинична, как ни конспирировала партийную работу от жандармов, все равно они время от времени наведывались к ней, производили обыски. В один из таких обысков жандарм нашел тетрадь, заполненную математическими знаками.

— А это что такое? — строго спросил он.

— Да вот задачки решаю,— спокойно ответила Мария Ильинична.

Полистал жандарм тетрадь и отложил в сторону.

Если бы знал он, что̀ держал в руках, несдобровать бы Марии Ильиничне. В тетради были адреса комите-

тов, явок, конспиративных квартир, записанные шифром...

Шло время. Развивались события. Разрасталось революционное движение. Центр работы переместился в Киев. В Самаре Марии Ильиничне уже нечего было делать.

8 октября 1903 года Л. М. Книпович сообщает из Киева за границу, редакции «Искры»: «...вчера здесь появился Медвежонок. Он собирается писать».

* * *

Киев оказался удобным для революционной работы местом. Он был воротами, через которые проходили связи заграничного и российского центров ЦК.

На II съезде РСДРП фактически раскололась на большевиков и меньшевиков. На съезде победило большинство — ленинская линия. Мария Ильинична, как и все остальные Ульяновы, конечно, была с большевиками.

После съезда партийная работа заметно усилилась, особенно в Киеве, где находилось Русское бюро ЦК (Кржижановские, Л. М. Книпович и другие). Активным агентом большевистского центра стал Дмитрий Ильич — участник съезда. Он работал врачом в одной из киевских больниц. К нему приехали обе сестры — Анна Ильинична и Мария Ильинична — активные искровки-революционерки. Таким образом, как бы естественно в Киеве образовался своеобразный «ульяновский центр».

Главной заботой Ульяновых было издание и распространение нелегальной литературы: «Искры», произведений Владимира Ильича «Задачи русских социал-демократов», «Что делать?». Для хранения нелегальной литературы нужны были особая конспирация, ловкость и находчивость. Ульяновы обладали этими качествами.

Однако, сколь ни аккуратны были в своей работе Ульяновы, как ни владели конспирацией, в январе 1904 года они были арестованы. Никаких ошибок не было. Просто полиция напугалась, заметив оживление революционной работы в городе.

В тюрьме Мария Ильинична ничего не боялась, ей не внове были ни обстановка, ни методы работы ох-

ранки. Она твердо знала: фактов нет, улик нет. Ульяновы не только не дрогнули, но и в тюрьме вели борьбу за человеческое достоинство, за уважительное отношение к заключенным. Вскоре Марию Ильиничну выпустили за недостаточностью улик.

Ульяновы переехали под Петербург, в Саблино.

* * *

Но и здесь, в Саблине, Мария Ильинична не отдыхает. Она быстро связывается с петербургской партийной организацией, принимает в ее работе самое активное участие.

Теперь она была известной революционеркой, стойким большевиком. Товарищи по партии знали: через нее шла связь с заграницей. И здесь, в Петербурге, Марии Ильиничне была отведена роль главной связной партии. Именно через нее поступали последние сведения о заграничной жизни большевиков, о Ленине, через нее шли директивы Владимира Ильича. Эта непосредственная связь, получение сведений почти из первых рук очень помогли петербургской организации, укрепили ее.

Владимир Ильич за границей постоянно нуждался в деньгах, в работе. В одном из писем матери он пишет: «Я получил теперь книгу Гобсона об империализме и начал переводить ее...» Марии Ильиничне приходилось вести переговоры с русскими издателями, добиваться от них издания книг Владимира Ильича, его переводов на русский язык.

Это было хлопотно, порой унизительно: ходить упрашивать, уговаривать, добиваться выплаты гонорара, «выбивать приличную цену».

В ноябре 1904 года Мария Ильинична выехала за границу, в Женеву, к Ленину. Здесь она с ходу включилась в партийную работу. Помогала Владимиру Ильичу вести переписку с партийной группой, находившейся в Париже, и с партийными комитетами в России. Это был огромный труд. Разбросанным по необъятной территории России и вынужденным жить в эмиграции единомышленникам-большевикам было очень важно находиться в курсе партийных событий, проводить общую линию борьбы.

Приезд Марии Ильиничны подбодрил Владимира

Ильича, а то, что она взяла на себя переписку, намного облегчило его работу. Кроме писем и директив ей приходилось пересылать брошюры, газету «Вперед». Все это отсылалось не только в «чистых» конвертах, но и разным иным, «хитрым» путем.

В первые же дни приезда Марии Ильиничны в Женеву, несомненно, обсуждался вопрос о ее дальнейшей учебе. От своего курса в Брюссельском университете она по независящим от нее обстоятельствам отстала. Сейчас был такой период, когда она не могла сразу начать учебу. Назревали большие революционные события в России. Работы у партии, у Ленина было особенно много. Мария Ильинична не хотела уезжать от него в такой момент. Она решила идти путем любимого брата — готовиться и при случае, при более благоприятных условиях, сдать университетский курс экстерном, как сдавал его когда-то Владимир Ильич.

Ей не терпелось уехать на родину. Она знала, что ее ожидает: слежка охранки, подполье, лишения и мытарства, быть может, снова тюрьма и ссылка. Знала и все-таки решилась ехать. Настояла на отъезде.

* * *

Мария Ильинична остановилась в Саблине. Мать, старшая сестра, брат встретили ее с радостью. В первый же вечер мама села за рояль, а они, дети, как прежде, как бывало в далеком детстве, чуть поодаль.

Шумела листва в саду. А из маленького домика доносилась музыка. Мария Ильинична слушала маму и вспоминала прошедшие годы. Они были нелегкими, непраздничными, но, верни их назад, она бы вновь выбрала именно тот путь, на который вступила в юности, по которому идет теперь...

Долго отдыхать Марии Ильиничне не пришлось. Дела партии не позволяли. Е. Д. Стасова уезжала в Москву. Петербургский комитет предложил Марии Ильиничне принять от нее секретарство.

Время было чрезвычайно тяжелое. Петербургская организация РСДРП несла большие потери. Весной и летом 1905 года из-за полицейских преследований в Петербургском комитете сменилось шесть секретарей. Мария Ильинична также находилась под угрозой ареста. Но работала.

Особенно ответственным и сложным было заведование техникой, также порученное Марии Ильиничне. В эту работу входили вся конспирация, выпуск и распространение нелегальной литературы, шифры, явочные квартиры.

Шла подготовка к восстанию. Шла упорная борьба с меньшевиками, выступающими против вооруженного восстания. Мария Ильинична принимала горячее участие в этой борьбе.

Особенно активно в поддержку политики большевиков выступают рабочие Путиловского завода и студенты. В Петербургском университете проходят грандиозные митинги. Технологический институт становится одной из штаб-квартир большевиков. На собраниях и на митингах, на подпольных явках в нем бывали Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, М. И. Калинин, Е. М. Ярославский, Р. С. Землячка и другие.

Для непосредственного руководства революционной борьбой в России из-за границы вернулся Ленин. Ему пришлось жить и работать на нелегальном положении. Мария Ильинична, как и всегда в таких случаях, подыскивала конспиративные квартиры, надежных людей, устраивала встречи Владимира Ильича с товарищами.

Так, 8 ноября 1905 года, в день своего приезда, Владимир Ильич встретился с членами ЦК. В тот же день он увиделся с М. Н. Лядовым и рабочим В. А. Шелгуновым, который когда-то занимался в его кружке. Свидание было подготовлено Марией Ильиничной. Оно было приятным и полезным сюрпризом для Владимира Ильича, так как сразу же вводило его в курс событий. И назавтра, участвуя в заседании ЦК РСДРП, он уже знал обстановку, знал людей: кто чем дышит, какой придерживается линии, на чьей стороне стоит.

Для встреч большевиков-подпольщиков, для заседаний Центрального Комитета и Петербургского комитета партии Мария Ильинична подыскала квартиру зубного врача Ю. И. Лаврентьевой. Здесь, в приемной, в кабинете, и происходили эти встречи и заседания. Подпольщики приходили сюда под видом больных, повязанные платками, держась за щеку, изобра-

жая боль на лице. Товарищи встречали «страдальцев» смехом и шутками.

В конце 1905 года Мария Ильинична стала секретарем Василеостровского, затем Петербургского райкомов партии. Ей было только 27 лет. Но за плечами — тюрьмы и ссылка, школа конспирации, жизнь за границей, месяцы упорной учебы, овладение теорией марксизма... И вот теперь — подготовка восстания...

Декабрьское вооруженное восстание было подавлено. Против восставших действовала вся огромная государственная машина, армия, полиция, жандармерия.

Мария Ильинична вместе со всеми тяжело переживала неудачу. Переживала, но не опускала рук, понимая, что необходимо с удвоенной, с утроенной, с удесятеренной энергией готовить массы, партию, весь народ к предстоящим боям. И она усиливает работу, ведет пламенную агитацию, пишет и налаживает распространение листовок.

В 1906 году с помощью рабочих-большевиков А. Катькова и Г. Беляева Мария Ильинична Ульянова создавала пропагандистские кружки на Невской бумагопрядильной мануфактуре (ныне фабрика имени Халтурина), распространяла нелегальную литературу, проводила беседы и собрания.

После подавления восстания власти разыскивали Ленина, чтобы «заключить, безусловно, под стражу». Ленину в конце концов пришлось уехать в Финляндию, но и оттуда он помогал Марии Ильиничне. Она держала с ним связь, как обычно снабжала необходимой литературой и сведениями о работе, о настроении в партии, а он ориентировал ее на правильное отношение к тем или иным политическим событиям. «Я против бойкота III Думы, и скоро, верно, выйдет у меня одна вещица по этому поводу, которую я только что кончил» [1],— писал Владимир Ильич.

Неоднократно Мария Ильинична приезжала к нему в Финляндию. В одном из писем матери Владимир Ильич сообщает: «Маняша погостила у нас и теперь еще здесь, но собирается сегодня уезжать по случаю

[1] Имеется в виду статья «Против бойкота».— *Ред.*

наступления зимы... Маняша, кажется, здесь себя недурно чувствовала, работала много — переводила».

Переводила Мария Ильинична по совету Владимира Ильича письма Карла Маркса к Кугельману и к Зорге.

Насколько важен был этот перевод, говорит тот факт, что сам Владимир Ильич отредактировал его и предпослал брошюре предисловие.

Зачем же нужна была эта брошюра? Почему ее надо было так срочно переводить и издавать, да еще с предисловием Ленина?

После поражения Декабрьского вооруженного восстания меньшевики направили против большевиков всю мощь своей пропаганды. Плеханов заявил: «Не надо было браться за оружие...»

Письма Маркса как раз и опровергали малодушные теории, вдохновляли большевиков на продолжение революционной борьбы. Мария Ильинична взялась за этот перевод как за самое ответственное партийное поручение. И выполнила его отлично.

* * *

Весной 1907 года дом в Саблине пришлось продать. Ульяновы переехали в Петербург, на Петербургскую сторону. Квартира оказалась сырой. Мария Александровна и Анна Ильинична заболели гриппом. Марии Ильиничне пришлось «разрываться на три части»: заниматься партийной работой, ухаживать за больными в доме, помогать Владимиру Ильичу, находившемуся в Финляндии.

В феврале 1908 года Владимир Ильич приступил к работе над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Он решил дать бой всем противникам марксистской философии. И опять ему усиленно помогала Мария Ильинична.

Владимир Ильич благодарит ее за помощь и присылает немецкий роман для перевода. Он выкраивает время, читает с «прицелом» на младшую сестру, заботится о ее заработке. Вскоре он узнает, что Марию Ильиничну настигает грозное и опасное заболевание — тиф.

Она выздоровела. Владимир Ильич радуется, подбадривает:

«Дорогая Маняша!

Надеюсь, что тебе теперь уже можно читать самой и что ты почти здорова. Безобразно долго провозилась с болезнью! Но главное,— чтобы не было повторений. Самое опасное после этой болезни — какие-нибудь утомления или нервное волнение».

Ульяновы уехали в деревню Михнево Московской губернии. Всем нужен был свежий воздух, покой, природа. Природа всегда была близка им, действовала как лучшее лекарство.

Владимир Ильич упорно приглашает младшую сестру к себе в Женеву. Необходимо было окрепнуть в спокойной обстановке, без надзора, без слежки, необходимо было — раз уж так получилось — использовать как можно полезнее неожиданные «каникулы».

Мария Ильинична вновь едет в Женеву, а затем в Париж. Решено там сдавать экзамен на звание учительницы французского языка. Чужая страна. Чужой город. Чужая обстановка. Женщина из России собирается получить право на преподавание французского. И где? В самой Франции!

Мария Ильинична сдала экзамены. Сдала не где-нибудь — в знаменитой Сорбонне! С этого дня во всех анкетах, во всех жандармских документах в графе «Профессия» будет числиться: «Учительница французского языка».

Вернувшись в Россию, в Москву, осенью 1909 года, еще не вполне окрепнув после болезни, Мария Ильинична вновь включается в революционную работу. Она, как и прежде, ведает партийными явками и адресами конспиративных квартир. Для легализации своего положения и для заработка поступает в губернскую земскую управу.

Она по-прежнему активный помощник Владимира Ильича. Он весь в работе, пишет новую книгу по аграрному вопросу, а она как бы подносит ему все новые и новые «патроны» для будущего выстрела по самодержавию: достает книги, газеты, статистические материалы. Владимир Ильич благодарит:

«Московскую городскую статистику получил и очень благодарю. Прошу прислать мне 3 брошюрки Московской городской статистики о выборах в 1, 2 и 3 Думу...

Крепко жму руку и желаю поменьше бегать, побольше отдыхать и быть здоровой».

Приезд Марии Ильиничны Ульяновой в Москву был тотчас замечен охранкой. Переписка Марии Ильиничны с Лениным просматривалась. Лишь опыт и умелая конспирация спасали ее пока от ареста.

В документах охранки читаем: «23 апреля 1910 года была обыскана и арестована в Москве (Мария Ильинична.— *В. Д.*) при ликвидации местной социал-демократической группы и, ввиду безрезультатности обыска, была того же числа освобождена без дальнейших для нее последствий».

Чтобы успокоить маму, подлечить ее, чтобы отвлечь полицию, Мария Ильинична соглашается выехать на отдых в Финляндию. Она пользуется поездкой и для того, чтобы проехать до Стокгольма, к Владимиру Ильичу, повидаться с ним и устроить встречу с матерью, с которой он не виделся много лет.

Однако «ход» ее не вполне оправдал себя. По возвращении Марии Ильиничны в Москву охранка не отстала от нее, напротив, слежка усилилась, шпики стали ходить по пятам. Мария Ильинична вынуждена была переехать в Саратов, где в то время проживали Елизаровы.

Едва успела Мария Ильинична появиться в городе, как по инстанциям пошло донесение полиции: «В Саратов из Москвы прибыла... Мария Ильина Ульянова, сестра В. И. Ленина, которая... вошла в связь с революционными деятелями».

В то время саратовская организация была почти полностью разгромлена охранкой, большевики посажены в тюрьмы или сосланы в отдаленные губернии. Но кое-кто все же остался в городе. Это прежде всего ее близкие — сестра Анна Ильинична, ее муж Марк Тимофеевич Елизаров, это рабочие-большевики, сумевшие перехитрить охранку и избежать ареста и ссылки.

Так, на заводе Гантке работали большевики А. А. Ларионов, А. В. Симонов, а на заводе Беринга — И. В. Нефедов и А. А. Гоголкин. И Мария Ильинична, опираясь на этих людей, начинает действовать. Все организует заново, все сначала: кружки на фабриках и заводах, подписку на легальную боль-

шевистскую газету «Звезда», изучение политической экономии, истории, естествознания, чтение художественной литературы, способной возбудить у слушателей классовое сознание и ненависть к эксплуататорам. Такими книгами были роман «Углекопы» Эмиля Золя, «Девяносто третий год» Виктора Гюго.

Мария Ильинична была блестящим организатором и тонким конспиратором. За ней следили, а она работала. За ней по пятам ходили шпики, а она делала свое партийное дело.

Почти два года восстановленная ею организация большевиков в Саратове работала без провалов. Работала успешно, все активнее. Мария Ильинична, Анна Ильинична и Марк Тимофеевич не только сами были отличными конспираторами, но и товарищей, рабочих-большевиков, учили конспирации. И, судя по результатам, неплохо учили.

В одном из полицейских донесений говорилось: «Конспиративность Ульяновой, несомненно, узкий круг лиц, посвященных в ее деятельность, и отсутствие явных проявлений этой деятельности за время веденного до сих пор наблюдения значительно затруднили установку местной группы «большевистского» направления, и уяснение настоящего числа ее участников, и их значение как партийных деятелей».

Несомненно, полиция старалась «набить себе цену», но вольно или невольно она давала высокую оценку способностям Марии Ильиничны к конспирации и признавала ее главным руководителем саратовской группы большевиков. Можно представить, как нелегко было ей, в каком постоянном напряжении она находилась, как всегда и везде была начеку, чувствуя ответственность не только за себя, но и за своих товарищей.

Начинала вроде с невинного, с дозволенного. Выходила легальная газета «Звезда». И до ее приезда люди подписывались на эту газету. Но теперь значительно больше. Так, например, на заводе Беринга после агитации Марии Ильиничны, других большевиков на нее подписалась пятая часть рабочих.

И направление газеты изменилось. Не сразу, не резко, а постепенно и тонко. Мария Ильинична стала писать статьи, направленные против меньшевиков.

Борьбу между меньшевиками и большевиками полиция считала внутрипартийной борьбой и даже радовалась, что внутри партии идет «драчка». А тем временем газета приобретала все более боевой характер.

В этом деле очень помогли советы Владимира Ильича. Он посылал ей письма на легальные адреса. Иногда эти письма все-таки попадали на глаза охранки. В записке департамента полиции отмечено: «Мария Ульянова и бывшая ее деятельной помощницей сестра ее Анна Елизарова еще с прошлого года через жену служащего-бухгалтера в местном акцизном управлении Любовь Ивановну Минкевич получали из-за границы от Ленинского центра письма партийного характера».

Письма «партийного характера» просматривались, но не очень много могла узнать из них охранка. Написаны они были языком намеков. Вот образец письма Владимира Ильича своим сестрам: «Алакаевскому соседу передай мой большой привет, если тебе удастся его увидеть...

Северному маньчжурцу тоже привет...»

Только сестры знали, что под «алакаевским соседом» подразумевался А. А. Преображенский, а «северный маньчжурец»— А. П. Скляренко.

Саратовская большевистская организация росла и крепла. За сравнительно короткий срок она увеличилась до 70 человек. Теперь нужно было переходить к более активным действиям. Мария Ильинична и ее товарищи-единомышленники долго готовили первое серьезное политическое выступление. Начали с забастовки. Она была организована под знаком солидарности, как протест против расстрела рабочих Ленских приисков. В Саратове забастовало свыше тысячи человек. Это было столь неожиданно, события приняли такой небывалый для города размах, что власти и хозяева растерялись, пошли на уступки.

Первый успех вселил надежду и веру в дальнейшие победы. Начали готовиться к первомайской политической стачке. В ней участвовало уже свыше 3 тысяч рабочих.

Саратовская большевистская организация стала одной из наиболее крупных и активных в России. Подтверждением этого является тот факт, что на

Пражскую партийную конференцию 1912 года был приглашен и делегат от саратовской организации (Воронский Александр Константинович).

В одном из донесений охранки (весна 1912 года) сообщалось: «Центральной фигурой этой группы (большевистской организации Саратова.— *В. Д.*) являлась Мария Ильина Ульянова, сестра известного Владимира Ульянова (Ленина). Около нее группировались: ее сестра Анна Ильина, по мужу Елизарова, муж последней Марк Тимофеевич Елизаров, оба активно работавшие в революционных организациях обеих столиц еще в 1905 г. и, несомненно, являвшиеся ближайшими помощниками Марии Ульяновой в стремлениях последней воссоздать в Саратове прочную нелегальную организацию РСДРП». Но в организации оказался провокатор, он выдал большевиков охранке. (Провокатор А. М. Казанцев-Сергеев 29 апреля 1936 года приговорен в Саратове к расстрелу.) В ночь на 8 мая в Саратове прошли массовые аресты. На квартиру Ульяновых нагрянули жандармы. Им долго не открывали, все просили подождать. А Мария и Анна в это время уничтожали документы, все, что могло быть вещественным доказательством их партийной деятельности.

Жандармы перерыли квартиру вверх дном и ничего не нашли, кроме экземпляра «Звезды», но сестер Ульяновых арестовали.

Саратовский жандармский подполковник Мартынов доложил департаменту полиции: «В целях прекращения подпольной деятельности... группы, которая пыталась создать в Саратове одно из опорных мест «большевистскому» течению в РСДРП, и недопущения этих деятелей к более близкому соприкосновению к рабочим кругам... 7 мая произвел ликвидацию этой группы».

* * *

Анну Ильиничну выпустили через две недели. Как ни старались жандармы, улик против нее не было. Марию Ильиничну задержали в тюрьме, против нее было возбуждено политическое дело.

Ее держали в отвратительных условиях, в сырой, грязной и душной камере, но она не падала духом. Помня давние советы Владимира Ильича, Мария

Ильинична читала в подлиннике произведения Шиллера, Гюго, изучала английский язык. Просила принести ей 1-й и 2-й тома «Капитала», книги по истории русской и иностранной литературы, по истории Англии и России. Мария Ильинична подбадривала товарищей, старалась быть веселой с матерью, не унывала и не жаловалась. Лишь через полгода ее выпустили, приговорив к ссылке в Астраханскую губернию на три года. По просьбе матери Астраханскую заменили Вологодской. Срок ссылки был позже сокращен с трех лет до двух.

«Уж если делать, то делать хорошо», «Работать при любых обстоятельствах». Эти слова были девизом Марии Ильиничны. И здесь, в ссылке, она не изменила им. Тотчас по приезде в Вологду осенью 1912 года она связалась с политическими ссыльными. И это вопреки предупреждениям вологодского губернатора, который пригрозил ей, что в случае общения с «политическими» она будет отправлена в самый отдаленный район.

Конечно, это не было простой угрозой, ее действительно могли в любую минуту сослать в самую дальнюю глушь. Но разве это могло остановить или напугать ее? Революционная работа везде опасна. Особенно в ссылке. Зато сколько она может дать товарищам, истосковавшимся по правдивому, партийному слову. Она вновь становится главной связной вологодских большевиков с партийными центрами Москвы, Петербурга, с Лениным. В частности, В. В. Воровский и еще ряд известных большевиков именно через нее сносились с Лениным.

Мария Ильинична использовала саратовский опыт. В Вологде существовало легальное общество «Просвещение». Членами его были служащие, рабочие, интеллигенция. И Мария Ильинична стала посещать это общество.

По ее инициативе здесь устраивались публичные платные лекции большевиков (В. П. Потемкина, В. М. Фриче и других), деньги от которых шли на партийные нужды или на помощь нуждающимся товарищам.

Незаметно, со свойственным ей необыкновенным умением находить дорожку к сердцам людей Мария

Ильинична подружилась с местными железнодорожниками. И вскоре на железнодорожном узле организовался кружок, который она вела. Как-то естественно — а на самом деле благодаря стараниям Марии Ильиничны — кружок приобрел характер политического.

Появились и явки, и конспиративные квартиры. Опять-таки был использован старый опыт — местом одной из явок стал медицинский пункт при железнодорожных мастерских. Там работал фельдшером большевик С. Н. Прибытков. В медпункт под видом больных приходили подпольщики-большевики. Иногда «прием» затягивался, но это не вызывало подозрений полиции.

На имя Марии Ильиничны Ульяновой присылали из Петербурга газету «Правда» и другую литературу. Жандармы узнали об этом, произвели обыск. Нашли книги — «Нищета философии» К. Маркса, «Положение рабочего класса в Англии», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельса, «Материализм и эмпириокритицизм» Вл. Ильина (то есть Ленина) и газеты — шведскую социал-демократическую «Политикен», немецкую «Нойе цайт» и большевистскую газету «Правда».

Перепуганный губернатор подверг Марию Ильиничну аресту при полиции сроком на один месяц.

Местные власти (так же как до этого саратовские) считали ее «центральной фигурой» среди большевиков и, наверное, рады были, когда окончился срок ее ссылки.

Осенью 1914 года Мария Ильинична выехала в Москву. Вскоре охранка доносила: «Прибыла в Москву из Вологодской губернии М. И. Ульянова, сестра известного Ленина...»

Она по-прежнему находится под надзором полиции, но не прекращает революционной деятельности. Время наступило крутое. Война. Отношение большевиков к войне было четко сформулировано в тезисах В. И. Ленина «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне». Мария Ильинична занялась распространением этих боевых тезисов.

Жизнь становилась все труднее. Нарастала дороговизна. Плохо было с заработком. Уроки почти прекра-

тились. Старшая сестра усиленно звала Марию Ильиничну в Петербург, но она все не ехала: не хотела «затруднять» родных, а главное, в Москве она была в гуще партийных дел и не могла оставить эту работу. Она ведала одной из главных линий связи — Московской партийной организации с В. И. Лениным. Кроме того, в руках Марии Ильиничны находились явки для приезжавших в Москву представителей Центрального Комитета и Петроградского комитета партии.

Владимир Ильич присылает ей заботливые письма: «Почему ничего не написала о себе,— как здоровье? Имеешь ли заработок? Какой, где, сносный ли?..»

В связи с войной В. И. Ленин оказался оторванным от родины. Переписка в условиях войны была затруднена, а для работы, для руководства партией ему необходимы были точнейшие сведения о положении в России. Опять на помощь Владимиру Ильичу пришла Мария Ильинична. Она снова стала его «подносчиком патронов».

В 1915 году после окончания курсов медицинских сестер Мария Ильинична поехала на Юго-Западный фронт. Она пробыла на фронте около двух месяцев. Оказывала помощь раненым и вела агитационную работу среди солдат. Вернувшись с фронта, гостила у матери под Питером. А осенью 1915 года вернулась в Москву. Поступила работать в отдел по устройству беженцев земского и городского комитета (Земгора).

Снова приходят письма от Владимира Ильича. «...Сижу без русских газет,— буквально взывал он.— Если не затруднит, посылай раза 3—4 в месяц прочитанную тобой русскую газету, крепко завязывая бечевкой (а то пропадает)».

Собрать газеты, связать бечевкой не составляло труда, гораздо труднее было переслать их, да так, чтобы не затерялись, не задержались, пришли к Владимиру Ильичу как можно быстрее. Приходилось искать попутчиков, надежных людей, оказий за границу. Во время войны это было нелегким делом. А сложнее всего было найти работу, заработок для Владимира Ильича.

И Мария Ильинична опять, как бывало не раз и раньше, ходила по издателям, уговаривала их издать книги брата, торговалась. А издатели, в отличие от

прошлых лет, почти все отказывались: «Не время», «Нет доходов», «Война, знаете. Наша продукция не в моде». Но Мария Ильинична не отступала и иногда добивалась своего.

12 июля 1916 года на даче под Петроградом умерла Мария Александровна Ульянова. Для всех детей это было страшным ударом. Мария Александровна была для них не только матерью, но и другом, помощником, надежным товарищем, примером мужества и стойкости.

Не прошло и десяти дней после смерти матери, как на Марию Ильиничну обрушилось новое тяжелое испытание: полиция арестовала Анну Ильиничну. Арестована не только старшая сестра, но и другие товарищи, почти все видные партийные работники столицы.

Бессонные ночи. Черные думы. Пожалуй, еще никогда в жизни ей не было так трудно. Да, многое пришлось перенести. Тюрьмы, ссылки. Невзгоды и лишения. Но были мать, сестра, товарищи. А теперь матери нет. Сестра и товарищи арестованы. Владимир Ильич за тысячи верст, в другой стране. Для него тоже удар смерть матери и арест сестры. И разгром организации. Ему, во всяком случае, не легче. Она представила себе брата там, за границей, как он ждет писем и русских газет, работает с утра до ночи, экономя каждую копейку...

И Мария Ильинична находит в себе силы побороть уныние. Она разыскивает оставшихся на свободе товарищей, начинает восстанавливать связи, явки, организацию.

А с изданием работ Владимира Ильича ей отчасти повезло. Появился Горький. С его помощью в издательстве «Парус» была опубликована работа Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма».

В 1916 году были восстановлены Петербургский комитет и Русское бюро ЦК партии. Активное участие в работе бюро принимали освобожденная из тюрьмы А. И. Ульянова-Елизарова, М. И. Ульянова, Н. И. Подвойский, К. М. Шведчиков. Именно это бюро руководило борьбой рабочего класса в канун и во время Февральской революции. Мария Ильинична с радостью сообщала Владимиру Ильичу: «Недавно вышел листок ЦК о войне и средствах борьбы за ее

прекращение. Он будет вам переслан. Кроме того, на днях была выработана и инструкция, в которой говорится, что дороговизна исчезнет лишь с прекращением войны, война может быть прекращена лишь революционным выступлением масс».

Вскоре совершилась Февральская революция.

* * *

Оживилась, легализировалась работа большевиков. Марию Ильиничну и Анну Ильиничну ввели в Русское бюро ЦК РСДРП. В марте расширилась редакция «Правды», и в ее состав вошла Мария Ильинична Ульянова. С этого момента и на многие годы Мария Ильинична прочно связала свою жизнь с «Правдой», журналистикой, с рабкоровским движением. Почему она стала правдисткой? Почему выдвинули ее в газету? Прежде всего, многолетней самоотверженной революционной работой она завоевала высокое доверие товарищей. Всем были известны ее умение работать с людьми, талант находить дорожку к сердцу каждого. И конечно же товарищи знали ее журналистские наклонности. Им запомнились переводы писем Маркса Кугельману и Зорге, сделанные Марией Ильиничной. Именно такой многогранный человек и необходим был газете.

Первый номер возрожденной «Правды» подготовила небольшая группа, руководимая старым правдистом Константином Степановичем Еремеевым. «Правда» вышла 5 (18) марта 1917 года. В этот день она была распространена бесплатно, а в последующие дни к столу Константина Матвеевича Шведчикова, стоявшему тут же, в редакции, тянулась очередь рабочих, пришедших подписаться на «Правду»...

И началась кипучая, чуть ли не круглосуточная работа.

«Уж если делать, то делать хорошо».

Пожалуй, на этот раз жизненный девиз Марии Ильиничны проявился особенно ярко. Она с подъемом взялась за любимую работу: писала статьи, принимала людей, правила корреспонденции, читала сотни писем.

Со здоровьем у нее было неважно. Напряженный последний период давал себя знать. Владимир Ильич

писал, настаивал на отдыхе. Но она не могла отдыхать. Как же отдыхать, когда наконец настало время работать?! Когда от этой работы, от выхода «Правды» зависит так много!

Условия работы были трудные. Редакция ютилась в двух маленьких комнатках на Мойке. А люди шли и шли. С каждым надо было поговорить по душам, ответить на многочисленные вопросы, тут же помочь написать корреспонденцию. Все чаще появлялись здесь пропахшие порохом фронтовики. Им нужно было узнать правду. И Мария Ильинична вместе со своими товарищами — а их в то время была небольшая горстка — вела эту колоссальную работу: говорила до хрипоты, писала до боли в руке, читала до рези в глазах.

Через А. М. Коллонтай Владимир Ильич прислал свои знаменитые «Письма из далека» (1-е и 2-е). Понимая, какое значение имела их публикация, Мария Ильинична послала 23 марта В. И. Ленину телеграмму: «Статьи получены и напечатаны. Полная солидарность. Присылайте статьи. Коллонтай прибыла. Ваш приезд желателен, но избегайте риска».

Время было яростное. Позиции Временного правительства еще были сильны. Лозунг «Война до победного конца» был еще популярен. В Советах властвовали меньшевики и эсеры. Они поддерживали правительство. Необходимо было разбить, разоблачить политику соглашателей. Сорвать маску с предателей народа. И «Правда» делала это.

С каждым днем у «Правды» прибывало друзей, но увеличивалось и число врагов. Приходили письма добрые и злые. Чем больше рос авторитет газеты, тем сильнее нападала на нее реакционная пресса, подстрекала толпу к расправе с «Правдой». Шла жестокая борьба, и в этой борьбе могло случиться всякое. Рядом с редакцией был Невский. На проспекте ежедневные стычки. Нередко взбудораженные голоса доносились до редакции. Бывали случаи, когда в редакцию приходилось вызывать вооруженную охрану. В таких условиях непросто было сохранять спокойствие, вести беседы, ободрять людей, писать статьи.

3 апреля после долгой эмиграции в Россию вернулся Ленин. Мария Ильинична вместе с другими това-

рищами встретила его в Белоострове. Поселились вместе у Елизаровых, вроде как встарь, одной семьей. Ильич тотчас, буквально на следующий день, взял руководство «Правдой» в свои руки.

Условия были нелегкие. Теснота. Шум. Постоянные угрозы. Даже разговор по телефону и тот был целой проблемой. Мария Ильинична в статье «Возрождение «Правды» после февраля 1917 года» писала: «Помню, какого невероятного труда стоило добиться станции по нашему редакционному телефону... Когда кто-нибудь из нас брал телефонную трубку, раздавался голос: «Это что?»—«Правда».—«Нет, это ложь, а не правда!»— восклицала телефонная барышня, бросая трубку».

Дело шло на большом энтузиазме, на самоотдаче, на революционном горении. Присутствие в редакции Владимира Ильича, его непосредственная самоотверженная работа увлекали Марию Ильиничну и других товарищей, и они, словно не чувствуя усталости, трудились столько, сколько необходимо было трудиться, чтобы выпустить боевой номер.

Газета сделалась наступательной. Авторитет ее рос, как говорится, не по дням, а по часам. Она пробивала дорогу к людям сквозь многочисленные рогатки, устраиваемые буржуазным правительством, подобно молнии в черной ночи. Ее не пропускали на фронт, не давали ей ходу к людям, а она все-таки пробивалась и делала свое доброе дело. Враги все больше ненавидели большевистскую газету. Теперь уже нередко враждебные демонстрации сворачивали с Невского на Мойку, к редакции «Правды». Однажды в комнату вбежал надежный товарищ и уговорил Владимира Ильича поскорее уйти из редакции, чтобы избежать возможной беды. На извозчике в сопровождении вооруженного солдата Ленин уехал к верным товарищам. А наутро он вновь занялся своим делом — газетой. И «Правда» все-таки вышла и повела за собой людей, как знамя.

В эти напряженные дни и недели Мария Ильинична боялась только за Владимира Ильича. За себя она не тревожилась и никогда не покидала комнаток редакции, если даже под окнами бесновалась разъяренная толпа. Порой она чувствовала себя как в осажден-

ной крепости, понимая, что нельзя оставить позиций, надо удерживать их из последних сил. И она держала и других увлекала своим примером, своим спокойствием и стойкостью.

* * *

Накал революционной борьбы достиг своей вершины. Временное правительство перестало играть в либерализм. Все кончилось с расстрелом мирных демонстраций на Невском и в других местах города. Контрреволюционное правительство показало свое истинное лицо. Ненависть к революции, к большевикам, к народу выплеснулась наружу.

Утром 5 июля юнкера разгромили помещение редакции «Правды».

В тот же день юнкера ворвались в квартиру Елизаровых. Искали Ленина. Не нашли. Он был в надежном месте. 7 июля Временное правительство опубликовало постановление об аресте Ленина и привлечении его к суду вместе с другими большевиками.

Наступил ответственнейший момент, значение которого для партии, для революции трудно переоценить.

Являться ли Ленину на суд?

Вопрос этот не такой простой, как может показаться сейчас.

Днем 7 июля В. И. Ленин написал письмо в Бюро ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, в котором говорилось, что «в случае приказа правительства о моем аресте и утверждения этого приказа ЦИК-том, я являюсь в указанное мне ЦИК-том место для ареста».

Как быть?

Некоторые члены ЦК также считали, что Ленин должен явиться на суд.

Страшно подумать, что бы случилось, если бы победило это мнение. К счастью, этого не произошло. Вечером на квартире большевика С. Я. Аллилуева, у которого скрывался Ленин, состоялось совещание. Присутствовали Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин, Е. Д. Стасова, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, В. П. Ногин и другие товарищи. Решался важнейший вопрос: являться ли Ленину на суд Временного правительства?

«Это был как раз у Ильича момент колебаний,— вспоминала Н. К. Крупская.— Он приводил доводы за необходимость явиться на суд. Мария Ильинична горячо возражала ему».

Когда стало известно, что ни ЦИК, ни Петроградский Совет не могут гарантировать безопасность Ленина в случае ареста, ЦК обязал его не являться на суд Временного правительства. Он был надежно укрыт в подполье.

* * *

Временное правительство разгромило редакцию «Правды», но уничтожить интерес к большевистской газете широких масс народа не смогло.

Уже через несколько дней газета вышла под другим названием — «Листок правды». В его выпуске активное участие принимала Мария Ильинична. Газету выпускали тайно. Но Марии Ильиничне было не привыкать к этому. Она по-прежнему работала с подъемом, увлекаясь и увлекая других своим энтузиазмом и энергией.

«Листок правды» был запрещен. Тогда вышел «Рабочий и солдат», а затем — «Пролетарий».

Газета еще не раз меняла свое название — «Рабочий», «Рабочий путь»,— но не прекращала своего существования. Этим «Правда» обязана Марии Ильиничне и ее товарищам — неутомимым большевикам.

Мария Ильинична вновь совмещала несколько дел: самым непосредственным образом участвовала в выпуске газеты, вела партийную работу, снова была «штатным связным» Владимира Ильича.

Она участвовала в заседаниях VI съезда партии. Ленин находился в глубоком подполье. Когда он осенью семнадцатого возвратился в Питер, конспирация усилилась.

Мария Ильинична прилежно выполняла свое «штатное» поручение. Ленин неизменно как бы присутствовал на всех заседаниях ЦК и непременно руководил работой партии. Голос его слышали, мнение его по всем вопросам знали и с ним считались. В те бурные дни это означало многое, было очень важным для партии незримое присутствие Ленина, и обеспечивала его Мария Ильинична.

Авторитет Марии Ильиничны был высок. Подтверждением этого служит такой факт. ЦК партии единодушно рекомендовал Марию Ильиничну для выборов в состав Учредительного собрания от Петроградской большевистской организации.

Напряженная работа сказалась на ее здоровье. Она с трудом превозмогала переутомление. Вид у нее был болезненный, усталый. Об этом узнал Ленин. Он советовал: «...надо тебе непременно поехать полечиться».

Но Мария Ильинична не поехала. Мысли ее попрежнему были не о себе, а о нем. Пока Владимир Ильич в подполье, пока он под угрозой, пока она личная связная Ленина, Мария Ильинична не позволяла себе расслабляться.

Лишь в декабре 1917 года, когда Совнарком предоставил Ленину отпуск на несколько дней, Мария Ильинична поехала вместе с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной в один из санаториев в Финляндию.

* * *

С победой Октября редакция «Правды» разместилась в Смольном, в не приспособленных для работы комнатах. Не хватало мебели. Писали на табуретках, став перед ними на колени. На два учреждения — финотдел и редакцию — были всего одни ножницы, и из-за них «шли бои местного значения». Нередко, придя на работу, сотрудники не находили своих рабочих мест — столов: их уносили в другие комнаты, предварительно положив бумаги на пол. По телефону, как и раньше, мог дозвониться только очень терпеливый человек.

Но все это было мелочью по сравнению с той свободой, которую завоевали, получили наконец правдисты. Мария Ильинична словно помолодела, все делала с задором, заражая других товарищей и вовлекая их в орбиту «Правды». Теперь, как никогда, нужны были новые корреспонденты, новые материалы, новые данные обо всем, что происходит в стране. Народ получил свою газету и должен знать правду о Советской власти. Тогда не было ни корреспондентских пунктов, ни спецкоров. Все только начиналось. Все было впервые.

В эти бурные недели и месяцы становления Советской власти особенно зримо проявился организаторский талант Марии Ильиничны. За короткий срок она привлекла к участию в газете десятки людей, ранее не занимавшихся газетной работой.

В «Правду» буквально валил народ: рабочие, крестьяне, солдаты. Они просили поместить их корреспонденции, стихи, заметки. Они видели в «Правде» своего защитника, помощника и друга. Все чаще вставал вопрос о том, как поместить весь материал в выходящем номере. Нужно было приложить максимум энергии и способностей, чтобы отобрать лучшее и напечатать его на страницах «Правды». Но были такие материалы, что шли вне всякой очереди. Старая правдистка Л. Быстрова вспоминала: «...однажды Мария Ильинична принесла мне для обработки стихотворение одного рабочего-автора о вождях. Каждая строка кончалась как бы припевом: «Товарищи, братья! Великих своих берегите вождей!» Мария Ильинична, когда передавала мне это стихотворение, была взволнована. «Это стихотворение непременно нужно поместить в газете»,— говорила она».

В марте 1918 года Советское правительство переехало в Москву. Туда же перевелась редакция «Правды». Мария Ильинична поселилась в Кремле, в квартире Владимира Ильича. А «Правда» разместилась в здании гостиницы «Дрезден», наискосок от Моссовета. Редакция занимала всего одну комнату. Сотрудников было четверо. Почти три месяца Мария Ильинична несла нагрузку за десятерых. И «Правда» выходила. Теперь Владимир Ильич не мог лично руководить газетой, но влияние его постоянно чувствовалось, оно шло через Марию Ильиничну.

К ней он относился заботливо-нежно. Он как будто хотел возместить ту заботу и внимание, ту невероятную помощь, что она оказывала ему в течение десятилетий. Об отношениях Марии Ильиничны и Владимира Ильича очень тепло рассказала наблюдавшая их многие годы Л. А. Фотиева:

«...Она его безгранично любила и была близким другом. В эти годы мы ежедневно виделись с ней. Мария Ильинична рассказывала мне, как заботится о ней Владимир Ильич. В сырую погоду проверял, на-

дела ли она калоши, если видел ее утомленной, спрашивал, не очень ли она «переустала». Однажды во дворе Кремля я встретила Владимира Ильича и Марию Ильиничну на прогулке. Мы с Марией Ильиничной затеяли игру в снежки. Веселая игра продолжалась до тех пор, пока мои снежки не засыпали воротник Марии Ильиничны. Владимир Ильич подошел к ней и заботливо стряхнул снег, чтобы он не попал ей за воротник».

Но вообще-то таких минут было немного. Работа отнимала все силы, некогда было подумать о себе. Мария Ильинична так отдавалась газете, что не могла найти время на личные дела.

В середине 1918 года «Правда» переехала в другое помещение, на Тверскую улицу, и заняла весь третий этаж. Прибавилось число сотрудников. У Марии Ильиничны появился помощник. Раньше ей приходилось самой и строчки считать, и извещения принимать, и у телефона дежурить. Теперь она освободилась хоть от этих обязанностей. Зато газетной работы прибавилось. Необходимо было поставить «Правду» на крепкие самостоятельные ноги, «сделать ее не газетой для рабочих и крестьян, а газетой самих рабочих и крестьян».

Мария Ильинична усиленно занималась поисками авторов. Опытные журналисты не хотели или побаивались сотрудничать в «Правде», многие разбежались, кое-кто не понимал сути событий, был в самом прямом смысле оторван от жизни.

Что же делать?

Мария Ильинична привлекала к работе в газете всех, кого могла, всех, кто мог быть полезным. Но это не спасало дела. Выход оставался один: рабочие и крестьяне должны почувствовать себя хозяевами газеты, и тогда они будут относиться к ней как к своей, помогать ей, беречь ее, тогда ни один уголок жизни, ни один вопрос не ускользнет от внимания «Правды». В этой нацеленности, в идейной основе организации газетного дела, в методах ее ведения явно чувствуется влияние Владимира Ильича. На основе этих принципов и возникла идея рабселькоровского движения, получившая широкое распространение в последующие годы.

Практически руководителем рабселькоровского движения стала Мария Ильинична.

* * *

Хозяйство в семье Ленина вела Мария Ильинична.

Так уж случилось, что не Надежда Константиновна, а Мария Ильинична занималась домашними делами. Это было еще в Петрограде, с первых дней возвращения В. И. Ленина из подполья. Надежда Константиновна в своих воспоминаниях писала, что Мария Ильинична привозила в Смольный Владимиру Ильичу «из дому всякую пищу», так как сама Н. К. Крупская «целыми днями была на работе, сначала в Выборгском районе, потом в Наркомпросе. Ильич был порядочно беспризорный».

Отношения между Марией Ильиничной и Надеждой Константиновной были всегда дружескими. Интересные факты сообщает В. С. Дридзо — личный секретарь Надежды Константиновны: «Обычно все, что ей было нужно, покупала Мария Ильинична или я... В последние годы Мария Ильинична часто болела и поэтому иногда ездила на отдых без Надежды Константиновны. Мария Ильинична писала Надежде Константиновне, и если она бывала в хорошем настроении, то подписывалась «Твоя Маня-Медведь», а если была нездорова или что-нибудь не ладилось, то лишь инициалами «МУ». Надежда Константиновна, получая письма Марии Ильиничны, всегда смотрела сначала на подпись и, если видела «МУ», говорила мне: «Ну вот, опять Манечке нездоровится...»

На своей книге Надежда Константиновна сделала такую надпись: «Моей родной, любимой Маняшке от Надежды, «рыбы» тож».

Мария Ильинична вела хозяйство с охотой, умело и расчетливо, создавая уют для Владимира Ильича, который тоже изрядно намотался по чужим квартирам. Она отлично знала привычки Владимира Ильича и стремилась устроить все так, чтобы он мог и поработать, и отдохнуть, чтобы ему было удобно и покойно дома.

А когда он отдыхал, Мария Ильинична садилась за свою работу. Писала статьи, обрабатывала коррес-

понденцию, но главным образом читала и отвечала на письма, захваченные из редакции. Поток этих писем увеличивался с каждым днем.

Работала Мария Ильинична в большом кабинете «Правды», где стояли кресла, обитые черной кожей. На большом письменном столе лежали аккуратно разложенные рукописи, письма, папки с бумагами, гранки очередного номера газеты. Она сама любила порядок во всем и требовала порядка от сотрудников.

Обстановка была в общем-то бедная, вполне соответствовавшая тому тяжелому времени. Но в то же время и рабочая. Мария Ильинична умела и в таких условиях работать с упоением. Ее кабинет обогревался железной печкой. На ней всегда стоял большой медный чайник с морковным чаем, и хозяйка, и гости могли утолить жажду летом или согреться с мороза зимой. Печку топили сырыми дровами, и она нещадно дымила. С труб капал черный деготь, поэтому на пол настилали газетные листы.

Мария Ильинична обладала большим обаянием, оно действовало на людей неотразимо — могла сговориться с человеком по деловым вопросам, убедить его сотрудничать в газете, усадить писать заметку, пригласить на штатную работу. У нее была редкая интуиция на людей, на полезный материал, на талант, и, бывало, после одной-двух встреч уже уговаривала человека сотрудничать в «Правде». И почти никогда не ошибалась: человек оказывался действительно толковым и полезным.

И даже по письмам, что читала она каждый вечер дома, Мария Ильинична улавливала характер автора письма, возможную пользу, которую он может оказать газете.

В редакцию Мария Ильинична приезжала ранним утром, чуть ли не первой. Старомодный лимузин иностранной марки останавливался во дворе. Из него выходила маленькая женщина с небольшим черным портфелем под мышкой и поднималась на третий этаж. И тотчас к ней, как невидимые нити, тянулись интересы всех сотрудников, и от нее, как по воздушным проводам, шли указания, советы, распоряжения. Одних она вызывала сама, к другим приходила, третьи узнавали от других о ее требованиях...

У газетчиков существует термин — «организовать материал». Лишь близкие журналистике люди знают, что это означает, но редко кто представляет, что это означало в те годы. Мария Ильинична, можно сказать, всем существом своим прочувствовала, что это такое — «организовать материал». Иногда ради ста строк в газете приходилось звонить в десятки учреждений, разговаривать с десятками людей, уговаривать, убеждать, приглашать, напоминать, требовать, а порой вызывать необходимого человека к себе, усаживать за стол и не отпускать, пока он не напишет то, что нужно газете.

Такие крайние меры Мария Ильинична применяла не потому, что была жестокой, не потому, что товарищи не хотели выступить на страницах «Правды». Нет! И Мария Ильинична не была жестокой, и товарищи хотели бы выступить на страницах партийной газеты. Но не умели, робели, никогда не писали и терялись от одного предложения: «Сделайте статейку для «Правды».

Мария Ильинична обладала завидным качеством — умением воздействовать на человека. Не зря товарищи по работе под дружеским шаржем на нее подписали:

Чтоб весь пролетариат
Прошел секретариат...

Мелкие и крупные дела. Рабочие, крестьяне, солдаты. Специалисты. Преданные революции люди и не принимающие ее. Все ей приходилось делать, со всеми беседовать, находить общий язык, спорить, убеждать и чаще всего побеждать.

Поздним вечером, подписав полосы, подготовив материал для следующего номера, все проверив и во все вникнув, возвращалась она домой. Но и там ей не было покоя: раздавались звонки из редакции, от товарищей, нуждавшихся в ее совете, или же вновь брали ее в плен многочисленные письма, захваченные для внимательного прочтения.

Изредка ходили в театр. И тогда Владимир Ильич говорил Надежде Константиновне:

— Непременно Маняшу пригласи. Убеди ее поехать с нами.

* * *

30 августа 1918 года эсерка-террористка Каплан ранила Ленина. Жизнь его висела на волоске. Мария Ильинична и Надежда Константиновна круглые сутки дежурили у постели Владимира Ильича. Мария Ильинична была и сестрой, и няней, хотя кроме нее здесь же находились и сестры, и врачи, но она лучше всех знала его привычки, понимала по первому взгляду, чего он хочет.

Не уберегли!

Она понимала, что сама лично ни в чем не виновата, и все-таки мучилась и упрекала себя.

Ведь было же и пострашнее, и потруднее, за Лениным охотились, обложив со всех сторон ищейками и шпиками. Вся полиция и охранка Временного правительства занимались Лениным...

А сейчас... Какая-то эсерка...

Не уберегли!

Мария Ильинична не могла простить себе этого. Ей все казалось, будь она рядом, такого бы не произошло.

Только бы выжил. Только бы снова стал на ноги. Только бы опять раздавался его раскатистый смех.

Годы скитаний, тюрьмы, ссылки, годы разлуки с Ильичем, месяцы страха за его жизнь оставили след: появились первые сединки. Эти дни и недели, эти напряженные часы, когда шла борьба между жизнью и смертью Ильича, достались еще тяжелее.

Владимир Ильич выжил.

Но с этого дня Мария Ильинична следовала за ним повсюду. Сотрудник газеты «Правда», мастер очерка и фельетона Михаил Кольцов вспоминал: «...неслась бурливая, волнующая скороговорка Ленина, а рядом с ним, скромно затерявшись в толпе, но не далее пяти шагов, всегда дежурила, стерегла, берегла бедная шубка Марии Ильиничны».

Сохранился следующий документ: «Удостоверение. Московская чрезвычайная комиссия 25 февраля 1922 года... разрешает гражданке Ульяновой М. И. ношение и хранение револьвера системы браунинг № 259546».

* * *

Даже в тягостные дни болезни Ильича Мария Ильинична не забывала «Правды», звонила в редакцию, интересовалась ходом дел, рекомендовала авторов, наставляла товарищей. По мере выздоровления Владимира Ильича она все чаще урывала минуты для родной газеты: заедет, посмотрит, даст совет, тут же выправит статью или закажет необходимое выступление. Марии Ильиничне почти никогда не отказывали. В ночь, полночь при необходимости из редакции звонили любому человеку, члену правительства, члену ЦК и передавали трубку Марии Ильиничне. А уж она своим мягким приглушенным голосом вела переговоры, всегда заканчивавшиеся согласием товарища написать для «Правды». Ее любили. К ней относились нежно, уважительно.

«Правда» пользовалась все нарастающим авторитетом. Многие знали, что в ней одним из ведущих людей является Мария Ильинична. Здесь, в газете, она продолжала оставаться солдатом революции.

Никаких особых часов приема у Марии Ильиничны не было. Народ приходил в «Правду» в любое время. Мария Ильинична обязательно находила час-другой для того, чтобы принять посетителей. Она никогда не откладывала сложных вопросов, не отказывалась от запутанных дел. Особенно внимательно относилась к рабочим, понимала, как важно привлечь их к участию в газете. Позже она назвала рабкоров «железным фундаментом» «Правды». А пока что требовалось организовать этот «железный фундамент». Сознавая всю ответственность момента для газеты, для дальнейшего развития «Правды», Мария Ильинична взялась руководить вновь созданным отделом «Рабочая жизнь».

Она уже знала многих рабочих корреспондентов — с одними была лично знакома, с другими переписывалась, с третьими вела переговоры через товарищей.

Вскоре вокруг отдела «Рабочая жизнь» образовался прочный актив. Росло число рабочих, пишущих в газету, но особенно тех, кто хотел бы написать, но еще не умел, не зная, как это сделать. Мария Ильинична незамедлительно им оказывала помощь, прикрепляла их к знающим товарищам, сама правила их заметки,

привлекала к этой работе многих сотрудников «Правды». Она умела подбодрить человека, вселить в него надежду, заставить его поверить в свои силы.

Незамысловатые письма были тем кислородом, который питал «Правду» и который придавал ей свежесть, боевитость и верную направленность. «Правда» действительно становилась газетой рабочих и крестьян. Конечно, пока что больше газетой рабочих. Пишущих в газету крестьян были буквально единицы. Мария Ильинична искренне радовалась, если получала письмо из какого-нибудь захолустного городка, села или деревни, если там, в далекой глуши, появился друг газеты.

Такой стиль работы дал быстрые и добрые результаты. Движение рабочих и сельских корреспондентов, созданное по совету Ленина, по инициативе Марии Ильиничны Ульяновой, получило всесоюзный размах. Казалось, не было такого уголка страны, откуда не приходили бы весточки в «Правду», откуда не писали бы писем, заметок, пусть не всегда грамотных и гладких, зато всегда искренних и страстных. Жизнь страны собиралась как бы в фокусе в «Правде», и Мария Ильинична видела эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Не было такого вопроса, который не интересовал бы корреспондентов.

Заметки и письма, опубликованные на страницах «Правды», делались настоящим оружием против врагов Советской власти. Газета стала полем битвы. Рабкоры — ее солдатами. Как в любой битве, появились потери. На рабселькоров начали устраивать гонения, всячески шельмовать и очернять их. А когда и это не помогало — убивать.

В этой борьбе Мария Ильинична была надежным бойцом. Она была борцом по натуре и воспитывала борцовские качества у других. «Что же это вы, дорогой товарищ,— нередко подбадривала она робеющих.— Не надо раскисать. На то и борьба».

Когда речь шла о борьбе, о принципах, эта маленькая хрупкая женщина преображалась.

Она была непримирима к врагам, добра и отзывчива к друзьям. Мария Ильинична требовала строгого наказания всех гонителей рабселькоров, за исходом каждого такого дела следила лично и вмешивалась ак-

тивно, если разбор шел необъективно, пристрастно или слишком либерально.

Вот один из примеров такого вмешательства. Шкурниками, пьяницами был убит рабочий-корреспондент Спиридонов. Суд вынес убийцам мягкий приговор. Мария Ильинична выступила против либерализма, опубликовала в «Правде» статью «Надо пересмотреть (к делу об убийстве товарища Спиридонова)». Дело было пересмотрено. Убийцы понесли суровое наказание... Мария Ильинична была одним из инициаторов установления памятника Спиридонову.

По инициативе Марии Ильиничны был организован клуб рабселькоров. В нем шла бурная жизнь: обсуждения, встречи, учеба.

Также по предложению Марии Ильиничны был создан «железный фонд рабселькоров». Редакция «Правды» первой внесла в него тысячу рублей. Начинание было подхвачено рабкорами всей страны. За короткий срок в фонд поступило свыше 11 тысяч рублей. Деньги использовались на помощь пострадавшим и нуждавшимся рабселькорам.

Мария Ильинична на себе испытала, что такое безденежье, и потому хорошо понимала значение этой реальной помощи.

Добрый слух расходится со скоростью ветра. Очень скоро рабселькоры узнали: у них есть надежные защитники — газета «Правда» и Мария Ильинична Ульянова. Это придавало силы и уверенность десяткам и сотням пишущих в газеты.

* * *

Сохранился любопытный документ.

«Правление Государственного Банка
Москва
27 апреля 1922 года

Квитанция № 5

Получено от Марии Ильиничны Ульяновой в депо хранения ценностей Московской губком. помощи голодающим золото 56 пробы: 1 цепочка шейная, 1 кольцо с 5-ю розами, 1 крест с сорванным распятием, 1 медальон. Общий вес 6 зол. 63 доли.

Серебро 86 пробы: 1 солонка, 1 крестовая цепочка, 1 крестик и 1 иностранная монета. Общий вес 7 зол.»

Такова была Мария Ильинична. Все свое «богатство» без раздумья отдала она в помощь голодающим.

В документах, в переписке, в воспоминаниях современников о Марии Ильиничне нигде ни слова о тряпках, драгоценностях, о каких-либо личных благах. Речь всегда только о здоровье родных, об элементарных удобствах, а главное — о работе, о делах партии.

Лишения преследовали ее в молодости, скитания и нужду она испытала в зрелые годы, и это никогда не угнетало ее.

В годы своей работы в «Правде» и в последующие Мария Ильинична была примером простоты и личной скромности. Одевалась в черное платье с белым, всегда выглаженным воротничком. Гладко зачесанные седые волосы. На фоне черного платья особенно выделялись большие глаза, мудрые и проницательные.

О себе Мария Ильинична мало думала, заботилась о товарищах, о сотрудниках «Правды».

Н. Рябова вспоминала:

«Благодаря заботе Марии Ильиничны сотрудники редакции зимой 1919 года получили теплые пальто, реквизированные у буржуазии. Много было веселых шуток, когда правдисты надевали обновы. Один пришел в лисьей шубе, другая — в беличьей... Мария Ильинична очень радовалась за сотрудников, но котиковую шубу, которую достали для нее, носить не стала. Одевалась Мария Ильинична скромно и эту шубу, видимо, считала слишком богатой. Она подарила ее сторожу Олимпиаде Журавлевой...»

К этому стоит добавить, что сама она в то время ходила в старенькой шубке и была не совсем здорова, только что перенесла воспаление легких...

По вечерам, за чаем, который любили в доме, делились впечатлениями дня, рассказывали об интересных людях и событиях, посвящали друг друга в планы будущего. Вот тут-то Владимир Ильич, успевавший просматривать десятки газет, и заводил разговор о «Правде», о статьях и заметках, напечатанных на ее страницах. «Правду» он особенно ревностно опекал.

Мария Ильинична внимательно прислушивалась к голосу Владимира Ильича. Его замечания всегда были точными, тонкими, меткими. Он не только критиковал, но и подсказывал путь к исправлению или улуч-

шению материала. Мария Ильинична выполняла его советы, но никогда не ссылалась на Ленина, на то, что это указания Председателя Совнаркома; она при этом вообще не произносила это слово — Ленин. Она сообщала: «Публика говорит». Под «публикой» подразумевался Владимир Ильич. Но, будучи его другом, помощником, любимой сестрой, она никогда не прикрывалась в личных целях великим именем своего брата, не пользовалась родственными связями в корыстных целях, всегда и всюду старалась быть в тени, в стороне, по возможности незаметной.

Но если речь шла о других, о товарищах, часто малознакомых, тогда она нередко обращалась за помощью к Владимиру Ильичу. Всякие вопросы в то время, начиная от государственных, кончая личными, бытовыми, иной раз требовали вмешательства авторитетного лица. И тут Мария Ильинична прибегала к помощи Ленина. Сохранилось много документов, записок, воспоминаний, подтверждающих это. Вот одна записка В. И. Ленина:

«Тт. Енукидзе, Л. Б. Каменеву и Е. Д. Стасовой.

Очень прошу устроить помощь, одежду, *квартиру, продовольствие,* подателю, тов. *Петру Охрименко.*

Если будут трудности того или иного рода при оказании помощи, очень прошу созвониться со мной.

В. Ульянов (Ленин)
12. XI. 1919».

Просьба шла через Марию Ильиничну. Петр Охрименко обратился к ней.

* * *

Рабселькоровское движение разрасталось. Уже не единицы и не десятки, а сотни и тысячи рабочих и крестьян активно, бесплатно, бескорыстно помогали родной газете, были ее глазами, ушами, честью и совестью. Они опекали имя газеты. А газета опекала их. «Крестной матерью» рабселькоровского движения была Мария Ильинична.

«Ильинична в обиду не даст»,— говорили правдисты.

И это так и было. Все, что касалось «Правды», интересов газеты, ее сотрудников, ее корреспондентов, находилось под присмотром Марии Ильиничны. Тут

она готова была обращаться во ВЦИК, в ЦК, в Совнарком, к Ленину, если того требовало дело, если в том нуждалась газета или ее сотрудники.

А время было тяжелое... В центре Москвы находилась биржа труда, там чуть ли не круглые сутки толпами стояли безработные. На окраинах — грязь, драки... Тяжело жилось народу. Шла война. И жизнь была еще совсем не налажена.

В «Правде», в главной газете страны, в органе ЦК партии большевиков, не было своего репортера. Потом он появился, но был так плохо одет, что его нельзя было посылать куда-либо как представителя центральной газеты. Мелочи. Но они играли огромную роль. Ими нужно было заниматься. Мария Ильинична — правда, не без помощи Владимира Ильича — нашла репортеру приличную одежду, «личный транспорт» — лошадь и сани...

С годами рабселькоров становилось все больше и больше. Огромную помощь оказывал им клуб активистов «Правды». Здесь они учились, устраивали диспуты, знакомились с видными деятелями партии и страны. Каждый рабселькор, если он появлялся в столице, считал своим долгом побывать в клубе «Правды». На огонек заходили и опытные, повидавшие виды литераторы, и начинающие журналисты, и те, кто еще не написал ни одной строки. Мария Ильинична привечала всех. Она привлекала к работе клуба партийных и государственных деятелей, видных литераторов. Здесь выступали и секретарь ЦК С. В. Косиор, и наркомы Н. А. Семашко, А. В. Луначарский, и писатели М. Горький, Анри Барбюс, А. Серафимович, и многие, многие другие. Рабселькорам было что послушать, было у кого поучиться. А Марии Ильиничне казалось, что не все еще сделано, что работа может идти лучше.

Заботой Марии Ильиничны стали женщины. Она задумала привлечь в корреспонденты газеты работниц и крестьянок. По ее инициативе в «Правде» была организована «Страничка женщины-работницы». Мария Ильинична опекала эту страничку и радовалась появлению интересных заметок в ней.

Как-то она услышала частушку и принесла ее Ленину как гостинец:

Я была кухаркой,
Жарила котлеты,
А теперь в Совете,
Издаю декреты.

Владимир Ильич радостно смеялся над «гостинцем» и потом частенько просил повторить частушку.

И в редакции Мария Ильинична не прочь была послушать песню, хорошие стихи, веселый рассказ или анекдот.

«Сама Мария Ильинична была на редкость жизнерадостным человеком. Как умела она смеяться — заразительно, до слез! В этот момент особенно прекрасны были ее глаза, совсем молодые и веселые»,— вспоминала Н. Астахова, активная участница рабселькоровского движения.

Если в каком-нибудь из отделов Мария Ильинична слышала смех, то не хмурила брови, не становилась в позу начальника, а спрашивала с улыбкой:

— В чем дело? Я тоже хочу посмеяться.

Много тревог и горя было вокруг. Мария Ильинична понимала, как важен в такое время смех. Она поддерживала проведение праздников и дружеских вечеров в «Правде». Вечера эти обычно устраивались в длинных коридорах редакции. Из кабинетов вытаскивали столы и выстраивали их в одну линию вдоль стены. Скатертей не было. Стол покрывали старыми газетами, выставляли на него весьма скромное угощение. Пили чай из огромного самовара — подарка туляков газете. Вечера проходили очень весело. Все стены увешивались дружескими шаржами, карикатурами Дени, Мятницкого и других художников — друзей «Правды».

Она любила песни, особенно революционные и народные, те, что певала вполголоса в тюрьмах и ссылках, на сходках и тайных собраниях. Песня была радостью, она сплачивала людей, соединяла и ободряла души.

Песня была с нею всю жизнь. И жизнь ее была как песня.

* * *

Заболел В. И. Ленин.

Марии Ильиничне пришлось взять отпуск. Вновь она вместе с Надеждой Константиновной в роли няни,

сестры, сиделки. Вновь она не отходит от его постели. Вновь она прислушивается к биению его сердца, к словам врачей, дежуривших вместе с нею у изголовья больного.

Не только она — вся страна в эти недели и месяцы с затаенным дыханием ожидает сообщений о состоянии здоровья Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина. За него переживает весь советский народ, за него переживает пролетариат всего мира. Просыпаясь, люди прежде всего спрашивали: «А как там он? Что с ним сегодня?» Болезнь его была болью народов. И если бы люди могли, они заслонили бы грудью своей Владимира Ильича от болезни. Но они не могли этого сделать. И как они были благодарны тем, кто в эти трудные дни находился подле Владимира Ильича, кто помогал ему справляться с тяжким недугом.

В те годы эта благодарность звучала особенно сердечно и трогательно. Нельзя без волнения читать следующие документы:

«Собрание завода «Серп и молот» 27 апреля 1923 года постановило: к 1 мая с. г. зачислить почетными работницами-металлистками завода «Серп и молот» Н. К. Крупскую и М. И. Ульянову как самоотверженных, неустанных друзей — сиделок у постели больного товарища Ленина, нежно оберегающих его покой. Назначить им оклад по 3-му разряду и передать его в пользу детского сада...»

Открывшийся в дни болезни Ленина XII съезд РКП(б) «посылает свое товарищеское и братское сочувствие Надежде Константиновне, жене-соратнице, и Марии Ильиничне, сестре-другу Ильича, и просит их помнить, что все тяжкие тревоги переживаются вместе с ними изо дня в день той великой семьей, которая называется РКП...».

Шли дни за днями. Владимиру Ильичу становилось лучше.

И тогда Мария Ильинична сделала то, что теперь трудно переоценить. Она внесла бесценный вклад в Лениниану, сделав около двадцати фотографий Владимира Ильича, которые донесли до нас образ вождя, образ Ленина-человека. Мария Ильинична специально изучила технику фотографирования, зная, что Вла-

димир Ильич не очень любит фотографироваться. Но сестре он, конечно, не мог отказать. Более того, Владимир Ильич интересовался, как идет овладение новой профессией.

Соратник Марии Ильиничны по работе в «Правде» А. Зуев пишет: «В портретной галерее В. И. Ленина важнейшее место занимает серия отличных снимков, сделанных в Горках в последний период жизни Владимира Ильича. Снимки эти широко известны. Но немногие знают, что они сделаны Марией Ильиничной, впервые выступившей тогда на фотографическом поприще».

Рабочий поэт Николай Полетаев посвятил памяти вождя прекрасные стихи, где есть такие строки:

...Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет...

И они подтверждают мысль, что народ хотел оставить в памяти образ вождя и человека, искал этот образ. Вот почему снимки Марии Ильиничны, сделанные ею с большой любовью, сейчас, с высоты времени, особенно дороги и бесценны.

Изредка Мария Ильинична приезжала в Москву, в родную газету. Ее появление в редакции было радостью для товарищей. От Марии Ильиничны всегда веяло бодростью, уверенностью, она умела заражать своей энергией окружающих, ну и, конечно, помочь советом и делом. Правдисты иногда бывали у нее в Горках. Мария Ильинична встречала их приветливо, угощала всем, что было в доме, расспрашивала о делах.

Товарищи поражались стойкости и мужеству Марии Ильиничны в те дни. Ей было тяжело, как, быть может, никому другому: жизнь любимого брата, которому она посвятила свою жизнь, висела на волоске. И все-таки Мария Ильинична никогда не теряла присутствие духа, держалась спокойно, как солдат, на самом ответственном посту.

И все вроде бы шло хорошо. Врачи обещали выздоровление. Ленин понемногу начал работать, готовился выступать с докладом на съезде Советов.

Мария Ильинична вновь приступила к работе, хотя поста своего подле Владимира Ильича не бросала:

на ней по-прежнему лежали основные заботы по уходу за ним и хозяйству.

И тут новый удар: внезапное резкое ухудшение здоровья Владимира Ильича. Начались самые страшные дни, без сна, без отдыха, на одном стремлении: помочь, вытянуть, спасти.

Н. Рабинович, работавший многие годы под руководством М. И. Ульяновой в «Правде» и Бюро жалоб Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, вспоминает: «...в вестибюле нас встретила Мария Ильинична. Она была встревожена, но кажется, еще не предвидела близкой катастрофы.

— Обогрейтесь, пообедайте. А тем временем я освобожусь.

Она отвела нас в комнату первого этажа, соседнюю с той, в которой стояли телефоны.

Через некоторое время нам сказали, что Ильич в безнадежном состоянии. Смерть неминуема.

Мы были подавлены, ошеломлены.

В доме была полная тишина. Как будто все остановилось.

Вдруг — мне казалось, что прошло очень много времени,— кто-то вбежал в соседнюю пустую комнату и, схватив трубку телефона, крикнул прямо телефонистке:

— Ленин умер!

Это был голос Марии Ильиничны...»

* * *

Чуть ли не на следующий день после похорон Мария Ильинична приступила к работе в «Правде». Настроение у всех было подавленное, все ходили хмурые.

— Что же теперь делать, товарищи,— сказала Мария Ильинична.— Работать надо. Давайте работать.

Она сказала так не потому, что была каким-то сверхчеловеком или существом с железными нервами. Нет. Она была самым обыкновенным человеком, и нервы у нее были нездоровы, перенапряжены до предела. Но она была закалена многими годами лишений и невзгод, с детства от родителей, главным образом от матери, как бы по наследству, она переняла это терпение и эту стойкость, это умение держать себя, вла-

деть собой при любых обстоятельствах, эту завидную способность поднимать голову после любой беды. Но главное, она понимала: теперь лучшим памятником Ильичу будет работа, верность его принципам, развитие его идей, продолжение начатых или подсказанных им дел.

Вот почему она сказала твердо: «Давайте работать».

Еще при жизни Ленина, во время его болезни, в недели просветления и надежды, она сумела организовать Всесоюзное совещание рабселькоров, где выступила с программным докладом.

В январе 1924 года вышел новый журнал «Рабочий корреспондент» (позже «Рабоче-крестьянский корреспондент»). Его организатором была Мария Ильинична. Она же написала для первого номера статью «О методах привлечения рабкоров...».

Теперь, после смерти Ленина, необходимо было продолжать начатое дело и дальше развивать рабселькоровское движение. И она делает это: организует и проводит три всесоюзных совещания рабселькоров, выступает на них с докладами, привлекает к работе в печати сотни и тысячи новых людей. На XIV съезде партии были приведены убедительные цифры: «За отчетный период число рабселькоров в стране выросло с сорока трех тысяч до двухсот двадцати тысяч».

Мария Ильинична всячески старается оживить газету. По ее инициативе, при ее поддержке проходят конкурсы «На лучшего директора завода», «На лучшего учителя». Конкурсы эти играли положительную роль в строительстве новой жизни, в повышении сознания и активности народа.

Мария Ильинична за эти годы сама выступает с десятками статей, которые печатаются в «Правде», «Работнице», «Известиях», «Рабоче-крестьянском корреспонденте». Многие из этих статей посвящены любимому детищу — «Правде»: «В «Правде» после февраля», «Пятнадцать лет «Правды», «Правда» — любимая газета масс».

А работать в газете становилось труднее. После смерти Владимира Ильича подняли голову троцкисты, участились антипартийные вылазки, нападки на «Правду».

Мария Ильинична встречала нападки врагов спокойно, она не отвечала на них сама, а просила рабочих ответить, вступиться за «Правду». И рабочие откликались на ее призыв и давали отповедь врагам газеты.

На XIV съезде партии ей самой пришлось вступить в борьбу, дать отповедь оппозиции Зиновьева и Каменева, которые старались провалить ленинский план индустриализации страны.

Выступив в прениях, Мария Ильинична сказала: «...я взяла слово не потому, что я сестра товарища Ленина и претендую поэтому на лучшее понимание и толкование ленинизма, чем все другие члены нашей партии. Я думаю, что такой монополии на лучшее понимание ленинизма родственниками Ленина не существует и не должно существовать... Кадры нашей партии растут в идейном отношении. Я бы сказала, что они необычайно выросли за последние два года. После смерти Ленина все, что есть лучшего в нашей партии, а такого элемента у нас немало,— все это бросилось изучать его богатое литературное наследие... С уходом Ленина каждый член нашей партии понял, что на него ложится большая ответственность, он стал требовательнее к себе. И теперь, товарищи, наша партия готовит коллективную смену Ленину не только количественно, но и качественно, в идейном отношении. Не видеть этого могут либо слепые, либо те, которые оторвались от масс. И вот эта коллективная мысль партии, которая выражена на этом съезде, сумеет, несомненно, я в этом совершенно уверена, при помощи ближайших соратников Ленина найти правильную линию партии.

...Я хотела бы напомнить вам о том, как относился Ленин к дискуссиям в нашей партии, как больно он их переживал, как всегда старался принять все меры к тому, чтобы возможно скорее их изжить, ибо он понимал, и это должен понять каждый член нашей партии, как дорого они нам обходятся, как много сил мы на них растрачиваем.

...Товарищи из ленинградской организации заявляли здесь о своей готовности подчиниться постановлениям этого съезда. Пусть же это не будет лишь формальным подчинением, пусть это будет ленинское подчинение. Пусть — и здесь я приведу опять слова Ленина — после этого съезда не будет «ни малейших сле-

дов фракционности, где бы она ни проявилась, чтобы этих следов не осталось ни в коем случае».

Для того чтобы выполнить те крупные задачи, которые стоят перед нами, нужна полная сплоченность. И необходимость подчинения решениям съезда должны сознать не только вожди, но и все рядовые члены нашей партии...»

Мария Ильинична не только отстаивала единство партии, подчинение коммунистов ленинским нормам и принципам, не только пеклась о чести и престиже родной газеты, она и практически делала все — от малого до большого,— чтобы поддержать эти принципы и идеи.

После смерти Ильича она сказала двум товарищам по работе: «Не пора ли и вам подавать в партию? Я бы вас поддержала. Подумайте!»

Сотрудник «Правды» тех лет А. Зуев подтверждает: «И она действительно стала партийной «крестной» этих двух сотрудников».

Она была «крестной» не только этих товарищей, но и всей газеты.

* * *

В 1927 году отмечалось пятнадцатилетие «Правды». Оно совпало с десятилетием работы в газете М. И. Ульяновой. Сотрудники очень хотели отпраздновать эту дату. Все любили Марию Ильиничну, для многих она была действительно «крестной матерью», потому что привлекла их к работе в газете, научила работать, помогла устроиться и обжиться и ежедневно помогала, нянчила, защищала.

Узнав о предполагаемом торжестве, Мария Ильинична категорически воспротивилась этому. Ее протест не был ложной скромностью, она искренне не видела причин для торжества. Ей и в самом деле казалось, что никаких особых заслуг перед газетой и товарищами у нее нет, газета — ее детище, сотрудники — товарищи по работе. Если и газета и товарищи выросли, хорошо работают, то это так и должно быть. Она абсолютно не видит причин для каких-либо вечеров, собраний с речами, адресов и т. п.

Тогда товарищи написали коллективную статью и, пожалуй, впервые за всю историю «Правды» напечатали ее без ведома ответственного секретаря.

Что сделало Марию Ильиничну любимицей сотрудников «Правды» и тех, кто знал ее лично? Она была до самоотречения предана газете, защищала ее интересы. Она была высокообразованным, широко эрудированным человеком, опытным революционером, настоящим марксистом-ленинцем, и за это Марию Ильиничну уважало множество людей. Но было еще такое качество ее характера, которое привлекало к ней. Это — чуткость, душевность, бескорыстная доброта и человечность, внимание к товарищам.

У Марии Ильиничны была удивительная память на «личное» в людях, на мелочи, на которые другие не обращали внимания, на слабые и сильные стороны человека. Она, как опытный врач, запоминала «симптомы» каждого, чтобы вовремя помочь ему. И помощь эта всегда трогала людей, всегда была и неожиданной, и приятной, и действенной.

Поэт Филипченко страдал белокровием. Требовались санаторное лечение и деньги на путевку. У него не было денег. А поэт был горд и помощи не принимал. Тогда Мария Ильинична вызвала к себе А. Зуева:

«Знаете, о чем я вас попрошу: съездите в лечебную комиссию ЦК и уплатите за путевку для нашего Филипченко, ему надо серьезно подлечиться. Только уж покорнейшая к вам просьба: никому не говорите, что я дала деньги, а ему в особенности. Скажите ему, что путевка бесплатная...»

Поэт съездил в санаторий, подлечился и проработал еще несколько лет, так и не узнав, кто помог ему в тяжелую минуту.

Мария Ильинична была чуткой к любому горю. В те годы бедами страны являлось сиротство, беспризорность. В 1925 году в «Правде» появилась страстная и душевная статья Марии Ильиничны «Об организации читателями «Правды» дома-колонии беспризорных». «Мы предлагаем...— говорилось в этой статье,— организовать для беспризорных детей домколонию читателей «Правды»... На страницах нашей газеты открывается сбор пожертвований на организацию этого дома. Пусть каждый читатель «Правды» откликнется на наш призыв, поможет этому общему делу».

Тут же было напечатано сообщение о первых взносах и вызовах. М. И. Ульянова внесла десять рублей и призвала последовать своему примеру Емельяна Ярославского и других товарищей.

Она считала долгом коммуниста быть отзывчивым к людскому горю.

Но Мария Ильинична не была добренькой, этакой благодетельницей для всех. Если того требовало дело, она становилась твердой, непримиримой. Даже в полезных начинаниях, тех, что она всегда поддерживала и развивала, она требовала дисциплины и порядка.

Помогая товарищам, уча и пестуя их, она сама никогда не возвышалась над ними, не изображала из себя большого мастера, хотя и была таковой на самом деле. Она любила посоветоваться. Чутко прислушивалась к голосу сотрудников, делала необходимые поправки. Мария Ильинична старалась поддерживать стиль и традиции старой «Правды», а может быть, «Искры».

* * *

Весной 1929 года Мария Ильинична перешла на работу в Институт Ленина.

С энергией, свойственной ей, принялась за сбор, обработку и публикацию писем Ленина к родным — к матери, сестрам, брату и Марку Тимофеевичу Елизарову. Перед Марией Ильиничной как бы вновь проходила вся ее жизнь.

Она собирала и перечитывала письма Владимира Ильича, и перед нею вставал образ матери, всегда бодрой и доброй, всегда готовой прийти на помощь тому из детей, кому бывало особенно трудно. Она вспоминала, как заботился о матери Владимир Ильич, как он берег ее, ободрял, как непременно поздравлял с днем рождения, как успокаивал, когда другие дети сидели в тюрьме или находились в ссылке. Теперь эти письма обретали историческую ценность, по ним можно было составить впечатление о Ленине как о человеке.

В предисловии к сборнику «Письма к родным» Мария Ильинична писала: «Вся его жизнь была в революционной борьбе, его личная жизнь неотделима от этой борьбы, от работы для дела пролетариата.

Но если мы имеем полное собрание Сочинений Ленина и довольно большую литературу о ленинизме (и научно-исследовательскую, и популярную), то Ленин как человек, с его яркой разносторонней индивидуальностью, обрисован до сих пор крайне недостаточно или не обрисован почти совсем...

Одной из характерных черт Владимира Ильича была большая аккуратность и пунктуальность, а также строгая экономия в расходовании средств вообще, а в частности лично на себя...

На чем Владимиру Ильичу, однако, трудно было экономить, так это на книгах. Они были нужны ему для его работ... Но и в этом он старался урезывать себя главным образом тем, что ходил работать в библиотеки... В ссылке, где о библиотеках не могло быть и речи, Владимир Ильич пытался восполнить этот пробел, прося нас устроить ему посылку библиотечных книг по почте...

Предлагаемые читателям письма Владимира Ильича дают некоторую картину и условий его литературной работы, и тех мытарств, с которыми было связано опубликование результатов его работы...

Но если Владимир Ильич умел систематично, усидчиво и крайне плодотворно работать, то он умел и отдыхать, когда для этого, впрочем, представлялась возможность. Лучшим отдыхом для него была близость к природе и безлюдье... Владимир Ильич очень любил природу...»

Мария Ильинична сообщает нам такие подробности о жизни и характере Владимира Ильича, о которых знали только она и самые близкие люди — Надежда Константиновна, Анна Ильинична, Дмитрий Ильич. Эти детали помогают воссоздать образ Ленина всесторонне.

За довольно короткий срок были собраны и опубликованы кроме «Писем к родным» еще и воспоминания о Владимире Ильиче и других членах семьи Ульяновых — «Из самарского (алакаевского) периода (1889—1893 гг.)». Затем вышла книга Марии Ильиничны «Отец Владимира Ильича Ленина — Илья Николаевич Ульянов. 1831—1886». Она подготовила сборник материалов о заграничных рефератах В. И. Ленина, написала очерки «Мать Владимира

Ильича — Мария Александровна Ульянова», «Сестра Ольга Ильинична», статью «Памяти Александра Ильича Ульянова».

* * *

Работы Марии Ильиничны о семье Ульяновых представляют огромную ценность. Они исполнены с большой любовью, тщательностью и той типично ульяновской скромностью, которая так привлекала к ним людей разных возрастов, характеров и сословий. В этой хронике семьи Мария Ильинична использовала все имевшиеся под рукой материалы: воспоминания родных, учеников, сослуживцев, современников, переписку, документы тех лет, дневники, отчеты. Она старалась быть предельно объективной и доказательной. Не личные впечатления, не эмоции, а фактический материал, проверенный временем, лег в основу этих произведений.

Начинает Мария Ильинична с очерков об отце, Илье Николаевиче Ульянове. В предисловии она пишет: «...характеристика отца Владимира Ильича имеет большое значение не только для научной биографии В. И. Ленина... Илья Николаевич и сам по себе был незаурядной личностью...» Это был целенаправленный, волевой, действительно незаурядный человек. И на него, как пишет Мария Ильинична, был очень похож Владимир Ильич. «Он унаследовал его рост, его широкие скулы и черты лица, несколько монгольский разрез глаз, большой лоб. Он обладал таким же, как отец, живым характером. И смех у них был одинаковый, заразительный, часто до слез. Много общего было у них и в чертах характера, и в привычках. Сила воли, энергия, способность целиком и безраздельно отдаваться своему делу, гореть на нем, крайне добросовестное отношение к своим обязанностям, а также большой демократизм, внимательное отношение к людям — эти черты были общи для Ильи Николаевича и Владимира Ильича. Передалась Ильичу и некоторая картавость, с которой Илья Николаевич произносил букву «р».

В очерке о матери, создавая ее образ, Мария Ильинична находит другие краски — с мягкими оттенками, с еще большей и проникновенной теплотой. Это и не удивительно. Отца она знала в раннем детстве. Он

умер, когда ей было всего лишь восемь лет. А с матерью она прошла большую часть своей жизни.

Мария Ильинична говорит о стойкости Марии Александровны, о ее бесконечном терпении и мужестве. Пожалуй, самым ярким примером является рассказ о поведении матери при встрече с Александром Ильичем.

Мария Ильинична заключает свой рассказ о матери следующими словами: «Чертами лица Владимир Ильич не походил на мать. Он унаследовал их больше от отца, как и сходство в фигуре, в целом ряде привычек, вкусов и многом другом. Но глаза у Владимира Ильича были глазами матери. От нее же унаследовал он, между прочим, большую чуткость и исключительное внимание к людям. Так же, как она, Владимир Ильич как-то сразу серел лицом, волновался и мучился, если ему казалось, что он недостаточно позаботился о ком-нибудь из близких или товарищей, недостаточно хорошо их устроил и пр. И такой же цельной, прекрасной, хотя и в другом роде, была и его жизнь».

Из очерка Марии Ильиничны мы узнаем немного о жизни Александра Ильича, но некоторые детали помогают создать образ этого благородного человека, кумира Владимира Ильича в годы детства.

Несомненно, большое значение имеют воспоминания Марии Ильиничны об Ольге Ильиничне:

«Она не уступала Владимиру Ильичу в живости и подвижности... она не работала только тогда, когда спала... Владимир Ильич, слушая как-то упражнения Ольги на рояле — она просиживала за ними часами,— сказал: «Вот чьей трудоспособности можно позавидовать».

Даже чрезвычайно краткий и сжатый обзор работ Марии Ильиничны говорит об их колоссальной ценности.

И все же наиболее значительными являются воспоминания Марии Ильиничны о В. И. Ленине.

* * *

В статье «О некоторых «воспоминаниях» об Ильиче» Мария Ильинична сожалела, что «не все товарищи, пишущие теперь о Ленине, относятся с такой ще-

петильностью к своим воспоминаниям о нем... получается много неверностей, неточностей, и «Ленин как человек» приобретает иной раз в этих писаниях черты, которые были ему совершенно не свойственны или даже чужды. Такого рода неверные сведения перепечатываются потом товарищами, составляющими характеристики Ленина, и приобретают тем самым характер уже чего-то установленного и достоверного».

Слова эти как бы обращены в будущее. Они являются наказом для всех тех, кто работает над ленинской темой.

Сама Мария Ильинична, когда писала о Ленине, старалась не пропустить важной детали, отдельного штриха, запоминающейся черточки его характера. Это делает ее воспоминания документом огромной убедительной силы. Написанные ею в основном в период работы в Институте Ленина, они легли в основу Ленинианы, дали последующим работам верное направление.

Свои воспоминания Мария Ильинична начинает фразой о своей горячей любви к Владимиру Ильичу, о преклонении перед ним с детских лет, объясняя это тем, что такой полный авторитет он завоевал благодаря высоте своего нравственного облика. Дети ведь очень чутки к тому, чтобы слова не расходились с делом, чтобы взрослые не оперировали с двоякого рода моралью: одною, применяемою к детям, а другою — к себе...

А чуть дальше она раскрывает суть ленинского характера: «Владимир Ильич сам слишком много детского, в лучшем смысле этого слова, сохранил до последних дней своей жизни, что выражалось в удивительной чистоте, искренности, жизнерадостности, способности увлекаться, скажем охотой, прогулкой, игрой и пр., как ребенок, а также в умении предаваться самой беззаботной веселости.

...И всегда, когда Владимиру Ильичу приходилось встречаться с детьми, у него очень быстро устанавливались с ними самые дружеские отношения, с оттенком влюбленности со стороны детей. Знакомство завязывалось быстро, и через некоторое время слышались уже громкий хохот, возня и беготня».

Читая произведения Ленина, дивишься количеству написанного им. Непостижимо, когда и как мог он, несмотря на свою занятость, на тяжелые условия, столько успеть?

Мария Ильинична раскрывает и этот секрет:

«...Владимир Ильич каждое утро после чая отправлялся, нагруженный книгами, словарями и тетрадями, в укромный уголок сада, где стояли стол и скамейка. Там проводил Владимир Ильич большую часть дня за научными занятиями. Он не просто читал книги, он изучал авторов, штудировал их, составлял конспекты, делал заметки и выписки из книг.

Это умение работать, это упорство сохранилось у него на всю жизнь... Сохранилось много тетрадок и выписок Владимира Ильича, и по ним можно судить, какое громадное количество литературы по всем отраслям знания было им проштудировано. Он всю жизнь учился».

Вывод сделать нетрудно: приобретенная с детства самодисциплина, умение работать в любых условиях, огромные знания и эрудиция — вот в чем секрет его поистине титанического труда.

Внимательно относился Владимир Ильич к товарищам. Всячески помогал им. «Так, он брался писать предисловие к переводам товарищей,— вспоминает Мария Ильинична,— чтобы облегчить им издание этих переводов и, следовательно, возможность иметь заработок». Этот пример еще раз напоминает о ленинской чуткости и внимании, о его доброте, благородстве.

Воспоминания Марии Ильиничны о Владимире Ильиче отрывочны: много лет они жили вдали друг от друга. Встречались они в предреволюционные годы нечасто. Ленин жил в эмиграции, вдали от родины, но был в курсе всех дел партии.

«...Пятнадцать лучших лет своей жизни,— пишет Мария Ильинична,— провел Владимир Ильич в эмиграции... Эмиграция была особенно тяжела, ибо приходилось жить вдали от русских рабочих масс, к непосредственной связи с которыми Ильич всегда так стремился...

Тем более непереносно стало это бремя, когда в России вспыхнула Февральская революция:

«Вы можете себе представить, какая это пытка для всех нас сидеть здесь в такое время»,— писал Владимир Ильич Ганецкому.

Ленин стал неудержимо рваться в Россию... Однако проехать в Россию было делом нелегким. На помощь Антанты могли в этом смысле рассчитывать лишь социал-шовинисты.

Один фантастический план сменялся у Владимира Ильича другим, но все они были неосуществимы. В бессонные ночи, обдумывая возможности вырваться из Швейцарии, он решил как-то прикинуться глухонемым и с паспортом шведа пробраться в Швецию.

...Единственной реальной возможностью было добиться разрешения германского правительства проехать через Германию, которое было получено через нейтральных швейцарских социалистов.

Это был, конечно, рискованный шаг, так как ясно было, что русская буржуазия и социал-шовинисты попытаются использовать проезд большевиков через Германию для клеветы и инсинуаций против них. (Так потом и случилось! — *В. Д.)* Приезд Владимира Ильича в Петроград, как мы ни ждали его, был неожиданным... Заводы не работали, газет не было, но из уст в уста разнеслась по рабочим районам радостная весть, что вечером должен приехать вождь большевиков». Владимир Ильич вернулся на родину, окунулся в гущу событий, стал сердцем и мозгом революции. Тут он был у многих на виду, но все равно воспоминания Марии Ильиничны проливают свет на некоторые стороны его жизни, о которых мало кому известно. Она пишет и о том, как в период разгула реакции Временного правительства укрывали Ленина в подполье, и о первом «благополучном» покушении, и о нападении бандитов, и о быте ленинской семьи, и о многом, многом другом, известном только ей, за что все мы благодарны Марии Ильиничне...

В 1932 году в жизни Марии Ильиничны произошли перемены. Вот как рассказывала об этом сама Мария Ильинична:

«Утром мы с Надей шли на Красную площадь и встретили в Кремле Сталина. До открытия торжественного парада еще оставалось минут двадцать. Сталин усадил нас на скамейку и стал расспрашивать о

здоровье, о работе. Я ему сказала, что Ярославский предложил мне заведовать библиографическим отделом в одном историческом журнале и что меня это не устраивает.

«А куда бы вы хотели?» — спросил Сталин.

«Я бы предпочла пойти на какую-нибудь массовую работу»,— сказала я.

На другой день мне позвонил Ярославский, не возьмусь ли я заведовать Бюро жалоб РКИ. Я сразу согласилась...»

* * *

Н. К. Крупская писала: «На этой работе она както особенно развернулась, борясь изо всех сил за линию партии, настойчиво и умело добиваясь ликвидации всяких ошибок, извращений, мешающих налаживанию советской работы. Работа эта ее удовлетворяла, это была живая помощь социалистическому строительству. Сил своих она не жалела, работала с утра до 3—4 часов ночи, без отдыха, без перерыва...»

Рабочие и крестьяне, красноармейцы и студенты, мужчины и женщины, старые и молодые обращались в бюро за правдой и справедливостью, как к верховному судье.

Молва о чуткости, внимательности, справедливости Марии Ильиничны Ульяновой разлетелась по стране.

«Сестра Ильича поможет»,— говорили многие обиженные люди, и ехали в Москву, и писали ей, и хотели видеть и слышать ее.

Поток писем и жалоб увеличился.

Так, в 1927 году было получено 4 тысячи жалоб, а в 1932 году — свыше 32 тысяч. В 1933 году — 37 623. В первом квартале 1932 года бюро приняло 1719 посетителей, а в 1933 году в первом квартале — 6177, во втором — 7833.

Несомненно, одна Мария Ильинична с такой нагрузкой не могла справиться. Она подобрала надежных помощников. Но и они не в силах были вынести колоссальную, увеличивавшуюся с каждым днем нагрузку. Тогда она использовала опыт «Правды», организовала сеть внештатных инспекторов и целую армию верных и бескорыстных защитников правды.

Двери бюро были открыты для всех, людям гарантировалось чуткое отношение, независимо от характера и объема жалобы. Мария Ильинична знала: политику, настроение людей создают «детали», «мелочи» и они, «мелочи», порой многое значат.

В своей работе в Бюро жалоб Мария Ильинична руководствовалась заветами Владимира Ильича. Ленин писал:

«...Всю трудящуюся массу, и мужчин и женщин особенно, провести через участие в Рабоче-Крестьянской инспекции...

В рабочую инспекцию вы должны привлечь самых боязливых и неразвитых, самых робких рабочих и должны двинуть их вверх. Пусть они поднимаются в этой работе. Посмотрев, как рабочая инспекция участвует в государственных делах, пусть они от простейших занятий, на которые способны,— сначала только в виде понятых,— далее постепенно переходят к более важным ролям в государственных делах. Вы получите из широких источников помощников, которые возьмут на себя государственное бремя, придут на помощь и на работу».

Мария Ильинична не только привлекала «самых боязливых и неразвитых», не только учила, передавала опыт, помогала в работе, но и согревала их горением души, как бы озаряла теплом и светом своего доброго и чуткого сердца. Вряд ли можно было найти более подходящую заведующую Бюро жалоб, чем Мария Ильинична. Боль каждого была ее болью, горе каждого — ее горем, несправедливость по отношению к любому человеку она воспринимала как несправедливость по отношению к себе и действовала так, как если бы это касалось ее самых дорогих друзей.

Нет, Мария Ильинична не была сентиментальной. Она умела быть твердой и решительной, боевой и неуступчивой, если того требовали дело, справедливость, интересы партии. Она умела и отказать, и указать на ошибки, и отчитать сутяжников и склочников, и дать отпор откровенным врагам Советской власти. Она стояла на своем посту надежно. Она отстаивала принципы Ленина, выполняла его заветы.

* * *

Годы подполья, ссылка, тюрьмы, годы напряженной работы давали себя знать. Мария Ильинична все чаще стала прихварывать. Надо было бы отдохнуть как следует, полечиться. Но она не желала надолго отрываться от дела, работа была ее радостью, она и отнимала силы, и придавала силы. Мария Ильинична, едва встав на ноги, уже спешила в свое бюро, к людям, на многочисленные встречи и выступления. В 1933 году она ездила в Казань, выступала на II Всетатарском съезде колхозников. В том же году состоялось Всесоюзное совещание Бюро жалоб РКИ, где Мария Ильинична тоже выступала. Статьи, выступления, приемы. И на все требовались силы, энергия, и все Мария Ильинична делала от души, с полной отдачей, потому что с юных лет привыкла «уж если делать, то делать хорошо». На себя лично почти не оставалось времени: приезжала поздно и еще работала дома. Вставала рано и спешила в бюро или по делам, также связанным со службой.

Ее любили люди. Авторитет ее был огромен. Вот яркий факт, рассказанный ее сотрудницей О. Тоом: «Мария Ильинична была очень популярна в народе, была популярна даже там, где не все знали ее как сестру Ленина. Как-то на прием в Бюро жалоб пришел высокий худой старик узбек. Плохо владея русским языком, сказал: «Марию Ильину». Переспрашиваю: «Вы, наверное, к Марии Ильиничне?» — «Не знаем».— «Ну, к Марии Ильиничне, сестре Ленина?» — «Не знаем,— все так же тихо, устало, сдержанно проговорил старик,— нам сказали: в Москве есть справедливый человек Мария Ильина...»

Мария Ильинична вкладывала в работу всю душу и требовала такой же отдачи от товарищей. С ней было легко и трудно. Легко потому, что всегда рядом ее крепкая, надежная рука. «Мария Ильинична не даст в обиду». Трудно потому, что надо так же, как и она, беззаветно любить дело, самоотверженно, не жалея сил, отдаваться работе. А это непросто. Очень непросто.

Мария Ильинична все время искала новые формы работы. Как бывало в «Правде», так и теперь в Бюро жалоб она не давала родному детищу «покрыться

мхом» штампов. Она придумывала все новые и новые живинки. По ее инициативе прошли по всей стране массовые проверки работы бюро жалоб. Она же была одним из инициаторов общественных судов. Нерадивые люди, взяточники, грубияны, прочие нарушители советских законов боялись судов рабочих заседателей больше любого другого наказания.

Мария Ильинична обобщала опыт работы, изучала жалобы и на основе этого вырабатывала предложения в соответствующие организации с целью предупредить пороки и ошибки. Мария Ильинична была своеобразным исцелителем пороков, и смысл ее исцеления состоял в том, чтобы не только добиться ликвидации порока, но и не допустить его рецидивов. Она была удивительно настойчива и не успокаивалась, пока существовало нарушение. Лишь после того, как ошибка исправлена, лишь после объективного исследования жалобы и ликвидации корней ее, она успокаивалась.

Отдавая должное ее заслугам перед партией и народом, Марию Ильиничну избрали в президиум XVII съезда партии. Она выступала по докладу товарища Рудзутака. Она говорила о том, о чем болела ее душа: о чуткости, об укреплении связи с массами, о внимании к нуждам и бедам народа.

Рабоче-крестьянскую инспекцию разделили. Создали две комиссии: Комиссию советского контроля и Комиссию партийного контроля. Марию Ильиничну избрали в Комиссию советского контроля. Опять она стала заведовать Бюро жалоб.

Бюро переехало в новое помещение, в Охотный ряд. Принципы работы остались ленинские. Мария Ильинична написала статью «Бюро жалоб в новых условиях» и опубликовала ее в «Правде». В статье подтверждалось: бюро по-прежнему будет бороться со всякими нарушениями законности, за чистоту партийных идей.

Снова Мария Ильинична в работе, с утра до вечера. И так каждый день. «Встречалась я с Марией Ильиничной и на ее последней работе в Бюро жалоб Советского контроля,— писала старая правдистка Л. Н. Сталь.— Меня поражало всегда тщательное и детальное изучение ею каждого дела, которое стави-

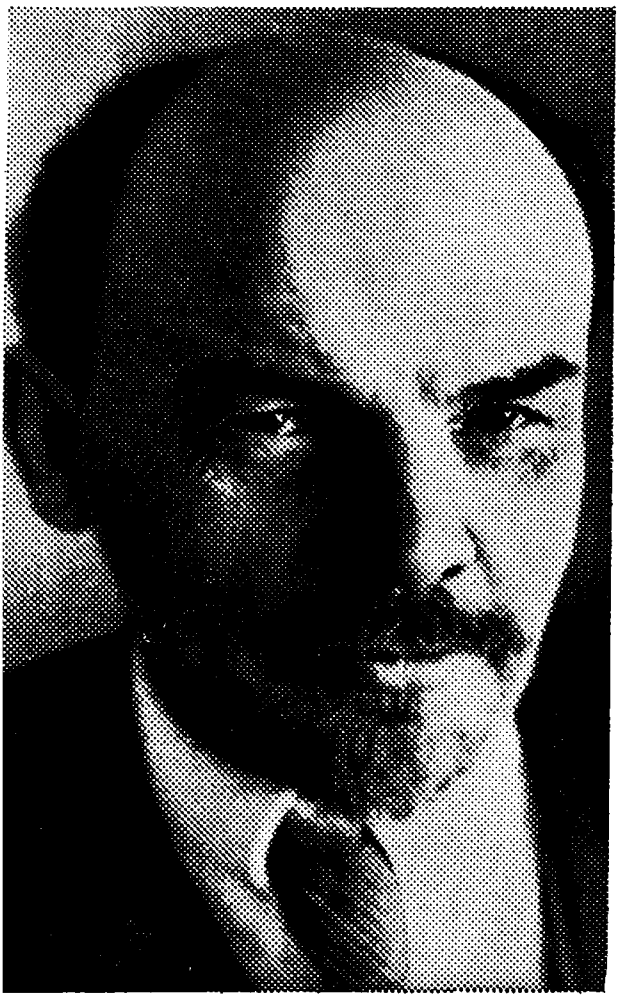
лось на разбор под ее председательством. После тяжелого рабочего дня она, перегруженная папками с заявлениями рабочих, уходила домой и продолжала дома эту работу...»

* * *

Поздним июньским вечером 1937 года Мария Ильинична зашла в Бюро жалоб прямо с Московской партийной конференции. И вдруг почувствовала себя плохо. Потеряла сознание. Врачи констатировали кровоизлияние в мозг. Состояние было опасным. Решили проводить лечение на месте. Были срочно вызваны лучшие специалисты. Но все оказалось напрасным. Не приходя в сознание, 12 июня Мария Ильинична скончалась прямо в рабочем кабинете, как солдат на своем посту.

Похоронили Марию Ильиничну Ульянову на Красной площади, у Кремлевской стены, неподалеку от Мавзолея, где покоится В. И. Ленин.

ОДНАЖДЫ ВЫБРАННЫЙ ПУТЬ



«В пятницу, 10 апреля 1870 года, на Волге вскрылся лед»,— писали «Симбирские губернские ведомости». И тогда же «Московские ведомости» публиковали известие из Петербурга: «Нева прошла мимо Зимнего Дворца; лед остановился подле Сената». Обычные сообщения газет звучат теперь символически — в этот день в Симбирске родился Владимир Ульянов-Ленин. Революция, которую он возглавит, изменит российский календарь, и к нам эта дата придет 22 апреля.

В тот день газеты занимала охота императора Александра II: «Его величество Государь Император с Великим Князем Владимиром Александровичем изволили выехать в 10 часов из Петербурга и прибыли в 12 ч. 25 мин. к месту охоты. Охота была удачна: убиты два медведя; один застрелен Его Величеством, другой — Великим Князем». Медведь, поверженный самодержцем, лежит под его сапогом, как и вся Россия...

22 (10) апреля 1870-го. Годом раньше скончался последний декабрист, оставшийся в Сибири,— Иван Иванович Горбачевский. Больной, одинокий старец писал незадолго до смерти: «В моей жизни, кроме скуки, горя — ничего не вижу и не предвижу лучшего; никого при мне нет близкого — все это разъехалось, разлетелось, все бегут из Завода, одни по охоте, другие по надобностям. Я один остаюсь на месте, как гнилой верстовой столб, мимо которого мелькают люди и происшествия. Прощайте...»

Ходят в рукописных списках, передаются из рук в руки стихи поэта, которого уже больше трех десятилетий нет в живых,— действует цензурный запрет на стихи Пушкина, посвященные декабристам:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Совсем недавно — всего лишь три месяца назад — умер в изгнании А. И. Герцен. В 1870 году истек семилетний срок каторги Н. Г. Чернышевского. И тогда же его препроводят в Якутию — еще на 13 лет. На все просьбы облегчить участь Чернышевского Александр II неизменно отвечает: «Пока я жив, Чернышевский не выйдет из Сибири».

«Пока я жив...» Спустя одиннадцать лет двадцатипятилетний Игнат Гриневецкий бросит бомбу в Петербурге: будет казнен по приговору «Народной воли» император Александр II — удачливый охотник на медведей.

Минует еще немало лет, и, оглядывая путь русской революции, Ленин напишет:

«Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс».

Весной 1870 года Карл Маркс писал Фридриху Энгельсу, что существующее в России положение не может дольше продолжаться, что отмена крепостного права, в сущности, лишь ускорила процесс разложения и что предстоит грозная социальная революция. Маркс и Энгельс верили в русскую революцию и с нетерпением ожидали ее. «...При благосклонности матери-природы мы доживем до этого торжества!» — писал Маркс, когда ему было 59 лет. Писал ровно за 40 лет до Великой Октябрьской социалистической революции. Нет, история распорядилась иначе, и революция в России произошла позже, чем предполагали Маркс и Энгельс. Но подобная ошибка «гигантов революционной мысли,— напишет спустя годы Ленин,— поднимавших и поднявших пролетариат всего мира над уровнем мелких, будничных, копеечных задач,— в тысячу раз благороднее, величественнее и *исторически ценнее, правдивее*, чем пошлая мудрость казенного либерализма, поющего, вопиющего, взывающего и глаголющего о суете революционных сует, о тщетности революционной борьбы...»

В апреле 1870 года «Московские ведомости» извещали о рабочих волнениях в Париже, все тревожней становилось в его предместьях. «Большое счастье будет для нас,— писала газета,— если буря, угрожающая нам с этой стороны, не грянет над нами». Буря грянет через год: 72 дня Парижской коммуны — от побе-

ды до расстрела коммунаров на кладбище Пер-Лашез. И спустя полвека, таким же теплым апрельским днем, отмечая пятидесятилетие Владимира Ильича, газета «Известия» выйдет с заголовком во всю первую страницу: «50 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, В 1870 ГОДУ, ЗА ГОД ДО ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, РОДИЛСЯ ВЕЛИКИЙ МСТИТЕЛЬ ЗА СВЯЩЕННУЮ КРОВЬ КОММУНАРОВ — ЛЕНИН».

22 (10) апреля 1870-го. Это был обычный день — один из многих — на излете прошлого века. И люди не думали, не предполагали, да и не могли знать, в конце концов, как скажутся со временем на их жизни события этого дня.

...22(10) апреля 1870 года «Симбирские губернские ведомости» не выходили. А на другой день опубликовали статью «О состоянии начальных народных училищ Симбирской губернии». Автором этого обстоятельного и прогрессивного исследования был Илья Николаевич Ульянов — педагог по призванию, инспектор, а затем и директор народных училищ Симбирской губернии — по службе. Получил генеральскую должность — действительного статского советника, право на потомственное дворянство и оставался шестидесятником по убеждениям, был одним из тех русских интеллигентов, кто и в самые тяжкие времена не принимал в расчет собственное благополучие, стремился разделить со своим народом его боль и его надежды. Это и определяло нравственный уклад семьи Ульяновых.

С юных лет привык Владимир Ильич к такому взгляду на жизнь, при котором все, что подразумевается под материальными благами, имеет смысл постольку, поскольку необходимо для удовлетворения естественных потребностей человека. И только духовное богатство может быть безграничным, и только здесь стремление к приобретению и накопительству достойно человека. Это богатство имело в семье Ульяновых такую реальную, такую остро ощутимую ценность, как понимаем мы порой, что самый вкусный напиток — холодная вода и самое лакомое блюдо — свежеиспеченный черный хлеб. И неудивительно, в конце концов, что личная бытовая скромность Владимира Ильича представляется немыслимой прежде всего тем, кто лишен радостей духовной жизни, а отказ от воз-

можного обладания вещами был бы для них подвигом...

Принятые в семье Ульяновых нормы и разделяемые идеалы продолжали то, что было выстрадано героями и мучениками русского революционного движения: кристальная чистота помыслов и отношений, стремление к самосовершенствованию и совершенствованию окружающей жизни. Нет, ни Илья Николаевич, ни Мария Александровна не были революционерами. Они стремились привить своим детям те жизненные правила, те нравственные качества, которые отличают порядочного человека: честность, справедливость, трудолюбие, скромность, правдивость, доброжелательность и уважение к окружающим. Но именно это воспитание заложило в душе детей чувство гражданской совестливости — обостренной совестливости, которая и сподвигала их на борьбу. Не случайно же, не просто к слову, а основываясь на взглядах семьи, опыте всей своей жизни, Ленин не однажды скажет: каждый порядочный человек должен быть революционером.

Выступая на процессе по делу 1 марта 1887 года, в своей знаменитой речи Александр Ульянов говорил: «Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».

Обращался ли мысленным взором к кому-нибудь в эту минуту Александр Ильич? Быть может, и нет. Но представления о своем народе, родине начинаются с твоего дома, семьи, с тех, кто окружает тебя. Со временем Горький напишет о Владимире Ильиче очень близкое по смыслу к тому, что говорил когда-то его старший брат. Горький писал о мужестве Ленина: «...это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей».

Илья Николаевич Ульянов трудился во имя просвещения. Дети посвятили себя социальной революции. И придет день, когда Ленин скажет: «Мы боремся

лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше, и *они победят*».

Дети победят... Вернувшись из эмиграции апрельской ночью семнадцатого года в Петроград, после торжественной встречи, приветствий, митингов, речей Ленин поехал — уже следующим днем — на Волково кладбище, к могиле матери.

О чем думал Владимир Ильич в тот апрельский день, в самый канун своего сорокасемилетия, склонившись над могилой Марии Александровны? Вспоминал детство, юность, семью? Продолжал мысленно беседовать с матерью, как делал это в долгие годы разлуки?.. На долю Марии Александровны выпало самое страшное, что дано испытать матери: страдание детей. Все они ушли в революцию, каждого ждали аресты, допросы, тюрьмы, Александра — эшафот. Все это выстрадала вместе с детьми Мария Александровна, может быть и надеясь, но так никогда не узнав, что судьба ее детей станет судьбой победителей.

* * *

Выстроившись в ряд, поднялись на столе одиннадцать томов — всюду закладки. Стоят прочно: страниц шестьсот — семьсот в каждом. «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника» — здесь день за днем, час за часом, а порой минута за минутой собрано все, что известно о жизни Владимира Ильича: о каждом принятом решении и совершенном поступке, о каждой написанной строке, состоявшейся встрече, прочитанной книге, о заседаниях и выступлениях. Уникальное издание, вобравшее в себя труды не одного поколения советских ученых.

А закладки в томах оттого, что стараюсь взглянуть сквозь годы, каким был апрель в жизни Ленина, что происходило, какими событиями на протяжении десятилетий был заполнен весенний день его рождения.

Но почему именно день 22 апреля? В конце концов, лишь совпадением с датой рождения отличается он от многих других. Да, наверное, можно было выбрать и другую точку отсчета, но, согласитесь, однако, по тому, как из года в год встречает человек этот

день, где оказывается и чем занят, можно составить в какой-то мере представление о всей его жизни.

...Владимиру Ульянову исполнилось семнадцать, если кто и поздравил его в то утро, то лишь младшие — сестра и брат; старшие — Александр и Анна — были в тюрьме, а Мария Александровна хлопотала об их судьбе в Петербурге. Как раз в это время гимназист Ульянов писал сочинение «Причины благосостояния народной жизни». Просмотрев его, директор гимназии Ф. М. Керенский недовольно заметил: «О каких это угнетенных классах вы тут пишете, при чем это тут?» Кто мог тогда предположить, поверить, что ровно 30 лет спустя, тоже весной, но 1917 года, бывший симбирский гимназист Ульянов будет выступать на I Всероссийском съезде Советов, утверждая: «Мы приближаемся быстрыми шагами к тому времени, когда не будет в России никакой власти, кроме власти крестьянских и рабочих выборных». А сын директора Симбирской гимназии А. Ф. Керенский, министр, а потом и глава Временного правительства, выслушав эту речь, лишится чувств. «Кто-то потом рассказывал, что Керенский после этой речи пролежал без сознания три часа»,— писала Крупская.

...Свой день рождения в 1896 году Владимир Ильич встретил в одиночной камере Петербургского дома предварительного заключения: писал первомайскую листовку. Вспомнил ли об этом 23 года спустя, когда 22 апреля 1919 года в Кремле, в своем кабинете, просматривал проект лозунгов к первомайским праздникам. «Под красное советское знамя, против черного знамени Колчака, капиталистов и помещиков!.. Рабочий не хочет командовать мужиком: он хочет помочь мужику и получить от него помощь». Пометил на полях: *«Я за»*.

Жизнь предопределяет каждый наш день, а из них — этих дней — и слагается ее неповторимый путь. Вот и эти апрельские дни о многом свидетельствуют в судьбе Владимира Ильича. И все-таки иной, возможно, заметит: совпадение. Ну что же, жизнь, вместившая в себя грандиозные исторические сдвиги, всегда богато одарена удивительными совпадениями, неожиданна и стремительна, как сама революция...

Мария Александровна обычно писала сыну: «До-

рогой Володя! Поздравляю тебя со днем рождения, дорогой мой; будь здоров весь следующий год и не было бы у тебя таких неудач и неприятностей с твоей литературной работой, как нынешний год... Твоя *мама*». Сын отвечал с благодарностью: «Merci за поздравления». В самый канун двадцатидевятилетия в Шушенское пришла посылка — долгожданное ружье. И так был этому рад, что сразу же написал матери: «Большое merci за хлопоты. Ружьем я доволен... Заряды в $2^3/_4$ мерки мне показались велики,— отдает ружье, и я стал класть $2^1/_2$ мерки». Впрочем, подарки бывали редко.

А годы разлуки набегали один на другой, захватывали все большую часть жизни. И в 1915 году в письме к младшей дочери Мария Александровна грустно заметит: «Написала вчера Володе, я и позабыла о дне рождения его. Аня напомнила, и ты вспомнила, поздравила его и от тебя».

Где только не заставал Владимира Ильича его день рождения. В Красноярске, Шушенском, Пскове. В Красноярске — по пути к месту ссылки. В Шушенском — в ссылке. В Пскове — по возвращении после трех лет ссылки из Сибири.

Крупская вспоминала: «У нас в быту сложилось как-то так, что в дни его рождения мы уходили с ним куда-нибудь подальше в лес, и на прогулке он говорил о том, что его особенно занимало в данный момент. Весенний воздух, начинающий пушиться лес, разбухшие почки — все это создавало особое настроение, устремляло мысль вперед, в будущее хотелось заглянуть».

Пятнадцать раз встречал в эмиграции свои дни рождения Владимир Ильич — в Мюнхене, Лондоне, Женеве, Стокгольме, Париже, Кракове, Берне, Цюрихе. Мало ли пришлось сменить мест за долгие годы скитаний по чужбине! Пишет Владимир Ильич из Парижа сестре Анне Ильиничне, и вдруг вырвалось строчкой: «Бедует здесь эмиграция чертовски». Ленин говорил о товарищах, но и сам в полной мере разделил с ними трудности эмигрантской жизни.

Крупская рассказывала, как, уезжая из Парижа, оставляли они квартиру какому-то краковскому регенту. Тот расспрашивал Ленина о хозяйственных делах:

«А гуси почем? А телятина почем?» Ильич не знал, что сказать: «Гуси?? Телятина почем??» Мало имел Ильич отношения к хозяйству, но и я ничего не могла сказать о гусях и телятине, ибо в Париже ни того, ни другого мы не ели, а ценой конины и салата регент не интересовался».

Впрочем, жизненные запросы Ульяновых были настолько скромны, что и сами представления о материальных затруднениях становились в их глазах относительными. Со временем Крупская заметит: «Расписывают нашу жизнь как полную лишений. Неверно это. Нужды, когда не знаешь, на что купить хлеба, мы не знали. Разве так жили товарищи-эмигранты? Бывали такие, которые по два года ни заработка не имели, ни из России денег не получали, форменно голодали. У нас этого не было. Жили просто, это правда. Но разве радость жизни в том, чтобы сытно и роскошно жить?»

В словах этих — голос простой русской женщины, которая в ответ на обращенное к ней — ох и досталось же вам за все годы — отвечает: я-то хорошо прожила, другие больше бедовали. Есть здесь и отчетливое соизмерение своей жизни — нет, не с тем, как благополучно она могла бы сложиться,— соизмерение с жизнью товарищей-революционеров, однажды избравших свой путь.

Свое решение — стать революционером — Владимир Ильич принял рано. И у него было немало времени, поводов для осмысления того, что ждет его в ближайшем и просто обозримом будущем. Современники говорили о Ленине, что он променял «карьеру, быть может, выдающегося ученого или профессора на деятельность подпольного организатора нового мира, вынужденного почти всю жизнь проводить в нужде и лишениях...». Само выражение «променять карьеру» по отношению к Ленину звучит странно: он совершил на своем веку то, что едва ли было под силу кому-нибудь другому. И все-таки самые обыденные представления о карьере, об устройстве собственной жизни достаточно точно передают всю реальность выбора, который пришлось в свое время сделать Владимиру Ильичу еще в юности, лишь вступая на самостоятельный путь.

Казнь Александра Ульянова, его товарищей — «смертная казнь через повешение» — была предпринята, как это обычно и делается, в назидание другим. Для кого же особенно мучительным стало это изуверское назидание? Прежде всего для тех, кто любил погибших, был бесконечно им предан — для их близких. И с точки зрения так называемой житейской мудрости не только казнь Александра, но уже и арест его должен был остановить других членов семьи, стать на всю жизнь предостережением от революционного пути. Произошло обратное. Владимир Ульянов, только что поступив в Казанский университет, принял участие в студенческих волнениях, стал одним из организаторов студенческой сходки. Прошло полгода после гибели старшего брата, и Владимира Ульянова арестовывают, высылают из Казани, подвергают негласному надзору полиции. Какое неотразимое подтверждение того, что репрессии, проводимые для устрашения революционеров, не могут их остановить. Вопреки замыслам устроителей репрессий они производят впечатление больше всего на тех, кто и без этого никогда бы не решился навлечь на себя гнев власть имущих.

Минует еще десять лет, и министр юстиции Муравьев станет докладывать императору «о преступной деятельности в Петербурге тайных кружков лиц, именующих себя «социал-демократами». Назовет в связи с этим Владимира Ульянова. Не тогда ли впервые услышал это имя Николай II? Быть может, и поинтересовался: не брат ли казненного? Так было или иначе, но спустя два десятилетия, скажем, зимой, в канун восемнадцатого года, у экс-императора будет немало поводов вспомнить тот день, когда выносил приговор: «Государь император... высочайше повелеть соизволил выслать Владимира Ульянова под гласный надзор полиции в Восточную Сибирь».

Трехлетняя ссылка — суровая мера. И он томился в Шушенском, страдал оттого, что оторван был, как казалось, там, в Сибири, от всего мира, тосковал и писал письма родным. «Получили мы, Маняша, твое письмо и были ему очень рады. Взялись сейчас за карты и начали разглядывать, где это — черт побери — находится Брюссель... Да, завидую тебе. Я в первое время своей ссылки решил даже не брать в руки карт

Европейской России и Европы: такая, бывало, горечь возьмет, когда развернешь эти карты и начнешь рассматривать на них разные черные точки».

А вернувшись из ссылки, сразу же принялся за создание революционной, общерусской, рабочей газеты «Искра». И в день своего тридцатилетия в апреле 1900 года был занят делами, связанными с ее выпуском. И в том же 1900 году полицейский агент писал, конечно же не подозревая, что высказывает в своем донесении истину всего XX века: «...крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого». В апреле, впрочем, как и в любом другом месяце, за Владимиром Ильичем постоянно велась слежка. В апреле 1894 года, например, она была возложена на чинов 8-го участка полиции Московской части Петербурга. Весной 1895 года департамент полиции вносит имя Ленина в список лиц, за которыми необходимо установить наблюдение. А в апреле 1897 года вышло предписание енисейского губернатора о гласном надзоре полиции. И в те же дни, но 1907 года судебный следователь 27-го участка Петербурга предложил начать розыск Ульянова. В апреле 1909 года заведующий заграничной агентурой в донесении из Парижа информировал директора департамента полиции о деятельности Ленина.

И не раз — далеко не раз — приходилось Владимиру Ильичу смотреть смерти в глаза.

* * *

Восемнадцатилетие Владимир Ильич отметил в Кокушкине. «Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани»,— вспомнит со временем. Прочел все, что публиковал Чернышевский в «Современнике», начал изучение трудов Маркса, Энгельса...

В марте 1897 года, осужденный к трехлетней ссылке, по дороге в Шушенское Владимир Ильич задержался на три дня в Москве — разрешили встретиться с матерью. И почти все время занимался в библиотеке Румянцевского музея. Просидел бы там и дольше, да полицейские чины пригрозили арестом — потребовали немедленно уехать из города.

В марте, накануне своего двадцатисемилетия, покидал Москву, отправлялся в ссылку, в Сибирь, в неизвестное. И той же мартовской порой, но спустя двадцать один год, в марте восемнадцатого, вернулся в Москву: глава правительства, Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов (Ленин).

Где они теперь, те полицейские чины, грозившие арестом, гнавшие из города! Все неузнаваемо изменилось. А житейские заботы Владимира Ильича остались все теми же: как договориться с библиотеками, на каких условиях можно получать книги? Тогда же записал на листке:

«1). Проф. Готье
Румянц. музей.
2). Ректору Ун-та
или в правление Ун-та».

Взглянул на только что сделанную запись и добавил еще две строки:

«(сохранить)
выписка книг».

Он был творцом поразительных социальных перемен и отличался удивительным постоянством по отношению к самому себе — всегда, при любых ситуациях. В суете и неразберихе переезда из Петрограда в Москву, только обосновавшись в гостиничном номере, стены которого никогда не знали книжных полок, вспомнил прежде всего о книгах.

Долгие годы представления об удобствах, условиях жизни в том или ином городе определялись для Владимира Ильича тем, какова здесь библиотека.

21 апреля 1902 года пишет заявление на имя директора Британского музея: «Сэр! Обращаюсь к Вам с просьбой о выдаче мне билета на право входа в читальный зал Британского музея». Подпись: Якоб Рихтер. Под этим именем жил Владимир Ильич в Лондоне.

В письме к сестре Марии Ильиничне из Кракова 22 апреля 1914 года Ленин приносит извинения за долгое молчание, замечает, что здесь библиотека «плоха и архинеудобна», впрочем, и в Париже работать неудобно — национальная библиотека «налажена плохо», и «не раз мы вспоминали Женеву, где работалось лучше, удобная библиотека, менее нервна и бестолкова

жизнь. Из всех мест моего скитания я бы выбрал Лондон или Женеву, если бы оба не были так далеко».

В апреле 1916 года Владимир Ильич обращается в полицейское управление Цюриха — просит выдать ему и Надежде Константиновне разрешение на жительство в городе, которое необходимо для того, чтобы пользоваться местными библиотеками. И вновь в письмах к родным рассказывает о своих занятиях: «Мы с Надей очень довольны Цюрихом; здесь хороши библиотеки»; «Озеро здесь очень нам нравится, а библиотеки много лучше бернских, так что пробудем еще, пожалуй, дольше, чем хотели».

Работал в библиотеках, не пропуская ни одного часа: приходил к открытию, трудился до полудня, обедал и снова садился до вечера. Кстати, и о Февральской революции в России Ульяновы узнали в Цюрихе, когда собрались было идти в библиотеку. Заглянул кто-то из эмигрантов, взволнованно воскликнул: «Вы ничего не знаете? В России революция!»

Надежда Константиновна и Владимир Ильич поспешили на берег озера — туда, где обычно прогуливаются горожане и под навесом вывешиваются газеты, телеграфные сообщения. Владимир Ильич несколько раз перечитывал одни и те же строчки, пока мысль не унесла далеко от этих мест, от библиотек, читальных залов, книг, выписок — на родину, в Россию, к тому, о чем мечтал, к чему готовился, склонясь над печатной страницей, проводя в библиотеках дни, месяцы, годы...

В апреле 1918 года Ленин работал в своем кремлевском кабинете. Каждое утро в один и тот же час проходил быстрым шагом по длинному коридору Совнаркома, отдавал секретарю просмотренные за ночь бумаги, садился за рабочий стол, открывал свежие газеты. И только здесь, в Кремле, завершая уже пятое десятилетие своей жизни, впервые собрал библиотеку. Такая уж судьба выпала на долю революционера Владимира Ульянова — то гласный надзор полиции, то ссылка, то эмиграция, приезд в Россию и снова скитания по заграницам. Лишь став главою правительства, впервые получил возможность иметь под рукой нужное для работы издание, отчеркнуть абзац,

сделать пометку на полях своей книги — освободился от множества выписок, которые вынужден был вести, работая в библиотеках. Писал управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу: «Мою библиотеку оплачиваю *я лично*... Другое дело библиотека *Управления* делами СНК».

С годами менялась обстановка кабинета. Убрали зеркало в простенках между окнами, повесив на это место карту путей сообщения. Карт становилось все больше — на столе, на креслах — повсюду. А потом, когда отступило кольцо гражданской войны и интервенции, надобность в картах отпала... И прибавлялись постепенно шкафы с книгами.

Две тысячи томов в кабинете Владимира Ильича — книги, которые, как правило, подбирались по составленному им же списку. Еще шесть с половиной тысяч книг, газет, журналов в специальной комнате, отведенной для библиотеки.

На полках — труды тех, чьи идеи постиг, чей гнев разделил, чью борьбу продолжил. Работы Маркса и Энгельса. Они были среди немногих книг, которые всю жизнь сопутствовали Владимиру Ильичу, прошли вместе с ним долгими дорогами эмиграции — книги на русском и немецком языках, много раз прочитанные, испещренные пометками. Крупская вспоминала, как, заходя в кабинет Владимира Ильича, заставала взволнованных, о чем-то ожесточенно спорящих людей. А Ленин сидел и читал Маркса, его было нелегко оторвать от этого занятия. Вырвалось же как-то у него: «Надо посоветоваться с Марксом».

В кабинете Ленина сочинения Радищева, Чернышевского, Герцена. Ссылка, каторга, эмиграция. Книги о Перовской, Желябове, Халтурине, Александре Ульянове. Казнена, казнен, казнен, казнен.

И здесь же работы еще совсем молодых авторов, они станут героями и мучениками грядущих испытаний. Эрих Мюзам. «Земля в огне». Стихи. Предисловие к этой книге — «Узник крепости Нидершенен-фельд...» — поэт писал в тюрьме. Он первым в демократической поэзии XX века создал образ революционного героя. Его вновь схватили в ночь поджога рейхстага — били так, что кровавой опухолью вывалилось внутреннее ухо. Его замучили в фашистском

лагере. Но прежде были стихи — «Погибшему в тюрьме»:

Ты умер, пыткой смертною замучен.
Но твой призыв с тобою не затих.
Твой голос жив. Для нас он снова звучен,
Еще звучней, чем голоса живых.

И здесь же, на полках ленинской библиотеки, книга «Как любить детей». Автор — Корчак. Он будет спасать детей в Варшавском гетто и вместе с ними шагнет в газовую камеру Треблинки.

...Книги из хранилища Румянцевского музея и университета, из библиотек Социалистической академии и Коммунистического Интернационала, издания, только что сошедшие с типографских машин, а порой вытянутые из развалов букинистов,— все это беспрерывным потоком шло в кабинет Владимира Ильича. А библиотекарь, работавшая с Лениным, Ш. М. Манучарьянц получала от него все новые записки-просьбы:

«Прошу мне достать книгу на немецком языке: *«Отто Бауэр:* «Новый курс экономической политики в Советской России».

«т. Манучарьянц! Нельзя ли проверить? «Дневник Толстого» *мне не нужен*, мне нужны *воспоминания Наживина* о Толстом, вышедшие по-*немецки*...»

«Попросите библиотекаршу достать мне на время *Гейне*, томика 2 стихов и *Гете*, Фауст, обе по-немецки, лучше бы малого формата».

Чтение как научная работа, как вид творчества, как государственная необходимость, наконец, как постоянная потребность — все это сливалось для него в единое целое. А бесконечно устав, не поборов бессонницу, протягивал руку, чтобы взять с полки роман Толстого, томик стихов Тютчева. Они были здесь, подле письменного стола,— любимые книги, которые листал по ночам, никого не беспокоя.

Две капли брызнули в стекло,
От лиц душистым медом тянет...
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит...

Скользишь теперь глазами по корешкам книг — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Не-

красов, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Чехов... И думаешь невольно: великие писатели России, мечтатели, философы, правдоискатели и бунтари, кто мог из вас представить путь, который пройдет страна, народ, а с ним и ваши книги, оказавшись на полках в этом кабинете?..

В указателях литературы к Полному собранию сочинений В. И. Ленина перечисляется свыше 16 тысяч книг, брошюр, статей, периодических изданий, документов, писем более чем на 20 различных языках, которые упоминаются в работах Владимира Ильича. «Ленин был величайший среди крупнейших ученых своего времени по интеллектуальной силе своего мышления, по широте своего кругозора»,— писал современник Владимира Ильича английский ученый Джон Бернал.

Интеллект и время. Подумайте, как грандиозно изменились за последние десятилетия наши представления о человеческих возможностях, давно и многократно перекрыты все мыслимые, да и немыслимые рекорды. С головокружительной стремительностью раздвигаются рамки информации, доступной человеку. Наши дети все решительнее, а главное, все раньше, нередко вызывая у нас этим тревогу, начинают ориентироваться в мире науки. Между тем ленинский интеллект, объем прочитанного Владимиром Ильичем, запас знаний, которым он располагал, и сегодня остаются практически непостижимыми.

* * *

Шли годы жизни, отмеченной трудом и трудами. Следишь всего лишь за одним днем в каждом году, но сколько же бессмертных ленинских работ сходится на нем!

В день своего двадцатичетырехлетия Владимир Ильич завершает работу над первым выпуском книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Спустя ровно десять лет в типографии печатается ленинская работа «Шаг вперед, два шага назад». 10 апреля 1908 года пишет статью «Блок кадетов с октябристами?», а через год, в этот же день, занят изданием своей книги «Материализм и эмпириокритицизм». В апреле 1913 года выходит

журнал «Просвещение», где публикуются ленинские статьи, среди них «Три источника и три составных части марксизма».

Смотришь сквозь частокол лет и видишь отчетливо, как нерасторжимы Ленин и революция — ее история и его жизнь. В апреле 1901-го в Мюнхене, в апреле 1902-го и в апреле 1903-го в Лондоне Владимир Ильич занят «Искрой». В апреле 1905-го отстаивает идею созыва III съезда партии. На следующий год встречает день рождения в Стокгольме: открылся IV (Объединительный) съезд РСДРП. В апреле 1907-го занят подготовкой V съезда. В апреле 1912 года запрашивает в письме, когда выйдет первый номер «Правды»: «Известите скорей насчет ежедневной газеты. Какой будет формат? Какого размера статьи можно посылать?»

Минуло еще пять лет — и снова апрель, теперь семнадцатого года. Ленин возвращается из эмиграции. В ночь на 4 апреля репортер на Финляндском вокзале наспех записывал строки, следующим днем их прочтут в «Правде»: «В 11 ч. 10 м. подошел поезд. Вышел Ленин, приветствуемый друзьями, товарищами по давнишней партийной работе. Под знаменами партии двинулся он по вокзалу, войска взяли на караул... Идя дальше по фронту войск, шпалерами стоявших на вокзале и державших «на караул», проходя мимо рабочей милиции, Н. Ленин всюду был встречен восторженно...» Писать было неудобно — репортера теснили, толкали, на перроне собралось много народа.

Свергнуто самодержавие — одержана пусть первая, но такая великая победа. Россия — монархия? Нет, Россия станет республикой! И все, кто боролся с царизмом, вправе обнять друг друга — отчего не назвать себя товарищами по партийной борьбе? Нужно ли вспоминать, кто и какими путями шел к этой победе? Теперь у всех на устах запрещенное слово — свобода! И в царских покоях Финляндского вокзала меньшевик Чхеидзе — председатель Петроградского Совета — приветствует большевика Ленина. Еще не сказаны, не произнесены слова, они лишь продуманы, написаны Лениным, но еще не обнародованы: «Никакой поддержки Временному правительству... Никаких

уступок «революционному оборончеству»... Не парламентская республика... а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов... Довольно приветствий, резолюций, пора начать дело».

...Тот миг, когда к человеку возвращается все, что было пережито и понято, приходит на высшем пике сознания, таланта, воли, высвечивая немыслимые прежде горизонты, мы называем озарением. Этот миг всегда поражает. Стефана Цвейга вдохновила когда-то ночь Руже де Лиля. Апрельская ночь 1792 года, когда безвестный капитан инженерного корпуса — «маленький, скромный человек: он никогда не мнил себя великим художником» — берет перо, записывает первые строки:

Вперед, сыны отчизны милой!
Мгновенье славы настает!

— и рождается бессмертная «Марсельеза».

Но не только художникам дана великая сила озарения.

Постарайтесь разделить чувства человека, который возвращается домой после 15 лет эмиграции. Ему не довелось слышать победных маршей Февраля, он не был на празднике революции в России. Из писем и газет выуживал известия — такие краткие, такие противоречивые. И апрельской ночью под стук колес пишет с точностью свидетеля событий — нет, не то, что было,— что будет, произойдет, свершится в ближайшие полгода. Пишет Апрельские тезисы: своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства; Советы есть единственно возможная форма революционного правительства...

«Марсельеза» стала маршем Великой французской революции, она владела чувствами ее героев. Апрельские тезисы Ленина овладели мыслями, поступками, действиями тех, кто совершил первую социалистическую революцию. Стали ее «Марсельезой»...

А пока меньшевик Чхендзе публично приветствует большевика Ленина, кажется, готов обнять. Да, еще не сказано то, что бесповоротно решил Владимир Ильич. Но, уже выйдя на привокзальную площадь,

обратившись к рабочим, солдатам, матросам, Ленин закончит свою речь словами: «Да здравствует социалистическая революция!»

И репортер — он тоже на привокзальной площади — все пишет и пишет свои строки: «На улице, стоя на броневом автомобиле, тов. Ленин приветствовал революционный русский пролетариат и революционную русскую армию, сумевших не только Россию освободить от царского деспотизма, но и положивших начало социальной революции в международном масштабе...

Вся толпа массою пошла за мотором до дворца Кшесинской, где митинг и продолжался».

...Нижегородская и Боткинская улицы, за ними Сампсониевский проспект, Финляндский — все тот же Петербург. Уходящие в бесконечность проспекты, призраки дворцов в ночи. И колонны рабочих, солдат, матросов в лучах прожекторов. Многотысячные колонны — станут писать историки.

Все тот же Петербург.

Здесь, в Петербурге, на Сенатской площади, безучастная толпа окружала восставших декабристов.

Здесь, на Семеновском плацу, совершалась гражданская казнь над Чернышевским; и лишь немногие столпившиеся у эшафота разделяли с ним и гнев, и боль, и мысли. А дальше лица, изуродованные гримасой любопытства, зеваки, взгромоздившиеся на табуреты, скамьи, повисшие на заборах,— как бы не пропустить чего, получше разглядеть.

Здесь, на Невском, когда грохнул взрыв, пронеслось волной — убили Александра II, бежали толпы людей. Многие рыдали, проклиная злоумышленников. Но один из тех, кто был на Невском, заметил: «И все-таки народ понял, что царь невечен, он может быть убит...»

И многотысячные колонны «простых людей» в апрельскую ночь семнадцатого года. И Ленин. Буря — это движение самих масс... «Ленин не мог бы стать таким, каким он был, если бы он жил в другую эпоху, а не в эпоху пролетарской революции...» — писала Крупская.

...Прошло семь дней жизни в Петрограде. Влади-

миру Ильичу исполнилось 47 лет — и был это его обычный рабочий день. Встретил его, скорее всего, на рассвете: заканчивал брошюру «Задачи пролетариата в нашей революции». Утром вышел из дома на Широкой улице — здесь, в квартире Елизаровых, поселились на первых порах Ульяновы. День был теплый, совсем весенний, и, возможно, отправился пешком на Кронверкский — хоть немного продышаться после бессонной ночи.

Пришел в особняк Кшесинской, поднялся на второй этаж, сел за письменный стол — уже успел привыкнуть к нему. Еще раз просмотрел выпущенный накануне номер «Правды» — в нем опубликована статья Ленина «О двоевластии». Вновь, наверное, перелистал рукопись только что законченной брошюры. Из типографии принесли пачку гранок, надо быстрее прочесть: завтра выходит 29-й номер «Правды». Потом участвовал в заседании ЦК партии. Потом поехал на митинг в Измайловский полк, выступал перед солдатами. Потом... Да, это был обычный рабочий день, он стал обычным, потому что за неделю, минувшую после приезда, многое было сделано.

Ленин выступал в Таврическом дворце. Апрельские тезисы узнали большевики — участники Всероссийского совещания Советов, выслушали их меньшевики. Принял на себя должность редактора «Правды» — работал уже над четырьмя ее номерами. Участвовал в заседаниях исполкома Петросовета — Ленина ввели в его состав. Подготовил к публикации Апрельские тезисы. Написал статьи «Как мы доехали», «Два мира», «Луиблановщина», «Письма о тактике». Начал рукопись брошюры «Политические партии в России и задачи пролетариата». Программа объявлена, все карты открыты — у большевиков нет тайных целей. Временное правительство надо свергнуть — его нельзя свергнуть, ибо оно держится соглашением с Советами. «Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать большинство на свою сторону...» Иного пути к власти пока нет. Пока — Ленин подчеркивает это слово: «...*пока* нет насилия над массами...»

И все это на протяжении одной недели. Написанное Лениным в семь первых петроградских дней зани-

мает в 31-м томе его Полного собрания сочинений более 70 страниц. На этих страницах определены пути развития революции, их подтвердит история; поставлены задачи перед партией, она выполнит их и придет к власти...

Сколько же раз за годы русской революции принимал на себя Владимир Ильич тяжесть исторического ответа! Минует лишь год, и в апреле восемнадцатого мысль его будет сконцентрирована «на важнейшей и труднейшей стороне социалистической революции, именно — на задаче организационной». «Мы, партия большевиков, Россию *убедили*. Мы Россию *отвоевали* — у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией *управлять*». Знаменитые, известные всем нам ленинские слова. А когда предстояло ответить: как управлять Россией? Пишет «Очередные задачи Советской власти», говорит, **как** наладить всенародный учет и контроль, **как** развивать социалистическое соревнование, **как** повысить производительность труда, **как** научить работать, **как** втянуть массы в общественную деятельность, **как** пробудить их сознательность, **как** организовать труд, **как** наладить трудовую дисциплину, **как Советской Россией управлять.**

Работа над «Очередными задачами Советской власти» заняла примерно 50 дней. Рассказывая об этом времени, Крупская вспоминала: Ленин «засел за писание брошюры». Выражение засесть за писание брошюры, книги или, что особенно теперь часто бывает, диссертации звучит по нашим временам однозначно: освободиться от всех других дел, заняться только этой работой, а если удастся, то еще лучше уехать куда-нибудь — подальше от служебных и семейных забот, телефонных звонков и приятельских соблазнов.

Но вот пятый том «Биографической хроники», из него узнаем о других делах, которыми был занят Владимир Ильич все в то же время, в те же 50 дней. Участвует в работе более 30 совещаний и председательствует на 33 заседаниях Совнаркома, где рассматривают вопросы о национализации внешней торговли и строительстве узкоколейки для подвоза хлеба Москве, об обороне Мурмана и распределении спичек. Выступает с докладами и речами более 25 раз и 65 раз берет сло-

во на заседаниях Совнаркома. Пишет более 30 проектов правительственных постановлений, резолюций, подписывает и редактирует при этом 269 протоколов, декретов, постановлений, среди них, скажем, «Декрет о памятниках Республики» и постановление о передаче лошадей бывшей придворной конюшенной части в ведение Наркомзема. Отправляет 113 писем и телеграмм, подписывает 37 мандатов и удостоверений, принимает не менее 120 посетителей и в ответ на новые просьбы о приеме пишет: «Если экстренно и важно доклад, приму всегда».

Он постоянно осуществляет на практике то, над чем размышляет на страницах рукописи: рассматривает формы управления промышленностью и проект декрета о трудовой дисциплине, обсуждает возможности строительства Волховской, Сиверской, Шатурской электростанций, создания системы мелиорации Туркестана... И в свой день рождения, скорей всего, председательствовал на заседании Совнаркома.

Заседание началось вечером накануне, но, как всегда, в повестке дня много вопросов — об электрификации Московского района и отмене права наследования, о ревизии главного казначейства в Петрограде и обороне восточной границы Харьковской губернии от наступающих немецких войск и гайдамаков... Как это чаще всего бывало, обсуждение затянулось далеко за полночь. Лицо председательствующего стало серым от усталости, и, быть может, под самый конец заседания случится то, что бывало не раз, когда неудачное выражение докладчика, порой лишь слово вызывали смех, кто-то не выдержит, прыснет первым, засмеется сосед, и начнут хохотать все. Не сдержит улыбку и Владимир Ильич, оборвет, закроет заседание, отметив при этом: беспричинный смех — самое убедительное доказательство всеобщей усталости... Расходились, скорей всего, когда поднялась над Москвой серая простыня рассвета, занимался новый день, и вряд ли кто тогда же поздравил Ленина с сорокавосьмилетием.

...Надо торопиться жить, чтобы все силы отдать революции, говорил, бывало, Владимир Ильич.

Почти год провел в одиночной камере Петербургского дома предварительного заключения, все это время был занят подготовкой своей будущей работы

«Развитие капитализма в России». А когда, навестив брата в тюрьме, Анна Ильинична сказала, что, по слухам, его дело вскоре будет рассматриваться, Владимир Ильич только рукой махнул: «Рано, я не успел еще материал весь собрать».

В Сибири, в Шушенском, завершал свой фундаментальный труд «Развитие капитализма в России». В бревенчатой избе с подслеповатым оконцем и керосиновой лампой написал за время ссылки 30 произведений.

В годы эмиграции, вспоминала Крупская, оставался после ужина на кухне и работал там вволю.

В Смольном, присев на краешек стула, положив тетрадку на колени, писал первые декреты Советской власти.

Весной восемнадцатого года впервые вошел в свой кремлевский кабинет. Мы не знаем, было это днем или под вечер, какие взял с собой бумаги, кого первым принял здесь. Известно одно — вошел и начал работать. Сохранилось лишь одно свидетельство о личной просьбе Владимира Ильича — записка, в которой просил поторопиться с установкой телефонов в кабинете Председателя Совета Народных Комиссаров. Не было их под рукой.

Характерны и просьбы, с которыми обращался из Горок, куда ездил, как говорили, на отдых. «Прошу еще конвертов побольше. И бумаги немного»; «...чернила у меня, как видите, дрянь: пришлите, пожалуйста, маленькую баночку хороших, для наливного пера».

В одном из первых послеоктябрьских интервью — корреспонденту шведской газеты — на вопрос о здоровье Владимир Ильич ответил, что, несмотря на огромное бремя работы, чувствует себя превосходно. Однако времени для сна почти не остается: «У меня есть только одна мечта... отдохнуть хотя бы полчаса».

Да, редко удавалось отложить работу, а по-настоящему просто не отдыхал. В первый длительный отпуск стал собираться лишь весной 1922 года. Врачи рекомендовали горный воздух. Воспользоваться этим отпуском Владимиру Ильичу так и не удалось.

Вспоминая о последнем периоде жизни Владимира

Ильича, М. И. Ульянова писала: «В марте 1923 года за несколько часов до потери Ильичем речи мы сидели у его постели и перебирали минувшее. «В 1917 году,— говорит Ильич,— я отдохнул в шалаше у Сестрорецка благодаря белогвардейским прапорщикам; в 1918 году — по милости выстрела Каплан. А вот потом — случая такого не было...»

Подкралась болезнь, а Ленин, как и прежде, продолжал заниматься делами. Родные просили его, старались убедить поменьше работать. В ответ на уговоры Владимир Ильич отвечал: «У меня ничего другого нет».

И не ищите в этих словах ни горечи, ни жалобы на свою долю — Ленин говорит лишь о том, что было на самом деле. Он совместил свою жизнь с революцией: ее ритмы стали его дыханием, ее будущее — его судьбой.

* * *

Дни рождения, скорей всего, не праздновал, не было к тому возможности и не вошло в привычку. Исключение — пожалуй, единственное — было сделано в двадцатом году, когда Владимиру Ильичу исполнилось пятьдесят.

В тот день Владимир Ильич получил письмо от Е. Д. Стасовой, в конверте было не только поздравление, но и карикатура. «Желая доставить ему несколько веселых минут,— вспоминала Елена Дмитриевна,— я послала случайно сохранившуюся у меня карикатуру на юбилей Михайловского... Марксисты, пришедшие поздравлять Михайловского, были изображены маленькими детьми в коротеньких платьицах и костюмчиках и названы «марксятами». Вот я и писала Владимиру Ильичу, что тогда наша партия была в детском возрасте и людей в ней было очень мало. А теперь наша партия стала правящей. И это дело ваших рук, вашего ума, таланта».

В дни юбилеев принято оглядывать пережитое. Но было ли к тому время? Начался, пошел без остановки рабочий день Председателя Совнаркома. Словно по конвейеру, двинулся поток документов — сообщения, протоколы, телеграммы, письма, проекты,— каждый требует решения, резолюции, визы. Выслать 500 миллионов рублей для зарплаты рабочим угольщ-

ной, металлургической промышленности; принять меры для вывоза соли с верховьев Камы; решить вопрос о снабжении рабочих и служащих почт и телеграфа; усилить подвоз продовольствия... «Если бы я во всем, что мне надо подписывать, участвовал рукой или телефонным разговором, я давно бы сошел с ума»,— заметил как-то в сердцах Владимир Ильич.

В приемной представители Туркестанского фронта. Тоже пожаловали в связи с юбилеем?.. Привезли эшелон хлеба? Тогда пускай заходят... Что это за новости — хлебный эшелон, который с таким трудом пригнали в Москву красноармейцы, агенты Наркомпрода уже успели прибрать к рукам. Соедините с Наркомпродом.

— Потрудитесь сами достать хлеб, а не являться на готовый. Красноармейцы сделали мне подарок, и я хочу распределить его среди голодающих пролетарских детей наших центров, которые особенно страдают...

Быстро прошел день. В 6 вечера Владимир Ильич председательствовал на пленарном заседании Совета Труда и Обороны. Закончилось — началось заседание Совнаркома. И уже несколько раз напоминали: просят Владимира Ильича приехать на коммунистический вечер, организованный Московским комитетом партии в честь его пятидесятилетия. Отказал: никаких речей о себе выслушивать не намерен. Но все равно продолжают настаивать...

Зал переполнен, а Ленина нет. Открыли вечер. Поднялся на сцену Горький, говорил о Ленине: «Я думаю, что, сколько бы ни говорить нам о нем красивых слов, нам не изобразить, не очертить то глубокое значение, которое имеет его работа, которое имеет его энергия, его проникновенный ум для всего человечества — не только для нас...» Взял слово Луначарский: «О своем идеале, о слепой вере в человека, о своей бесконечной любви к человеку Владимир Ильич никогда не говорит и не любит, когда говорят другие...» Выступают ораторы, а Ленина все нет.

Появился лишь после перерыва: уговорили все-таки приехать — послушать в конце вечера игру любимых им музыкантов. А уж как появился в зале — пришлось подняться на сцену, сказать несколько слов.

Начал было говорить о себе — поблагодарил за то, что избавили от выслушивания юбилейных речей. И тут же: «Затем мне хотелось несколько слов сказать по поводу теперешнего положения большевистской партии». Все это без видимого перехода, не затрудняясь подысканием для него слов, одно лишь — «затем».

Заметил, что на эту мысль — поговорить о современном положении партии — навели его строки, написанные Карлом Каутским. В 1902 году Каутский рассуждал о перемещении революционного центра, о том, что Россия послужит источником революционной энергии для Западной Европы и, «как бы ни окончилась теперешняя борьба в России, кровь и счастье мучеников, которых она породит, к сожалению, более чем достаточно, не пропадут даром. Они оплодотворят всходы социального переворота во всем цивилизованном мире, заставят их расти пышнее и быстрее».

Привел обширную цитату — в выступлении, уместившемся на двух с небольшим страницах, она занимает почти целую страницу. Почему, однако, именно эти строки, написанные когда-то Каутским,— с тех пор он стал врагом социальной революции (злейшим врагом, подчеркивал Ленин) — были на памяти у Владимира Ильича в день его пятидесятилетия?

27.IV.1920 — этой датой помечен основной текст «Детской болезни «левизны» в коммунизме». Юбилейный вечер состоялся за четыре дня до завершения рукописи, когда Ленин, как и прежде, преодолевая обычные хлопоты своего рабочего дня, был занят исследованием стратегии и тактики международного коммунистического движения.

Лишь открыв «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме», уже на второй странице читаем ту же цитату... Так и видишь Ленина за рабочим столом; кажется, что он только успел закрыть кавычки, пометить: «Хорошо писал 18 лет тому назад Карл Каутский!» — и вынужден был прервать работу, поехать на вечер. Здесь он повторил цитату — сказалась непроизвольность выступления Владимира Ильича: говорит о том, чем заняты мысли в этот момент, не обращая внимания на повод, по которому поднялся на сцену.

Может показаться, что, дважды обращаясь к цитате, Ленин размышляет в каждом случае о разном. В книге он анализирует международное значение Октябрьской революции. Это как бы взгляд извне. Отсюда и ссылка на цитату. Выступление на вечере — это уже взгляд изнутри, от себя. Ленин говорит, что ожидания русской революции были непомерно велики, слова Каутского — подтверждение тому. Теперь революция свершилась, одержаны победы, но нельзя забывать, что в силу условий, в которых она происходила, большевики не имели пока возможностей приступить надлежащим образом к решению задач, составляющих сущность социалистического переворота.

Здесь и перекрещиваются взгляд извне и взгляд изнутри, сливаются в единый взгляд коммуниста-интернационалиста, которому в одинаковой мере присущи и политическая трезвость, и политическая скромность. Не переоценивать своих побед, полагая, что уже воплощены и в экономическом, и политическом смысле идеалы социалистической революции, говорит Ленин на юбилейном вечере. А во втором абзаце своей работы пишет: «...было бы ошибочно упустить из виду, что после победы пролетарской революции хотя бы в одной из передовых стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом, именно: Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой (в «советском» и в социалистическом смысле) страной».

Владимир Ильич говорит собравшимся, что, не понимая всего этого, можно, «пожалуй, попасть в очень опасное положение,— именно, в положение человека, который зазнался. Это положение довольно глупое, позорное и смешное». Такая опасность «должна быть сугубо учтена всеми большевиками порознь и большевиками, как целой политической партией». Вот он, переход не по форме, а по существу от того, о чем говорил Ленин в самом начале, касаясь себя, к партии, которой и посвятил выступление.

...А потом был концерт. Ленин сидел подле музыкантов, вполоборота к залу. Видевшая его в те минуты С. С. Виноградская вспоминала: «Глаза Ленина были задумчиво-сосредоточенными, словно он обдумывал какую-то мысль. Потом они стали напряженны-

ми — казалось, Ленин вслушивается во что-то, пытается разобрать невнятное, расслышать неслышимое в разговоре смычков и клавишей. Вот Ленин разнял обе руки и закинул, словно уронил от усталости, одну руку за спинку стула. Лицо его постепенно становилось спокойным, черты теряли твердость».

Так закончился день — тот, единственный, когда праздновался день рождения главы первого Советского правительства.

* * *

Выстроились в ряд, поднялись на столе тома «Биографической хроники». В них все набрано одним шрифтом — скажем, пометка, сделанная Владимиром Ильичем на подвернувшемся под руку конверте, и сообщение о победе Великой Октябрьской социалистической революции. В этом и радость для исследователя, и трудности — суметь отличить главное.

Рассказывая о Ленине, мы пропускали многие страницы этой хроники: старались в каждом году выделить лишь один день, сосредоточиться на нем, а значит, и размышляли порой лишь над деталями и штрихами биографии Владимира Ильича. Делали это не только потому, что сегодня жизненный путь Ленина известен бесчисленному множеству людей. Не прошло и семи десятилетий с тех пор, как в апреле семнадцатого года солдаты 8-й конной батареи писали с фронта в Петроград: «Ввиду того, что между солдатами батареи происходит много трений относительно Ленина, просим не отказать нам дать скорейший, по возможности, ответ. Какого он происхождения, где он был, если он был сослан, то за что? Каким образом он вернулся в Россию и какие действия он проявляет в настоящий момент, т. е. полезны они нам или вредны?»

Отвечая на это письмо, Владимир Ильич писал:

«Зовут меня Владимир Ульянов.

Родился я в Симбирске 10 апреля 1870 года...»

А теперь задумайтесь, читатель, постарайтесь вспомнить: доводилось ли вам на вашем веку повстречать человека, который бы прежде не слышал о Ленине?

Внимание к штрихам и деталям в жизни Владимира Ильича продиктовано стремлением яснее, ближе

представить себе облик Ленина-человека в его повседневных делах, решениях, поступках. Как заметил Луначарский, «биографическое в нем, интимное в нем тоже имеет огромную, общечеловеческую ценность». И хочется пристально рассматривать, не торопясь размышлять всего лишь над несколькими днями жизни Владимира Ильича, быть может, только над одним днем, чтобы лучше понять другие. Он прожил жизнь как один миг и воплотился в каждом ее дне.

«Ленин был не только носителем идеи пролетариата,— писал Мартин Андерсен-Нексе.— Он был больше этого... Всемирная история знает очень мало примеров, когда духовное содержание социального класса, классового движения так счастливо воплощается в одном человеке».

...Откройте последующие страницы, на них тоже идет речь о нескольких днях в жизни Владимира Ильича, теперь самых решающих, вобравших в себя все, что дано было Ленину: волю революционера, силу организатора, талант мыслителя. Это дни, которые потрясли мир, время Великой Октябрьской социалистической революции — она сделала судьбу Ленина, как и многих других, кто шел с ним дорогой борьбы, судьбой победителей.

ПОВЕСТЬ О КОНСТАНТИНЕ ПЕТРОВИЧЕ ИВАНОВЕ

I

Штатива не было. Владимиру Ильичу пришлось встать на колени: иначе никак не втиснешься в объектив. Фотограф держал аппарат, опустив его на вытянутых руках. Позади была серая гладь озера, словно та холстина, которую и натягивают за спиной, делая подобные фотографии.

Фотография для пропуска. «Сестрорѣцкій Оружейн. Заводъ. Предъявителю сего Константину Петровичу Иванову разрѣшается входъ вѣ магазинную часть завода до 1 января 1918 года». 1 января восемнадцатого! Кто мог подумать тогда, предсказать, предвидеть, предположить, кем станет обладатель этого пропуска спустя полгода — к тому дню, когда истечет его срок...

Впрочем, сам Владимир Ильич был тогда уверен уже во многом. Светлой июльской ночью на берег Разлива пробрался Серго Орджоникидзе. Переправлялся на лодке, осторожно раздвигал камыши, шагал скошенным лугом и все время прислушивался: не привести бы кого за собой. В конце концов оказался подле стога, навстречу вышел незнакомый человек, стриженый и бритый, без усов и бороды. «Что, товарищ Серго, не узнаете?» — спросил Владимир Ильич.

Потом сидели у костра, и Орджоникидзе рассказывал, что пошли в последнее время по Петрограду толки: мол, не позже августа — сентября власть перейдет к большевикам и председателем правительства станет Ленин. Владимир Ильич ответил на это с такой серьезной уверенностью, которая обескуражила его собеседника: «Да, это так будет...» А пока рабочий Константин Петрович Иванов — и никак иначе. Даже от самых близких требует именно такого обращения. Даже письма подписывает: «Привет *К. Иванов*». А пишет в них о подготовке вооруженного восстания.

Оставив шалаш на берегу Разлива, тайно переехал в Гельсингфорс, оттуда, по-прежнему скрываясь, в Выборг. То и дело напоминает, настаивает: пора возвращаться в Петроград.

3 октября 1917 года Центральный Комитет РСДРП(б) постановил: «...предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тесная связь». Наконец-то услышана его просьба — время не ждет.

В Петрограде появился под вечер. На голове парик, картуз, в кармане документы на чужое имя. В доме на углу Лесного проспекта и Сердобольской улицы — на Выборгской рабочей стороне — ожидала конспиративная квартира: адрес скрывался от всех, его не знали и члены Цека. Последнее его подполье. Но об этом он и сам не знал.

Вошел в квартиру № 41 и остался недоволен. Хозяйка — Маргарита Васильевна Фофанова — оказалась не одна, кто-то вздумал к ней заглянуть. А говорили же русским языком — и не раз, очевидно,— никого быть не должно. Молча прошел в отведенную комнату. В столовой появился лишь наутро. Балкон

выходит во двор — прекрасно. Рядом водосточная труба — очень удачно: возможно, и этим путем придется спускаться с третьего этажа. Как стемнеет, неплохо было бы отбить несколько досок в заборе — тоже на всякий случай.

Угроза была велика и совершенно реальна. Третий месяц не могли напасть на его след агенты Временного правительства. «Министр юстиции П. Н. Малянтович предписал прокурору судебной палаты сделать немедленное распоряжение об аресте Ленина. Прокурор судебной палаты, во исполнение этого распоряжения, обратился к главнокомандующему войсками Петроградского военного округа с просьбой приказать подведомственным ему чинам оказать содействие гражданским властям в производстве ареста»,— сообщали газеты. Да и сам Владимир Ильич писал Свердлову: «Меня «ловят».

День за днем в четырех стенах, когда знакомыми становятся каждая половица, каждая выбоина дверного косяка. Во время работы привык ходить из угла в угол — складывал фразу за фразой. Мог бы и здесь — места хватало. Нет, соседи услышат. Хотел было сам растопить печь. Нет, пойдет за дровами на лестничную клетку — кто-нибудь увидит.

Настал день последний.

В столовую к завтраку вышел, как обычно, в парике. Потянулся за свежими газетами. Фофанова предупредила: «Рабочий путь» достать не смогла, говорят, Временное правительство опечатало типографию... Завтра, в среду, открытие II съезда Советов, и правительство — это следовало ожидать — начинает действовать.

«Солдаты! Рабочие! Граждане!

Враги народа перешли ночью в наступление.. Замышляется предательский удар против Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Газета «Рабочий путь» и «Солдат» закрыты, типографии опечатаны...

Дело народа в твердых руках. .

Да здравствует революция!

Военно-революционный комитет

24 октября 1917 г.»

Вот и пробил час, к которому готовил партию, себя, о котором неустанно напоминал последнее время.

Фофанова уходит с запиской и приносит ответ. Снова уходит. И опять ответ не устраивает Владимира Ильича: не разрешают выйти из подполья, все еще опасаются.

— Я их не понимаю, чего они боятся? Ведь только позавчера Подвойский докладывал, что такая-то воинская часть целиком большевистская, что другая тоже... А сейчас вдруг ничего не стало. Спросите, есть ли у них сто верных солдат или сто красногвардейцев с винтовками...

Ленин опять пишет записку, и Фофанова — в пятый раз на дню — собирается в Выборгский районный комитет. Владимир Ильич предупреждает:

— Жду вас до одиннадцати часов, а там я волен буду поступать так, как это мне нужно.

Маргарита Васильевна вернулась раньше условленного срока. Квартира пуста. На столе записка: «Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. *Ильич*». На этот раз уже не Константин Петрович, не — как бывало прежде — К. Иванов, а снова — Ильич... На столе тарелки, стаканы с недопитым чаем. Значит, кто-то приходил сюда?

Да, это был связной партии Эйно Рахья. По дороге к Владимиру Ильичу он слышал начинающуюся перестрелку. «Когда я ему сказал, что Керенский приказал разводить мосты, он вскричал: «Ага, значит, начинается...» Я было не понял его и спросил: «Что начинается?» — «Революция начинается,— пояснил Ильич,— а с ней и революционные бои...» И тотчас заявил мне, что ему надо ехать в Смольный».

Воспоминания Эйно Рахья — единственное свидетельство о том пути, который они совершили от Сердобольской к Смольному.

В Петрограде на рассвете

...Спускаюсь на первый этаж, выхожу из подъезда, за спиной гулко хлопает парадная дверь. В тот вечер Эйно Рахья, очевидно первым выглянув на улицу, пропустил вперед Владимира Ильича, придерживая плечом дверь, и бесшумно закрыл ее за собою...

Хочу повторить путь, который прошел Ленин от Сердобольской улицы к Смольному, хочу представить себе, какими были эти места в семнадцатом году, в ту наступающую ночь со вторника на среду, с 24 на 25 октября, конечно же старого стиля, поскольку нашего времени в России еще не существовало... А на пути встает сегодняшний Ленинград, нынешняя жизнь, такая непохожая на ту, прежнюю. Подле дома на Сердобольской — стоянка такси: вытянулась цепочка машин. Как знать, быть может, прежде так выстраивались извозчики — были и у них свои стоянки. Но не на Выборгской рабочей стороне. Осенью семнадцатого здесь и буржуазные газеты не решались продавать. А Ленину просто необходимы были именно эти издания — с них начинал просмотр газет. И Фофанова ранним утром отправлялась за ними в долгий путь на Петроградскую сторону.

Владимир Ильич и Эйно Рахья вышли на Сердобольскую улицу, сразу же свернули к Большому Сампсониевскому... Бывший Сампсониевский — теперь проспект Карла Маркса. Протянулся над проезжей частью, поднялся на быках железнодорожный мост. Был он, скорей всего, и прежде. Прошелестела по мосту электричка — нет, это не годится. А вот засвистел локомотив, втянул за собой нескончаемую череду товарника, грохочут вагоны, гудит мост под их колесами. И в тот вечер все могло быть точно так же.

Сегодня полно повсюду людей, трамвайные вагоны с большими, залитыми голубоватым светом окнами. Но так ли важны эти детали, само стремление представить себе все именно так, как было в семнадцатом? Уже седьмое десятилетие пролегло между Октябрем и нами. Но меня занимает не хроника событий и даже не опыт борьбы — хочется понять людей, свершивших революцию, ту решимость, которая владела ими в ночь со вторника на среду, с 24 на 25 октября. И как бы ни разнилась одна эпоха от другой, здесь нет барьера времени...

Нет, история не повторяется. Но великое, свершившись однажды, живет и существует в обыденном. В революционном прошлом черпаем мы критерии для оценок сегодняшних наших поступков, всей жизни.

«Точно так же, как историки разыскивают малей-

шие подробности о Парижской Коммуне, так они захотят знать все, что происходило в Петрограде в ноябре 1917 г., каким духом был в это время охвачен народ, каковы были, что говорили и что делали его вожди». Так писал Джон Рид и был прав.

Ленин и Рахья дошли до угла, когда их нагнал пустой трамвай. «Владимир Ильич предложил вскочить в него. Я согласился с условием, что Ильич ни с кем не будет разговаривать. Кондуктором была женщина. К моей досаде, Владимир Ильич начал спрашивать ее, куда она едет, почему и т. д. Она сперва было отвечала, а потом говорит: «Вот чудак, откуда ты только выискался? Неужели не знаешь, что в городе делается?» Владимир Ильич ответил, что не знает. Кондукторша его упрекнула: «Какой же ты,— говорит,— после этого рабочий, раз не знаешь, что будет революция. Мы едем буржуев бить!..» К моей досаде, Ильич начал рассказывать ей, как надо делать революцию, а я сидел как на иголках...»

* * *

Измерить шагами путь от Сердобольской к Смольному нетрудно и сегодня. Но тогда опасность была повсюду, неожиданности поджидали на каждом шагу.

Трамвай доехал до угла Боткинской и Нижегородской, отсюда свернул в парк. А Ленин и Рахья пошли к Литейному мосту. Там патрули — солдаты, рабочие. Рахья отговаривал: лучше к ним не подходить. Но Ленин быстро двинулся вперед, смешался с людьми, толпившимися подле моста. «Я шепчу Ильичу, чтобы он не вступал в разговор, а то, мол, пропадем. Смотрю: он бочком, бочком — и быстро зашагал через мост, а я за ним...»

Спустились с моста, вышли на Шпалерную, здесь их застиг разъезд юнкеров. «Вдали показались верхами два юнкера артиллерийского училища. Они направлялись к нам, видимо собираясь о чем-то нас расспросить. Сказав Владимиру Ильичу, чтобы он шел вперед, я сам остался для разговора с юнкерами... Подъехавшему юнкеру, спросившему у меня пропуск, я вызывающим тоном ответил, что еще, мол, за пропуск им нужен. Он тоже повысил голос. Владимир Ильич тем временем зашагал дальше. Я решил, что,

если только юнкера погонятся за Владимиром Ильичем, я буду стрелять. К счастью, мне удалось отвлечь их внимание от Ильича своим вызывающим поведением. Один из них хотел было вытянуть меня нагайкой, но, видимо, не решился, так как я напустил на себя слишком независимый вид. Поговорив о чем-то, они дали шпоры своим лошадям и умчались...»

Да, представить этот путь в доподлинности того времени теперь не просто. Кондукторша, которая едет буржуев бить... Скачет во весь опор разъезд юнкеров... Быстрым шагом уходит по Шпалерной беззащитная в своем одиночестве фигура — это Ленин...

Наш мир совсем иной — мир налаженных дел, установившихся привычек, предсказуемых, чаще всего, поступков каждого из нас. И этот спокойный осенний вечер, когда не спеша минуя Литейный мост, выхожу к улице Воинова — она и была прежде Шпалерной,— этот вечер не редкость, один из многих в моей жизни: есть сегодня, будет и завтра. Ощущение личной безопасности стало привычкой, неведомо чувство постоянной угрозы, и, обращаясь к прошлому — будь то время войны или эпоха революции, особенно отличаешь личное мужество участников этих событий, бесстрашие в решении собственной судьбы.

«Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил...» — отправился ночью в путь. А нельзя ли было отложить до утра? Прибыть в Смольный, не подвергая себя риску? Дождаться, наконец, «ста верных солдат или ста красногвардейцев с винтовками», о которых поминал Владимир Ильич. Кто-нибудь, очевидно, так бы и сделал, кто-нибудь и повременил, не подвергая себя риску. Ленин поступил иначе...

Не раз и не два приходилось ему сталкиваться со смертельной опасностью. Уходил в эмиграцию по льду Финского залива. А лед был ненадежен, не оказалось и знающих проводников. Нашлись в конце концов двое подвыпивших финских крестьян, с ними и пошел. Ночью, в темноте, лед стал уходить из-под ног, хлынула черная вода, и успел лишь подумать: «Эх, как глупо приходится погибать». Скрывался от преследования Временного правительства. «...Если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку: «Марксизм о государстве» (застряла в Стокгольме). Синяя

обложка, переплетенная... Условие: все сие абсолютно entre nous!» — писал в те дни. Наконец, выстрелы на дворе завода Михельсона — три, в упор. Тяжелое ранение. «Со всяким революционером это может случиться»,— заметил в тот раз.

И вот уже решимость по отношению к самому себе, именно личное мужество революционера Владимира Ульянова начинает представляться всеопределяющей чертой характера, доминирующей стороной его воли. Но обратимся к записям современников Владимира Ильича — революционеров, которые шли с ним одной дорогой. Им тоже случалось заглядывать смерти в лицо, провожать друзей на казнь, самим ожидать смертного приговора.

Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам.
Отдайте им лучший почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед...

— известная песня той поры была для этих людей не образом, не иносказанием, а выводом жизни, правдой однажды и навсегда избранного пути. У них были свои представления о мужестве. Из них и исходил старейший большевик П. Н. Лепешинский, когда писал о Ленине:

«Сила и характер его мужества очень ярко выявлялись не столько в тех эпизодах, когда ему случалось смело и спокойно глядеть в глаза смерти, сколько в моменты выполнения им наиболее ответственных революционных ролей... Мужество Ильича носит характер совершенно исключительного явления. В нашу героическую эпоху немало ведь было людей, которые, не моргнув глазом, шли гордо навстречу верной смерти и даже лютым мучениям.

Но далеко не часто встречается в истории такой пример особого рода мужества, какой был выявлен Ильичем в дни октябрьского переворота. Взять на себя *всю* ответственность за один из величайших актов в революционной истории человечества, поставить на карту тысячи и тысячи дорогих пролетарских жизней, дать сигнал к столкновению двух миров, чреватому невероятно огромными последствиями...— вот это и есть то особое мужество, которое присуще бывает лишь великим титанам духа и воли».

Лепешинский писал эти строки, возвращаясь мысленно к временам, которые пережил: небывалому прежде социальному взрыву, первой социалистической революции, переменившей жизнь всех его соотечественников, буквально каждого человека, да и всего мира.

Известно, жизнь меняется в общем-то медленно. Чаще события проносятся волнами над ней, не затрагивая и малой толики ее пластов... Кстати, скрываясь в квартире на Сердобольской, Владимир Ильич попросил разыскать для него работу экономиста А. П. Людоговского. Фофанова обнаружила нужную книгу у букиниста, и стоила она по тем временам больших денег. Правда, Маргарите Васильевне пообещали в лавке: освободится том — примем за ту же цену. Ленин прочел работу, нужды в ней больше не было, и Фофанова вновь отправилась к букинисту. Вернули деньги сполна, как договорились. Только в промежутке между ее первым и вторым визитом произошла Великая Октябрьская социалистическая революция...

Кому-то, наверное, казалось в те времена, кто-то полагал, что волны Октября лишь перекатятся через Россию и постепенно, утратив свою силу, затихнут где-то вдалеке. Ленин твердо знал: этого не произойдет. Понимал отчетливо, как понимаем мы теперь, задумываясь над своей жизнью, вспоминая судьбу отца и деда: все связано с Октябрем, все берет от него начало. «Владимир Ильич был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это»,— писал Горький.

Встретившись с Лениным вскоре же после победы революции, все тот же Лепешинский всматривался в лицо Владимира Ильича, стремясь увидеть следы пережитых волнений, печать ответственности, которую он принял перед историей «за дерзкий вызов небу». «И действительно, это бледно-желтое лицо, чрезвычайно похудевшее, но отсвечивающее яркими отблесками внутренних переживаний Ильича за все эти чудно-прекрасные, сумасшедшие дни, необычайно интересно. Оно, это лицо, целая поэма. Глаза, обычно смеющиеся, лукавые ильичевские глаза, на этот раз горят, как у лихорадочного больного. Они смотрят куда-то вдаль. Чувствуется, что предмет их внимания не здесь, не в этой комнате, а где-то там, далеко за пределами дан-

ного места и времени. Быть может, они, эти пытливые глаза, уже различают контуры завтрашнего дня? Быть может, перед умственным взором обладателя этих глаз сквозь дымку настоящего, через голову случайного собеседника, с которым он непринужденно перекидывается фразками, но которого, вероятно, почти не видит, встают картины грядущих столкновений двух миров на земле, кровавые бои двух смертельных врагов в расколовшемся надвое человечестве? Кто знает?»

Ленин знал — и в этом было его мужество. Он отстаивал идею вооруженного восстания, настойчиво высказывался за него. Да что там — высказывался! Боролся, доказывал необходимость всей силой своего авторитета, логикой убеждений, горячностью темперамента.

«Весь, целиком, без остатка жил Ленин этот последний месяц мыслью о восстании, только об этом и думал, заражал товарищей своим настроением, своей убежденностью»,— вспоминала Н. К. Крупская.

В чрезвычайных условиях с чрезвычайной силой сказалось все то, что считал Ленин достойным революционера.

* * *

Вечер 10 октября семнадцатого года. Петроград, набережная реки Карповки, дом 32. Три тщательно зашторенных окна в квартире большевички Флаксерман. Обстановка комнаты — стулья с высокими спинками, продолговатый массивный стол, над ним — люстра, сохраняющая формы еще недавней керосиновой лампы, портреты русских писателей на стенах. Все это исчерпывает, пожалуй, наши представления о дореволюционном быте интеллигентной семьи скромного достатка. Здесь собираются члены ЦК партии. Приходит Владимир Ильич — после июльских событий он первый раз принимает участие в заседании Центрального Комитета. Одет рабочим — Константин Петрович! — смеется, радуется тому, что его не узнают.

И именно здесь, в этой комнате, было принято решение — суровое, окончательное, как приговор судьбы: пришла пора вооруженного восстания... Протокол вели карандашом: «Слово о текущем моменте получает т. Ленин». Написали было его фамилию и сразу же

принялись вычеркивать: кто мог предвидеть, как обернутся последующие события, у кого окажутся эти документы? А Ленин в тот вечер говорил о технике вооруженного восстания.

Заметил: с начала сентября появилось какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем политически дело совершенно созрело для перехода власти. Поэтому давно уже следует — время и так значительно упущено — обратить внимание на непосредственную подготовку. Подойти к восстанию как к искусству, следовать завету величайшего мастера революционной тактики Дантона — «смелость, смелость и еще раз смелость». Не все были к этому готовы. И все-таки согласились с Владимиром Ильичем, приняли написанную им на листочке в клетку резолюцию: «Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы...»

Против двое — Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев. Большой новости в этом в общем-то не было. Еще весной, отстаивая Апрельские тезисы, Ленин выступал против позиции Каменева, готового идти на сотрудничество с Временным правительством. Никакой поддержки Временному правительству, доказывал Владимир Ильич. И одновременно боролся с полярной точкой зрения в партии: немедленно взять власть насильственным путем. Указывал на очевидные возможности мирного перерастания революции буржуазной в революцию социалистическую, писал: «Мы не шарлатаны. Мы должны базироваться только на сознательности масс...» Однако с тех пор все определилось — со времени расстрела июльской демонстрации, когда было заявлено: «Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно».

Теперь, на заседании Цека, Каменев, Зиновьев выступили против вооруженного восстания. Свои доводы изложили и письменно: «мы подымаем голос предостережения... мы не имеем права ставить теперь на карту вооруженного восстания все будущее... мы держим револьвер у виска буржуазии... мы можем и должны ограничиться *оборонительной позицией*».

Расходились под утро. Мысли Владимира Ильича были заняты контраргументами. Отказ от восстания есть отказ от передачи власти Советам. Заявляют: «У нас нет большинства в народе» — уж не хотят ли приобрести наперед гарантию от истории: пускай прежде партия большевиков получит по всей стране ровнехонько половину голосов плюс один?! Большинство народа стало переходить и перейдет на сторону большевиков — вот где суть. Ожидать Учредительного собрания, возлагать на него надежды, когда оно явно будет не с нами?! А если и с нами, то правительство никогда не созовет такое собрание. Ожидать?! Сдача Питера немцам тоже авось подождет? Крестьянские бунты, голод и недовольство масс тоже будут ждать? Ограничиться оборонительной позицией?! Временное правительство преспокойно соберет кулак для разгрома революционных сил. Утверждают: пистолет у виска буржуазии... Кто-то, однако, метко спросил: револьвер без пули? А если с пулей — это и есть техническая подготовка к восстанию: пулю надо достать, револьвер зарядить, да и одной пули маловато будет...

До начала Великой Октябрьской социалистической революции оставалось 13 суток.

Полемика с Каменевым и Зиновьевым, в то время людьми авторитетными в партии, не могла поколебать решимость Владимира Ильича — она основывалась на тщательном анализе обстановки. Да, события неслись все стремительней, одно наваливалось на другое. Ходили в то время по рукам сатирические стихи о заботах Временного правительства:

Утром восстание в Луге,
В десять — стрельба на Неве,
В полдень — волненья на Юге,
В два забастовка в Москве.
Финны и Выборг в четыре,
В пять большевистский наскок
И отделенье Сибири.
В шесть выступает Восток,
В семь заявление Рады,
В девять — управы осада
И ультиматум каде.
В десять — конфликты, отставки
И полемический жар.
В полночь — известья из ставки,
Взрыв и заводов пожар...

Владимир Ильич тогда же писал: «Время, которое мы переживаем, настолько критическое, события летят с такой невероятной быстротой, что публицист, поставленный волей судеб несколько в стороне от главного русла истории, рискует постоянно опоздать или оказаться неосведомленным, особенно если его писания с запозданием появляются в свет». И в письмах, статьях той поры постоянно указывает числа, дни недели, а когда и время суток: ситуация менялась ежечасно. «Предыдущие строки писаны в пятницу, 1-го сентября...» «Я пишу эти строки в воскресенье, 8-го октября, вы прочтете их не раньше 10-го октября». «Мне удалось только в понедельник, 16 октября, утром увидеть товарища, который участвовал накануне в очень важном большевистском собрании в Питере...» «Предыдущие строки были уже написаны, когда я получил в 8 часов вечера, во вторник, утренние питерские газеты...» «Я не имел еще возможности получить питерские газеты от среды, 18 октября...» «...Я вынужден воспользоваться случаем, чтобы доставить это письмо членам партии к четвергу вечером или к пятнице утром...» И так же начал свой последний предоктябрьский документ: «Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно».

И все-таки никаким подробностям, пожалуй, не дано передать в наши дни подлинную остроту того предоктябрьского спора. Спор — это две противоположные позиции, две оценки, два решения: быть или не быть? А перед нами сегодня лишь один вариант — тот, который был принят историей: Октябрьская революция стала самой очевидной истиной XX века. И доводы тех, кто выступал против Ленина, трудно теперь воспринять как нечто очень серьезное, требующее подлинного противоборства: они давно и бесповоротно опровергнуты не на словах, а на деле. Но вспомним хотя бы из нашего житейского опыта: как тяжко бывает, когда тебя предостерегают, отговаривают, а ты настаиваешь, продолжаешь действовать. Берешь всю ответственность на себя, лишаясь даже права на ошибку: тебе же советовали. Тебя предупреждали. И разве не соглашаемся мы порой: кто

останавливает — тот и мудрец. Подлинной мудростью между тем располагают отнюдь не те, кто зовет к бездействию...

Вечер 16 октября. Петроград, угол Лесной и Болотной улиц, районная дума. Служащие давно разошлись, остались лишь председатель М. И. Калинин да одна из помощниц. Она подогревает чай, разливает по стаканам — это на первом этаже. А наверху собралось человек тридцать — расширенное заседание ЦК партии. Ленин говорит более двух часов. «Если политически восстание неизбежно, то нужно относиться к восстанию, как к искусству».

Говорят собравшиеся. Свердлов: «...в Москве в связи с резолюцией ЦК предприняты шаги для выяснения положения о возможности восстания... нужно предпринять более энергичную работу». Шмидт: «Все признают, что вне борьбы за власть нет выхода из положения». Крыленко: «Вода достаточно вскипела...» Сталин: «День восстания должен быть целесообразен». Скрыпник: «Если у нас нет сил, то их позже больше не станет; если мы теперь не удержим власти, то потом будет еще хуже». Дзержинский: «Два месяца назад... нельзя было ставить вопроса о восстании. Теперь обстановка изменилась и иллюзии изжиты».

Согласно большинство. Но есть и колеблющиеся. Против, как и прежде, Каменев, Зиновьев. Зиновьев: «Если восстание ставится как перспектива, то возражать нельзя, но если это — приказ на завтра или послезавтра, то это — авантюра». Каменев: «И назначение восстания есть авантюризм».

Ленин опять берет слово и еще — трижды — выступает в прениях. Принята резолюция, написанная Владимиром Ильичем: 19 — за нее, 2 — против, четверо воздержались. «Собрание... призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания...» Тогда же для руководства восстанием Цека организует Военно-революционный центр — Бубнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, Урицкий.

До начала Великой Октябрьской социалистической революции оставалось семь суток.

Наступило утро, уже совсем бы рассвело, если бы не дождь. Ленин вышел на улицу, не став дожидать-

ся, когда он утихнет. Возбужденный недавней дискуссией, продолжал говорить своему спутнику, в чем суть принципиальных расхождений с Каменевым и Зиновьевым. Или диктатура контрреволюции, или диктатура пролетариата и беднейших слоев крестьянства — третьего не дано. Зовут бездействовать, выказывают свое благоразумие. А не есть ли это продолжение все того же нескончаемого спора: стоило ли декабристам выходить на Сенатскую площадь, нужно ли было в пятом году браться за оружие?.. Нет, боишься промокнуть — не ходи под дождем.

Порыв ветра сорвал шляпу вместе с париком, швырнул в лужу. Ленин нагнулся, поднял, надел шляпу, даже не стряхнув. Вернувшись на Сердобольскую, попросил Фофанову вымыть парик горячей водой с мылом: побывал в луже.

Маргарита Васильевна видела, как страдал в это время от бессонницы Владимир Ильич. Вспоминала, что «каждое утро спрашивала: «Как вы спали?» — «Да так!» А лампа всегда доказывала, как он спал: утром всегда надо было заново заправлять ее керосином. И вот с этих дней у Владимира Ильича появилась раздражительность и какая-то торопливость».

Отчего, однако, так волновался Ленин? С ним согласились, решение принято, идет подготовка к восстанию. В конце концов, из всего состава Центрального Комитета против выступили лишь двое... Но знал же их еще с начала 900-х годов. Еще недавно скрывался с Зиновьевым в Разливе. И вдруг такая пропасть непонимания. А спустя лишь два дня, да нет, уже на второй день после расширенного заседания Цека Каменев и Зиновьев расскажут о подготовке к восстанию, его сроках на страницах полуменьшевистской «Новой жизни» — газеты, которая, по словам Ленина, «идет *об руку с буржуазией против рабочей партии*...».

Такого развития событий Владимир Ильич не предполагал. «Изменником может стать лишь *свой* человек»,— вспомнит тогда французскую поговорку. Заявит: «Товарищами их обоих больше не считаю...»; напишет: «Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их».

Еще утром 18 октября он ничего не подозревал. Как всегда, до завтрака получил «Новую жизнь», но не раскрыл ее, был, очевидно, чем-то занят. И только вечером, как вспоминала Фофанова, когда пришла на Сердобольскую Надежда Константиновна, Ленин узнал о выступлении Зиновьева и Каменева.

И тогда же, буквально в те же минуты, негодующий Ленин решает, что «молчать перед фактом такого неслыханного *штрейкбрехерства* было бы преступлением». Владимир Ильич обращается с «Письмом к членам партии большевиков». Оно написано в тот же вечер. А на следующий день — «Письмо в Центральный Комитет РСДРП(б)». Его тогда же перепечатала Т. А. Словатинская — работник секретариата ЦК партии. Она вспоминала: «Разобрать рукопись было трудно. Видно было, что Ильич очень волновался, когда писал и клеймил штрейкбрехеров. Его обычно очень четкий, хоть мелкий, почерк было не узнать».

(Характерно, что и в эти минуты — Владимир Ильич потрясен предательством — он тем не менее продолжает соблюдать конспирацию. В «Письме к членам партии большевиков» пишет: «Когда мне передали по телефону полный текст выступления Каменева и Зиновьева в непартийной газете «Новая жизнь»...» Но мы знаем: Ленин прочел его в газете, да и не было телефона на квартире Фофановой. Однако никто не должен знать, где скрывается Владимир Ильич, и если пишет, что ему передали текст по телефону, а газеты он не имел, то, очевидно, находится где-то вне Петрограда).

Ленин писал о Зиновьеве и Каменеве: нельзя представить себе поступок более изменнический, более штрейкбрехерский. «Несомненно, что *практический* вред нанесен очень большой». Однако гнев Ленина вызвали не только практические осложнения, к которым неминуемо вел этот поступок, но и сама его суть. Два члена партии, когда уже принято решение ЦК, продолжают бороться против этого решения, намеренно разглашают его. Этот поступок «в тысячу раз подлее и *в миллион раз вреднее* всех тех выступлений хотя бы Плеханова в непартийной печати...», за которые он резко был осужден. В самой оценке штрейкбрехерства Ленин возвращается к спорам,

которые, казалось бы, давно отшумели,— ко II съезду партии. Возвращается к ним в канун революции, в канун победы, во имя которой и создавалась партия. Так на самом краю старого мира вновь напомнила о себе дискуссия о том, каким должен быть член партии...

Для Владимира Ильича, человека, всегда следующего однажды избранным принципам, был в поступках окружающих тот предел — не умозрительный, а вполне определенный, как и сами принципы,— тот порожек, переступив который член партии переставал быть большевиком, соратник — единомышленником, друг — близким человеком. И Ленин пишет: «Чем *«виднее»* штрейкбрехеры, тем обязательнее немедля карать их исключением». А следом формулирует то единственное решение, которое, как он настаивает, должно быть принято: «Признав полный состав штрейкбрехерства в выступлении Зиновьева и Каменева в непартийной печати, ЦК исключает обоих из партии».

В те трудные дни, а точнее, в последние часы перед решающим штурмом не все были готовы разделить суровость ленинских оценок. 20 октября на заседании ЦК партии, где обсуждалось письмо Владимира Ильича, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, например, предлагали лишь полностью отстранить виновных от политической деятельности. Против исключения высказался и И. В. Сталин, заявив, что «исключение из партии не рецепт».

Однако, настаивая на исключении из партии Зиновьева и Каменева, Владимир Ильич отнюдь не стремился выработать рецепт для проведения с ними некоторого воспитательного мероприятия. Он требовал исключения этих людей из партии, думая о ее судьбах.

Пройдет пять лет — в жизни Ленина это большой срок,— и в декабре 1922 года, диктуя «Письмо к съезду», Владимир Ильич скажет: «Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не является случайностью...» А дальше, продолжая мысль, заметит: этот эпизод «мало может быть ставим им в вину лично...». Это заключение на первый взгляд может показаться неожиданным. Если нельзя

вменить в личную вину поступок, то за что же и осуждать тех, кто его совершил? Нет, Ленин говорит о существе поступка, подчеркивая в нем более глубокие истоки, чем личная оплошность или личная вина.

Но еще раз вернемся к упомянутому выше эпизоду с Плехановым. Он был одним из первых людей на жизненном пути Владимира Ильича, кого он глубоко уважал, а обнаружив в его характере отрицательные черты, тяжело переживал это открытие. В 1900 году, после первых же встреч с Георгием Валентиновичем, Ленин напишет: «Просто как-то не верилось самому себе [точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека] — неужели это я, ярый поклонник Плеханова, говорю о нем теперь с такой злобой и иду, с сжатыми губами и с чертовским холодом на душе, говорить ему холодные и резкие вещи, объявлять ему почти что о «разрыве отношений»? Неужели это не дурной сон, а действительность?.. До такой степени тяжело было, что ей-богу временами мне казалось, что я расплачусь...»

Владимир Ильич не мог принять чуждые ему качества — пусть и выдающейся личности, пусть и выдающегося революционера, о котором скажет со временем, что он «самый знающий по философии марксизма социалист...». Нет, никакие заслуги не могли заставить Ленина принять то, что считал немыслимым во взаимоотношениях людей, занятых общим делом.

Речь шла тогда об издании газеты «Искра», и черты характера Плеханова приобретали для него принципиальное значение: прежде «уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это — мелочи... И вот, нам самим пришлось наглядно убедиться, что эти «мелочные» недостатки способны отталкивать самых преданных друзей...».

Ленина всегда занимали особенности характеров тех, кто его окружал. В «Письме к съезду», обращаясь именно к личным качествам некоторых членов ЦК партии, Владимир Ильич предупреждал, что они отнюдь не являются мелочью — в определенных условиях могут приобрести решающее значение. А о Зиновьеве и Каменеве в том же документе напоминал, что их поступок в октябре не был случайностью, однако «он

так же мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому». И последними словами, сравнением с «небольшевизмом Троцкого» поставил точку, потому что Троцкий никогда не был большевиком именно в основах своего мировоззрения, в глубине своего сознания.

Можно говорить о личной вине человека, когда он ошибается, делает что-то не подумав, опрометчиво, случается, и вопреки своим убеждениям. Здесь этого не было — поступок Каменева и Зиновьева совершен сознательно, согласно натуре этих людей, точно выражая суть их сознания. Это и определило «октябрьский эпизод».

В том нескончаемом споре — стоило ли декабристам выходить на Сенатскую площадь, нужно ли было в пятом году браться за оружие — нет смысла сосредоточиваться на личных качествах тех, кто находится на противоположных полюсах. Надо говорить о большем — о мировоззрении в целом. Придет срок, Плеханов станет противником большевизма, заявит после декабрьского вооруженного восстания в Москве: «Не надо было браться за оружие»; и Ленина перестанут занимать индивидуальные особенности его характера.

Между прочим, взгляд Владимира Ильича на истоки поступка Каменева и Зиновьева приводит к мысли, что большевизм, в представлении его создателя, роднил людей не только взглядами, убеждениями, но и характером, темпераментом. Знаменательны наблюдения, которыми делился, например, Н. А. Семашко: «Некоторые меньшевики говорили как-то мне, что меньшевики и большевики различаются, между прочим, по темпераменту. По-моему, это — глубокое психологическое наблюдение. Рефлексия (в худшем случае, трусость) лежит в основе меньшевика как психологического типа. Боевой темперамент — основа психологии большевика. Я не могу себе представить большевика с меньшевистским темпераментом». И как не вспомнить здесь слова Горького о том, что он любовался азартом Владимира Ильича, тем азартом юности, каким он насыщал все, что делал.

...Мы судим об окружающих, исходя обычно из собственных представлений о возможном, недопустимом. И нужно быть человеком глубоко искренним в

отношениях, считать это элементарной нормой поведения, чтобы, обнаружив в Плеханове противоположную черту, признать с глубокой болью, «что это человек нехороший, именно нехороший... что он — человек неискренний».

О поступке Каменева и Зиновьева говорит, что он совершен согласно их убеждениям — пусть абсолютно неприемлемым для Владимира Ильича, но убеждениям. Политика — она была профессиональным занятием Ленина — нерасторжима для него с убеждениями, не может быть пасьянсом, когда неважно, из какой колоды берешь карту, оказалась бы нужная под рукой.

«...Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна» — эти строки Горького обращены к Владимиру Ильичу. Смысл их неоглядно широк. Думаю, не противоречит ему и мысль о том, что должность честных вождей народа не терпит разрыва между политикой и нравственностью. Добиться этого действительно нечеловечески трудно — требуется огромное мужество. Помните, как писал Лепешинский о Ленине: ему свойственно «то особое мужество, которое присуще бывает лишь великим титанам духа и воли».

* * *

Осталась позади улица Воинова — вот и Смольный. Торжественная колоннада въезда. Фигура Ленина у парадных дверей.

«Когда мы дошли до Смольного,— писал Рахья,— нас в него не впустили. Оказалось, что меньшевики переменили мандаты делегатов Петроградского Совета. Вместо белого цвета они сделали билеты красными и выдали их в первую очередь своим сторонникам, большевиков же оставили с белыми билетами. Я, признаться, в этот момент испугался за Владимира Ильича больше, чем когда-либо, но сам Ильич сохранял удивительное спокойствие... Его уверенность передалась и мне. Смешавшись с толпой «белобилетников», споривших с караулом, я поднял невероятную бузу. В один момент толпа была взбудоражена и стала напирать на охрану. Та не выдержала напора, подалась в сторону, и толпа хлынула внутрь. Мы поперли вслед за ней. Я — впереди... а за мной шел Владимир Ильич, смеясь и приговаривая: «Где наша не берет».

Шагая в ранних осенних сумерках к Смольному, мне хотелось представить себе, о чем думал в тот вечер Владимир Ильич, совершая этот путь... Идет по городу человек, скрывается в тени домов, старается остаться незамеченным, торопится побыстрее миновать мост. Вместе с толпой прорывается в Смольный: «Где наша не берет...» А пройдут сутки — какие-то считанные часы! — и он возглавит правительство первого в мире социалистического государства. Имя его вихрем понесут радиоволны, телеграфные провода, оно навсегда утвердится в газетах. Путь от Сердобольской к Смольному — это повествование, которое вмещает в себя самые обширные раздумья о путях истории и роли личности в ней.

О чем же думал в тот вечер Ленин? О последующих действиях, о II съезде Советов, который откроется назавтра — в среду, о декретах нового правительства, его первых шагах, приняв, как говорят, за основу, что вооруженное восстание победило? Нет, непохоже.

Едва ли успели просохнуть чернила на его последнем предоктябрьском письме: «История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все». И, заговорив с кондуктором, вопреки напоминаниям своего спутника, Владимир Ильич не стал, скажем, рассуждать о том, как изменится жизнь трудящихся после революции, с ее победой. В тот вечер эта тема могла привлечь скорее проповедника, а не революционера. «Ильич начал рассказывать ей, как надо делать революцию...» Ленин говорил о том, чем неотступно были заняты его мысли: «Промедление в восстании смерти подобно».

Он не ждал гарантий от истории и не рассчитывал на них. И в тот октябрьский вечер — в тот вечер накануне — из всех сложнейших проблем противоборства двух миров мысль концентрировалась на первоначальном, с чего и должно все начаться: осилим или не сможем, сумеем взять власть или нет? «...Для меня всегда была важна практическая цель»,— говорил о себе Владимир Ильич уже в самом конце жизни.

На рубеже, да нет — рубиконе истории, мирового

революционного процесса, наконец, личной судьбы Владимира Ильича его воля, все существо были устремлены к единственной задаче: «...решать дело сегодня непременно вечером или ночью». И, появившись в Смольном, возглавив руководство восстанием, он будет поглощен только этим. Занять и удержать ценой каких угодно потерь мосты, железнодорожные станции, телефон, телеграф. Наступать на Питер изнутри — из рабочих кварталов — и наступать из Кронштадта, Гельсингфорса.

Создан, как и требовал Ленин, решающий перевес сил в решающем месте. 40 тысяч бойцов Красной гвардии, 150 тысяч революционных солдат, с ними 80 тысяч матросов-балтийцев — вот они, силы восстания. Прекрасно! Немедленно направить для захвата важнейших пунктов, правительственных учреждений рабочие отряды, матросов, молодежь — самые решительные элементы. Наступать!

«Мы все время находимся в Смольном, в одной из небольших комнат первого этажа,— вспоминал активный участник октябрьского восстания Г. И. Ломов-Оппоков.— На всех не хватает стульев, поэтому часть членов ЦК расположилась полулежа на полу. Настроение какое-то выжидательное, словно еще должно что-то произойти, после чего и начнется настоящее восстание. В наших руках уже много правительственных учреждений, вокзалов. Настроение такое, что, пожалуй, надо немного «погодить», как бы «не зарваться».

Но вот появился В. И. Ленин. Он по-прежнему в парике. Его трудно узнать. Сразу, в течение нескольких минут, обстановка меняется. Владимир Ильич кипит. Он высмеивает нашу нерешительность. Сейчас же надо дать все необходимые директивы, брать все здания, все правительственные учреждения, пользуясь нерешительностью правительства Керенского.

С этого момента колебаний как не бывало. ЦК партии — внизу, Военно-революционный комитет во главе с Антоновым-Овсеенко — наверху звонят во все районы, требуют энергичного наступления».

В ту ночь главнокомандующий Петроградским военным округом полковник Полковников телеграфирует: «Доношу, что положение в Петрограде угрожающее. Уличных выступлений, беспорядков нет, но идет

планомерный захват учреждений, вокзалов, аресты. Никакие приказания не выполняются».

1 час 25 минут — моряки, солдаты Кексгольмского полка, красногвардейцы занимают почтамт. И тогда же следует распоряжение Военно-революционного комитета всем районным Советам Петрограда: «Послать своих комиссаров во все почтово-телеграфные отделения, находящиеся в районе».

2 часа ночи — войсками Военно-революционного комитета занят Николаевский вокзал. Начальник охраны Балтийской железной дороги извещает штаб Петроградского военного округа:

«Доношу, что на Балтийский вокзал прибыла рота Измайловского полка от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов... Прошу вашего распоряжения. Своими силами Балтийский вокзал не удержать. Нахожусь на Варшавском вокзале, где все благополучно. Поручик Синеоков».

Спустя несколько часов занят и Варшавский вокзал.

«24 октября часов в 12 или же позднее, так как в бурные дни Октябрьского переворота время в счет не шло, многие из нас не спали в течение нескольких суток,— писал участник восстания В. П. Милютин.— Центральный Комитет партии большевиков заседал в комнате № 36 в первом этаже Смольного. Посреди комнаты — стол, вокруг — несколько стульев, на полу сброшено чье-то пальто... В углу прямо на полу лежит товарищ Берзин... Ему нездоровится. В комнате исключительно члены ЦК... Время от времени стук в дверь: поступают сообщения о ходе событий; вопрос еще не решен — на нашей стороне победа или нет; но соотношение сил вполне определилось — перевес на нашей стороне. Но как сложатся события? Что может произойти, какие ждут отдельные случайности, этого никто не знает. Настроение у всех какое-то «обычное», делаем дело, как нужно делать. Дело интересное и нужное».

2 часа 20 минут — из штаба Петроградского военного округа министр-председатель Керенский телеграфирует главнокомандующему Северным фронтом генералу Черемисову: «Приказываю с получением сего все полки пятой Кавказской казачьей дивизии со

своей артиллерией... направить по железной дороге [в] Петроград, Николаевский вокзал, [в] распоряжение главного начальника Петроградского округа полковника Полковникова. О времени выступления частей донести мне шифрованной телеграммой. В случае невозможности перевозки по железной дороге части направить поэшелонно походным порядком».

И тогда же отбивается телеграмма всем революционным организациям Северного фронта: «Не допускать отправки с фронта ненадежных войсковых частей на Петроград, действовать словом и убеждением, а где не помогает, приостановить, препятствовать беспощадным применением силы».

Крупская вспоминала:

«В дни Октября я не узнавала Ильича. Ведь он долго ждал этих дней... В те суровые, но в то же время кипучие, счастливые дни он как-то сильно изменился. Лицо его было радостным, озаренным, очень воодушевленным». И вновь сказывались тот темперамент Владимира Ильича, та взрывная сила, которые могли увлечь своей волной и одного собеседника, и тысячи людей. Когда-то меньшевик Дан раздраженно сказал о Ленине: это человек, который все 24 часа в сутки занят революцией, у которого нет других мыслей, кроме мысли о революции, и который даже во сне видит только революцию. Теперь все, кто был с Лениным в Смольном, с такой же энергией и напряжением, сутки напролет совершали революцию. Так было в ночь со вторника на среду, так было и в последующие дни.

6 часов утра — сорок матросов Гвардейского флотского экипажа входят в Государственный банк. «Военно-революционный комитет при Петроградском Совете р. и с. д. предписывает вам занять к 6 часам утра главную контору Государственного банка на Екатерининском канале. Председатель Н. Подвойский. Секретарь Антонов».

Около 7 часов — революционные солдаты занимают Центральную телефонную станцию. И в тот же час выполняется приказ Военно-революционного комитета — восстановить движение по Николаевскому мосту. «С корабля на берег был высажен десант матросов,— писал комиссар крейсера «Аврора» А. В. Бе-

лышев.— Юнкеры, охранявшие мост, разбежались. Аврорovцы свели разведенный пролет моста. Васильевский остров был соединен с центром города. Путь открыт».

Занимают Дворцовый мост — теперь и до Зимнего дворца рукой подать.

«Революция не могла бы произойти... с такой обманчивой обыденностью,— писал свидетель и участник Октября американский журналист Альберт Рис Вильямс,— если бы ей не предшествовала колоссальная подготовительная работа... В самом центре ее был Ленин... Ленин и в самом прямом, буквальном смысле был в центре событий: «рабочий К. П. Иванов», скромно появившийся накануне в Смольном, держал в своих руках все нити восстания».

Среда, 10 часов утра,— А. Ф. Керенский еще в Петрограде. Точнее, именно в этот час покидает восставший город, уезжает под американским флагом, на машине американского посольства. Он не знает еще, что именно в этой стране пройдут последующие годы его поразительно затянувшейся жизни. Министр-председатель все еще верен самому себе, его по-прежнему занимают знаки внимания, оказываемые публикой. И когда трогаются с Дворцовой площади два автомобиля — в первом Александр Федорович,— он следит за тем, как отдают честь военные и приветствуют штатские главу Временного правительства. Правительство между тем уже низложено.

Именно в этот час — «25-го октября 1917 г., 10 ч. утра» — Ленин пишет обращение «К гражданам России!»: «Временное правительство низложено... Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено». Словно обгоняя одна другую, несутся строки. Сорвалось было с пера: «К всему населению». Зачеркнуто — «К гражданам России». Из трех абзацев средний вычеркнут, еще раз перечеркнут. Три слова добавлены в первый абзац, и они соединены с ним вздыбившейся через весь лист стрелой. Ленин взволнован, Ленин торопится.

Казалось бы, пришло время праздновать победу.

Но Владимир Ильич, как и прежде, торопит. Правительство свергнуто, а министры пока не арестованы — продолжают заседать в Зимнем. Войска гарнизона на стороне восставших, а во дворце все еще держат оборону юнкера. К открытию II съезда — вся власть в руках Советов, но остается последний оплот Временного правительства — Зимний дворец.

В среду, 24 октября, министр-заместитель Коновалов передает в ставку: «Петроградский Совет рабочих депутатов объявил правительство низложенным, потребовал передачу власти угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера «Аврора». Правительство может передать власть лишь Учредительному собранию, решило не сдаваться и предать себя защите народа и армии. Ускорьте присылку войск...» Ускорьте присылку войск... Ускорьте присылку войск... Ускорьте...

Ленин настаивает, категорически требует: как можно быстрее овладеть Зимним. А штурм задерживается.

«Начиная с 11 утра и до 11 вечера Владимир Ильич буквально засыпал нас всех записками,— вспоминал Н. И. Подвойский.— Он писал, что мы разрушаем всякие планы; съезд открывается, а у нас еще не взят Зимний и не арестовано Временное правительство. Он грозил всех нас расстрелять за промедление».

Восставшие готовятся к штурму. «Быстро несет меня катер мимо нахохлившегося Зимнего дворца... к «Авроре»,— вспоминал В. А. Антонов-Овсеенко.— На крейсере «все в порядке»... Условливаюсь, что по сигнальному выстрелу Петропавловки «Аврора» даст пару холостых выстрелов из шестидюймовки. Миноносцы из Гельсингфорса прибыли и с рассветом вошли в Неву... Передаю миноносцам, чтоб проникли за Николаевский мост и развернулись для обстрела (по сигналу) Зимнего. Опять в крепость... Еще заверения со стороны коменданта, что все в порядке, и вновь на катере встречать кронштадтцев... 4 часа! Наконец-то! «Кронштадтцы едут». Несколько тысяч молодых стройных парней с винтовками в надежных руках заполняют палубу транспорта. Говорю им краткое приветствие именем Советской власти, указываю цель. Вот Зимний — последнее прибежище керенщины. Его надо взять!»

А штурм задерживается.

«Да, затяжка была большая,— напишет со временем Подвойский.— Сначала было предложено взять Зимний к утру... Сроки взятия Зимнего переносились последовательно на 12 час., на 3 ч. дня, на 6 часов...»

6 часов вечера — членам Временного правительства послан ультиматум: очистить Зимний дворец, сложить оружие, а самим сдаться на милость Военно-революционного комитета.

Из дневниковых записей членов Временного правительства:

«6 часов 30 минут. Пошли обедать наверх в столовую Керенского (суп, рыба, артишоки).

7 часов 10 минут собрались в кабинете Коновалова. Сообщено, что сейчас двумя делегатами от Революционного комитета доставлен ультиматум. Требуется наша сдача — дано 20 минут на размышление, после чего будет открыт огонь по Зимнему с «Авроры» и Петропавловской крепости».

«Ответа на ультиматум не было,— писал Подвойский.— Войска нервничали... Сжатым кольцом судьба дворца уже была решена бесповоротно. Но внутри Зимнего все еще на что-то надеялись, верили в несуществующую силу. В 8 часов во дворец была послана делегация во главе с товарищем Чудновским с последним предложением сдаться».

А штурм задерживается.

«В тревожном ожидании застыли на крейсере грозные шестидюймовые орудия,— писал комиссар «Авроры» А. В. Белышев.— А со стороны Зимнего, осажденного отрядами вооруженного народа, доносилась пулеметная и ружейная стрельба... Связной Военно-революционного комитета передал распоряжение: в 21 час Временное правительство должно сдаться. В случае его отказа с Петропавловской крепости последует условный сигнал. Это будет означать, что «Аврора» должна произвести холостой выстрел, возвещающий начало штурма...»

«Записки Ленина, которые он посылал то мне, то Антонову-Овсеенко, то Чудновскому,— свидетельствовал Подвойский,— становились все более жесткими... Мне рассказывали потом, что Владимир Ильич, ожидая с минуты на минуту взятия Зимнего, не вышел

на открытие съезда. Он метался, как лев, по маленькой комнате Смольного».

А штурм задерживается.

«Из Смольного мне несколько раз звонили, указывали на необходимость немедленно начинать...— писал комиссар Петропавловской крепости Г. И. Благонравов.— Непредвиденное и мелкое обстоятельство нарушило наш план: не оказалось фонаря для сигнала. После долгих поисков таковой нашли, но водрузить его на мачту так, чтобы он хорошо был виден, представляло большие трудности».

«Напряжение все усиливалось...— писал об этих же минутах Белышев.— А Петропавловская крепость не давала о себе знать. Уже тридцать пять минут десятого, а сигнала все нет.

— Огонь! огонь! — раздались голоса.

Во мгле за мостом показался багровый огонь. 9 часов 45 минут. Я отдал команду:

— Носовое, огонь! Пли!»

А штурм задерживается.

И после выстрела «Авроры» еще медлят, еще ждут. Так отчего же? Попробуйте хоть однажды пересечь Дворцовую площадь, скажем, от арки Главного штаба к подъездам Зимнего. Немалый путь. А если его надо сделать под пулеметными очередями? Пулеметы установлены в окнах дворца, и мальчишки-юнкера поливают площадь огнем. Случалось, осаждающие подбегали уже к дверям дворца, к воротам ограды и вновь откатывались.

Пальба в ту ночь шла отчаянная. А те, кто рвался к дворцу, хотели и сохранить его. Они так и не открыли по Зимнему прицельный орудийный огонь — он бы сразу подавил сопротивление. Вот запись, сделанная на следующий день после штурма послом Великобритании в России Джорджем Бьюкененом: «Сегодня после полудня я вышел, чтобы посмотреть, какие повреждения нанесены Зимнему дворцу продолжительной бомбардировкой в течение вчерашнего вечера, и, к своему удивлению, нашел, что, несмотря на близкое расстояние, на дворцовом здании было со стороны реки только три знака от попадания шрапнели. На стороне, обращенной к городу, стены были изборождены ударами тысяч пулеметных пуль, но ни один

снаряд из орудий, помещенных в дворцовом сквере, не попал в здание».

И все-таки можно предположить, что не одна угроза оказаться под пулеметным огнем, не только соображения тактического характера сдерживали так долго нападавших. Подвойский писал, что затянулась организация сил. Да, но наступил час, когда в Зимнем оставалось менее 2 тысяч человек, а подле него — 12—18 тысяч. А штурм задерживался. Верили, все еще надеялись, что удастся избежать кровопролития: русские же против русских, как же стрелять друг в друга, как же не договориться между собой. И посылали парламентеров, и передавали ультиматумы... Тогда и в стане противника еще далеко не все были готовы к мысли о гражданской войне.

Руководителя кронштадтских моряков И. П. Флеровского выстрел «Авроры» застал в кают-компании миноносца «Амур» вместе с офицерами, которые по требованию революционных матросов привели суда в Петроград. «На кают-компанию выстрел «Авроры» произвел ошеломляющее впечатление. Несмотря на долгую привычку к выстрелам, все вздрогнули и бросились к окнам. У командира странно запрыгали губы, как перед плачем или истерикой.

— Не волнуйтесь, господа, это холостой...

Но кают-компания долго не успокаивалась. Разговор затих. Только командир в большой тревоге и оторопелом смущении промолвил: «Выстрел по столице... с русского корабля», и глаза его заблестели подозрительной влагой. Это было в начале гражданской войны, потом господа офицеры привыкли к русским выстрелам по русским городам, делали их с остервенелым наслаждением. Но тогда... тогда это было больно и непонятно».

Еще не пришло, не наступило ожесточение гражданской войны.

Да, Ленин понимал, что штурм неминуем — мирными уговорами во дворец не войти. И он торопил — пока Зимний окружен, пока не подоспело подкрепление; требовал до конца выполнить задачу вооруженного восстания, избежав лишнего кровопролития и разрушения самого дворца. Понимали серьезность момента и те, кто был с Лениным. Оттого и создали три

штаба — Смольный, «Аврора», Петропавловская крепость,— случись, враг захватит один из них, действуют остальные. И комиссар Белышев, лишь дав команду о холостом выстреле, сразу же распорядился зарядить орудие «Авроры» боевым снарядом: никто не мог поручиться, какими станут последующие события. Однако то, что стало очевидным для руководителей восстания, еще не было до конца понято всеми его участниками. И нельзя — об этом предупреждал Владимир Ильич — принимать изжитое для себя за изжитое для масс.

«Изучая самым внимательным образом опыт Парижской коммуны, этого первого пролетарского государства в мире,— писала Крупская,— Ильич отмечал, как пагубно отразилась на судьбе Парижской коммуны та мягкость, с которой рабочие массы и рабочее правительство относились к заведомым врагам. И потому, говоря о борьбе с врагом, Ильич всегда, что называется, «закручивал», боясь излишней мягкости масс и своей собственной». Но не арестовали все-таки юнкеров, оборонявших Зимний: просили они отпустить по казармам — спать очень хочется, а следом те же юнкера начали мятеж. Поверили на честное слово, освободили из-под ареста генерала Краснова — он возглавил затем контрреволюцию. Владимир Ильич и это имел в виду, когда говорил: «Мы наглупили достаточно в период Смольного и около Смольного. В этом нет ничего позорного. Откуда было взять ума, когда мы в первый раз брались за новое дело!»

Предстояло пройти самую массовую школу защиты революции, расквитаться за эту учебу кровавыми уроками, чтобы освободиться от иллюзий.

...И только за полночь пойдут на штурм дворца, распахнут створчатые двери подъезда ее императорского величества, рванутся вверх по лестнице.

Из дневниковых записей членов Временного правительства: «И вдруг возник шум где-то и сразу стал расти, шириться и приближаться. И в его разнообразных, но слитных в одну волну звуках сразу зазвучало что-то особенное, не похожее на те прежние шумы,— что-то окончательное. Стало вдруг сразу ясно, что это идет конец... Кто лежал или сидел — вскочили и все схватились за пальто».

«Вдвоем с Чудновским,— писал Антонов-Овсеенко,— мы поднялись в палаты дворца. Повсюду разбросаны остатки баррикад, матрацы, обоймы, оружие, обгрызки. Разношерстная толпа хлынула за нами. Расплываясь по всем этажам, юнкера сдавались. Но вот в обширном зале у ворот какой-то комнаты — их недвижимый ряд с ружьями на изготовку. Осаждавшие замялись. Мы с Чудновским подошли к этой горстке юнцов, последней гвардии Временного правительства. Они как бы окаменели, и стоило трудов вырвать винтовки из их рук. «Здесь Временное правительство?» — «Здесь, здесь,— заюлил какой-то юнкер.— Я ваш»,— шепнул он мне. Вот оно — правительство временщиков, пытавшееся удержать неудержимое, спасти осужденное самой жизнью последнее буржуазное правительство на Руси. Все тридцать (только Керенский еще утром сбежал за «помощью») застыли они за столом, сливаясь в одно трепетное, бледное пятно. Арестовываем».

Телефонограмма Петергофскому районному Совету: «2 часа 4 мин. был взят Зимний дворец. 6 человек убито — павловцев...»

В этот час Подвойский торопится в Смольный, дорогой подбирает приличествующие случаю слова, чтобы рассказать Владимиру Ильичу, как был взят Зимний. «Я предвкушал, с каким восторгом будет слушать меня Ленин. Но когда я почти вбежал в комнату, где находился Владимир Ильич, то застал его чрезвычайно сосредоточенным».

Книга на коленях, поверх лист бумаги, в руках перо. Ленин занят первыми декретами Советской власти. Молча слушает доклад Подвойского и вновь занимается своим делом. Зимний взят — с этим покончено. Временное правительство больше не существует — к нему потерян интерес, хотя еще несколько часов назад требовал скорейшего ареста, доказывал, что нет ничего важнее этого...

Приказ коменданту Петропавловской крепости: «Согласно решению Военно-революционного комитета, приказываем немедленно распорядиться освобождением под честное слово всех бывших министров-социалистов, сидящих в Петропавловской крепости». Подписи — председатель, секретарь. И дата — 27 октября

1917 года. Уже на следующий день после ареста министры были выпущены на свободу, а вместе с этим открылась перед ними и свобода выбора. Потеряв портфели министров Временного правительства, Бернацкий и Карташов окажутся в контрреволюционных правительствах Деникина, Врангеля, Юденича... Еще один пример излишней доверчивости в самом начале революции? Нет. Министр юстиции Малянтович станет членом Московской коллегии адвокатов. Будет работать в советских учреждениях бывший министр труда Гвоздев. Продолжит занятие аграрным вопросом и опубликует свои работы бывший министр земледелия Маслов. Бывший военный министр Верховский получит со временем звание профессора, будет преподавать в Военной академии Красной Армии и Академии Генерального штаба, получит назначение начальником штаба Северо-Кавказского военного округа. Станет доктором наук, заведующим кафедрой в Ленинградском институте инженеров транспорта бывший министр путей сообщения Ливеровский, он же примет участие в проектировании Московского метрополитена и будет среди тех, кто налаживал движение через Ладогу по «дороге жизни»...

Все это, однако, произойдет позже, много позже, а в ночь штурма Зимнего, как вспоминает Антонов-Овсеенко, он построил перепуганных министров, повел под конвоем в Петропавловскую крепость, делая все возможное, чтобы уберечь их от разъяренной толпы.

Но это уже были подробности минувшего. Они не могли отвлечь Ленина от дел, ставших для него первоочередными. «В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства». Так все достигнутое, завоеванное, решенное немедля, без антракта, отодвигалось для него на второй план, освобождая место новому действу. Так произошло и в ту ночь, когда был положен конец одной эпохи в истории человечества и начата другая.

В исключительных условиях в полной мере сказалось то, что было нормой жизни революционера Владимира Ульянова, ее правилом, которое может служить примером для каждого коммуниста. Не подчинять свою жизнь томительному ожиданию звездного часа, оправдываясь будто во имя него и сохраняешь

огонь души. Именно сегодня, сейчас действовать в полную меру сил, превращая в звездный час каждое мгновение бытия. Если хватит, конечно, для этого воли, решимости, мужества.

* * *

...Миновала ночь со среды на четверг. Взят Зимний. Приближается утро.

Едет в Смольный Флеровский. «Улицы Петрограда спокойны и молчаливы. Ни малейших следов революционного восстания. Только на перекрестках больших улиц расположились малочисленные пикеты революционных солдат — греются у костров, автомобиль пропускают без окриков и задержек. На повороте Знаменской площади видим даже пару освещенных трамваев с пассажирами. Словом, никаких следов революции. У Смольного навстречу нам выходят делегаты съезда — первое заседание верховного органа Республики Советов, образованного со сказочной быстротой. Кончено. Можно вернуться на корабль и выспаться».

Совершив небывалое, даже великое, человек возвращается к обыденному...

В Зимнем дворце расставлены караулы — больше здесь делать нечего. Шагает по набережной Еремеев. «Нева мирно несла свои сине-свинцовые волны. Две пары рыбачьих лодок работали на плесе вблизи Петропавловки. Кое-где уже проходили ранние прохожие, верно, рабочие, которые живут далеко от места работы. От этого спокойного вида Невы, от этой утренней пустынности я отдохнул как будто после сна».

Настало утро, и люди, как всегда, спешили на работу — четверг-то день будничный.

И примерно в то же время на первом этаже Смольного, в комнате № 36, где проходило заседание ЦК партии, собравшиеся радовались тому, каким бескровным оказалось вооруженное восстание. Был оживлен, приветлив и Владимир Ильич. Но вдруг стал очень серьезен, сказал: «Не радуйтесь. Будет еще очень много крови. У кого нервы слабые, пусть лучше сейчас уходят из ЦК».

Ленин любил слова Чернышевского: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то че-

рез болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность».

И, размышляя над этим, Владимир Ильич писал: «Кто «допускает» революцию пролетариата лишь «под условием», чтобы она шла легко и гладко, чтобы было сразу соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, прямa, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, «отсиживаться в осажденной крепости» или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам,— тот не революционер...»

II

Закончилась вторая ночь Ленина в Смольном — снова провел ее без сна. Лишь в шестом часу утра согласился поехать на Херсонскую улицу к Бонч-Бруевичу — отдохнуть ненадолго.

Перекусили на скорую руку — и спать, спать, спать. А сна нет. Владимир Ильич зажигает свет, подсаживается к столу. Все как и прежде, как бывало много раз: стол, перо, бумага, глухая тишина предрассветного часа. Но пишет не прокламацию, не обличительный памфлет, не заметки публициста, не теоретический труд, не аналитическую статью. Пишет проекты законов, по которым жить России. Революционер, ниспровергатель устоев и основ становится законодателем.

Вот и рассвет подступил, высвечивая новый день — четверг 26 октября.

Позавтракали и отправились в обратный путь. Сперва пешком, потом трамваем доехали до Смольного.

Сколько ни всматриваешься теперь в актовый зал Смольного, никак не удается представить его прежним — во время II съезда Советов. «Я уверен, что когда-нибудь Смольный будет считаться храмом нашего духа и с благоговением войдут в него те люди наших потомков...» — писал в ту пору А. В. Луначарский. Ряды мягких кресел с красной обивкой, ниспадающие

складки занавесей на окнах, портрет Владимира Ильича — от потолка до края сцены. Разве что люстры остались те же: зал был освещен огромными белыми люстрами, вспоминали участники съезда... Толпа, начиная от самых дверей, люди на скамьях, стульях, на подоконниках, на полу, кто-то дремлет, прислонившись спиной к колонне. Воздух сизый от табачного дыма. Зал не отапливается, собравшиеся согревают его своим дыханием — на окнах иней. И лица, множество лиц — «однообразные простые лица, открытые и решительные, лица, почерневшие в окопах от мороза, широко поставленные глаза, большие бороды или иногда тонкие ястребиные лица кавказцев или азиатов из Туркестана, многие с редкими татарскими усиками»,— писал Джон Рид.

Ленин трижды выступает на съезде. «С той минуты, когда председательствующий объявил: «Слово предоставляется товарищу Ленину», я не отрывал глаз от крепкой приземистой фигуры человека в поношенном костюме из плотной ткани, человека, который с пачкой бумаг в руке быстро прошел к трибуне и обвел зал проницательными веселыми глазами...— рассказывал Рис Вильямс.— Мне казалось, что ему недостает соответствующей его роли величественности». Не этими ли минутами были навеяны уже знакомые нам размышления американского журналиста о том, как непросто согласовать с революционной действительностью романтические представления о ней?

«...Всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире».

«Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа».

«Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское правительство...» И оно тоже было образовано немедленно.

Три первых декрета, словно три первые ступени, на пути сквозь десятилетия. «...Во имя этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках,— писал о II съезде Советов, его решениях Джон Рид.— Пусть все свершилось не так,

как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но все-таки свершилось — буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность, истинно...»

Поколения русских революционеров мечтали о свободе. И каждое поколение мыслило ее по-своему. Как же воплотят свои представления о свободе те, кому удалось наконец-то завоевать у истории эту возможность. Кто, подхватив на II съезде слова «Интернационала» — «Это будет последний и решительный бой»,— впервые пел их иначе: «Это есть наш последний и решительный бой!»?

Тринадцать строк накануне

Ленин обращался к прошлому, размышляя о предстоящем. Для иного обращения не было времени, да и считал для себя, очевидно, бессмысленным. Он вообще брался за перо, когда требовали, подгоняли, не давали покоя очередные задачи революции, дела партии — успехи и поражения, объединение сил и расколы... Определял этапы русского революционного движения, думал о его последующих шагах; осмысливал уроки пятого года для будущих революционных боев.

В конце лета, в начале осени семнадцатого обращался к опыту Парижской коммуны. Понятно, много раз размышлял над ним и прежде. Крупская писала, что еще в годы первой эмиграции Владимира Ильича служитель женевской библиотеки «был свидетелем того, как раненько каждое утро приходил русский революционер в подвернутых от грязи на швейцарский манер дешевеньких брюках, которые он забывал отвернуть, брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживал привычным жестом жидкие волосы на лысой голове и погружался в чтение». Но теперь, работая в Разливе, Гельсингфорсе, Выборге, знал, был уверен: предстоящее и самое близкое — создание пролетарского, социалистического государства. Писал, что отношение социалистической революции к государству приобретает «не только практически-политическое значение, но и самое злободневное...».

Первый тираж книги «Государство и революция» увидел свет в восемнадцатом году, когда высказанные в ней положения уже воплощались деятельностью рабочего и крестьянского правительства, практикой Советской власти. Страницы же этой работы навсегда останутся свидетелями мыслей, выводов, предопределений — того, что продумано было Лениным в канун Октября. Продумано с такой тщательностью, намечено с такой четкостью, достигнута такая концентрация мысли, что все самое главное, первоочередное, касавшееся управления страной, можно было набросать для себя в нескольких строках, буквально на одном листе...

Историки и сейчас размышляют, когда был исписан Владимиром Ильичем этот лист бумаги — всего лишь один. В какую минуту — ночь, утро, день и снова ночь — вооруженного восстания сделал Ленин эти заметки — провел параллельные линии, отделяя одну запись от другой, и расчертил таким образом лист на тринадцать разноликих строк. Наверняка известно одно — писал накануне. Накануне провозглашения Советской власти, когда победа восстания была очевидна и вплотную подступало время последующих действий. Один лист, на котором помечено все, что было необходимо на первых порах для организации аппарата управления страной.

Бисерный почерк, ничем не отличающиеся на первый взгляд строчки — ими заполнены страницы ленинской рукописи брошюры, книги,— здесь каждая буква словно заключает в своей оболочке заряд сосредоточенности, напряжение мысли. А несущаяся, чуть наклоненная вперед крупная скоропись — это когда Владимиру Ильичу все очевидно, само собой разумеется, можно писать, не отрывая руки от бумаги, лишь бы пометить для себя или напомнить другим. Заполнен ленинской скорописью и этот лист. Владимир Ильич явно спешил, писал, постоянно сокращая слова, все больше превращая их написание в понятные лишь для него обозначения: «Б-Бр», «Ве. р. и кр. прав.», «м-ры и т-щи м-ра».

Теперь в этой рукописи нет загадок. Ученые Института марксизма-ленинизма подготовили документ к печати, расшифровали имена и фамилии: «Б-Бр» —

В. Д. Бонч-Бруевич, «Н. К.» — Н. К. Крупская, «Лунач» — А. В. Луначарский; прочли сокращения — «*Ве[стник] р[абочего] и кр[естьянского] прав[ительст]ва*», «м[инист]ры и т[овари]щи м[инист]ра»... Появившись в 1933 году на страницах «Ленинского сборника», документ обрел заголовок — «Заметки об организации аппарата управления».

Для нас же остается возможность проследить, как воплощались в революционной практике государства — в первые же дни, недели его рождения — тринадцать ленинских строк.

* * *

«Назначения»,— написал Владимир Ильич первую строку в верхнем левом углу листа, думая о тех, кому предстояло встать во главе управления.

«Еще слышалась стрельба. Еще сидело министерство Керенского в Зимнем дворце, но они были уже политическими мертвецами»,— писал Ломов.— Ночью — так около 3 часов утра — положение совершенно определилось: фактическая власть находилась в наших руках. Надо было формировать правительство. Надо было налаживать деловую революционную работу».

Сохранилось немало рассказов о том, как проходило формирование Советского правительства. Было это в Смольном, в комнате № 36, где заседал Центральный Комитет.

Само предложение — определить будущих руководителей управления страной — собравшиеся встретили по-разному. Противники вооруженного восстания — они все еще оставались ими — пророчили теперь: «Едва ли продержимся две недели». Ленин, усмехаясь, говорил в ответ: «Ничего, когда пройдет два года, и мы все еще будем у власти, вы будете говорить, что еще два года продержимся...»

В эти часы предстояло сделать шаг — для нас теперь, казалось бы, очевидный — от захвата власти перейти к ее осуществлению, и многим это давалось нелегко. Вот как рассказывал о своих переживаниях во время обсуждения кандидатур будущих руководителей Луначарский: «Это совершалось в какой-то комнатушке Смольного, где стулья были забросаны пальто

и шапками и где все теснились вокруг плохо освещенного стола. Мы выбирали руководителей обновленной России. Мне казалось, что выбор часто слишком случаен, я все боялся слишком большого несоответствия между гигантскими задачами и выбираемыми людьми, которых я хорошо знал и которые казались мне не подготовленными еще для той или другой специальности. Ленин досадливо отмахивался от меня и в то же время с улыбкой говорил:

— Пока — там посмотрим — нужны ответственные люди на все посты; если окажутся негодными — сумеем переменить».

Анатолий Васильевич, скорей всего, был неодинок. Думали о подобном и остальные участники заседания — они давно свыклись с судьбой революционера-профессионала; десятилетиями оставались нелегалами; пережили трагедию семьи, близких, кому неминуемо, не желая того, причиняли горе; махнули рукой на испуганно сторонившихся друзей юности, избравших карьеру процветающих чиновников, преуспевающих политиков; никогда не рассчитывали на признание общества, в котором жили; находились на свободе в перерыве между арестами, а все, что могли поставить себе в заслугу, каралось тюрьмами, ссылками, каторгой, смертной казнью.

Нарком земледелия В. П. Милютин революционную работу вел с девятнадцати лет, восемь раз арестовывался, семь лет провел в тюрьме и ссылке. Комитет по делам военным и морским: В. А. Антонов-Овсеенко приговаривался к смертной казни; Н. В. Крыленко арестовывался пять раз; П. Е. Дыбенко поднял восстание на линкоре «Император Павел I». Нарком по делам торговли и промышленности В. П. Ногин — агент «Искры», семь раз ссылался в Сибирь, на Север, шесть раз бежал. Нарком просвещения А. В. Луначарский — сын крупного чиновника, двадцати лет вступил в партию, двадцати четырех был выслан, отдал революции талант критика, дар писателя, энергию публициста. Нарком финансов И. И. Скворцов-Степанов — автор перевода трех томов «Капитала», пробыл в тюрьме и ссылке более восьми лет. Нарком по делам продовольствия И. А. Теодорович ссылался в Якутию, был на каторге в Сибири. Нарком почт и теле-

графов Н. П. Авилов (Глебов) — рабочий-печатник и организатор подпольной печати, сидел в крепости, тюрьме, трижды бежал из ссылки. Нарком по делам национальностей И. В. Джугашвили (Сталин) был известен под именами Давид, Коба, Нижерадзе, Чижиков, Иванович, шесть раз ссылался, пять раз бежал из ссылки. Нарком юстиции Г И. Оппоков (Ломов) сражался в пятом году и в семнадцатом, был участником вооруженных восстаний в Петрограде и Москве.

Рабочий, депутат IV Государственной думы, осужденный к вечному поселению в Туруханском крае, Г. И. Петровский станет наркомом внутренних дел. Участник революционного движения с гимназических лет, активный работник военной организации большевиков В. Р. Менжинский займет пост комиссара Государственного банка. Крестьянский сын, закончивший физико-математический факультет Петербургского университета, руководитель забастовки железнодорожников в пятом году М. Т. Елизаров станет в семнадцатом наркомом путей сообщения. Нарком государственного призрения А. М. Коллонтай — дочь генерала, участвовала в социал-демократическом движении Англии, Германии, Дании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, США, была арестована Временным правительством. Интендант революции, нарком продовольствия А. Д. Цюрупа — в прошлом агент «Искры», арестовывался в Туле и Харькове, ссылался в Олонецкую губернию. Тринадцать лет провел в эмиграции Г. В. Чичерин, Октябрьскую революцию встретил в камере лондонской тюрьмы, а вернувшись оттуда, возглавил Наркомат иностранных дел. Сын домашней работницы, руководитель союза металлистов В. В. Шмидт станет наркомом труда, трижды пережив аресты, отдав четыре года эмиграции. Революционную работу начал за 23 года до победы Октября, половину этого времени провел в заключении будущий председатель Чрезвычайной комиссии Ф. Э. Дзержинский.

Многое можно рассказать о людях, которых называли героями и мучениками революции, о пережитом ими на долгой дороге борьбы. А возможно, и стоит продолжить этот список. С годами, когда отступает острота былых трагедий, многое начинает представ-

ляться иным, чем было на самом деле,— и мужество революционера в старой России с ее публичными гражданскими и физическими казнями; с чахоточным ужасом Петропавловки, страхом быть заживо погребенным в Шлиссельбурге и сводящим с ума одиночеством ссылок; со шпиками, наводнявшими каждый университет, неисчислимыми архивами охранки, ее надзором — гласным, негласным и повсюду обосновавшимися провокаторами; с казацкими нагайками по лицам студентов и цепью солдат, стреляющих в толпу...

«Наше положение было трудным до чрезвычайности,— вспоминал о первых назначениях Ломов.— Среди нас было много прекраснейших высококвалифицированных работников, было много преданнейших революционеров, исколесивших Россию по всем направлениям, в кандалах прошедших от Петербурга, Варшавы, Москвы весь крестный путь до Якутии и Верхоянска, но всем нам надо было еще учиться управлять государством. Каждый из нас мог перечислить чуть ли не все тюрьмы России с подробным описанием режима, который в них существует. Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в карцер, но мы не умели управлять государством...»

Вчера подпольщики, нелегалы, политкаторжане — теперь наркомы, особые уполномоченные, чрезвычайные комиссары. Их наркоматы брали начало в Смольном — диван или два стула. И здесь же решали первые дела, писали первые бумаги, находили себе помощников.

Старый большевик С. С. Пестковский вспоминал, как его назначили сперва на работу в Наркомвнудел. Но нарком еще не прибыл в Петроград, и Пестковский ожидал его. «Сперва уселся в коридоре, на скамейке около кабинета Ильича. Место было очень удобное для наблюдения. В кабинет Ильича «пёрла» разная публика из Питера и приезжие. Но вскоре этот способ ожидания надоел мне, я открыл двери в комнату, находящуюся напротив кабинета Ильича, и вошел туда... На диване полулежал с утомленным видом т. Менжинский. Над диваном красовалась надпись: «Народный комиссариат финансов».

Я уселся около Менжинского и вступил с ним в беседу. С самым невинным видом т. Менжинский рас-

спрашивал меня о моем прошлом, полюбопытствовал, чему я учился. Я ответил ему, между прочим, что учился в Лондонском университете, где в числе других наук штудировал и финансовую науку. Менжинский вдруг приподнялся, впился в меня глазами и заявил категорически:

— В таком случае мы вас сделаем управляющим государственным банком.

Я испугался и ответил ему, что у меня нет никакой охоты занять этот пост, так как это совершенно «не по моей части»... Но он остался непоколебим».

А как поступать иначе, где найти людей, если рассчитывать на помощь служащих бывших министерств не приходилось. В работе «Государство и революция» Ленин писал, что *«разбить* сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать строить новую, позволяющую постепенно сводить на нет всякое чиновничество... это прямая, очередная задача революционного пролетариата». С победой революции приговор был приведен в исполнение: прежний государственный механизм отправлялся туда, где, говоря словами Энгельса, было ему место,— «в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором». И русский чиновник — известный чинопочитанием, прославившийся волокитой, знаменитый взятками — понимал, что пробил его последний час. Нет, смерть чиновника наступила на этот раз не оттого, что лишился бедняга шинели или чихнул, скажем, на лысину статского генерала Бризжалова. Его не выбрасывали на улицу и не лишали куска хлеба — ему предлагали служить и дальше, но при этом он низводился до роли исполнителя воли победившего рабочего класса. Терял право затягивать, отклонять, отказывать, не разрешать, лишался возможности интриговать и протежировать, диктовать и получать. А он так привык оказываться для всех поперек дороги, потому и смотреть на каждого сверху вниз. Лишался самого желанного для бюрократии всех времен и народов, как писал Владимир Ильич,— специфического «начальствования» государственных чиновников. Действительно, смерть — страшнее не придумаешь. И чиновник сопротивлялся, сколько мог и как умел.

Министерство просвещения. Пикеты у Чернышева моста, все посетители предупреждаются: работа в министерстве не производится. В самом здании никого, кроме курьеров и уборщиц. Распахнуты двери комнат, на столах брошены бумаги.

Министерство государственного призрения. Служащих нет, заперты журналы исходящих и входящих бумаг, исчезли ключи от кассы.

Министерство труда. Пустые столы, голые стены, все материалы изъяты, деньги из кассы похищены.

Министерство иностранных дел. Перевести на иностранные языки Декрет о мире чиновники не пожелали. И был тогда, по всей видимости, лишь один служивый человек, сотрудничавший с большевиками. В архиве и сегодня хранится подписанный им документ: «Пакет для посланника бельгийского получил. Швейцар Скоробогатов, 8-го ноября 1917 в 12 часов ночи от народных комиссаров».

Прошло, однако, лишь две недели от рождения Советской власти, и в протоколе заседания Совнаркома появилась запись: «Советское правительство остается в Смольном. Народные комиссары переносят свою работу в соответствующие министерства, назначая там определенные часы своего присутствия. К вечеру комиссары собираются в Смольном для совещания».

А минует два года, и побывавший в революционной России Герберт Уэллс напишет: «Большевистское правительство — самое смелое и в то же время самое неопытное из всех правительств мира. В некоторых отношениях оно поразительно неумело, и во многих вопросах оно совершенно несведуще... Но по существу своему оно честно. В наше время это самое бесхитростное правительство в мире».

Почему же, однако, именно это правительство — «самое неопытное», «поразительно неумелое», в чем-то «совершенно несведущее» — утвердилось в России? В конце концов, чудес на свете не бывает. Но каким же тогда чудом, не имея, по существу, ни в центре, ни на местах сложившихся организаций для управления страной, новое правительство смогло начать управление ею?

В «Бюллетене ЦК РСДРП (больш.) № 1» — было это 29 октября семнадцатого года — сообщалось:

«Ввиду того, что газеты не выходят и телеграммы не передаются, ЦК для осведомления решил разослать краткие бюллетени о положении дел. Демократия в лице рабочих и солдат идет за нами... но мелкая буржуазия и чиновничество идут против нас, саботируют и бойкотируют военно-револ. комитет и комиссаров, так что технический аппарат на самом деле не в наших руках. Так же саботируют нас и телеграфисты, не передают наших телеграмм». Бюллетень переписан от руки — не было и машинисток.

* * *

«Немедленное создание... *комиссии* народных комиссаров...» — пометил Ленин в первой части своих «Заметок».

Именно в этой рукописи Владимир Ильич впервые определяет название членов советского правительства — народные комиссары. И объединяет их в единое целое — комиссия народных комиссаров — тоже впервые. Родились эти определения, надо полагать, в то время, когда обсуждался состав правительства.

А не тогда ли, по ходу обсуждения, и набрасывал Владимир Ильич свои «Заметки об организации аппарата управления»? Ленин пишет: «Немедленное создание», имея в виду организацию правительства. Дальше в рукописи следует отточие — у этого правительства нет еще имени, надо прежде решить, как оно будет называться. Следующая запись в следующей строке — «комиссии народных комиссаров». И снова отточие — название определилось, но все ли слова подобраны точно? Слово «комиссии» подчеркнуто двумя чертами; быть может, они выполняли роль как бы вопросительного знака: согласиться или стоит еще подумать? Народные комиссары — хорошо, это окончательно. А вот комиссия? В чем-то не устраивает. Не в том ли, что не передает в полной мере коллегиального взаимодействия членов правительства? И мы знаем: найдут другое слово — совет. Всего лишь сутки спустя, выступая на II съезде Советов, Ленин предложит образовать правительство, «которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров»... А вообще-то все название в целом новое, непривычное, и Ленин чуть ниже помечает в «Заметках», заключая в скобки,

как бы расшифровывая для себя,— «м[инист]ры и т[овари]щи м[инист]ра», то есть этим должностным лицам в аппарате нового государства соответствуют народные комиссары и их заместители.

Бонч-Бруевич пишет, что название — народные комиссары — предложил Ленин: «Как только наступил первый момент после захвата власти, когда пришлось всем подумать об устройстве правительства, то, конечно, сейчас же поднялся вопрос о формах его. Большинство определяло его структуру в старых формах: кабинет министров. Как сейчас помню, Владимир Ильич, заваленный крайне трудной работой с первых дней революции, услыхал этот разговор, переходя от телефона к телефону, и мимоходом бросил: «Зачем эти старые названия, они всем надоели. Надо устроить комиссии по управлению страной, которые и будут комиссариатами. Председателей этих комиссий назовем народными комиссарами...»

Однако литературный характер воспоминаний всегда настораживает. «Как сейчас помню... услыхал этот разговор, переходя от телефона к телефону, и мимоходом бросил...» Да было ли в той комнате № 36, на первом этаже Смольного, несколько телефонов, если стульев и тех не хватало? Вызывает сомнение и некая отстраненность Владимира Ильича при обсуждении такого немаловажного вопроса: «...услыхал этот разговор... мимоходом бросил...»

В других воспоминаниях читаем: «Ильич деловито и просто предложил называться комиссарами по примеру Парижской коммуны». Присутствовавший при этом обсуждении Рахья писал, что кто-то предложил название народные комиссары, Ленин согласился. Свидетельствовал об этом и Милютин: приступили, было, к поименованному списку кандидатур, «и вот тут возник вопрос, как назвать новое правительство, его членов... Тогда и возникло — народный комиссар. «Да, это хорошо,— сейчас же подхватил тов. Ленин,— это пахнет революцией»... Так в комнате № 36 Смольного родилось новое рабочее правительство и новое название». Общее же в этих воспоминаниях отношение Владимира Ильича к самому этому понятию — народные комиссары: видел в нем естественное продолжение революции, слышал в нем

голос Парижской коммуны — исторического прообраза создающегося теперь государства. Ленина это радовало. Он и раньше писал, что суть дела не в том, останутся ли «министерства», придут ли им на смену «комиссии специалистов» или иные учреждения,— суть в том, что разрушается старая государственная машина и заменяется новой.

В книге «Государство и революция», размышляя об организации общества после победы пролетариата, Ленин постоянно возвращается к мысли о том, что учение Маркса «есть освещенное глубоким философским миросозерцанием и богатым знанием истории *подытожение опыта*». Не вдаваясь в утопии, не стараясь по-пустому гадать насчет того, чего знать нельзя, Маркс ждал от опыта массового революционного движения ответа: в какие конкретные формы станет выливаться организация пролетариата как господствующего класса? Следил за этим опытом, анализировал его «с точностью естественноисторического наблюдателя». Ответ дала Парижская коммуна. И Маркс «учился» у нее, как все великие революционные мыслители не боялись учиться у опыта революционных движений.

В 1847 году Маркс и Энгельс писали в «Коммунистическом манифесте»: «Государство, то есть организованный в господствующий класс пролетариат». И только после 1871 года Маркс говорит о диктатуре пролетариата. «В массовом революционном движении, хотя оно и не достигло цели, он видел громадной важности исторический опыт, известный шаг вперед всемирной пролетарской революции, практический шаг, более важный, чем сотни программ и рассуждений,— писал Ленин.— Анализировать этот опыт, извлечь из него уроки тактики, пересмотреть на основании его свою теорию — вот как поставил свою задачу Маркс».

Так поступали и большевики — не изобретали новые формы, а обрели Советы в ходе революции 1905 года. Шли к созданию нового общества через народотворчество после Октября. Анализировали опыт строительства социалистического государства и были готовы «пересмотреть на основании его свою теорию», будь то очередные задачи Советской власти, которые определил Владимир Ильич весной восемнадцатого

года, или новая экономическая политика. «Мы не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности,— размышлял Владимир Ильич в канун Октябрьской революции.— Это вздор. Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы ведут по нему, а конкретно, практически, это покажет лишь *опыт миллионов*, когда они возьмутся за дело».

Ленин писал «Заметки об организации аппарата управления».

Само слово «управление» неновое, но смысл, вкладываемый в него, не имел ничего общего с прежним — все существо было иным. Непосредственная самодеятельность масс как все определяющая форма управления. Поддерживать, развивать то, что уже существует,— революционное движение масс. Не положить ему конец, не вогнать в желаемые берега, а сохранить разлив революционного творчества, сделать его нормой жизни государства рабочих и крестьян.

«Товарищи трудящиеся! Помните, что *вы сами* теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете *все дела* государства в *свои* руки»,— публиковала «Правда» в ноябре семнадцатого подписанное Лениным обращение «К населению»...

Сколько раз с тех пор были повторены эти слова — «*все дела* государства в *свои руки*». Теперь они звучат, скорее, как констатация факта. Но постарайтесь представить себе те времена: тогда это звучало вопреки всему прежнему.

Да, пока остаются предприниматели, акционеры, советы директоров. И есть рабочие. Но уже на первом заседании Совнаркома Ленин предлагает «Проект положения о рабочем контроле»: «Во всех промышленных, торговых, банковых, сельскохозяйственных и прочих предприятиях... вводится *рабочий контроль* за производством, хранением и куплей-продажей...» Прежнее разрушено. Тебе, рабочий,— Иванов, Петров, Сидоров — подчиняются те, кто раньше тобой управлял.

В Смольный потянулись ходоки — можно ли распоряжаться помещичьими землями? Крестьянин на слово не верит, и опубликованный в газетах, листовками

Декрет о земле — это еще не та бумага, которая обращена непосредственно к нему, выдана ему на руки. Ленин пишет «Ответ на запросы крестьян»: «Совет Народных Комиссаров призывает крестьян самим брать всю власть на местах в свои руки». Ты, крестьянин,— Иванов, Петров, Сидоров — можешь распоряжаться землей... Написанный Лениным «Ответ», отпечатанный на машинке, скрепленный печатью — государственная бумага,— увозил с собой каждый крестьянин, побывавший тогда в Смольном.

Принят «Декрет о мире». Но армия существует, солдаты подчиняются офицерам. И скоро ли удастся заключить мирный договор с Германией? Ранним утром 9 ноября Ленин приехал в Новую Голландию — так называлось место в Петрограде, где была военно-морская радиостанция. Обратился по радио ко всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота: «Солдаты! Дело мира в ваших руках». Солдаты — еще вчера они шли по команде в атаку, а сегодня услышали, что могут выбирать своих уполномоченных и вступать в переговоры о перемирии с неприятелем, что Совет Народных Комиссаров дает им на это право. Тебе, солдат,— Иванов, Петров, Сидоров — дано право вести переговоры. Прежняя армия взорвана изнутри.

Задумайтесь теперь, попробуйте подсчитать — да нет, хотя бы представить себе,— сколько тысяч или миллионов людей в первые же дни Советской власти оказались втянутыми в управление государством.

Готовы ли были массы к той роли, которую завоевали в революции? Очевидно, не были. «У нас нет другой опоры,— говорил Ленин,— кроме миллионов пролетариев, которые несознательны, сплошь и рядом темны, неразвиты, неграмотны, но которые, как пролетарии, идут за своей партией». Однако курс на управление страной через самодеятельность масс оказался в исторической перспективе единственным — как ни труден, сколько бы неминуемых ошибок ни таилось на его пути.

В исторической перспективе! А тогда и в самой партии, среди ее руководителей, не все были готовы к тому, чтобы идти этим путем. Еще вчера теория, программа, призывы, лозунги теперь стали действи-

ем — настала необходимость их осуществления. И сказалось то, что происходит обычно, когда, шагнув из подполья, партия делается правящей,— одолеть сразу такой рубеж дано не каждому. Разногласия, которые были накануне вооруженного восстания, вновь дали себя знать — уже на третий день после его победы.

На столицу наступал Краснов. В Москве еще шла борьба, и восставшие ждали помощи из Петрограда. А Викжель — Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорожных рабочих и служащих — грозил забастовкой. Не исключенный из партии накануне вооруженного восстания, Каменев стал теперь — на II съезде Советов — Председателем ВЦИК. Он и вел по поручению Цека переговоры с Викжелем. На них выдвигались требования лишившихся власти партий: создать «однородное социалистическое правительство», устранить от участия в нем «виновников» Октября — прежде всего Ленина, оставить за большевиками лишь второстепенные места, открыть двери перед меньшевистско-эсеровским блоком. И Каменев не счел нужным прекратить, покинуть переговоры — продолжал их, готов был пойти на компромисс. Соглашался с ним и Зиновьев. Снова сказались боязнь революции, страх идти до конца: да, революция свершилась — с этим уже ничего не поделаешь, но нельзя ли смягчить, снивелировать ее последствия в соглашении с правыми партиями. Каменев и Зиновьев нашли поддержку у некоторых членов ЦК. «От нас отшатнутся и те группы, которые нас поддерживают,— доказывал Рыков,— и мы не в состоянии будем удержать власти».

Владимир Ильич не разделял этих колебаний. Все, о чем теперь шла речь, он обдумал, решил для себя давно: его партия боролась за осуществление требований самых широких масс.

Владимир Ильич выступает против «оппортунистов Октября». Нет, не смущает, что все это касается и его лично — требуют устранить из правительства Ленина. Он отстаивает репутацию своей партии. Октябрь победил под ее знаменами, но задачи революции не будут осуществлены, если состоится соглашение с меньшевиками и эсерами,— появится еще одно мертворожденное временное правительство. «Не для того бра-

лась власть, устраивалась революция,— писала Крупская,— чтобы впрячь в советскую телегу лебедя, щуку и рака, создать правительство, неспособное спеться, сдвинуться с места». Да и что это, в конце концов, за любительский спектакль в политике: отдавать подобру-поздорову власть, которую наконец-то впервые завоевали.

Ленин требует: «...политика Каменева должна быть прекращена в тот же момент». ЦК партии принимает резолюцию — немедленно прекратить переговоры с Викжелем. Но уже сложилась оппозиция: пять членов Цека выходят из него, снимают с себя полномочия и несколько народных комиссаров.

Теперь не хочется думать, что все эти люди до конца разделяли пораженческие взгляды Каменева и Зиновьева, во всем были сродни им. Скорее, не доставало решимости: трудным, не знающим себе подобных было время — и они не смогли пройти по нему без колебаний. Позже Ленин напишет: «...ряд превосходных коммунистов в России сделали ошибку, о которой у нас неохотно теперь вспоминают. Почему неохотно? Потому, что без особой надобности неправильно вспоминать такие ошибки, которые вполне исправлены... Товарищи ушли демонстративно со всех ответственных постов и партийной и советской работы, к величайшей радости врагов советской революции. Дело дошло до крайне ожесточенной полемики в печати со стороны Цека нашей партии против ушедших в отставку. А через несколько недель — самое большее через несколько месяцев — все эти товарищи увидели свою ошибку и вернулись на самые ответственные партийные и советские посты».

...Горячая, решающая завязалась тогда борьба. Ленин выступает против оппозиции на большевистской фракции ВЦИК, заседании Петербургского комитета партии. Вносит резолюцию на обсуждение Цека: «оппозиция целиком отходит от всех основных позиций большевизма и пролетарской классовой борьбы...». Резолюция принята. А Каменев и Зиновьев той же ночью проводят решение большевистской фракции ВЦИК — продолжить переговоры о власти со всеми партиями, входящими в Советы. Газета «День» ликует: «Дело накануне краха, и это сознают друзья Ленина. Понимает ли это Ленин?»

Владимир Ильич пишет ультиматум от имени большинства ЦК партии меньшинству, требует «категорического ответа в письменной форме на вопрос, обязуется ли меньшинство подчиниться партийной дисциплине...». Вновь вопрос об уставных обязанностях члена партии. Обращается от имени Цека «Ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России»...

Против соглашателей выступают Петербургский и Московский комитеты. Делегаты всероссийской конференции работниц отправляются к Зиновьеву и Каменеву, приходят «требовать и настаивать, чтобы ушедшие товарищи подчинились партийной дисциплине. Таков голос 80 000 работниц». Выступая в те дни на заседании большевистской фракции Петроградского Совета, рабочий завода Розенкранца С. С. Лобов говорит, обращаясь к Зиновьеву: «Если вы струсили, коленки задрожали, сойдите с дороги, не мешайте движению революции вперед, иначе вы попадете под ноги и будете мешать. Рабочие отступать не будут, а кроме того, и отступать некуда». И речи не может быть о соглашении с меньшевиками и эсерами. Каменев освобожден от поста Председателя ВЦИК. Председателем ВЦИК становится Свердлов.

«Страна ответила громом негодования...— вспоминал Джон Рид.— Народ негодовал на «дезертиров», и это негодование заливало ЦИК. Несколько дней Смольный буквально затоплялся яростными делегациями и целыми комитетами от фронта, от Поволжья, от петроградских заводов».

Отступить пришлось Викжелю. И на этот раз прямое обращение к партии, трудящимся решило дело. Как ни велики были разногласия среди членов Цека, но теперь все обстояло иначе, чем было накануне вооруженного восстания: революция свершилась, «опыт миллионов» приведен в действие. «Подъем революционного движения помог быстрой ликвидации всего инцидента,— писала Крупская,— а Ильич, всегда говоривший на прогулках о том, что его больше всего волновало в данный момент, ни разу даже не касался этого инцидента, он всецело был поглощен вопросом, как начать теперь стройку социалистического уклада, как провести в жизнь постановления, принятые на II съезде Советов».

Большевики удержали власть. Сумеют сохранить ее и потом, не раз еще выстаивая в самых критических ситуациях. Но отчего же все-таки возникает вопрос: ни одна другая партия не смогла опереться на поддержку населения, не сумела совершить хоть нечто подобное? Были же среди них и те, что именовали себя «марксистскими». За восемь месяцев — со времени Февральской революции и до Октябрьской, до победы большевиков,— у власти побывали представители практически всех других политических партий России. И никому не дано было положить конец кризису, охватившему страну,— приостановить, задержать его на мгновение. Это сделала лишь партия, борющаяся за выполнение требований самых широких масс, располагавшая программой, не только отвечающей этим требованиям, но и выполнение которой зависело от революционной активности рабочих и крестьян.

«Теперь... люди, не принимавшие участия в борьбе, не понимают, как это из того всеобщего хаоса, брожения, бесчисленных толп народа, наполнявших Смольный, заводы, клубные залы, казармы, как будто бы внезапно создалась действительно могущественная власть, сумевшая внести в волнующееся человеческое море порядок и организованность,— писал Невский.— Эти люди не понимают главного, именно того, что мы, партия революционного пролетариата, были выразителями всего многомиллионного народа трудящихся... Каждый рабочий, каждый солдат, все трудящиеся видели и понимали, что мы боремся за власть не для себя, не за свои узкоэгоистические интересы, не за то чтобы самим сладко пить и есть, когда голодают десятки миллионов... Повиновались нам и шли за нами не потому, что мы угрожали тюрьмами, пытками и ссылками, а потому, что мы были выдвинуты этими массами, чтобы покончить и с тюрьмами, и с пытками, и с ссылками».

Полностью, во всем объеме уловить требования рабочих, крестьян, солдат, осмыслить, сделать из них практические выводы — постоянная забота Владимира Ильича. И если это удавалось в какой-то мере другой партии, Ленин обращался к ее материалам. Скрываясь на Сердобольской, прочел обобщенные партией

левых эсеров наказы крестьян. В Смольном в часы восстания просил привезти от Фофановой газету, где был опубликован наказ земельным комитетам, составленный на основе 242 наказов местных Советов крестьянских депутатов. Этот наказ и был включен в Декрет о земле. На II съезде Советов это вызвало вопросы из зала, и Ленин ответил: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны».

В революционном осуществлении требований широких масс видел Ленин душу марксизма. Выступал против тех, кто, называя себя «марксистами», стремились выхолостить учение Маркса. После смерти великих революционеров, писал Владимир Ильич, «делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их *имени*... выхолащивая *содержание* революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его».

* * *

«Ограниченье жалов[анья] 500 р[ублями] в м[еся]ц»,— написал Ленин уже в конце листа, вместившего «Заметки об организации аппарата управления».

Эта мера — лишь одно направление в том, к чему немедля должен приступить победивший пролетариат, ликвидируя прежнюю армию, полицию, все привилегии чиновничества. Об этом писал Маркс, основываясь на опыте Парижской коммуны. И Ленин в работе «Государство и революция» подчеркивает, что эти простые и «само собою понятные» демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму». Эти демократические мероприятия ставят — и престижно и материально — тех, кто занят, как сказали бы теперь, в сфере управления, на уровень рабочих, крестьян, кому и принадлежит новое государство.

В ноябре семнадцатого года во время заседания Совнаркома Владимир Ильич занят проектом поста-

новления «Об окладах высшим служащим и чиновникам», тогда же оно было принято. Опубликованное на страницах «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» постановление называлось «О размерах вознаграждения народных комиссаров, высших служащих и чиновников». Им определялось: «Назначить предельное жалованье народным комиссарам в 500 рублей в месяц бездетным и прибавку в 100 рублей на каждого ребенка...»

Возвращался к этому вопросу Владимир Ильич и позже. Весной восемнадцатого года Председатель Совета Народных Комиссаров объявил строгий выговор управляющему делами Совнаркома Бонч-Бруевичу за повышение жалованья ему, В. Ульянову (Ленину).

История широко известная. Особенно часто обращаются к ней, когда говорят о личной скромности Владимира Ильича; сказано и написано об этом немало. Но не забываем ли мы порой, что контроль за выполнением существующих норм для государственного деятеля, даже если это касается его самого, есть не столько примета личной скромности, сколько требовательность к исполнению действующих законов, понимание, что они останутся таковыми до тех пор, пока обязательны для всех. К тому же и нравственные нормы нашей партии исключают возможность для коммуниста достигнуть такой ступени служебной лестницы, когда принятые для всех порядки стали бы ему не обязательны, а соблюдение их говорит о скромности...

Вернемся же вновь к распоряжению Председателя Совнаркома.

«23 мая 1918 г.

Управляющему делами Совета Народных Комиссаров Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу

Ввиду невыполнения Вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалованья с 1 марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и ввиду явной беззаконности этого повышения, произведенного Вами самочинно по соглашению с секретарем Совета Николаем Петровичем Горбуновым, в прямое нарушение декрета Совета Народных Комиссаров... объявляю Вам строгий выговор.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».

Итак, два работника Совнаркома самочинно, по своему разумению взяли и увеличили жалованье главе правительства, который непосредственно руководил их работой. Странно. И уж никак не вяжется с той атмосферой, которая всегда складывалась подле Владимира Ильича.

А может быть, этому событию предшествовали какие-нибудь другие, в чем-то и определившие его? В пятом томе «Биографической хроники» читаем: в промежутке между 18 апреля и 23 мая — день, когда было написано распоряжение Председателя СНК, Горбунов докладывает Ленину об изменениях в размерах жалованья — в сторону повышения — наркомам и членам коллегий. Связано это было с ростом индекса цен или, как пишет сам Горбунов, «обесценением денег», за которым и последовало повышение заработной платы служащим... Но декрет о размерах вознаграждения народным комиссарам не отменен, он действует. Горбунов предлагает потребовать от наркомов письменных объяснений. Владимир Ильич не согласен: очевидно, не считает для себя нужным беседовать с наркомами на эту щепетильную тему. Ленин и без того знает, сколь стеснены они в средствах на жизнь. Однако нарушается постановление Совнаркома, и с этим нельзя мириться. Как быть? Узнав, что так же автоматически повышена заработная плата и ему, Ленин с себя и начинает. Объявляет строгий выговор Бонч-Бруевичу. Так же наказывает Горбунова. Наркомы же прочтут распоряжение и сами сделают выводы.

Но и этим еще не исчерпывается история с повышением зарплаты. Цены растут, а постановление Совнаркома было принято полгода назад, размеры жалованья в нем указывались согласно тому времени, и в этой части оно устарело. Ленин тогда же предлагает наркому финансов И. Э. Гукасову рассмотреть вопрос о заработной плате наркомов, членов коллегий, приведя ее в соответствие с уровнем жизни. Пересмотрена была и оплата труда специалистов.

...Те многие ограничения, с которых пришлось начинать строительство нового общества, не были самоцелью и утверждались не во имя социализма, а в противовес тому, что было прежде. Помните, мысль Вла-

димира Ильича о том, что эти «само собою понятные» демократические мероприятия служат лишь «мостиком, ведущим от капитализма к социализму». Ленин писал: «Эти мероприятия касаются государственного, чисто политического переустройства общества, но они получают, разумеется, весь свой смысл и значение лишь в связи с осуществляемой или подготовляемой «экспроприацией экспроприаторов...»

Не только сломать прежнюю государственную машину, но и вновь созданная начнет действовать в полную меру сил, лишь преодолев устоявшиеся в самой глубине народной жизни представления о вседозволенности для чиновного лица, о бескрайнем разрыве между, говоря словами Ленина, «начальством» и простыми людьми. Достигается это не в один день и не в один год...

Ленин замечал, как наивен тот, кто полагает, что с победой революции сразу же, в тот же миг, жизнь всех и каждого сделается лучше — этого быть не может. В обществе, тогда лишь завоевавшем себе право стать социалистическим, где каждый отдает по способностям и каждый получает по труду, еще никто по труду не получал. Кто мог рассчитывать на это? Угасающий от недоедания Александр Блок — его встречали на Невском, нес бережно кастрюлю с пшенной кашей? Нарком продовольствия Цюрупа, не справившийся с голодным обмороком на заседании Совнаркома? Рабочий — Иванов, Петров, Сидоров,— выходивший на смену за осьмушку хлеба? Крестьянин — Иванов, Петров, Сидоров,— отдававший зерно продотряду? Миллионы, мучимые голодом, тысячи, приговоренные к смерти сыпной вошью?

Ленин, наконец? И сегодня хранится удостоверение, выданное ему в январе 1919 года Управлением делами Совнаркома: «...Председатель СНК Владимир Ильич Ульянов (Ленин) занимается умственным трудом неограниченное число часов, ввиду чего он имеет право пользоваться продовольственной и хлебной карточкой первой категории».

Рис Вильямс писал: «Своей личной жизнью Ленин показывал пример той железной дисциплины, которую вводил в общественную жизнь. Щи и борщ, черный хлеб, чай и каша составляли меню тех, кто был тогда

вместе со Смольным. Так же питался Ленин с женой и сестрой... Это все, что мог иметь любой, будь он народным комиссаром или чернорабочим, иными словами, в полном соответствии с требованием: «Ни один не должен есть пирожных, пока все не получат хлеба». Но были дни, когда людям не хватало даже хлеба. И все же Ленин получал ровно столько, сколько получал каждый. Временами наступали дни, когда хлеба совсем не было. В эти дни не получал хлеба и он...

В письме к рабочим Европы и Америки Ленин писал о тех бедствиях, тех муках голода, на которые обрекло рабочие массы военное вмешательство Антанты. Все это Ленин переносил вместе с массами». И, как бы подводя итог сказанному, Рис Вильямс пишет: «Ленин переносил эти лишения не из аскетических побуждений. Он просто проводил в жизнь принцип равенства».

Кто-то, возможно, заметит: Ленин боролся прежде всего за утверждение социального равенства. Да, но согласитесь: человек, посвятивший себя установлению социального равенства во всей сложности этой проблемы, не может быть чужд по отношению к самому себе, своей жизни идее равенства в ее первоначальном, простейшем выражении.

Слова «примитивный демократизм» мы употребляем теперь обычно в отрицательном смысле: когда говорим о чем-то немыслимом в решении серьезных дел, ну прямо ребяческом, есть еще такое словечко — «незрелом».

Во времена революции это понятие представлялось иным. В «Государстве и революции» читаем: «...переход от капитализма к социализму *невозможен* без известного «возврата» к «примитивному» демократизму...»

Сознание людей изменяется не быстро. В те годы приходилось лишь мечтать о рождении человека будущего — высокообразованного и глубоко гражданственного. Кто, по выражению Ленина, ни слова не возьмет на веру, ни слова не скажет против совести, кому радости духовной жизни, участие в делах своего народа неизмеримо дороже всех материальных соблазнов. Но наступает время — оно нерасторжимо с соци-

альным взрывом,— когда весь дух эпохи заставляет, обязывает, зовет становиться достойней, честнее, чем были бы люди, окажись в других обстоятельствах. Уходит соблазн, сама возможность хоть чем-нибудь да отличиться от других — будь то общий достаток, богатая квартира или загородный дом, наконец, просто уставленный разносолами стол. Рождается гордость, приходит удовлетворение от того, что по полной мере разделяешь жизнь других — своего народа... Перед нами и теперь не меркнет, покоряет и сегодня братское равенство тех, кто вступил в борьбу за общее социальное равенство, чистота их помыслов, благородство отношений.

А жизнь была такой тяжелой, страшной была она. Безвозвратно, стремительно миновали ее дни, люди встречались и расходились, поняв или не заметив друг друга, радовались, горевали, любили, ненавидели. Благородство помыслов, одержимость веры, радость побед и кровь, мучения, смерть — трагическая драматургия революции. Она делала счастливыми тех, во имя кого была совершена, чьим надеждам отвечала. И неминуемо иную судьбу несла тем, кто с молоком матери, с детских безмятежных лет привык к благополучию прежней жизни и не мыслил никакой другой.

Разумеется, не все представители старого мира враждебно встретили Октябрь. Многие из них презирали царизм, мечтали о просвещенном будущем России, некоторые стали по одну сторону баррикад с большевиками. Но большинство тосковало о прошлом, жило в страхе перед неизвестностью: что будет завтра или уже сегодня. «Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо...» — заметил как-то Ленин в беседе с Горьким.

Встретившись с Владимиром Ильичем — после революции они не виделись целый год,— Горький рассказал не то историю, не то легенду, поразившую писателя своим трагизмом:

«В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

—Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре

собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства».

Ленин выслушал, поглядывая искоса на Горького, сказал угрюмо: «Если это и выдумано, то выдумано неплохо. Шуточка революции».

Сказал «выдумано неплохо» — почувствовал, как волнует, будоражит эта драма именно писателя. К подобным историям — их ходило тогда немало — еще долго станут тянуться многие перья. И всякий раз, раскрывая одну из таких историй-легенд, раскроется сам художник — в его понимании причин и следствий.

Трагедия человека — не лишь одного, а именно одного — всегда остается трагедией. И чем дальше уносят нас годы от причинных связей минувшего, тем неожиданней, необъяснимей, а значит, и горше высвеченные в складках былых лет беда, несчастье, смерть.

Но существует и общество, его неминуемое для каждого бытие. «Постоянно, через всю гражданскую жизнь каждого человека тянутся исторические комбинации, в которых обязан гражданин отказаться от известной доли своих стремлений для того, чтобы содействовать осуществлению других своих стремлений, более высоких и важных для общества»,— писал Н. Г. Чернышевский.

* * *

Сам составлял проекты декретов, подписывал мандаты, расчертив лист для сводки, заполнял графы: находится вагонов с хлебом в пути... прибыло сегодня... подавать сводку к 12 часам... И постоянно принимал посетителей. Они бывали самыми разными.

Пожалуй, первый из них — рабочий завода «Эриксон» Семенов. На улице ограбили заводского кассира, и нечем было платить рабочим. «Немедленно выдать т. Семенову 500 тысяч рублей для раздачи жалованья рабочим завода «Эриксон». Ленин».

Пришел крестьянин. Перед самым февралем, еще при царе, у него забрали лошадь на военные нужды — обещали вознаграждение. И толкался он уже два месяца, так ничего и не добившись, по канцеляриям Временного правительства. Ленин отправил крестьянина к народному комиссару государственного призрения

Коллонтай. Но где найти Александру Михайловну — в прежнем министерстве продолжается саботаж; пометил на всякий случай домашний адрес.

Этот крестьянин и появился на рассвете следующего дня в дверях квартиры, где жила Коллонтай. Протянул ей клочок бумаги с запиской от Владимира Ильича: «Выдайте ему сколько там причитается за лошадь из сумм Госпризрения».

«Первой выдачей из кассы Народного комиссариата государственного призрения была выплата за лошадь, которую царское правительство отняло у крестьянина»,— вспоминала Александра Михайловна.

Пришел к Ленину член Петроградского военно-революционного комитета Н. М. Анцелович. В его просьбе Владимир Ильич отказал. Анцеловича посылали в Вологду за хлебом для Петрограда, ему же казалось, что больше принесет пользы на месте. «Вы думаете, что рабочих можно кормить агитацией»,— сказал ему Владимир Ильич.

«2 стенографистки для диктовок *и диктов[альная] машина...*» — пометил Ленин, уже заканчивая свои «Заметки об организации аппарата управления». Подчеркнул «диктовальная машина» как особенно желаемое — так назывался тогда изобретенный Эдисоном фонограф.

Пожалуй, это была единственная из всех тринадцати строк, которую не удалось осуществить сразу же, в первые дни. Рассчитывать на стенографисток и диктовальную машину пока не приходилось. Аппарат Совнаркома начинался с Управления делами, и было в нем поначалу лишь два человека — управляющий Бонч-Бруевич и секретарь Горбунов. Конфисковали где-то пишущую машинку, и, склонившись над ней, Горбунов выстукивал двумя пальцами документы Совнаркома. А когда ему впервые пришлось протоколировать заседание Совета Народных Комиссаров, то совсем оконфузился: «Не имея представления, как нужно вести протоколы, я попытался записать содержание доклада, но, конечно, не поспевал...»

Да, здесь все начиналось с нулевого цикла. «Работали вовсю,— вспоминала Крупская,— но никаких сил не хватало, и Ильичу сплошь и рядом приходилось выполнять самому черновую работу, звонить по

телефону и т. д. и т. п. Все было первобытно до крайности».

Кабинетом Владимира Ильича стала комната на третьем этаже Смольного, в его южном крыле. На дверях табличка: «Классная дама», снимать не стали, сохранилась до сих пор. В первой, проходной комнате разместились Бонч-Бруевич и Горбунов. Дальше — кабинет Ленина. Окна его с тыльной стороны здания, к ним тянутся ветви высоко поднявшихся деревьев, видна Нева, Охтинский мост.

Памятку для часовых, которые дежурили у дверей,— «Обязанности часового при Председателе Совета Народных Комиссаров» — Владимир Ильич писал тоже сам: «Не пропускать никого кроме *Народных комиссаров* (если вестовой не знает их в лицо, то должен требовать билета, т. е. удостоверения от них)... От всех остальных требовать, чтобы они на бумаге записали свое имя и... цель визита... Когда в комнате никого нет, держать дверь приоткрытой, чтобы слышать телефонные звонки...»

Не знаю, какая мебель была у классной дамы. Теперь поставили койку за перегородкой, застелили одеялом из солдатского сукна. Можно здесь отдохнуть, когда нет уже больше сил. А сам кабинет полупустой, оттого и представляется просторным. Внесли массивный письменный стол, поставили так, чтобы удобней падал свет из окон: одним углом — к ним, другим — к перегородке. Сев за стол, Ленин оказывался лицом к перегородке, вполоборота к тем, кто входил в кабинет, мог увидеть их, лишь обернувшись. Не очень-то удобно. Но это же был первый служебный кабинет Владимира Ильича, и сказалась, очевидно, привычка всей жизни. Работать за столом с книгой, пером и бумагой — не представительствовать, не принимать посетителей, беседуя с ними через стол, а работать — значит писать — письменный же стол... И поставить его именно так, скорее всего, распорядился сам Владимир Ильич.

Кстати, это не всем было понятно. Коллонтай, например, писала: «Совет Народных Комиссаров в первые недели своего существования собирался в Смольном, в третьем этаже, в угловой комнате, которая называлась «кабинетом Ленина». Обстановка заседа-

ний Совнаркома была самая деловая, и даже более чем деловая, недостаточно удобная для работы. Стол Владимира Ильича упирался в стену, над столом низко висела лампочка. Мы, наркомы, сидели вокруг Владимира Ильича и частью за его спиной. Ближе к окнам стоял столик Н. П. Горбунова — секретаря СНК, который вел протокол. Всякий раз, когда Ленин давал кому-нибудь слово или делал указания Горбунову, ему приходилось оборачиваться. Но переставить стол поудобнее никто не подумал...»

Приходишь сегодня в этот первый кабинет Ленина — и не покидает ощущение: чего-то здесь не хватает, такого привычного, необходимого, всегда связанного с Владимиром Ильичем. Да, да, конечно же — почти нет книг. Нет книжных полок, книжных шкафов. Недолго работал здесь Ленин — лишь первые дни революции, а они, пожалуй, были единственным временем во всей жизни Ленина, когда не мог позволить себе и на минуту открыть книгу.

Зато сразу же появились карты. «Тут была масса карт, он был весь окружен картами,— вспоминала А. И. Ульянова-Елизарова,— и я особенно обратила внимание на выражение его лица: он сидел такой бледный и какой-то углубленный, глубоко углубленный, что мне как-то страшно стало за него, и я подумала: «Как же это он с военными делами сможет разобраться?» ...Это самое яркое воспоминание у меня осталось, как он сидел и работал над военными картами и как страшно утомлен был».

Линия обороны проходила в предместьях Петрограда — сюда вышел корпус Краснова, поднятый Керенским. Ленин составлял «Набросок правил для служащих» и тогда же, буквально одновременно, подписывал распоряжение: «Приготовиться к выступлению орудий к 10 часам вечера 29. X». На приказе Военно-революционного комитета — доставить на позиции у Царского Села бензин, артиллерию, полевые телефоны, самокатчиков, саперов для рытья окопов — помечал: «Прошу принять все меры к *немедленному* исполнению». Спешил в штаб Петроградского военного округа, связывался оттуда с Гельсингфорсским Советом депутатов армии, флота и рабочих Финляндии.

Ленин. Есть известия, что войска Керенского подошли и взяли Гатчину, и так как часть петроградских войск утомлена, то настоятельно необходимо самое быстрое и сильное подкрепление.

Гельсингфорс. И еще что?

Ленин. Вместо вопроса «еще что» я ожидал заявления о готовности двинуться и сражаться.

Гельсингфорс. Сколько вам нужно штыков?

Ленин. Нам нужно максимум штыков, но только с людьми верными и готовыми решиться сражаться. Сколько у вас таких людей?

Гельсингфорс. До пяти тысяч. Можно выслать экстренно, которые будут сражаться.

Ленин. Через сколько часов можно ручаться, что они будут в Питере при наибольшей быстроте отправки?

Гельсингфорс. Максимум двадцать четыре часа с данного времени.

Ленин. Я настоятельно прошу от имени правительства Республики немедленно приступить к такой отправке и прошу вас также ответить, знаете ли вы об образовании нового правительства и как оно встречено Советами у вас?

В Гельсингфорсе знали об этом пока лишь из газет... С первых дней — мир и война одновременно. Только что родившееся государство должно было себя защищать.

...Пишешь о тех днях и все время стремишься отделить одно от другого: назначение народных комиссаров и, скажем, наступление на Петроград казаков Краснова; работа Ленина в Смольном и саботаж чиновников бывших министерств, переговоры с Викжелем... Одним взглядом все это не охватить. Но в жизни, на самом деле, все происходило одновременно: и назначения, и мятежи — 27, 28, 29, 30-го — в последние дни Октября, в первые дни Октябрьской революции. «И не мудрено,— писала Крупская,— что, придя поздно ночью за перегородку комнаты, в которой мы с ним жили в Смольном, Ильич все никак не мог заснуть, опять вставал и шел кому-то звонить, давать какие-то неотложные распоряжения, а, заснув наконец, во сне продолжал говорить о делах...»

* * *

Тринадцать строк. Один только лист. Мгновенная, как озарение, запись; она определила на многие десятилетия вперед управление страной. Мы помним слова Горького: Ленин видел настоящее из будущего. Привыкли к мысли — Ленин умел предвидеть. Более того.

Быть может, в Разливе, где была сделана фотография для удостоверения на имя рабочего Константина Петровича Иванова, Владимир Ильич набрасывал план седьмой главы «Государства и революции», последней главы этой книги — «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». В Гельсингфорсе или Выборге, оставаясь в подполье, написал две первые фразы: «Тема, указанная в названии этой главы, так необъятно велика, что об ней можно и должно писать томы. В настоящей брошюре придется ограничиться, разумеется, только самыми главными уроками опыта, касающимися непосредственно задач пролетариата в революции по отношению к государственной власти». А следом нетронутая страница, как говорится в комментариях к изданию, «на этом рукопись обрывается». Не закончил, не успел — «задача пролетариата в революции по отношению к государственной власти» уже решалась на практике. И когда книга увидит свет, в послесловии заметит, что написать седьмую главу ««помешал» политический кризис, канун октябрьской революции 1917 года. Такой «помехе» можно только радоваться... Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

В Горках осенью восемнадцатого года, еще не поправившись после ранения, занят был брошюрой «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Спешил — торопили надвигающиеся события: «Дела так «ускорились» в Германии, что нельзя отставать и нам». Закончил работу к ноябрьским праздникам, к первой годовщине Октября. Но хотел еще написать заключение. И вновь не успел, опять «помешала» революция. Послесловием к этой работе стало:

«Предыдущие строки были написаны 9 ноября 1918 г. В ночь с 9 на 10 получены известия из Германии о начавшейся победоносной революции...

Заключение, которое мне осталось написать к брошюре о Каутском и о пролетарской революции, становится излишним.

10 ноября 1918 г. *Н. Ленин».*

Все, как было с последней главой «Государства и революции». А не это ли и рождало силу предвидения: нерасторжимое совмещение жизни Ленина с революционным процессом; такое умение слиться с ним, когда твои дела, твои ритмы работы совпадают с его ритмами, с его вздымающимися волнами...

Но и предвиденье — каким бы ни было оно поразительным — имеет свои границы. Безграничным оно представляется лишь тому, кто мнит себя сверхчеловеком, обнаружив однажды нимб над своей головой... Для меня Ленин больше всего дорог тем, что с безграничной самоотреченностью, непреклонной волей шел к этому будущему, которое умел не только предвидеть, но и отстаивать, приближать его.

Написать седьмую главу «помешал» Октябрь. Но он же — Ленин — готовил революцию, «проделывал» ее опыт, торопил — пора начинать — и встал во главе Октября. Революция в Германии освободила от заключения к брошюре «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Но он же — Ленин — сделал так много, чтобы пример революционной России как можно скорее стал всеобщим примером.

Наметил в «Заметках об организации аппарата управления» шаги, которые надо сделать с победой революции, и совершил их.

III

Кончилась осенняя пора октябрьских дождей. Зима в тот год пришла рано — снег лег в ноябре. «Проснувшись утром,— писал Джон Рид,— мы увидели, что карнизы окон совсем побелели. Снег был такой густой, что в десяти шагах ничего не было видно. Грязь исчезла. Хмурый город вдруг стал ослепительно белым... Несмотря на революцию, с ошеломляющей быстротой увлекавшую Россию в неизвестное и грозное будущее, город встретил первый снег общей радостью. На всех устах была улыбка, люди выбегали на улицу и со смехом ловили мягкие, кружащиеся в воздухе снежинки».

Подошел новый, восемнадцатый год.

Надежда Константиновна предложила Владимиру Ильичу встретить его вместе с рабочими Выборгского района. И Ульяновы отправились в бывшее Михайловское юнкерское училище. «По случаю упразднения дворников никто снег не расчищал...» — рассказывала Крупская. Машина еле пробилась через сугробы. В просторный зал училища вошли уже перед самой полночью.

Играет оркестр, танцует молодежь. Кто постарше — пьют чай с «подушечками». С ними и Ульяновы. Молодая работница подбегает к Владимиру Ильичу — зовет танцевать. «С удовольствием бы, но я не умею»,— отвечает смущенно. Четверо ребят поднимают за ножки стул, на котором сидит Владимир Ильич, принимаются качать. «Я подверглась той же участи»,— вспоминала с улыбкой Надежда Константиновна...

Простота и естественность нового мира. Все вместе, все надеются, все верят: будущее, то самое — радостное, счастливое, всемирно благополучное, оно совсем уже рядом, только руку протяни. И подступает — она уже совсем близко — гражданская война, только руку протяни. Кто из этих ребят вернется с нее...

Ясный морозный день, заснеженный город. 1 января — это число было указано в удостоверении на имя рабочего Константина Петровича Иванова. Но отчего все-таки именно на этой фамилии остановился Владимир Ильич. В Разлив привезли не один, а несколько заполненных бланков удостоверений Сестрорецкого завода. Посмотрев их, Ленин выбрал документ на имя Иванова. Сказано же было, и не раз: на Ивановых Россия держится, впрочем, как и на Петровых, Сидоровых.

1 января истек срок действия удостоверения Сестрорецкого завода, и в этот день его обладатель писал по-английски американскому послу Френсису: «Сэр, не будучи в состоянии связаться с Вами по телефону в 2 часа, как было условлено, я пишу, чтобы сообщить Вам, что я был бы рад встретиться с Вами в моем кабинете — Смольный институт, комната 81 — сегодня в 4 часа дня».

Дуайен дипломатического корпуса Френсис намеревался выразить протест по поводу конфликта новой власти с румынским посланником. И они приехали — ровно в четыре — к тому, кто еще так недавно скрывался под именем рабочего Иванова. Полномочные представители Соединенных Штатов Северной Америки, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Дании, Сиама, Китая, Сербии, Португалии, Аргентинской Республики, Греции, Бельгии, Бразилии, Персии, Испании, Нидерландов, Италии и Великобритании. Ленин встретил дипломатов у дверей своего кабинета, пожимая каждому руку. И в это мгновение посол Френсис понял то, что напишет со временем в своих мемуарах: «Ленин торжествовал при мысли, что все эти послы, которые еще вчера отвергали его, идут, чтобы не только протестовать, но и просить». Они уже просили — просили приема у главы пока непризнанного правительства.

Уехали дипломаты, и Ленин торопится на митинг — он собрался в манеже Михайловского училища. Уходит на фронт отряд социалистической армии — она лишь создается, у нее пока нет даже названия. «Приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию... Пусть товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат слабых, утвердят колеблющихся и вдохновят своим личным примером всех уставших»,— говорит Владимир Ильич бойцам.

И скорее в Смольный. На восемь часов назначено заседание Совнаркома. В машине вместе с Лениным Мария Ильинична, швейцарский коммунист Фриц Платтен. Отъезжают от манежа, поднимаются на Симеоновский мост. И выстрелы. Один, другой. Пробито переднее стекло, кузов. Платтен резким движением руки наклоняет голову Владимира Ильича. Снова выстрелы. Пуля попадает Платтену в руку...

Совещание Совнаркома началось ровно в восемь. Ленин говорил о событиях дня. Мы создали государство и теперь, естественно, принимаем послов. Революция должна защищать себя — и первый отряд будущей рабоче-крестьянской армии ушел на фронт.

Касаясь происшествия на Симеоновском мосту, заметил: «Что же тут удивительного, что во время революции остаются недовольные и начинают стрелять».

* * *

Мы прошли сквозь годы вместе с семьей Ульяновых. Ее глава — самоотверженный просветитель Илья Николаевич был современником А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Его старший сын Александр Ульянов отдал жизнь в героической борьбе с царизмом. Владимир Ульянов стал основателем большевистской партии, руководителем пролетарской революции, основателем первого в мире социалистического государства.

Семья Ульяновых воплощает в себе этапы революционной истории. Сегодня ее опыт служит бесценным достоянием каждого мыслящего человека. Время отступает перед Ульяновыми. В этой семье закономерно и просто, как в самой жизни, соединились прошлое, настоящее и будущее. Помните слова Владимира Ильича Ленина: «Мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше, и *они победят*».

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	3
ОТЕЦ	7
ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ	77
А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА	139
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ	189
ОЛЬГА УЛЬЯНОВА	247
МЛАДШИЙ БРАТ	289
М. И. УЛЬЯНОВА	345
ОДНАЖДЫ ВЫБРАННЫЙ ПУТЬ	415

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

Заведующий редакцией
А. И. КОТЕЛЕНЕЦ

Редактор
Ю. И. ХАРЧЕНКО

Младший редактор
Т. А. ЦАРЕВА

Художник
В. И. ТЕРЕЩЕНКО

Художественный редактор
О. Н. ЗАЙЦЕВА

Технический редактор
Ю. А. МУХИН

ИБ № 5571

Подписано в печать с матриц 25.03.85. А00148. Формат 84×100$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Услови. печ. л. 25,84. Условн. кр.-отт. 28,12. Учетно-изд. л. 26,55. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. Заказ № 593. Цена 1 р. 20 к.

Политиздат.
125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.

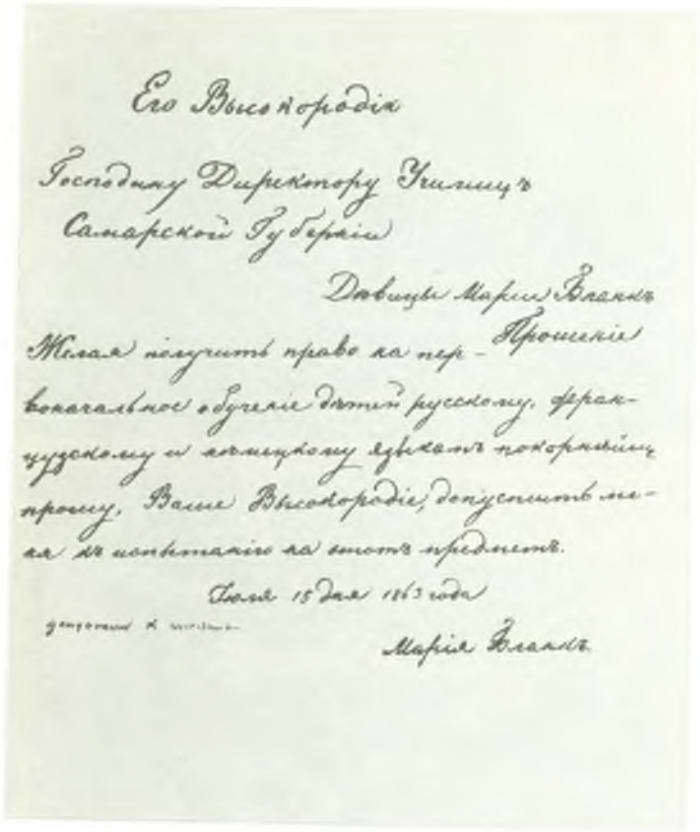
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



И. Н. Ульянов
с воспитанниками дворянского института
в Пензе.



Симбирск.
Дом на Московской улице,
в котором жила
семья Ульяновых
с 1878 по 1887 г.
(вид со двора).



Его Высокородію

Господину Директору Училищъ
Самарской Губерніи

Дѣвицы Маріи Бланкъ

Прошеніе

Желая получить право на пре-
подаваніе обученія дѣтей русскому, фран-
цузскому и нѣмецкому языкамъ покорнѣйше
прошу, Ваше Высокородіе, допустить ме-
ня къ испытанію по этимъ предметамъ.

Іюля 15 дня 1863 года

дозволяю К испытанію

Марія Бланкъ

Прошение М. А. Бланк
о допущении ее к экзаменам
на звание учительницы.



Саша
и Аня Ульяновы.



А. И. Ульянова-Елизарова
и М. Т. Елизаров.
1915 г.


№

ДѢЛО

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Студента
Александра Ильича
Ульянова

Началось в Мае 1883.

Кончено

Дело студента Петербургского университета А. И. Ульянова.



Володя и Оля Ульяновы.



Владимир Ульянов.
Самара, 1891 г.

Мѣсяцъ Январь 1886-го года.

Къ какому числу.	Изъ какого предмета.	ЧТО ЗАДАНО.	Баллы
Къ Понедѣльнику. 14-го	Географія	Гр. Минск. Смолянск. Могил. и Черн.	12
	Французскій	Старый урокъ.	
	Рисованіе		
	Законъ Божій	До „Составленія Катихизиса"	
	Математика	Задачи №№ 753 и 771.	
Къ Вторнику. 15-го	Нѣмецкій	Die Mutter und ihre Kinder.	11.
	Гѣтскій	bis mit den Worten:	
	Физика	„Сифонъ" и „водяные насосы."	
	Исторія	До Римской имперіи.	12.
Къ Среде. 16-го	Французскій	Слова до №12 и граммат. № 14.	
	Законъ Божій	„Составленіе катихизиса."	
	Исторія	До счастливаго періода имп.	12
	Словесность	Былины: „Святогоръ", „Вольга Всеславьевичъ" и „Вольга Святославовичъ".	

Опоздала:

Пропустила:

Подпись родителей: М. Ульянова.

Страница из школьного дневника Ольги Ульяновой.



Маняша
и Митя Ульяновы.



М. Т. Елизаров,
Мария Александровна,
Дмитрий Ильич
и Мария Ильинична Ульяновы.
Самара, 1902 г.



М. И. Ульянова в группе
саратовской делегации
на III Всесоюзном совещании
рабселькоров и юнселькоров
при газетах «Правда», «Беднота»
и «Комсомольская правда».
Июнь 1926 г. Москва.



В. И. Ленин в гриме
рабочего К. П. Иванова.
1917 г.



В. И. Ленин
в кабинете в Кремле.
1918 г.



В. И. Ленин и Н. К. Крупская
среди крестьян
деревни Кашино
Волоколамского уезда
Московской губернии.
1920 г.



В. И. Ленин
произносит речь
на Красной площади
перед войсками Всевобуча.
1919 г.


РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ (большевиков)

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ № 114482

Фамилия Ульянов (Ленин)
Имя и отчество Владимир Ильич
Год рождения 1870
Время вступления в партию 1893
Выдан Замоскворецк
Райкомом
Личная подпись
Место фотографической карточки
М. П.

Партийный билет
В. И. Ленина.







Н. К. Крупская:
«Мимика и жестикуляция
всегда были выразительны».



В. И. Ленин
на II конгрессе
Коминтерна.
1920 г.



В. И. Ленин
в кругу семьи.
Москва, 1920 г.



В. И. Ленин
и М. И. Ульянова
в Горках.
1922 г.



Н. К. Крупская,
М. И. и Д. И. Ульяновы.



Ульяновск.
Ленинский
мемориальный
комплекс.

1 р. 20 к.

Опыт семьи Ульяновых
убеждает:
сумейте привить детям
самые благородные
человеческие качества,
научите их работать,
получать образование
не ради собственного
благополучия,
а чтобы приносить
пользу людям.
И само время,
в котором они живут,
поможет определить
социальную задачу бытия,
закалит мужество характера,
позовет к действию.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ